

Жюль

ВЕРН

ОПЫТ
ДОКТОРА ОКСА

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

SCY-FI FOUNDATION



Жюль Верн

Жюль Верн

ИЗ ПУШКИ НА ЛУНУ
ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
ПЯТЬ НЕДЕЛЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
ВЛАСТЕЛИН МИРА
ФЛАГ РОДИНЫ
В ПОГОНЕ ЗА МЕТЕОРОМ
ОПЫТ ДОКТОРА ОКСА

ЮННИ-ОСНОВАТЕЛИ

Жюль Верн

ДРАМА В ЛИФЛЯНДИИ

«ЧЕНСЛЕР»

ОПЫТ ДОКТОРА ОКСА

БЛЕФ

ДРАМА В ВОЗДУХЕ

ЗИМОВКА ВО ЛЬДАХ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ



ЭКСМО
Москва
2010

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
В 35

Составитель серии *Д. Байкалов*

Серия основана в 2009 году

Оформление серии *А. Саукова*

Иллюстрация на переплете *А. Дубовика*

Верн Ж.

В 35 Опыт доктора Окса : романы, повести и рассказы ; пер. с фр. / Жюль Верн. — М. : Эксмо, 2010. — 608 с. — (Отцы-основатели).

ISBN 978-5-699-43312-4

В этот том серии вошли шесть научно-фантастических и приключенческих произведений Жюль Верна. В них максимально раскрывается талант знаменитого писателя, как никто умеющего создать острый динамичный сюжет, напряженную атмосферу и совместить их с романтикой подвигов, приключений, научных изысканий, путешествий по земле, воде и воздуху, а также с верой в светлое будущее человечества.

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

© Архангельская З., Бобырь З.,
Брандис Е., Велле Г., Волков О.,
Мошенко М., Розенталь Р.,
перевод на русский язык, 2010

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-43312-4

ДРАМА В ЛИФЛЯНДИИ



ГЛАВА 1

НА ГРАНИЦЕ

Путник шел один среди ночи. Он пробирался, как волк, между глыбами льда, нагроможденными холодом долгой зимы. Штаны на теплой подкладке, тулуп из телячьей шкуры, шапка с опущенными наушниками плохо защищали странника от свирепого ветра. Руки и губы у него потрескались и болели. Кончики окоченелых пальцев были как бы зажаты в тиски. Он брел в кромешной тьме, под низко нависшими тучами, грозившими разразиться снегом. Хотя уже начинался апрель, но на пятьдесят восьмой параллели стояла еще зима. Человек упорно все шел и шел. Остановись он ненадолго, и, возможно, у него не хватило бы сил продолжать путь.

Часов около одиннадцати вечера человек все же остановился. Не потому, что ноги отказались ему служить, и не потому, что он задыхался и падал от усталости. Его физическая сила не уступала твердости духа. Громким голосом, с непередаваемым патриотическим чувством он воскликнул:

— Вот она, наконец... Граница... Лифляндская граница... Граница родного края!

Каким широким взмахом руки охватил он простирившуюся перед ним на запад даль! С какой уверенностью и силой топнул ногой, как бы желая запечатлеть свой след на рубеже последнего этапа пути.

Да, шел он издалека — он прошел тысячи верст среди стольких опасностей, стольких испытаний, преодолен-

ных благодаря его уму и мужеству, побежденных его силой, упорством и выносливостью. Со времени своего побега уже больше двух месяцев шел он на запад, отважно пересекая центральные области Российской империи, где полиция ведет столь строгий надзор! Он брел по бескрайним степям, делая подчас длинный крюк, чтобы обойти казачьи заставы, пробираясь извилистыми ущельями между высоких гор. И вот наконец, чудом избежав встреч, которые стоили бы ему жизни, он мог воскликнуть:

— Лифляндская граница... Граница!

Но начинался ли здесь тот гостеприимный край, куда человек, ничего не опасаясь, возвращается после долгих лет отсутствия? Был ли это тот родимый край, где ему обеспечена безопасность, где его ждут друзья, где семья примет его в свои объятия, где жена и дети ожидают его прихода, если только он не задумал внезапно обрадовать их своим неожиданным возвращением?

Нет! Этот край он пройдет лишь тайком, как беглец. Он попытается достичь ближайшего морского порта и там, не вызывая подозрений, сесть на корабль. Лишь тогда он почувствует себя в безопасности, когда лифляндский берег исчезнет за горизонтом.

«Граница!» — воскликнул странник. Но что это за граница, не отмеченная ни рекой, ни горной цепью, ни лесным массивом?.. Или это лишь условная линия, не обозначенная никаким географическим рубежом?

Здесь была граница, отделяющая Российскую империю от трех ее губерний — Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, известных под названием Прибалтийских областей. В этом месте пограничная линия пересекает с юга на север зимой ледяную гладь, а летом зыбкую поверхность Чудского озера.

Кто этот беглец? На вид ему было около тридцати четырех лет; он был высокого роста, крепкого телосложе-

ния, широкоплечий, с могучей грудью, сильными руками и ногами. В движениях его чувствовалась решительность. Из-под башлыка, скрывающего лицо, выбивалась густая белокурая борода, и когда ветер приподымал края башлыка, можно было увидеть живые блестящие глаза, яркий огонь которых не погасила и стужа. Пояс широкими складками облегал стан, скрывая тощий кожаный кошелек, в котором находилось несколько рублевых бумажек — все его достояние, — сумма, явно недостаточная для сколько-нибудь продолжительного путешествия. Его дорожное снаряжение дополняли шестизарядный револьвер, нож в кожаном чехле, сумка с остатками провизии, наполовину пустая фляга с водкой и крепкая палка. Сумка, фляга и даже кошелек представлялись ему не столь ценными предметами, как оружие, приготовленное на случай нападения хищных зверей или полицейских. Он шел только по ночам, чтобы незамеченным добраться до какого-нибудь порта на берегу Балтийского моря или Финского залива.

До сих пор он благополучно миновал все препятствия на своем опасном пути, несмотря на то, что у него не было «подорожной», выдаваемой военными властями, предъявления которой обязаны требовать станционные смотрители русской империи. Но избежит ли он опасности с приближением к побережью, где надзор гораздо строже? Ведь о побеге его уже все оповещены — это несомненно. Будь то уголовный или политический преступник, его станут разыскивать с одинаковым старанием, преследовать с равным ожесточением. Право же, если судьба, благопритествовавшая ему до сих пор, отвернется от него на лифляндской границе, это будет равносильно кораблекрушению в самой гавани.

Чудское озеро имеет около ста двадцати верст в длину и шестьдесят в ширину. В теплую погоду к его богатым

рыбой берегам стекаются рыбаки. По озеру снуют тяжелые лодки, — грубо сколоченные из почти не отесанных стволов и плохо струганных досок, так называемые «струги», — на которых по вытекающим из озера речкам доставляют в соседние села и города, вплоть до самого Рижского залива, зерно, лен, коноплю. Однако в эту пору на широтах, где весна наступает поздно, плавание по Чудскому озеру невозможно, и даже артиллерийский обоз мог бы перейти его скованную морозами суровой зимы поверхность. Озеро еще представляло собой широкую белую равнину, с вздымающимися в центре сугробами и с ледяными заторами у истоков рек.

Такова была страшная пустыня, по которой, без труда найдя направление, уверенно продвигался беглец. Впрочем, он хорошо знал местность и шел быстрым шагом, намереваясь достичь западного берега до рассвета.

«Еще только два часа ночи, — подумал он. — Осталось не более двадцати верст. А там я легко найду какую-нибудь рыбацью хижину, заброшенную лачугу, где и отдохну до вечера... Здесь, в этом краю, мне уже не придется брести наугад».

Казалось, он забыл свою усталость, и уверенность вернулась к нему. Если, на беду, полицейские вновь нападут на его утерянный след, он сумеет ускользнуть от них.

Опасаясь, чтобы первые проблески зари не застали его еще на ледяной поверхности Чудского озера, беглец сделал последнее усилие: на ходу он подкрепился добрым глотком водки из своей фляги и ускорил шаг. И вот к четырем часам утра несколько чахлах деревьев, убеленные инеем сосны, купы берез и кленов смутно обрисовались на горизонте.

Там была суша. Но там ждали его новые опасности. Хотя лифляндская граница и разрезает Чудское озеро по середине, все же, разумеется, не на этой черте расположи-

лись таможенные посты. Их перенесли на западный берег, к которому летом пристают струги.

Беглец знал это, и его не могло удивить мерцание желтоватого огонька, прорезающего завесу тумана.

«Двигается этот огонек или нет?..» — подумал он, остановившись возле одной из ледяных глыб, вздымавшихся вокруг него.

Если огонь перемещается, значит, это свет фонаря, который несет таможенный дозор при ночном обходе Чудского озера. Лишь бы не попасться ему на пути!

Если же огонь не движется, значит, он горит в будке одного из береговых постов. Ведь в это время года рыбаки еще не вернулись в свои хижины — они ожидают ледохода, который начинается не ранее второй половины апреля. Осторожность требовала, чтобы путник свернул вправо или влево, дабы не попасться на глаза дозорным.

Беглец свернул влево. Насколько можно было различить сквозь туман, подымавшийся под дуновением утреннего ветерка, деревья с этой стороны росли более густо. Если за ним будет погоня, то, вероятно, именно здесь ему легче всего найти убежище, а затем и бежать.

Человек не сделал и полсотни шагов, как вдруг справа от него раздался громкий окрик: «Кто идет?»

Это «кто идет?», произнесенное с сильным германским акцентом и напоминавшее немецкое «Wer da?»¹, ошеломило путника. Надо сказать, что в Прибалтийском крае немецкий язык наиболее в ходу, если не среди крестьян, то, во всяком случае, среди горожан.

Беглец и не подумал ответить на этот окрик. Он распластался на льду — и хорошо сделал. Почти тотчас же раздался выстрел, и не прими он этой предосторожности, пуля поразила бы его в самую грудь. Удастся ли ему из-

¹ «Кто идет?» (Окрик часового) (нем.).

бежать встречи с дозором таможенников?.. Что они заметили его — не было сомнений... Окрик и выстрел доказывали это... Но они могли подумать, что во мраке и тумане им просто померещилась какая-то тень...

И в самом деле, беглец убедился в этом, услышав слова, которыми обменялись дозорные, подойдя к нему ближе. Это были стражники одного из постов Чудского озера, бедняги в выцветших, пожелтелых мундирах. Жалованье, которое они получают в русской таможне, так ничтожно, что они охотно протягивают руку за чаевыми. Двое из них возвращались в свою будку, когда им показалось, что между сугробами мелькнула какая-то тень.

— Ты уверен, что видел его?.. — спросил один из них.

— Да, — ответил другой. — Должно быть, какой-нибудь контрабандист пытался пробраться в Лифляндию.

— За зиму это не первый и, наверно, не последний. Должно быть, он улизнул, раз его и след простыл.

— Эх! — ответил стрелявший. — В таком тумане метко не прицелишься. Жаль, что я не уложил его... У контрабандиста фляга всегда полна... Мы бы поделились с тобой по-товарищески...

— Нет ничего здоровее для желудка!.. — подхватил другой дозорный.

Таможенники продолжали свои поиски, побуждаемые, должно быть, не столько желанием захватить контрабандиста, сколько надеждой согреться глотком шнапса или водки. Но их старания были напрасны.

Едва лишь они удалились, беглец снова пустился в путь по направлению к берегу и еще до рассвета нашел убежище в пустующей, крытой соломой хижине, в трех верстах к югу от будки таможенников.

Конечно, следовало бы не спать весь этот день и быть настороже, чтобы в случае опасности, если стражники, продолжая поиски, направятся в сторону хижины,

успеть ускользнуть. Но при всей своей выносливости этот человек, сломленный усталостью, не смог противиться сну. Завернувшись в тулуп, он улегся в углу хижины и заснул глубоким сном. Когда он проснулся, уже наступил день.

Было три часа пополудни. К счастью, таможенники не покидали своей будки; они удовлетворились единственным выстрелом в темноту, решив, что они попросту ошиблись. Путнику оставалось лишь радоваться, что он избежал этой первой опасности при переходе границы родного края.

Теперь, когда он удовлетворил свою потребность во сне, следовало подумать и о еде. Оставшегося в сумке небольшого запаса беглецу могло хватить разве что на один-два раза. Необходимо было на следующем же привале достать еды, а также наполнить водкой осушенную до последней капли флягу.

«Крестьяне никогда не отказывали мне в помощи, — подумал он. — Тем более лифляндские крестьяне не откажут такому же, как они, славянину!»

Он рассуждал правильно. Лишь бы злой рок не привел его к кабатчику немецкого происхождения, каких много в этом крае. Такой кабатчик оказал бы русскому далеко не такой прием, как крестьяне Российской империи.

Впрочем, беглецу не нужно было просить подаяния в пути. У него оставалось еще несколько рублей — этого хватит до конца путешествия, по крайней мере в пределах Лифляндии. Правда, как быть в дальнейшем, когда придется сесть на корабль?.. Но об этом он еще успеет подумать. Самое главное — не попасться в руки полицейских и достичь какого-нибудь порта на побережье Финского залива или Балтийского моря. Вот к чему должны быть направлены все его усилия.

Как только ему показалось, что уже достаточно стем-

нело — часов в семь вечера, — беглец зарядил свой револьвер и покинул хижину. Днем ветер потянул с юга. Температура повысилась до нуля, и усеянный черными точками снежный покров предвещал приближение оттепели.

Характер местности не менялся. Довольно низменная в своей центральной части, она становилась холмистой лишь на северо-западе, и то холмы эти не превышали ста — ста пятидесяти метров. Такие обширные равнины не представляют никакой трудности для пешехода, разве только во время оттепели, когда почва становится непроходимой, а этого как раз можно было опасаться. Надо было дойти до какого-нибудь порта, и если он освободится ото льда, то тем лучше — навигация станет возможной.

Около пятнадцати верст отделяют Чудское озеро от села Эк, к которому беглец приблизился в шесть часов утра; но он остерегся туда входить. Полиция могла потребовать документы, что поставило бы его в весьма затруднительное положение. Не здесь следовало искать пристанища. День он провел за версту от села в заброшенной лачуге. В шесть часов вечера он вышел снова, направляясь на юго-запад, к реке Эмбах¹, которой достиг после перехода в одиннадцать верст. Воды этой реки сливаются с водами озера Выртсьярв в его северной оконечности.

Там, вместо того чтобы углубиться в лес из ольхи и кленов, раскинувшийся на берегу, беглец счел для себя безопаснее идти прямо по реке, прочность ледяного покрова еще не вызывала опасений.

Из высоко плывущих туч шел теперь довольно крупный дождь, который ускорял таяние снегов. Все предве-

¹ Ныне река Эмайыги.

шало наступление оттепели. Недалек был день, когда реки вскроются ото льда.

Беглец шагал быстро, стремясь достичь берегов озера еще до рассвета. Расстояние в двадцать пять верст — тяжелый переход для усталого человека, самый большой из переходов, преодоленных им на пути, — ведь в общей сложности за ночь это составит уже пятьдесят верст. Десять часов отдыха на следующий день будут честно заработаны.

В общем, досадно, что погода изменилась и пошел дождь. Сухой мороз облегчил и ускорил бы переход. Правда, гладкая ледяная поверхность реки Эмбах все же представляла более прочную опору, чем покрытая оттаявшей грязью прибрежная дорога. Но глухой шум и частые извилистые трещины указывали на то, что река скоро вскроется и наступит ледоход. Отсюда новая трудность для бегльца, если он вынужден будет перейти реку. Разве что перебраться вплавь. Все эти причины вызывали необходимость делать двойные переходы.

Путнику все это было хорошо известно. Поэтому-то он и делал нечеловеческие усилия. Плотно запахнутый тулуп оберегал его от пронизывающего ветра. Сапоги, недавно починенные, подбитые крупными гвоздями, были в хорошем состоянии; он шел уверенным шагом по скользкому льду. Да в этой кромешной тьме и невозможно было искать дорогу, тем более что река Эмбах вела его прямо к цели.

К трем часам утра путник прошел около двадцати верст. За два часа, остающихся до зари, он дойдет до места привала. Незачем и на этот раз заходить в какую-нибудь деревню или искать пристанища в корчме. Припасов на день хватит. А кров подойдет любой, лишь бы отдохнуть в безопасности до вечера. В лесах, окаймлявших северную часть озера Выртсьярв, легко найти пус-

тующую зимой хижину дровосека. Немного древесного угля, который там найдется, да сухого хвороста хватит, чтобы развести хороший огонь, согревающий и душу, и тело; и нечего опасаться, что в этих безлюдных лесных чащах дым очага выдаст присутствие человека.

Да, зима стояла суровая; но зато, несмотря на жестокие морозы, как помогла она беглецу с самого начала побега в его странствиях по землям Российской империи. Да и вообще, разве зима, как говорит славянская поговорка, не друг русскому человеку? Разве не уверен он в ее суровой дружбе?

В эту минуту с левого берега Эмбаха донесся вой. Не могло быть сомнения — это был вой зверя, находящегося в каких-нибудь ста шагах. Но приближался ли он или удалялся? В темноте это было трудно определить.

Человек на мгновение остановился, прислушиваясь. Надо быть настороже, не дать застигнуть себя врасплох.

Вой повторился еще несколько раз, все усиливаясь. Ему отвечали другие завывания. Никаких сомнений: стая зверей бежала по берегу Эмбаха и, вероятно, учуяла присутствие человека.

Но вот зловещий вой послышался с огромной силой, и беглец решил, что хищники сейчас на него набросятся.

«Волки! — подумал он. — Стая уже близко!»

Опасность была велика. Изголодавшиеся за долгую суровую зиму звери эти действительно опасны. Одинокого волка бояться нечего, если только путник силен и хладнокровен — была бы палка в руках. Но от полдюжины этих зверей даже с револьвером трудно отбиться, разве что стрелять без промаха.

В этих местах негде было укрыться от нападения. Берега Эмбаха низкие и совершенно голые — ни одного дерева, на ветви которого можно было бы взобраться, а стая — мчалась ли она по льду или через степь, — веро-

ятно, находилась теперь не более чем в пятидесяти шагах.

Выход был один — бежать со всех ног, впрочем, без большой надежды опередить хищников. Пусть даже пришлось бы потом остановиться, чтобы отразить нападение. Человек пустился бежать, но вскоре услышал, что звери преследуют его по пятам. Завывания раздавались теперь ближе чем в двадцати шагах. Путник остановился, и ему показалось, что во тьме заблестели светящиеся точки, точно горящие уголья.

То были волчьи глаза — глаза разъяренных волков, отошавших, лютых от долгой голодовки, алчущих добычи. Они уже почти ощущали ее на зубах.

Беглец обернулся, держа револьвер в одной руке, палку — в другой. Лучше не стрелять, а постараться обойтись с помощью палки, чтобы не привлечь внимания полицейских, если те рыщут где-нибудь поблизости.

Человек выпростал руки из складок тулупа и твердо уперся ногами в землю. Яростно размахивая палкой, он отогнал волков, которые уже наседали на него. Один зверь попробовал вцепиться ему в горло, но он тут же уложил его ударом палки.

Однако волков было полдюжины — слишком много, чтобы их напугать, слишком много, чтобы уничтожить одного за другим, не прибегая к револьверу. К тому же при втором ударе, нанесенном со страшной силой по голове другому волку, палка сломалась в руке.

Человек снова бросился бежать, и так как волки преследовали его по пятам, он остановился и выстрелил четыре раза. Два смертельно раненных зверя упали на лед, обагрывая его своей кровью; но последние пули не попали в цель — два других волка отскочили на двадцать шагов.

Беглец не успел зарядить револьвер. Стая уже снова подступала, готовая наброситься на него. Он пробежал

еще двести шагов, но звери уже нагоняли его и вгрызались зубами в полы тулупа, разрывая его в клочья. Человек чувствовал их горячее дыхание. Один неверный шаг — и ему конец. Не встать ему больше: свирепые животные растерзают его.

Неужели пробил его последний час?.. Неужели он преодолел столько испытаний, столько трудностей, столько опасностей, чтобы ступить на родную землю — и не оставить там даже своих костей!..

Наконец с первыми проблесками зари впереди показалось озеро Вуртсьярв. Дождь перестал лить, но вся окрестность была подернута туманом. Волки набросились на свою жертву, несчастный отбивался от них рукояткой револьвера. Звери отвечали укусами и ударами когтей.

Вдруг человек наткнулся на какую-то лестницу... К чему прислонена эта лестница?.. Не все ли равно! Лишь бы удалось взобраться вверх по ступенькам — звери не смогут достать его там. Хотя бы временно он будет в безопасности.

Лестница эта спускалась немного наклонно и, удивительное дело, не опиралась на землю, словно была подвешена. В тумане нельзя было разглядеть, где находилась ее верхняя точка опоры.

Беглец ухватился за перекладины и поднялся на нижние ступеньки в ту самую минуту, когда волки с новой яростью бросились на него. Волчьи клыки впились в его сапоги, разрывая кожу.

Между тем лестница трещала под тяжестью человека. Она качалась при каждом его шаге. Неужели она упадет?.. На этот раз звери растерзают его, пожрут его живьем...

Лестница выдержала, и с ловкостью марсового, взбирающегося на ванты, он поднялся на верхние ступеньки.

Здесь выдавался конец какой-то балки — подобие большой ступицы колеса, на которую можно было сесть верхом.

Человек был теперь недосыгаем для волков, которые продолжали прыгать вниз, издавая ужасающий вой.

ГЛАВА 2

СЛАВЯНИН ЗА СЛАВЯНИНА

Беглец временно находился в безопасности. Волки не могут карабкаться по лестнице, как медведи — не менее опасные хищники, которых тоже немало в лифляндских лесах. Лишь бы не пришлось спуститься вниз до того, как наступит рассвет и волки убегут.

Но откуда здесь эта лестница и во что упирается ее верхний конец?

Как уже сказано, она упиралась в ступицу колеса, к которой были прикреплены еще три такие же лестницы. На самом деле это были четыре крыла ветряной мельницы, возвышавшейся на холмике неподалеку от места, где река Эмбах сливается с водами озера. К счастью, в ту минуту, когда беглецу удалось уцепиться за одно из ее крыльев, мельница не работала.

Возможно, с рассветом, если ветер усилится, крылья придут в движение. В таком случае трудно будет удержаться на вращающейся ступице. Да и кроме того, если мельник придет, чтобы натянуть парусину на крыльях и повернуть наружный рычаг, он непременно заметит человека, сидящего верхом на стыке крыльев. Но разве мог беглец спуститься на землю? Волки продолжали осаждать подножие холмика, и их завыванье грозило разбудить обитателей соседних домов...

Оставалось одно: проникнуть на мельницу, скрывать-

ся весь день — если только сам мельник не живет там, что тоже вероятно, а дождавшись вечера, снова пуститься в путь.

Итак, человек дополз до крыши, пробрался к слуховому окну с проходящим через него рычагом, стержень которого свисал до земли. Кровля мельницы, как обычно в этих местах, представляла собой как бы опрокинутую ладью, вернее, своего рода фуражку без козырька. Эта крыша поворачивалась на внутренних катках, которые позволяли устанавливать крылья по направлению ветра. Таким образом основной деревянный корпус мельницы неподвижно стоял на земле, вместо того чтобы вращаться вокруг центрального столба, как это обычно делается в Голландии. На мельницу с противоположных сторон вели две двери.

Добравшись до слухового окна, беглец бесшумно, без особого труда пролез через узкое отверстие. Внутри находился чердак, посреди которого проходил горизонтальный вал, соединенный зубчатыми колесами с вертикальной осью жернова, расположенного в нижнем этаже мельницы.

Тут стояла глубокая тишина, полный мрак. Видно, в этот час внизу никого не было. Крутая лестница, огибая бревенчатую стенку, вела в нижний этаж с земляным полом, построенный прямо на холме. Из предосторожности следовало остаться на чердаке. Сперва поесть, затем поспать — вот две настоятельные потребности, которые беглец должен был удовлетворить не откладывая. Он уничтожил свои последние съестные припасы; при следующем переходе их необходимо возобновить. Где и как?.. Там видно будет.

К половине восьмого туман рассеялся, можно было оглядеть местность, которая окружала мельницу. Какой вид открывался из слухового окна? Справа тянулась рав-

нина, покрытая лужами растаявшего снега. Через эту равнину далеко на запад убегала дорога, устланная плотно пригнанными бревнами, так как она пересекала болото, над которым вились стайки водяных птиц. Слева простиралось озеро, покрытое льдом, за исключением того места, где вытекала река Эмбах. Там и сям, выделяясь среди скелетообразных кленов и ольх, возвышались покрытые темной хвоей сосны и ели. Но прежде всего беглец заметил, что волки, завывания которых он уже с час не слышал, исчезли.

«Отлично, — подумал он. — Однако таможенники и полицейские гораздо опаснее диких зверей!.. Чем ближе к побережью, тем труднее будет заметить следы. А я и без того падаю от усталости... Но прежде чем заснуть, надо все же осмотреться, куда бежать в случае тревоги!»

Дождь перестал. Температура поднялась на несколько градусов, так как ветер потянул с запада. Однако не вздумает ли мельник, воспользовавшись свежим ветром, пустить мельницу в ход?

Из слухового окна, в какой-нибудь полуверсте, виделось несколько разбросанных домиков с покрытыми снегом соломенными крышами, над которыми вздымались тонкие струйки утреннего дыма. Там, должно быть, жил и хозяин мельницы. Надо будет понаблюдать за этими хуторами.

Беглец отважился все же ступить на внутреннюю лестницу и спуститься до стоек, поддерживавших жернов. Внизу стояли мешки с зерном. Стало быть, мельница не заброшена и работает, когда ветер достаточно силен, чтобы приводить в движение ее крылья. Значит, мельник может явиться с минуты на минуту, чтобы поставить их по ветру?

Оставаться при таких условиях в нижнем этаже было бы неосторожно. Лучше вернуться на чердак и поспать

хоть несколько часов. В самом деле, внизу беглецу грозила опасность быть застигнутым врасплох. Обе двери, ведущие на мельницу, запирались лишь на щеколду, и, если дождь снова пойдет, любой прохожий может зайти на мельницу, чтобы укрыться там. Да и ветер свежел. Мельник не замедлит явиться.

Бросив последний взгляд через узкое оконце в стене, путник поднялся по деревянной лестнице, добрался до чердака и, побежденный усталостью, уснул глубоким сном.

Неизвестно, который был час, когда он проснулся... Вероятно, около четырех. День был уже в полном разгаре, однако мельница по-прежнему не работала.

К счастью, подымаясь и расправляя окоченевшие от холода члены, беглец двигался бесшумно. Это избавило его от большой опасности.

В нижнем этаже раздавались голоса. Несколько человек оживленно беседовали внизу. Эти люди вошли сюда за полчаса до того, как он проснулся, и если бы поднялись на чердак, неминуемо нашли бы его.

Беглец боялся шевельнуться. Прильнув ухом к полу, он прислушивался к тому, что говорили внизу.

С первых же слов ему стало ясно, что за люди находились там. Он сразу же понял, какой опасности избегнет, если только ему удастся незаметно покинуть мельницу до или после ухода людей, разговаривающих с мельником.

Это были трое полицейских: унтер-офицер и два его подчиненных.

Русификация должностных лиц Прибалтийских областей в то время только лишь начиналась. Лица германского происхождения устранялись и заменялись славянами. Но среди полицейских было еще много немцев. В их среде выделялся унтер-офицер Эк, склонный про-

являть меньше строгости к своим немецким соотечественникам, чем к русским лифляндцам. Ревностный служака и вдобавок весьма проникательный полицейский, на хорошем счету у начальства, он проявлял настоящее упорство в преследовании преступников, гордясь успехами, с трудом примиряясь с неудачей. В настоящее время он был занят важными розысками и проявлял тем большую энергию и усердие, что дело шло о поимке бегжавшего из Сибири лифляндца русского происхождения...

Пока беглец спал, мельник пришел на мельницу, намереваясь поработать весь день. Около девяти часов ветер показался мельнику благоприятным, и если бы он пустил крылья в ход, шум разбудил бы беглеца. Но заморосил дождик и не дал ветру окрепнуть. Мельник стоял на пороге, когда Эк со своими подчиненными заметил его и завернул на мельницу, чтобы добыть кое-какие сведения. Сейчас говорил Эк:

— Не слышал ли ты, не появлялся вчера у берегов озера человек лет тридцати — тридцати пяти?

— Нет, — ответил мельник. — И двух человек за день не заходит в эту пору на наши хутора... Что это — иностранец?

— Иностранец?.. Нет, здешний, русский из Прибалтийских областей.

— Ах, вот как, русский!.. — повторил мельник.

— Да... Поймать этого негодяя было бы большой честью для меня!

В самом деле, для полицейского беглый арестант всегда негодяй, осужден ли он за политическое или уголовное преступление.

— И вы давно его ловите?.. — спросил мельник.

— Да вот уже сутки — с тех пор как его заметили на границе края.

— А вы знаете, куда он держит путь?.. — продолжал любопытный от природы мельник.

— Сам догадайся, — ответил Эк. — Туда, где он сможет сесть на какое-нибудь судно, как только море освободится ото льда. Скорее в Ревель, чем в Ригу.

Унтер-офицер рассуждал правильно, указывая этот город, древнюю Колывань¹ русских — средоточие морских путей северной части империи. Этот город сообщался с Петербургом железной дорогой, проложенной по побережью Курляндии. Беглецу было выгоднее всего добраться до Ревеля, являющегося морским курортом; а если не до Ревеля, то до ближайшего к нему Балтийска, расположенного у выхода из залива; этот порт в силу своего местоположения ранее других освобождается ото льдов. Правда, Ревель (один из старейших ганзейских городов, населенный на одну треть немцами и на две трети эстонцами — коренными жителями Эстляндии) находился в ста сорока верстах от мельницы, и для того чтобы пройти это расстояние, понадобилось бы совершить четыре долгих перехода.

— Зачем ему идти в Ревель?.. Негодяю гораздо ближе добраться до Пернова!² — заметил мельник.

Действительно, до Пернова пришлось бы пройти лишь около ста верст. Что касается более отдаленной Риги — вдвое дальше Пернова, — то на этой дороге не стоило вести поиски.

Нечего и говорить, что неподвижно лежавший на чердаке беглец, затаив дыхание, напрягая слух, ловил каждое слово. Уж он-то сумеет извлечь из этого пользу.

— Да, — ответил унтер-офицер. — Он может свернуть и в Пернов. Фалленским отрядам уже дано знать, чтобы

¹ Древнерусское название Ревеля (ныне г. Таллин).

² Прежнее название города Пярну.

они вели наблюдение за местностью; а все же сдается мне, что наш беглый направляется в Ревель, где раньше можно сесть на судно.

Таково было мнение майора Вердера, управлявшего в то время лифляндской полицией под начальством полковника Рагенова. Потому-то Эк и получил такие указания.

Если славянин Рагенов не разделял антипатий и симпатий немца майора Вердера, зато последний вполне сходилась во взглядах со своим подчиненным унтер-офицером Эком. Правда, чтобы согласовать точки зрения полковника и Вердера, умерять и сдерживать их пыл, над ними стоял еще генерал Горко, губернатор Прибалтийских областей. Это высокопоставленное лицо руководствовалось указаниями правительства, которые, как уже отмечалось, были направлены к постепенной русификации края.

Беседа продолжалась еще несколько минут. Эк описал приметы беглеца, разосланные различным полицейским отрядам области: роста выше среднего, крепкого телосложения, тридцати пяти лет от роду, с густой белокурой бородой, в толстом коричневом тулупе; так выглядел он, по крайней мере, при переходе границы.

— Значит, человек этот... русский, говорите вы? — снова спросил мельник.

— Да... Русский!

— Так вот, говорю вам, он не показывался на наших хуторах, и ни в одной избе вы ничего о нем не узнаете...

— Тебе известно, — сказал Эк, — что тому, кто предоставит ему убежище, грозит арест и с ним поступят, как с его сообщником?..

— Упаси боже! Я знаю об этом, да и не посмел бы никогда!

— То-то же! Так-то будет лучше, — добавил Эк. — А то тебе пришлось бы иметь дело с майором Вердером.

— Еще бы, уж будьте покойны, господин унтер!..

При этих словах Эк собрался было уйти, повторив, что он и его люди будут продолжать розыски между Перновом и Ревелем и что полицейские патрули получили приказ держать связь между собой.

— Вот и ветер подул с северо-востока, и начинает свежеть. Не помогут ли мне ваши люди установить крылья по ветру? Мне не пришлось бы возвращаться на хутор, и я остался бы здесь на всю ночь.

Эк охотно согласился. Его подчиненные вышли в противоположную дверь и, ухватившись за большой рычаг, повернули кровлю на катках так, что двигатель стал по ветру. Парусина на крыльях натянулась, зубчатые колеса заработали, и мельница стала издавать обычное мерное постукивание: «Тик-так, тик-так...»

Затем унтер-офицер и его подчиненные ушли на северо-запад.

Беглец не пропустил ни слова из их разговора. Он хорошо запомнил, что самые большие опасности подстерегают его в конце этого тяжелого пути. О его появлении в крае все уже оповещены... Полиция обыскивает местность... Отряды действуют сообща, чтобы изловить его... Стоит ли добираться до Ревеля?.. Нет, подумал он. Лучше идти в Пернов, это ближе... С потеплением и Балтийское море, и Финский залив не замедлят вскрыться.

Приняв такое решение, надо было покинуть мельницу, как только стемнеет.

Однако как же это сделать, не привлекая внимания мельника? При установившемся сильном ветре мельница пришла в движение. Мельник пробудет здесь всю ночь. Нечего и думать о том, чтобы спуститься в ниж-

ний этаж и проскользнуть незамеченным в одну из дверей... А нельзя ли вылезть в слуховое окно, добраться до рычага, поворачивающего крышу, и спуститься на землю?..

Такому ловкому и сильному человеку, как он, стоило сделать такую попытку, хотя вал, несущий крылья, уже пришел в движение, и можно было попасть между зубчатых колес. Ему угрожала опасность быть раздавленным, но все же следовало попытаться.

Лишь бы удалось выждать один только час — и уже будет темно. А что, если мельник вздумает подняться на чердак, если ему там что-нибудь понадобится? Есть ли надежда остаться незамеченным?.. Такой надежды нет, если это произойдет засветло, да и если даже стемнеет. Ведь мельник тогда придет с фонарем.

Ну что ж. Если мельник поднимется на чердак и заметит спрятавшегося там человека, тот бросится на него, повалит его на пол, заткнет ему рот. Если мельник будет сопротивляться, если вступит в борьбу, если будет опасность, что крики его могут услышать на хуторах, — тем хуже для него... Нож беглеца заткнет ему глотку. Не для того этот человек проделал такой долгий путь, превозмог столько опасностей, чтобы отступить, чтобы не решиться завоевать себе свободу любой ценой.

И все же он не терял надежды, что ему не придется, расчищая себе путь, прибегнуть к такой крайности, как убийство. Да и зачем мельнику подниматься на чердак?.. Разве не должен он присматривать за быстро вращающимися жерновами, приведенными в действие большими крыльями ветряка?

Прошел час; слышалось мерное постукивание вала, скрежет зубчатых колес, завывание ветра, скрип размалываемого зерна. Сумерки, обычно долгие под этими высокими широтами, начали утопать во тьме. На чердаке

стало совсем темно. Приближались решительные минуты. Путнику предстоял утомительный ночной переход — не менее сорока верст, — и надо было выйти, не мешкая, как только это станет возможно.

Беглец проверил, легко ли скользит в ножнах нож, который он носил на поясе, и заменил в шестизарядном барабане револьвера расстрелянные в схватке с волками патроны.

Оставалась еще одна трудность, к тому же немалая, — пролезть через слуховое окно, не зацепившись за вращающийся вал, конец которого, всаженный в механизм, подходит вплотную к слуховому окну. После этого, держась за выступы крыши, можно будет без особого труда добраться до большого рычага.

Беглец уже пробирался к слуховому окну, как вдруг среди грохота жерновов и зубчатых колес послышался какой-то новый, явственный звук. Это был звук тяжелых шагов, под которыми скрипели ступеньки лестницы. Мельник с фонарем в руке поднимался на чердак.

Он появился в ту самую минуту, когда беглец, напрягши все силы, хотел броситься на него с револьвером в руке.

Но мельник, высунувшись по пояс над полом чердака, быстро сказал:

— Пора уходить, батюшка... не задерживайся... спускайся... дверь открыта.

Пораженный беглец не знал, что ответить. Значит, добрый человек знал, что он здесь? Значит, видел, как он спрятался на мельнице?.. Да, пока он спал, мельник поднялся на чердак, увидел его, но не стал будить. Разве не был беглец таким же русским, как и он сам... Славянин узнает славянина по чертам лица. Мельник догадался, что лифляндская полиция преследует этого человека... За

что... Он не хотел об этом расспрашивать и не хотел выдавать его полицейским.

— Спускайся, — повторил он ласково.

Взволнованный, с бьющимся сердцем, беглец спустился в нижний этаж, где одна из дверей была открыта.

— Вот немного еды, — сказал мельник, наполняя сумку беглеца хлебом и мясом. — Я видел, что она пуста, как и фляга. Наполни ее и ступай...

— Но... если полиция узнает...

— Постарайся сбить ее со следа, а обо мне не беспокойся... Я не спрашиваю тебя, кто ты такой... Знаю лишь, что ты славянин. А славянин никогда не выдаст славянина немцам-полицейским.

— Спасибо тебе... спасибо! — воскликнул беглец.

— Ступай, батюшка!.. Да укажет тебе путь господь, и да простит он тебя, коли есть за что прощать.

Ночь была темная; дорога у подножия холма — совершенно пустынная. Помахав мельнику на прощание рукой, беглец скрылся из виду.

По новому выработанному им маршруту, надо было за ночь дойти до местечка Фаллена, спрятаться в его окрестностях и отдохнуть весь следующий день. Беглец пройдет эти сорок верст... и ему останется только шестьдесят верст до Пернова. Тогда, в два перехода, если его не задержит никакая нежелательная встреча, он прибудет в Пернов одиннадцатого апреля до полуночи. Там он спрячется, пока не добудет достаточно средств, чтобы оплатить проезд на борту какого-нибудь судна. Как только Балтийское море освободится ото льда, много кораблей выйдет в плаванье.

Беглец шел быстро, то по равнине, то по опушке окутанных мраком сосновых и березовых лесов. Иногда приходилось огибать подножие какого-нибудь холма, обходить узкие овраги, пересекать быстрые, наполовину за-

мерзшие речушки, пробираясь через заросли камыша и карабкаясь на прибрежные гранитные скалы. Земля была здесь менее голой, чем возле Чудского озера, где желтая песчаная почва покрыта лишь скудной растительностью. Время от времени попадались заснувшие деревни, лежащие среди ровных и однообразных полей, которые плуг подготовит скоро к посеву гречихи, ржи, льна и конопли.

Становилось заметно теплее. Полурастаявший снег превращался в грязь. Оттепель начиналась рано в этом году.

Около пяти часов утра, не доходя до местечка Фаллена, беглец нашел заброшенную лачугу, в которой, никем не замеченный, он мог приютиться. Провизия, подаренная мельником, подкрепила его силы. Сон довершит остальное. Ничто не потревожило его сна, и в шесть часов вечера он пустился в дальнейший путь. Если в эту ночь с девятого на десятое апреля он покроет половину расстояния в шестьдесят верст, остающихся до Пернова, то это будет предпоследний переход.

Так и произошло. На рассвете беглец вынужден был сделать привал, но на этот раз за неимением лучшего пристанища — в чаще соснового леса в полуверсте от дороги. Это было благоразумнее, чем просить приюта и пищи на какой-нибудь ферме или в корчме. Не всегда встречаются столь гостеприимные хозяева, как мельник с озера.

В тот же день после полудня, укрывшись в зарослях, путник заметил на дороге в Пернов полицейский патруль. Отряд остановился, словно собираясь обыскать сосновый лес. Однако, передохнув немного, полицейские удалились.

В шесть часов вечера беглец снова пустился в путь. Небо было безоблачно. Ярко сияла почти полная луна. В три часа утра путник вышел к левому берегу реки Пер-

новы¹ в пяти верстах от Пернова. Продолжая идти вниз по течению, он скоро должен был достигнуть города, где собирался прожить в какой-нибудь скромной корчме до дня отъезда.

Радости его не было границ, когда он заметил, что ледоход на Пернове уже начался и льдины уносятся в залив. Еще несколько дней, и он покончит с бродячей жизнью, тяжелыми переходами, усталостью и опасностями. Так по крайней мере он надеялся...

Внезапно раздался окрик. Таким же криком встретили его на лифляндской границе на Чудском озере. Этот окрик звучал в его ушах, как немецкое «*Wer da?*».

Только на этот раз кричал не таможенник.

Показался полицейский патруль из четырех человек под начальством унтер-офицера Эка, наблюдавший за дорогами в окрестностях Пернова.

Беглец остановился было на мгновение, затем бросился вниз по круче к реке.

— Это он!.. — заревел один из полицейских.

К несчастью, при ярком свете луны нельзя было скрыться незамеченным. Эк и его люди преследовали беглеца по пятам. Утомленный большим переходом, он не мог бежать с обычной скоростью. Нелегко будет ему обогнать полицейских, которые не натрудили себе, как он, ноги десятичасовой ходьбой.

«Лучше умереть, чем снова попасться им в руки!» — подумал он.

И улучив момент, когда в пяти-шести футах от берега проплывала льдина, он сильным рывком вскочил на нее.

— Стреляйте... стреляйте же! — крикнул Эк полицейским. Раздалось четыре выстрела, но револьверные пули затерялись где-то во льдах.

¹ Ныне река Пяру.

Льдина, уносившая беглеца, плыла со значительной скоростью, так как в начале ледохода течение Перновы довольно быстрое.

Эк и его подчиненные продолжали бежать по берегу. Но на ходу трудно было метко прицелиться по движущимся льдинам. Надо было по примеру преследуемого тоже вскочить на льдину, перепрыгнуть на другую, словом, продолжать погоню по реке.

Полицейские с Эком во главе уже готовы были сделать такую попытку, как вдруг раздался страшный грохот. Река, суживаясь в излучине, круто поворачивала вправо, и льдина беглеца, врезавшись в другие льдины, перевернулась, вздыбилась, снова опрокинулась и исчезла под льдинами, которые, взгромоздясь одна на другую, образовали затор.

Лед стал. Полицейские бросились на ледяное поле и исходили его по всем направлениям; поиски продолжались целый час.

Ни следа беглеца; наверное, он погиб при столкновении льдов.

— Жалко, мы не поймали его... — сказал один из полицейских.

— Еще бы! — ответил унтер-офицер Эк. — Но раз мы не сумели захватить его живым, постараемся добыть его хоть мертвым.

ГЛАВА 3

СЕМЬЯ НИКОЛЕВЫХ

На следующий день после описанного происшествия — 12 апреля — в восьмом часу вечера в столовой одного из домов в предместье Риги, населенном по преимуществу русскими, беседовали три человека, поджидая

четвертого. Скромного вида дом был построен из кирпича, что являлось редкостью на окраине предместья, где дома обычно деревянные. Печь, установленная в глубине столовой, топилась с самого утра, поддерживая температуру в пятнадцать-шестнадцать градусов — вполне достаточную, так как наружный термометр показывал пять или шесть градусов по Цельсию.

Маленькая, прикрытая абажуром керосиновая лампа освещала стол посреди комнаты тусклым светом. На мраморном столике кипел самовар, а чайный прибор был накрыт на четверых. Но четвертый еще не появлялся, хотя и опаздывал уже на сорок минут.

— Дмитрий где-то задержался... — заметил один из гостей, подходя к окну с двойной рамой, выходящему на улицу.

Это был мужчина лет пятидесяти — русский врач Гамин, один из самых верных друзей дома. За двадцать пять лет практики в Риге он составил себе репутацию отличного врача. Пациенты очень его любили за приветливый нрав, а коллеги сильно завидовали ему: всем известно, до какой степени может дойти иногда профессиональная зависть — в России, как и повсюду.

— Да... скоро восемь... — ответил другой гость, бросая взгляд на часы с гирями, висевшие между окнами. — Но господин Николев имеет право на «льготную отсрочку» в четверть часа, как говорят у нас во Франции, а ведь известно, что эти четверть часа обычно больше пятнадцати минут!..

Человек, произнесший эти слова, господин Делапорт, мужчина лет сорока, был французский консул в Риге, живший уже в течение десяти лет в этом городе. Его изысканные манеры, любезность и услужливость снискали ему всеобщее уважение.

— Отец пошел давать урок на другой конец города, —

сказала третья из присутствующих. — Путь долог, да и тяжел в эту непогоду — не то дождь, не то мокрый снег!.. Он придет весь продрогший. Бедный отец!..

— Ничего! — воскликнул доктор. — Печь храпит, как судья во время заседания!.. В столовой тепло... самовар не отстаёт от печки... Чашку-другую чаю — и Дмитрий согрется и снаружи и внутри!.. Не беспокойся, дорогая Илька!.. А если твоему отцу понадобится врач, то он недалеко — и это один из его лучших друзей!..

— Нам это известно, дорогой доктор! — улыбаясь, ответила девушка.

В двадцать четыре года Илька Николева представляла собой чистейшего типа славянскую девушку. Как не похожа она была на других рижанок немецкого происхождения, с их чересчур розовой кожей, чересчур голубыми глазами, чересчур невыразительным взглядом, с их чересчур немецкой апатичностью! Брюнетка, с лицом, играющим красками, и все же не румяным, стройная, Илька отличалась благородными чертами лица, немного сурового, строгость которого, впрочем, смягчал взгляд, на редкость нежный, когда он не был подернут грустью. Серьезная, задумчивая, равнодушная к кокетливым нарядам, — она одевалась просто, со вкусом и являла законченный образец лифляндской девушки русского происхождения.

Илька не была единственным ребенком Дмитрия Николева, овдовевшего десять лет тому назад. Ее брат Иван, которому лишь недавно исполнилось семнадцать лет, заканчивал образование в Дерптском университете. В детские годы Илька заменила ему мать, а со времени ее смерти в какой другой женщине нашел бы он столько преданности, столько доброты, столько самопожертвования? Лишь благодаря проявленным его сестрой чудесам бережливости юный студент был в состоянии продол-

жать учение вне родительского дома, стоившее довольно дорого.

И действительно, единственным источником доходов Дмитрия Николева были уроки, которые он давал у себя на дому или в городе. Его очень ценили как учителя физики и математики, и он был весьма образованным человеком. Все знали, что он не обладал никаким состоянием. Профессия учителя не приносит богатства, а в России еще меньше, чем где-либо. Если бы всеобщее уважение приносило богатство, то Дмитрий Николев был бы миллионером, одним из богатейших людей Риги, так как почтение, которым его окружали, ставило его на видное место среди сограждан — конечно, славян. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет в ожидании возвращения учителя принять участие в разговоре доктора Гамина с консулом. Разговор велся на русском языке, на котором господин Делапорт изъяснялся так же свободно, как образованные русские говорят по-французски.

— Итак, доктор, — говорил последний, — мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии... Эстонские газеты со всем свойственным арийскому языку¹ очарованием предсказывают это!..

— Изменения произойдут постепенно, — ответил доктор, — давно пора отнять у немецких корпораций административную власть и влияние в городской думе! Не правда ли, какая возмутительная нелепость, что немцы управляют политикой наших областей?..

— Но, к несчастью, даже когда их отстранят от управления, — заметила Илька, — они все же останутся все-

¹ Арийские языки — лженаучное название индоевропейской группы языков, к которой относится и эстонский язык.

сильными благодаря власти денег, — ведь почти все земли и все должности принадлежат лишь им?..

— Ну, должности-то можно у них отобрать, — отвечал Делапорт. — Что касается земель, то это будет трудно, вернее сказать, невозможно!.. В одной только Лифляндии немцы владеют большей частью поместий — в их руках по меньшей мере четыреста тысяч гектаров.

И действительно это было так. В Прибалтийских областях почти все дворяне, почетные граждане, мещане и купцы — немецкого происхождения. Правда, местное население, обращенное немцами сперва в католическую, затем в протестантскую веру, так и не удалось онемечить. Эстонцы, родственные финнам, и латыши, почти все земледельцы, отнюдь не скрывают национальной вражды к своим хозяевам, и многие газеты в Ревеле, Дерпте, Петербурге выступают в защиту их прав!

Консул добавил:

— Трудно сказать, кто победит в этой борьбе между лифляндцами немецкого происхождения и лифляндцами славянского происхождения!

— Предоставим действовать императору, — ответил доктор Гамин. — Он-то чистокровный славянин и сумеет обуздать инородные элементы в наших областях.

— Еще удастся ли ему это! Уже семьсот лет, со времени захвата областей, наши крестьяне, наши рабочие сопротивляются напору захватчиков. И что же? Их высылают из страны!

— Отец твой, дорогая Илька, — сказал доктор, — доблестно борется за наше дело!.. Потому-то, по всей справедливости, он и возглавляет славянскую партию...

— При этом он нажил себе грозных врагов... — заметил господин Делапорт.

— И среди них братьев Июхаузенов, — ответил доктор. — Эти богатые банкиры лопнут с досады в тот день,

когда Дмитрий Николев отберет у них бразды правления в рижской городской думе!.. В конечном счете в нашем городе всего лишь каких-нибудь сорок четыре тысячи немцев на двадцать шесть тысяч русских и двадцать четыре тысячи латышей... Славяне в большинстве — и это большинство будет стоять за Николева...

— Мой отец не честолюбив, — ответила Илька. — Лишь бы славяне победили и стали хозяевами в своей стране...

— Они станут ими, Илька, на будущих выборах, — уверенно заявил господин Делапорт, — и если Дмитрий Николев согласится выставить свою кандидатуру...

— Это было бы тяжелым бременем для отца при его скромном достатке, — ответила девушка. — Вы же сами знаете, дорогой доктор, — вопреки статистике Рига в большей степени немецкий город, чем русский!

— Пускай текут воды Двины!.. — воскликнул доктор. — Былые нравы унесутся вниз, новые идеи примчатся с верховьев... И в этот день мой милый Дмитрий будет вознесен!

— Благодарю вас, доктор, и вас также, господин Делапорт, за добрые чувства к моему отцу, но надо остерегаться... Или вы не заметили, что он становится все печальнее с каждым днем! Это меня так беспокоит!

Действительно, друзья Николева тоже подметили это. Казалось, с некоторых пор тяжелые заботы одолевали Дмитрия Николева. Но как человек весьма замкнутый, малообщительный, он не открывался никому, ни своим детям, ни старому верному другу Гамину. В труде, в упорном труде, должно быть, надеясь забыться, находил он спасение. Между тем славянское население Риги видело в нем своего представителя, который возглавит новую городскую думу.

Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтий-

ские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом. В Прибалтийских областях с населением в один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч жителей (из них, в круглых цифрах, в Эстляндии — триста двадцать шесть тысяч, в Лифляндии — один миллион, в Курляндии — шестьсот шестьдесят тысяч) немцы представлены были лишь четырнадцатью тысячами дворян, семью тысячами купцов или почетных граждан и девяноста пятью тысячами мещан. Остальные были евреи. Итого, в общем, немцев было сто пятьдесят пять тысяч. Следовательно, под покровительством губернатора и высших чиновников должно было без труда образоваться славянское большинство. Борьба завязывалась с нынешним большинством в муниципалитете, наиболее влиятельными членами которого были банкиры Июхаузену, призванные играть столь значительную роль в этой драматической истории.

Следует заметить, что в квартале, или, вернее, предместье Риги, где стоял скромный домик Николева, принадлежавший еще его отцу, учитель пользовался всеобщим уважением. Верно и то, что в предместье проживало не менее восьми тысяч русских.

Нам уже известно незавидное имущественное положение Дмитрия Николева. Но на самом деле оно было значительно хуже, чем думали. Не потому ли Ильяка не вышла еще замуж, хотя ей исполнилось уже двадцать четыре года?.. Является ли в Лифляндии бедность препятствием к браку, как в других странах, когда все богатство невесты в красоте, как говорят на Западе, когда приданое девушки заключается лишь в ее добродетели, даже если

она равна ее красоте?.. Нет, в этом провинциальном славянском кругу деньги, возможно, далеко не главное побуждение к заключению брака.

Поэтому неудивительно, что руки Ильки Николевой добивались многие. Удивительно то, что Дмитрий и его дочь отказывались от весьма лестных предложений.

Но для этого была причина. Несколько лет назад Илька стала невестой единственного сына Михаила Янова, славянина, друга Дмитрия Николева. Оба жили в Риге в том же предместье. Сын его Владимир, которому теперь тридцать два года, был талантливым адвокатом. Несмотря на разницу лет, можно сказать, что дети росли вместе. В 1872 году, за четыре года до начала этой повести, брак между Владимиром Яновым и Илькой был уже делом решенным. Молодому адвокату исполнилось двадцать восемь лет, девушке — двадцать. Свадьба должна была состояться в течение того же года.

Однако секрет хранился в обеих семьях так строго, что даже друзья не подозревали о предстоящем браке. И вот им уже готовились объявить об этом, как вдруг все планы внезапно рухнули.

Владимир Янов состоял членом одного из тайных обществ, которые в России вели борьбу против царского самодержавия. Он вовсе не принадлежал к нигилистам, которые в те годы заменили пропаганду идей пропагандой действием. Но недоверчивые и подозрительные русские власти не желают делать никакого различия между теми или иными течениями. Они действуют в административном порядке, без законного судопроизводства, «из необходимости предупредить преступление» — явно классическая формула. Аресты были произведены во многих городах империи, в том числе и в Риге. И Владимира Янова, грубо оторванного от семьи, сослали в Вос-

точную Сибирь в Минусинские копи. Вернется ли он когда-либо?.. Можно ли на это надеяться?..

Это было тяжелым ударом для обеих семей, и все славяне Риги переживали его вместе с ними. Ильку бы это убило, если бы она не почерпнула твердости в своей любви. Полная решимости последовать за женихом, как только ей будет дозволено, она готовилась разделить тяжелую участь сосланного в столь отдаленный край. Но что случилось с Владимиром, куда именно он был сослан, — этого ей до сих пор узнать не удалось, и вот уже четыре года она не имела от него вестей.

Спустя полгода после ареста сына Михаил Янов почувствовал приближение смерти. Он решил превратить все свое имущество в деньги: небольшие деньги — двадцать тысяч рублей кредитными билетами, которые и вручил Дмитрию Николеву, прося сохранить их для его сына.

Николев принял поручение и хранил это в таком секрете, что даже Илька ничего не знала. Деньги лежали у него в целостности и неприкосновенности.

Общеизвестно, что если бы верности суждено было быть изгнанной из этого брэнного мира, то последним ее убежищем стала бы Лифляндия. Здесь еще встречаются такие удивительные женихи и невесты, которые сочетаются браком лишь после двадцати или двадцати пяти лет усердного ухаживания. И в большинстве случаев они ждут так долго потому, что еще не добились соответствующего положения, необходимого для брака.

Что касается Ильки и Владимира, то дело обстояло совершенно иначе. Никакие имущественные соображения не являлись препятствием к их браку. У девушки не было никакого приданого, но она знала, что молодой адвокат и не требовал ничего, не интересуясь даже тем, оставит ли ей что-нибудь в наследство отец. У Владимира

не было недостатка в уме и в таланте, и будущее не пугало его: он был спокоен и за жену, и за себя, и за детей, которые родятся у них.

Владимир отправился в ссылку, но Илька была убеждена, что он не забудет ее, как не забудет его и она. Разве не был их край страной «родственных душ»? Как часто такие души не могут соединиться на земле, если только бог не сжалится над их любовью, но, не отказываясь друг от друга, если им не довелось соединиться в этом мире, они сливаются воедино в вечности.

Илька ждала, всей душой она была там, вместе с сосланным. Она ждала в надежде, что помилование — увы, маловероятное! — вернет ей любимого. Она ждала, что ей разрешат поехать к нему. Она была уже не только невестой — она считала себя его женой. Но если она уедет, что станет с ее отцом, с их домом, где хозяйственные заботы всецело лежали на ней и где благодаря ее привычке к порядку и бережливости все еще сохранился известный достаток?..

Между тем она не знала самого страшного. Никогда Дмитрий Николев не обмолвился ни словом о своих затруднениях, хотя это делало ему только честь. Да и зачем бы ему говорить детям?.. Зачем прибавлять к заботам о настоящем заботы о будущем?.. И без того они успеют узнать, так как срок платежа приближался.

Отец Дмитрия Николева, рижский купец, по смерти оставил свои дела в весьма запутанном состоянии. Банкротство его торгового предприятия дало убыток в двадцать пять тысяч рублей. Не желая допустить, чтобы имя отца было обесчещено, Дмитрий решил покрыть его долги. Превратив все свое имущество в деньги, он сумел выплатить несколько тысяч рублей. Получив отсрочку на остающуюся часть долга и экономя на своем заработке, он ежегодно делал небольшие взносы кредитору. Креди-

тором же его была фирма братьев Иохаузенов. В настоящее время обязательства, взятые им на себя за отца, составляли еще огромную для него сумму в восемнадцать тысяч рублей. И без того отчаянное положение усугублялось тем обстоятельством, что срок платежа наступал через неполных пять недель — 15 мая.

Мог ли Дмитрий Николев рассчитывать, что братья Иохаузены дадут ему отсрочку, что они согласятся переписать долговое обязательство?.. Нет! Его кредитором был не только банкир, не только деловой человек — это был политический враг. В подготовлявшемся антинемецком движении общественное мнение сделало их соперниками. Благодаря этому долговому обязательству, этому взносу — последнему, но самому значительному, — глава банкирского дома, Франк Иохаузен, держал его в руках.

Он будет безжалостен.

Беседа доктора, консула и Ильки продолжалась еще с полчаса. Девушка все больше беспокоилась по поводу опоздания отца, как вдруг тот появился на пороге столовой.

Несмотря на то что Дмитрию Николеву было не более сорока семи лет, он казался на десять лет старше. Роста он был выше среднего, крепкого телосложения, с седеющей бородой и довольно суровым лицом, со лбом, изборожденным морщинами, омраченным горькими раздумьями и тяжелыми заботами; во всяком случае, таково было впечатление, которое он производил. Однако с молодых лет у него сохранился покоряющий взгляд, глубокий и проникновенный голос — голос, который, по выражению Жан-Жака, находит отзвук в сердце.

Дмитрий Николев снял промокшее под дождем пальто, бросил шляпу на кресло, затем, подойдя к дочери, поцеловал ее в лоб и пожал руки друзьям.

— Ты запоздал, отец... — сказала Илька.

— Меня задержали, — ответил Дмитрий. — Урок затянулся...

— Давайте же пить чай... — предложила молодая девушка.

— Если только ты не слишком устал, Дмитрий, — заметил доктор Гамин. — Не стесняйся... Твой вид мне не нравится... Тебе необходимо отдохнуть...

— Да, — ответил Николев, — но ничего... Сон восстановит мои силы... Давайте пить чай, друзья... И так уж я вас задержал. А потом, если позволите, я пораньше лягу спать...

— Что с тобой, отец?.. — спросила Илька, пристально глядя ему в глаза.

— Ничего, детка, уверяю тебя, — ничего. Если будешь так беспокоиться, то Гамин в конце концов откроет у меня какую-нибудь мнимую болезнь, лишь бы поправить меня ради своего удовольствия!

— Это такого рода болезни, от которых не излечиваются!.. — ответил, качая головой, доктор.

— Вы не узнали ничего нового, господин Николев?.. — спросил консул.

— Ничего... если не считать, что генерал-губернатор Горко, который ездил в Петербург, вернулся в Ригу.

— Вот это хорошо! — воскликнул доктор. — Вряд ли его возвращение доставит удовольствие Июхаузенам, на них там смотрят не очень-то благожелательно.

Дмитрий Николев еще сильнее нахмурился. Ведь это имя напоминало ему о неизбежном платеже, отдававшем его на милость немецкого банкира!

Самовар вскипел, и Илька наполнила чашки. Чай был хорошего качества, хотя и не стоил сто пятьдесят франков за фунт, как в богатых домах. В этой стране имеется чай всех сортов — к счастью, так как это наибо-

лее распространенный напиток, подлинный русский напиток, который потребляют даже бедняки.

К столу были поданы булочки с маслом, которые девушка пекла сама.

Трое друзей беседовали еще с полчаса; разговор шел о настроениях рижан. Впрочем, такие же настроения были распространены и в других больших городах Прибалтийских областей. Борьба между немецким и славянским населением захватила даже самых равнодушных людей. Можно было предвидеть, что по мере усиления политической активности завяжется жаркая борьба, в особенности в Риге, где народности эти сталкивались более непосредственно.

Явно чем-то озабоченный, Дмитрий почти не принимал участия в беседе, хотя речь часто шла и о нем. Мысли его, как говорится, витали где-то далеко... Где?.. Никто, кроме него, не мог бы этого сказать. Но когда к нему обращались с вопросом, он давал лишь уклончивые ответы, не удовлетворявшие доктора.

— Послушай, Дмитрий, — повторял он, — у тебя такой вид, словно ты где-то далеко в Курляндии, а ведь мы в Риге!.. Или, может быть, ты решил устраниваться от борьбы?.. Общественное мнение за тебя, власти за тебя... Неужели ты хочешь снова обеспечить успех Иохоузенам?..

Опять это имя, звучавшее как тяжелый удар молота для несчастного должника богатого банкирского дома!

— Они значительно могущественнее, чем ты полагаешь, Гамин, — отвечал Дмитрий.

— Но значительно менее могущественны, чем они утверждают, и скоро это станет ясно всем, — возразил доктор.

Часы пробили половину девятого. Пора было уходить. Доктор и господин Делапорт поднялись, чтобы попрощаться с хозяевами. На дворе разыгралась непогода.

Дождь хлестал в окна. Ветер завывал на перекрестках улиц и, врываясь в трубу, гнал дым обратно в печку.

— Ну и бушует... — сказал консул.

— В такую погоду и врача не выгонишь на улицу!.. — объявил доктор. — Ну что ж, пойдёмте, Делапорт, предлагаю вам место в моей коляске. В двуногой коляске без колес!

По давнему обыкновению доктор поцеловал Ильку. Гости дружески пожали руку Дмитрию Николеву, который проводил их до порога, после чего оба скрылись во мраке бушующей непогоды.

Илька подошла к отцу, чтобы поцеловать его перед сном, и Дмитрий Николев обнял ее как будто нежнее, чем обычно.

— Кстати, отец, — сказала она, — я что-то не вижу твоей газеты... Почтальон не принес ее, что ли?..

— Принес, детка. Я встретил его вечером, когда возвращался, у самого дома...

— Письма не было? — спросила Илька...

— Нет, дочка, не было.

Ежедневно уже в течение четырех лет всегда так: писем не приходило, во всяком случае письма из Сибири, письма с подписью Владимира Янова, которое Илька могла бы оросить слезами.

— Спокойной ночи, отец... — сказала она.

— Спокойной ночи, детка.

ГЛАВА 4

В ПОЧТОВОЙ КАРЕТЕ

В то время, к которому относится наш рассказ, совершить поездку по обширным равнинам Прибалтийских областей можно было только двумя способами, если

только путник не расположен был передвигаться пешком или верхом. Из железных дорог существовала лишь одна, которая тянулась вдоль Финского залива и обслуживала эстляндское побережье. За исключением Ревеля, связанного с Петербургом, другие две столицы края (Рига — столица Лифляндии и Митава — столица Курляндии) не были соединены железной дорогой со столицей Российской империи.

Итак, к услугам путешественников не было никаких способов передвижения, кроме почтовой кареты или телеги.

Известно, что собой представляет телега — низкая повозка из досок, связанных веревками, без единого гвоздя, без железных скреп; сиденьем служит мешок, набитый корой, или попросту поклажа, — да еще следует из предосторожности привязаться ремнем, дабы избежать падений, весьма частых на ухабистых дорогах.

Почтовая карета менее примитивна. Это уже не повозка, а коляска, правда, не слишком удобная, но хотя бы укрывающая от дождя и ветра. В карете только четыре места; та, что поддерживала сообщение между Ригой и Ревелем, ходила лишь два раза в неделю.

Само собой понятно, что ни почтовая карета, ни телега, ни какая-либо другая колесная повозка не могла разезжать зимой по этим обледенелым дорогам. Карету с успехом заменяли розвальни — тяжелые сани на полозьях, быстро увлекаемые упряжкой лошадей по белым степям Прибалтийского края.

Утром 13 апреля почтовая карета, отправлявшаяся в Ревель, поджидала единственного пассажира, взявшего билет еще с вечера. Он явился в назначенное время. Это был добродушный, улыбающийся весельчак лет пятидесяти. Поверх куртки грубого сукна на нем был толстый

непромокаемый плащ, под мышкой он бережно нес сумку.

— Так это ты, Пох, взял место в карете?.. — обратился к нему кондуктор, когда он вошел в помещение почтовой станции.

— Я самый, Брокс.

— Вот как, телега тебе не подходит!.. Подавай тебе хорошую карету да тройку лошадей...

— И хорошего кондуктора, как ты, дружище...

— Ишь ты, батюшка, вижу, что ты денег не жалеешь!..

— Нет, не жалею, особенно когда не я плачу!

— А кто же?

— Хозяин... Господин Франк Иохаузен.

— Еще бы! — воскликнул кондуктор. — Этот, кабы захотел, мог бы нанять и целую карету...

— Верно, Брокс, но я взял лишь одно место, пускай у меня будут попутчики! Не так скучно в дороге...

— Эх, бедняга Пох, придется тебе на этот раз обойтись без них. Не часто это бывает, но сегодня так случилось... Ни одно место не продано, кроме твоего...

— Как... никто с нами не едет?..

— Никто, и если какой-нибудь пешеход не сядет в дороге, тебе придется болтать только со мной... Ну, да не стесняйся!.. Ты ведь знаешь, я не прочь перекинуться словечком, другим...

— Я тоже, Брокс.

— А куда ты едешь?..

— До конечной станции, в Ревель, к клиенту господ Иохаузену.

И, подмигнув, Пох указал глазами на зажатую под мышкой сумку, привязанную медной цепочкой к его поясу.

— Эй, эй, батюшка, — сказал Брокс, — незачем болтать об этом!.. Ведь мы уже не одни.

И в самом деле, в комнату вошел пассажир, который мог бы заметить выразительный взгляд артельщика.

Пассажир этот, видимо, старался не быть узнанным. Он кутался в дорожный плащ, прикрывая часть лица капюшоном.

Подойдя к кондуктору, он спросил:

— Есть еще свободные места в карете?

— Целых три, — ответил Брокс.

— Одного хватит.

— Вам до Ревеля?..

— Да... до Ревеля, — немного замявшись, ответил неизвестный.

С этими словами он заплатил бумажными рублями за билет до конечной станции на расстоянии двухсот сорока верст и затем коротко спросил:

— Когда тронемся?..

— Через десять минут.

— Где будем к вечеру?..

— В Пернове, если ветер не помешает. В такую непогоду никогда нельзя ручаться...

— А разве можно опасаться опоздания?.. — спросил банковский артельщик.

— Да вот небо мне не нравится!.. — ответил Брокс. — Тучи мчатся так стремительно... Добро бы еще только дождь!.. Но если повалит снег...

— Послушай, Брокс, не скупись на водку ямщику, и завтра вечером мы будем в Ревеле...

— Надо надеяться! Обычно я езжу не дольше тридцати шести часов.

— Ну, так в путь, — сказал Пох, — незачем мешкать!

— Вот и лошадей запрягли, — ответил Брокс, — ждать

больше некого... Стаканчик на дорогу, Пох?.. Шнапс или водка?..

— Шнапс, — ответил банковский артельщик.

Они пошли в ближайший кабачок, сделав знак ямщику следовать за ними. Несколько минут спустя они вернулись к карете, в которой неизвестный пассажир уже занял свое место. Пох уселся рядом с ним, и карета тронулась.

Лошади упряжки были не намного выше ослов, косматые, рыжей масти и такие тощие, что виден был каждый мускул. Но неслись они лихо. Достаточно было по-свиста ямщика, чтобы они не сбавляли шага.

Пох уже много лет служил в банкирском доме братьев Иохаузен. Поступив в банк еще мальчиком, он покинул бы его только по старости. Он пользовался полным доверием своих хозяев, и ему часто поручали отвозить клиентам банка в Ревеле, Пернове, Митаве или Дерпте значительные суммы, которые не решались доверять почте. На этот раз он вез с собой пятнадцать тысяч рублей государственными кредитными билетами стоимостью в сто французских франков, то есть пачку в четыреста билетов, бережно спрятанную в сумку. Он должен был вручить эти деньги клиенту банкирского дома в Ревеле и затем вернуться в Ригу.

Не без причины торопился он так с возвращением. Что это была за причина?.. Об этом мы узнаем из его разговора с Броксом.

Ямщик, широко, по русскому обыкновению, расставив руки, державшие вожжи, быстро гнал лошадей. Выбравшись из северного предместья города, он выехал на большую дорогу, пролегавшую среди полей. В окрестностях Риги много возделанных полей. Пахота должна была скоро начаться. Но в десяти-двенадцати верстах от города расстилались необозримые бескрайние просторы сте-

пей, однообразие которых — за отсутствием каких-либо возвышенностей, редких в Прибалтийском крае, — нарушалось лишь кое-где зеленеющими хвойными лесами.

В самом деле, как уже заметил Брокс, вид неба не предвещал ничего хорошего. По мере того как солнце поднималось над горизонтом, ветер все усиливался и свирепел. К счастью, он дул с юго-запада.

Почти через каждые двадцать верст встречались станции, где перепрягали лошадей и одновременно меняли ямщиков. Такое сравнительно удобное устройство обеспечивало путешественникам довольно равномерную и быструю езду.

С самого начала поездки Пох с досадой заметил, что нечего и надеяться завязать беседу с попутчиком.

Надвинув на голову капюшон, совершенно закутав лицо, незнакомец спал, уткнувшись в угол, или делал вид, что спит. Все попытки артельщика вступить с ним в разговор не привели ни к чему.

Тогда от природы говорливому артельщику пришлось завести беседу с Броксом, сидевшим под кожаным верхом на козлах рядом с ямщиком. А так как кондуктор любил поболтать не меньше артельщика, то языки развязались. Опустив окошечко, закрывавшее передок кареты, легко было вести беседу.

— Так ты уверен, Брокс, — уже в четвертый раз со времени отъезда спросил Пох, — так ты уверен, что мы будем завтра вечером в Ревеле?..

— Да, Пох, если только непогода не задержит нас и можно будет ехать ночью.

— А через сутки карета тронется из Ревеля в обратный путь?..

— Да, через сутки, — ответил Брокс. — Так положено по расписанию.

— Ты, что ли, отвезешь меня в Ригу?..

— Я, Пох.

— Клянусь святым Михаилом, хотелось бы мне уже быть дома... вместе с тобой, конечно!

— Вместе со мной, Пох?.. Ты очень любезен!.. Но почему такая спешка?..

— Потому что я хочу пригласить тебя, Брокс.

— Меня?

— Тебя. И если ты любишь хорошо выпить и закусить в приятной компании — это должно прийти тебе по душе.

— Вот как! — удивился Брокс, облизываясь. — Кто же сам себе враг, кто же этого не любит? Речь идет об обеде?..

— Лучше, чем об обеде! Это будет настоящий свадебный пир.

— Свадебный?.. — воскликнул кондуктор. — А с чего бы это вдруг меня пригласили на свадебный пир?..

— Потому что ты лично знаком с женихом.

— С женихом?..

— И с невестой тоже!

— Ну, коли так, — ответил Брокс, — я принимаю приглашение, даже не зная, кто эти будущие супруги.

— Сейчас узнаешь.

— погоди, Пох, хочу сказать тебе заранее, что это прекрасные люди.

— Еще бы... прекрасные люди. Ведь это я — жених.

— Ты, Пох?!

— Да, я. А невеста — моя милая Зинаида Паренцова.

— О, прекрасная женщина!.. Правду говоря, не ожидал я этого...

— Тебя это удивляет?..

— Нет, что ты! Вы составите славную пару, хотя тебе и стукнуло пятьдесят, Пох...

— Да, а Зинаиде сорок пять, Брокс. Ничего не поделаешь, наше счастье будет короче, вот и все! Эх, дружище, любишь-то — по своей воле, а женишься — когда возможно. Мне было двадцать пять лет, когда я полюбил Зинаиду, а ей двадцать. Но у нас обоих вместе не было и ста рублей! Пришлось подождать, пока я сколотил небольшой капиталец, да и она, со своей стороны, накопила подходящее приданое. Мы порешили объединить наши сбережения... И вот теперь деньги у нас в кармане. Ведь в Лифляндии бедные люди чаще всего так поступают!.. Оттого, что ждешь много лет, только крепче любишь, да и за будущее нечего опасаться.

— Твоя правда, Пох.

— У меня теперь хорошее место в банке Иохазуэнов — пятьсот рублей в год. После свадьбы братья обещают мне прибавку. Да и Зинаида зарабатывает столько же. Вот мы и богаты... по-своему, конечно!.. Правда, у нас нет и четверти того, что у меня сейчас в сумке...

Пох запнулся, бросив подозрительный взгляд на неподвижно сидящего спутника, который, казалось, спал в своем углу. Никак он сболтнул лишнее!..

— Так-то, Брокс. По-своему богаты! — повторил он. — Поэтому, думается мне, Зинаиде лучше всего на наши сбережения купить мелочную лавочку!.. Кстати, в гавани продается как раз такая...

— Ну, а я обещаю посылать тебе много покупателей, дружище Пох! — воскликнул кондуктор.

— Спасибо, Брокс, заранее спасибо! Я от тебя другого и не ожидал. Зато какое место я тебе приготовил на пиру!

— Какое?

— Недалеко от новобрачной. Увидишь, как Зинаида еще будет красива в подвенечном платье, с миртовым венком на голове, с ожерельем на шее — подарком госпожи Иохазуэн.

— Верю тебе, Пох, верю!.. Такая хорошая женщина не может не быть красивой. Когда же торжество?

— Через четыре дня, Брокс, шестнадцатого числа... Вот почему я и говорю: поторопи ямщиков. За стаканчиком-другим — не постою!.. Пусть хорошенько погоняют лошадей!.. Ведь твоя карета везет жениха, нельзя же, чтобы он чересчур состарился в дороге.

— Еще бы! Зинаида отказалась бы тогда от тебя!.. — смеясь, ответил веселый кондуктор.

— Эх, какая это замечательная женщина! Будь я на двадцать лет старше, она и тогда пошла бы за меня!

Задушевный разговор банковского артельщика с приятелем Броксом, смена лошадей, подкрепляемая каждый раз стаканчиком шнапса, делали свое дело, и путешественники быстро и незаметно оставляли за собой перегон за перегонем. Никогда рижская почтовая карета не катила с такой скоростью.

Пейзаж не менялся. Все те же необъятные равнины, откуда летом доносится крепкий запах конопли. Дороги, проложенные большей частью телегами и повозками, держались неважно. Иногда приходилось ехать опушкой леса. Попадались все те же древесные породы: клен, ольха, береза и стонущие под порывами ветра ели. На дороге и в полях встречалось мало людей. Суровая на этих широтах зима только-только кончалась. Благодаря понуканиям Брокса карета неслась, нигде не задерживаясь, от села к селу, от деревни к деревне, от станции к станции. Опоздания не предвиделось. От ветра тоже большой беды не было, так как он дул в спину.

Когда меняли лошадей, банковский артельщик и кондуктор выходили поразмяться, но незнакомец ни разу не покидал своего места. Он только пользовался случаем, чтобы выглянуть наружу из дверцы кареты.

— Не больно он поворотлив, наш спутник! — твердил Пох.

— Да, и не больно-то разговорчив!.. — ответил Брокс.

— Не знаешь ли ты, кто это?

— Нет... Я даже не разглядел, какого цвета его борода!

— Придется ему все же открыть лицо, когда в полдень будем обедать на станции...

— Быть может, он такой же едок, как и говорун! — возразил Брокс.

Сколько жалких деревушек повстречали они по дороге, прежде чем достигли села, где карета должна была остановиться в обеденный час. Сколько захудалых хижин, ветхих бедных лачуг с покосившимися ставнями, с зияющими щелями, куда врвался суровый зимний ветер, промелькнуло по пути! А между тем лифляндские крестьяне — крепкий народ: мужчины с жесткими всклокоченными волосами, женщины в лохмотьях, босые дети с перепачканными руками и ногами, как у беспризорного скота. Несчастные мужики! Летом они страдают в своих лачугах от жары, зимой — от холода и в любое время от дождя и от снега. Что же сказать о их пище? Черный хлеб с мякиной, слегка смоченный конопляным маслом, ячменная и овсяная похлебка и лишь изредка кусочек сала или солонины! Что за жизнь! Но они привыкли к ней и не знают, что такое роптать. Да и что толку роптать?..

В час пополудни во время остановки путешественники нашли довольно приличную харчевню, где им подали сытный обед: суп из молочного поросенка, огурцы, плавающие в миске с рассолом, большие краюхи так называемого «кислого» черного хлеба (о белом хлебе нечего было и мечтать), кусок семги, выловленной в водах Двины, свежее сало с овощами, икру, имбирь, хрен и столь необычное на вкус брусничное варенье. Все это запива-

лось чаем, который течет здесь в таком изобилии, что его хватило бы на целую прибалтийскую реку. Словом, прекрасный обед, который привел Брокса и Поха на весь день в благодушное настроение.

Что касается другого пассажира, то обед, казалось, не изменил его угрюмого нрава. Он велел подать себе отдельно в темном углу харчевни и лишь чуть-чуть приподнял капюшон, так что можно было заметить клочок седящей бороды. Напрасно банковский артельщик и кондуктор пытались его разглядеть. Поел он поспешно, ничем не запивая, и задолго до остальных вернулся на свое место в карете.

Поведение незнакомца возбуждало любопытство его спутников, в особенности Поха, весьма раздосадованного тем, что ему не удалось выжать из этого молчальника ни одного слова.

— Мы так и не узнаем, кто этот человек?.. — спросил Пох.

— Я тебе скажу, кто он, — ответил Брокс.

— Ты его знаешь?

— Да! Это пассажир, заплативший за проезд, с меня и этого достаточно.

Еще не было двух, когда тронулись снова в путь, и карета быстро покатила по дороге.

— Эй, вы, голубчики! Вперед, ласточки! — ласково прикрикнул ямщик, и под шелканье его кнута лошади помчались во всю прыть.

Должно быть, запас новостей Поха истощился, так как беседа его с кондуктором становилась все более вялой. Да и отяжелел он, видно, после плотного обеда. Голова его была затуманена парами водки, и он вскоре начал клевать носом, как говорят о человеке, одолеваемом сном, когда голова его болтается из стороны в сторону. Не прошло и четверти часа, как Пох погрузился в глубо-

кий сон. Должно быть, в грезах ему являлся милый образ Зинаиды Паренцовой.

Между тем погода ухудшалась. Тучи опускались все ниже к земле. Карета к этому времени въехала на болотистую равнину, весьма мало пригодную для прокладки проезжей дороги. По зыбкой земле струились многочисленные ручейки, которыми изборождена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось устлать дорогу кое-как обтесанными бревнами. Проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей, как старое железо.

В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. Из предосторожности он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно.

В пять часов вечера небо заволочло тучами, и стало темнеть. Чтобы не сбиться с дороги, еле видной среди болот, ямщик должен был напрячь все свое внимание. Лошади, не чувствуя твердой почвы под копытами, фыркали и шарахались во все стороны.

— Шагом, шагом, ничего не поделаешь!.. — повторял Брокс. — Лучше прибыть в Пернов на час позже, чем застрячь в пути...

— На час позже!.. — воскликнул разбуженный постоянными толчками Пох.

— Так-то лучше будет! — ответил ямщик, принужденный то и дело слезать с облучка, чтобы вести лошадей под уздцы.

Незнакомый пассажир зашевелился, поднял голову и

начал вглядываться в темноту через стекло в дверцах кареты. Но мрак так сгустился, что ничего не было видно. Фонари кареты отбрасывали снопы лучей, но они едва-едва пробивались сквозь эту тьму.

— Где мы?.. — спросил Пох.

— В двадцати верстах от Пернова, — отвечал Брокс. — Как доедем до станции, думаю, придется остаться там до утра...

— Черт побери непогоду, из-за нее мы запоздаем на двенадцать часов! — воскликнул банковский артельщик.

Они продолжали продвигаться вперед. Иногда яростный порыв ветра толкал карету и, бросая ее на упряжку, грозил опрокинуть. Лошади поднимались на дыбы, падали. Положение становилось все трудней и трудней. Пох и Брокс поговаривали уже, не отправиться ли им в Пернов пешком. Вероятно, это было бы разумнее всего и предотвратило бы несчастный случай.

Спутник же их, видимо, вовсе не собирался покидать карету. Даже флегматичный англичанин не проявил бы большего безразличия к происходящему. Не для того же, чтобы идти пешком, заплатил он за место в почтовой карете, и почтовая карета обязана была довезти его до места назначения.

В половине седьмого вечера, в самый разгар урагана, карету внезапно потрянуло от страшного толчка. Переднее колесо застряло в колее, лошади рванулись под ударом кнута, и колесо треснуло.

Карета резко накренилась и, потеряв опору, опрокинулась на левый бок.

Раздались крики. Пох повредил ногу, но помнил лишь о своей драгоценной сумке, прикрепленной цепочкой к поясу. Сумка была при нем, и, с трудом вылезая из кареты, он еще крепче зажал ее под мышкой.

Брокс и незнакомый пассажир отделались незначи-

тельными ушибами, ямщик, едва выбравшись из-под кареты, бросился к лошадям.

Местность была пустынной — кругом широкая равнина и слева лес.

— Что нам делать?.. — воскликнул Пох.

— Карета не может ехать дальше, — ответил Брокс.

Незнакомец не произнес ни слова.

— Можешь ты дойти пешком до Пернова?.. — спросил Брокс банковского артельщика.

— Пройти пятнадцать верст... с вывихнутой ногой!.. — воскликнул Пох.

— Ну, а... верхом?..

— Верхом?.. Не проеду и двух шагов, свалюсь с лошади!

Оставалось лишь найти приют в какой-нибудь ближайшей корчме и провести там ночь. Пока Пох и незнакомый пассажир будут отдыхать, Брокс с ямщиком выпрягут лошадей и верхом поспешат добраться до Пернова, а на следующий день привезут мастера для починки кареты.

Если бы банковский артельщик не имел при себе такой крупной суммы, то, вероятно, он нашел бы этот совет превосходным... Но с пятнадцатью тысячами рублей в сумке...

Да и есть ли в этой пустынной местности поблизости ферма, корчма или трактир, где путешественники могли бы найти пристанище до утра?.. Вот вопрос, который прежде всего задал Пох.

— Да... вон там... по всей вероятности! — ответил незнакомый пассажир.

Он указал рукой на слабый огонек, мерцавший в двухстах шагах влево на опушке смутно видневшегося во мраке леса. Но был ли это свет от фонаря корчмы или от костра дровосека?..

На этот вопрос ямщик ответил:

— Это трактир Крофа.

— Трактир Крофа?.. — переспросил Пох.

— Да... трактир «Сломанный крест».

— Ну что ж, — сказал Брокс, обращаясь к своим спутникам, — если вы согласны переночевать в этой корчме, то завтра, ранним утром, мы приедем за вами.

Предложение, видимо, пришлось незнакомцу по вкусу. В сущности, это был лучший выход в их положении. Погода все ухудшалась, дождь вот-вот польет как из ведра. Ямщику и кондуктору придется туго, прежде чем они доберутся верхом до Пернова.

— Ладно, — сказал Пох, которому поврежденная нога причиняла боль. — Хорошенько выплусь ночью, а к утру буду готов продолжать путь. Рассчитываю на тебя, Брокс...

— Я вернусь вовремя! — ответил кондуктор.

Ямщик выпряг лошадей. Опрокинутую на бок карету пришлось бросить без присмотра, но вряд ли в такую ночь какая-нибудь карета или повозка проедет по этой дороге.

Простившись с приятелем, Пох, волоча ногу, заковылял к лесу, где светился огонек, указывающий на близость корчмы.

Видя, что банковский артельщик передвигается с трудом, незнакомец предложил ему опереться на его руку. Пох с благодарностью принял предложение. Спутник оказывался общительнее, чем это можно было предположить по его поведению в карете, по пути из Риги.

Они благополучно прошли двести шагов, отделявших их от дома у большой дороги.

Над дверью корчмы висел фонарь с керосиновой лампочкой. На углу дома возвышался длинный шест, служивший днем для привлечения путников. Изнутри через

ставни пробивался свет, слышались голоса и звон стаканов. Над главным входом красовалась грубо намалеванная вывеска, и при свете фонаря можно было прочесть слова: «Трактир «Сломанный крест».

ГЛАВА 5

ТРАКТИР «СЛОМАННЫЙ КРЕСТ»

Название трактира «Сломанный крест» пояснял рисунок цвета бычачьей крови, намалеванный на щипце крыши. Этот рисунок изображал поломанный у основания и опрокинутый наземь шестиконечный русский крест — вероятнее всего, воспоминание о каком-то кошунстве иконоборцев — предание седой старины.

Содержал харчевню некий Кроф, славянин по происхождению¹, вдовец лет сорока — сорока пяти. Еще отец его владел этой корчмой, расположенной в пустынной местности у большой дороги из Риги в Пернов. На две или три версты в окружности не было поблизости ни одного дома, ни одного поселка. Корчма стояла совершенно уединенно.

Посетителями, постояльцами или завсегдатаями были лишь редкие путники, вынужденные задержаться в дороге, дюжина крестьян, возделывавших близлежащие поля, да несколько дровосеков и угольщиков, работавших в окрестных лесах.

Как шли у трактирщика дела?.. Неизвестно. Так или иначе, он никогда не жаловался, да и вообще не очень-то склонен был говорить о своих барышах. Трактир существовал лет тридцать. Прежний хозяин, отец, — контрабан-

¹ В дальнейшем Жюль Верн говорит, что Кроф немец, но православной веры.

дист и браконьер, — нажил, наверное, немало. Теперь хозяином был сын. Умники в округе уверяли, что в корчме «Сломанный крест» накоплено много денег. Но кому какое до этого дело!

Малообщительный от природы, Кроф вел весьма замкнутый образ жизни и почти не отлучался из трактира, лишь изредка появляясь в Пернове. Когда не было посетителей, — которых он за неимением прислуги обслуживал сам, — Кроф копался в своем огороде. Это был крепкий, краснолицый, бородатый человек, с густыми волосами и дерзким взглядом. Он никогда ни о чем не расспрашивал и на вопросы отвечал неохотно.

Дом, позади которого находился огород, был одноэтажный, дверь главного входа — одностворчатая. Войдя, посетитель сразу попадал в большую комнату, освещенную окном в глубине. Справа и слева помещались две комнаты окнами на дорогу. Спальня самого Крофа находилась в пристройке позади дома и выходила на огород.

Прочные двери и ставни трактира запирались изнутри крепкими крюками и засовами. Трактирщик закрывал их с наступлением сумерек, так как вокруг было не безопасно. Тем не менее корчма оставалась открытой до десяти часов вечера. К приходу наших путешественников там находился десяток захмелевших от водки и шнапса посетителей.

Огород площадью в полгектара, окруженный живой изгородью, прилегал к еловому лесу, подступавшему к самой дороге. В огороде Кроф не без выгоды выращивал овощи, которыми снабжал корчму. Что касается фруктовых деревьев, то там росли без всякого ухода тощие вишни да яблони, на которых поспевали хорошие яблоки, и несколько кустов распространенной в Лифляндии малины, приносившей ароматные, яркого цвета ягоды.

За столом в этот вечер собралось трое или четверо

крестьян да столько же дровосеков из соседних деревень. По пути домой, на свои хутора, расположенные в трех-четыре верстах от места работы, шнапс — по две копейки за шкалик — соблазнял их завернуть в трактир. Ночевать в «Сломанном кресте» ни один из них не оставался. Впрочем, и путешественники редко останавливались здесь на ночь. Но ямщики и возницы телег или почтовых карет охотно заворачивали в трактир перед последним перегоном на пути в Пернов.

Кроме обычных посетителей, в этот вечер в харчевне находилось еще два человека. Эти двое сидели в стороне и пытливо вглядывались в лица присутствующих. То был унтер-офицер Эк и один из его подчиненных. После безуспешной погони за беглецом по берегу Перновы они не теряли связи с отрядами, ведшими надзор за деревнями и хуторами северной части области, а сами продолжали розыски в прилегающей к трактиру местности, где согласно полученным сообщениям скрывалось несколько преступников.

Эк был весьма недоволен оборотом последнего порученного ему дела. Во время ледохода на реке Пернове они не нашли даже трупа беглеца, которого собирались захватить живым и доставить майору Вердеру. Это было большим ударом по самолюбию Эка.

Сейчас унтер-офицер говорил своему спутнику:

— Должно быть, этот негодяй утонул...

— Наверняка утонул, — отвечал полицейский.

— Вот и врешь, не наверняка, ведь вещественных доказательств-то нет!.. Впрочем, если бы мы и выудили мертвеца, — не посылать же его обратно в Сибирь в таком виде!.. Нет! Надо было взять его живьем, наша неудача особой честью полиции не делает!

— Нам больше повезет в другой раз, господин Эк, —

отвечал полицейский, воспринимавший по-философски всегда возможные в его профессии случайности.

Унтер-офицер с нескрываемой досадой отрицательно покачал головой.

Ветер к этому времени разбушевался со страшной силой. Входная дверь сотрясалась под его напором, грозя сорваться с петель. Большая печь, то как бы заглохнув, переставала пылать, то снова полыхала, подобно горну. Слышно было, как трещат деревья в еловом лесу. Ветер швырял обломанные ветки на крышу трактира, угрожая проломить ее.

— Вот буря и поработала за дровосеков!.. — сказал один из крестьян. — Им останется лишь собирать вязанки...

— Да и для контрабандистов и разбойников погода как нельзя лучше! — заметил полицейский.

— Да, нельзя лучше... — подтвердил Эк. — Но это не причина, чтобы дать им волю!.. Какая-то шайка, видимо, орудует в этой местности... Из Тарварты сообщают о грабеже, в Каркусе совершено покушение на убийство!.. Право же, дорога между Ригой и Перновом больше не безопасна... Преступления все чаще, а преступники почти всегда скрываются... Да и чем они рискуют, если их схватят?.. Работать на соляных коях в Сибири?.. Не очень-то это их пугает... Вот в прежние времена, когда им предстояло поплясать на виселичной веревке, это заставляло задуматься!.. Но виселицы сломаны, как крест на трактире почтеннейшего Крофа...

— Скоро опять будут вешать! — уверенно заявил полицейский.

— Давно пора, — ответил Эк.

Как мог полицейский чин примириться с мыслью, что смертная казнь, остававшаяся в силе для политических, была отменена для уголовных преступников? Это

было выше его понимания, да и понимания многих лучших умов, ничего общего с полицией не имеющих.

— Пойдем, — сказал Эк, готовясь к уходу. — Меня ждет начальник пятого отряда в Пернове, тут уж не отговоришься непогодой!

Но прежде чем встать, он постучал по столу. Кроф тотчас же подошел к ним.

— Сколько с меня, Кроф? — спросил Эк, вынимая из кармана несколько мелких монет.

— Сами знаете, господин унтер-офицер, — отвечал трактирщик. — Одна цена для всех...

— Даже для тех завсегдатаев, которые заведомо знают, что ты не спросишь у них ни паспорта, ни имени?..

— Я в полиции не служу! — отрезал Кроф.

— То-то и есть! Если бы все трактирщики состояли в полиции — было бы намного спокойнее! — возразил унтер-офицер. — Смотри, Кроф, как бы в один прекрасный день не прикрыли твою корчму... если ты не перестанешь пускать контрабандистов, а может быть, и еще кого почище!..

— Я подаю водку всем, кто платит, — возразил трактирщик, — а куда потом гость идет и откуда он явился, знать не знаю.

— Ладно, Кроф, не прикидывайся глухим, не то береги уши!.. А пока доброй ночи. И до свидания!

Унтер-офицер Эк встал, заплатил трактирщику и вместе с полицейским направился к двери. Остальные посетители последовали их примеру, — в такую непогоду никому не хотелось засиживаться в трактире «Сломанный крест».

В эту минуту дверь распахнулась, и ветер быстро хлопнул ее снова.

В корчму вошли два путника; один из них поддерживал другого, который прихрамывал.

Это были Пох и его попутчик, задержавшиеся на большой дороге из-за поломки кареты.

Незнакомец по-прежнему кутался в плащ, низко надвинув на лоб капюшон, так что лица не было видно.

Он первый обратился к трактирщику:

— Наша карета сломалась в двухстах шагах отсюда... Ямщик и кондуктор отправились верхом в Пернов; они заедут за нами завтра утром... Найдутся у вас две комнаты на эту ночь?..

— Найдутся, — ответил Кроф.

— Одна из них для меня, — добавил Пох. — С хорошей кроватью, по возможности...

— Ладно, — ответил Кроф. — Вы, кажется, ранены?..

— Повредил ногу, — пояснил Пох. — Пустяки, пройдет.

— Я возьму другую комнату, — сказал незнакомец.

В то время как он говорил, Эку показалось, что он узнает этот голос.

«Вот так так, — подумал он, — побожился бы, что это...»

Он не был вполне уверен, но чутье полицейского подсказало ему, что нужно убедиться, не ошибся ли он.

Между тем Пох уселся за стол, положив рядом сумку, по-прежнему прикрепленную цепочкой к поясу.

— Комната... это хорошо... — сказал он, обращаясь к Крофу, — но больная нога не мешает закусить, а я голоден.

— Я подам вам ужин, — ответил корчмарь.

— И как можно скорее! — воскликнул Пох.

Унтер-офицер подошел к нему.

— Право, я очень рад, господин Пох, что вы отделались так легко... — сказал он.

— Ба! Да это господин Эк!.. Добрый день, или, вернее, добрый вечер! — воскликнул банковский артельщик.

- Добрый вечер, господин Пох!
- Вы здесь по служебным делам?..
- Как видите. Вы говорите, пустяковая рана?
- К завтраму и след пройдет!

Кроф подал на стол хлеб, холодное сало и чайную чашку. Затем, обращаясь к незнакомцу, спросил:

— А вам что прикажете?..

— Я не голоден, — ответил незнакомец. — Проводите меня в мою комнату... Хочу поскорее лечь. Возможно, я не дожусь возвращения кондуктора и выйду из трактира завтра в четыре часа утра...

— Как угодно, — ответил трактирщик.

Он проводил путешественника в спальню, расположенную в конце дома, слева от общей комнаты; артельщику он отвел комнату справа.

Пока незнакомец разговаривал с трактирщиком, капюшон его слегка съехал набок, и наблюдавший за ним унтер-офицер увидел часть лица. Полицейскому этого было достаточно.

— Ну да, это он, — пробормотал Эк. — Интересно, почему он хочет уйти в такую рань, не дожидаясь кареты?

Право же, самые естественные вещи кажутся всегда подозрительными полицейским чинам!

«Куда это он так торопится?..» — подумал Эк — вопрос, на который путешественник, наверное, бы не ответил. Впрочем, незнакомец, казалось, и не заметил, что унтер-офицер упорно разглядывал его и, очевидно, узнал. Он удалился в отведенную ему Крофом комнату.

Эк снова подошел к Поху, который ужинал с большим аппетитом.

— Этот пассажир ехал с вами в карете?.. — спросил он.

— Да... господин Эк, но я не мог выжать из него ни слова.

— Не знаете ли, куда он едет?..

— Не знаю. Он сел в карету в Риге и, думаю, направляется в Ревель. Будь здесь Брокс, он сумел бы вам сказать.

— О! Да это не важно, — ответил унтер-офицер.

Кроф слушал этот разговор с безразличным видом трактирщика, которому и дела нет до того, кто его гости. Он переходил с места на место, прощаясь с уходившими крестьянами и дровосеками. Между тем унтер-офицер не спешил уходить. Он старался побольше выудить от болтливого Поха, который, впрочем, всегда рад был поговорить.

— Так вы едете в Пернов?.. — спросил Эк.

— Нет, в Ревель, господин Эк.

— По поручению господина Йохаузена?..

— Да, по его поручению, — ответил Пох, невольным движением придвинув к себе сумку, лежавшую на столе.

— Эта поломка кареты задержит вас по крайней мере на полсуток.

— Не больше полсуток. И если Брокс вернется, как обещал, завтра утром, то через четыре дня я буду снова в Риге... и обвенчаюсь...

— С этой милой Зинаидой Паренцовой?.. О! Знаю...

— Еще бы... Вам ведь все известно!

— Нет, не все. Вот и не знаю, куда направляется ваш попутчик... Надо думать, что в Пернов, раз он, не дожидаясь вас, уходит завтра в такую рань...

— Возможно, — отвечал Пох, — и если мы не увидимся, скатертью дорога! Но скажите, господин Эк, вы остаетесь на ночь в этой корчме?..

— Нет, Пох, меня ждут в Пернове. Я сейчас же уйду... А вам желаю после сытного ужина уснуть крепким сном... И не забывайте о вашей сумке!..

— Она срослась со мной, как уши с головой! — добродушно засмеялся банковский артельщик.

— Пошли! — сказал унтер-офицер своему подчиненному. — И застегнись на все пуговицы, а то ветер пронизывает до мозга костей. Доброй ночи, Пох!

— Доброй ночи, господин Эк!

Полицейские вышли, и Кроф запер за ними дверь сначала на внутренний засов, а потом двойным поворотом ключа, который он затем вынул из замка.

Едва ли в такой поздний час какой-нибудь путник попросит пристанища в «Сломанном кресте». И так уже редкость, что два постояльца одновременно занимают на ночь обе комнаты. Не произойди несчастного случая с почтовой каретой, Кроф, как обычно, остался бы один в своем уединенном трактире.

Между тем Пох поужинал с большим аппетитом, поел и выпил в меру, ровно столько, чтобы подкрепиться. После обильной трапезы хорошая постель окончательно восстановит его силы.

Кроф не шел спать, дожидаясь, пока гость уйдет к себе в комнату. Он стоял у печки. Ветер временами выдувал из трубы дым, и он наполнял комнату, смешиваясь с теплыми испарениями.

В таких случаях Кроф ухитрялся гнать его обратно, размахивая салфеткой, складки которой, расправляясь, издавали звук, подобный шелканью кнута.

Сальная свеча, укрепленная на столе, качалась и мигала, и тени окружающих предметов плясали в ее мерцающем свете.

Снаружи бушевал ветер. Можно было подумать, что кто-то стучится в ставни.

— Разве вы не слышите? Стучат!.. — удивился Пох, когда дверь затряслась так, будто действительно кто-то стучался.

— Это только кажется, — ответил корчмарь, — нико-

го нет... Я привык к этому... И не такие еще бури разыгрываются зимой...

— И то верно, — заметил Пох, — кроме разбойников да полицейских, кому охота бродить на дворе в такую ночь...

— Вот именно — кому охота!

Было около девяти часов. Банковский артельщик встал, сунув сумку под мышку, взял зажженную свечу, которую ему подал Кроф, и направился в свою комнату.

Трактирщик нес в руке фонарь, чтобы не остаться впотьмах, когда дверь закроется за Похом.

— Вы еще не ложитесь спать?.. — спросил гость перед тем, как войти в комнату.

— Как же!.. — ответил Кроф. — Но сначала я сделаю, как обычно, небольшой обход...

— По дому и саду?..

— Да, по хозяйству. Посмотрю, все ли куры сидят на насесте. А то, бывает, утром одной, другой и недосчитаться...

— Так-так! Наверно, лисицы?.. — заметил Пох.

— Лисицы, да и волки. Этому проклятому зверью ничего не стоит перескочить через изгородь!.. Окно моей комнаты выходит на огород, вот я и пользуюсь каждым случаем угостить их зарядом свинца!.. Так что услышите выстрел — не пугайтесь...

— Э! Если я усну так же крепко, как мне хочется спать, то меня и пушкой не разбудишь! — воскликнул Пох. — Кстати, я никуда не спешу... Если мой спутник торопится расстаться с постелью, это его дело!.. Не будите меня, пока совсем не рассветет... успею еще встать, пока Брокс, вернувшись из Пернова, починит карету...

— Ладно, — ответил корчмарь. — Никто вас не разбудит. А когда тот постоялец будет уходить, я позабочусь, чтобы шум не помешал вам спать.

Подавляя зевоту, усталый Пох вошел в свою комнату и запер за собой дверь на ключ.

Кроф остался один в едва освещенной фонарем большой комнате. Подойдя к столу, он убрал прибор банковского артельщика и поставил на место тарелки, чашку и чайник. Трактирщик был человек порядка и не любил откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Покончив с уборкой, Кроф подошел к двери, выходящей на огород, и отворил ее.

С северо-западной стороны дома ветер не так буйствовал. Выходившая сюда пристройка находилась как бы под защитой, но за углом буря продолжала яростно бушевать. Трактирщик не счел нужным подставлять себя под его удары. Достаточно будет бросить взгляд в сторону курятника.

На огороде как будто все в порядке. Не видно никаких мелькающих теней — ни волков, ни лисиц.

Кроф посветил фонарем во все стороны и, не заметив ничего подозрительного, снова вернулся в корчму.

Следовало позаботиться и о печке. Чтобы она не захла, корчмарь подбросил в нее несколько кусков торфа. Покончив с этим и оглядев в последний раз комнату, Кроф отправился к себе.

Дверь, находившаяся почти рядом с дверью на огород, вела в пристройку, где была расположена спальня трактирщика. Комната эта таким образом примыкала к той, в которой Пох спал уже глубоким сном.

Держа фонарь в руке, Кроф вошел к себе, и большая комната корчмы погрузилась в полный мрак.

Еще две-три минуты, пока он раздевался, можно было слышать шаги трактирщика. Раздавшийся затем скрип кровати указывал на то, что он улегся.

И несмотря на бушевавшую на дворе непогоду, не-

смотря на дождь, на завывание бури в лесу, где ветер срывал верхушки елей, — спустя несколько минут все в корчме погрузилось в сон

Незадолго до четырех Кроф встал, зажег фонарь и вошел в большую комнату трактира.

Почти одновременно вышел из своей спальни и незнакомец.

Он был уже одет и, как накануне, надвинув капюшон на голову, кутался в дорожный плащ.

— Уже собрались?.. — спросил Кроф.

— Уже, — ответил незнакомец, держа наготове две три рублевые бумажки. — Сколько с меня за ночлег?..

— Один рубль, — ответил корчмарь.

— Вот вам рубль, и отоприте, пожалуйста...

— Сейчас, — произнес Кроф, при свете фонаря проверяя врученную ему бумажку.

Трактирщик направился было к двери, вытащив из кармана большой ключ, как вдруг остановился и спросил:

— Вы не хотите перекусить на дорогу?..

— Нет, ничего не хочу.

— Может, рюмку водки или шнапса?

— Говорю вам, не хочу! Отоприте скорее, я тороплюсь.

— Что ж, как угодно...

Кроф вытащил деревянные засовы, которыми дверь запиралась изнутри, и вставил ключ в замочную скважину. Скрипнул замок.

На дворе было еще совсем темно. Дождь перестал, но ветер не унимался. Земля была устлана сорванными ветками.

Незнакомец надвинул поглубже капюшон, запахнул дорожный плащ и, не произнеся ни слова, стремительно

вышел. Сделав несколько шагов, он скрылся во мраке ночи. Путник зашагал по большой дороге по направлению к Пернову, а Кроф запер дверь и снова задвинул засовы.

ГЛАВА 6**СЛАВЯНЕ И НЕМЦЫ**

Первый чай с бутербродами в столовой братьев Иохоузенов подавали ровно в девять часов утра. Точность — «вплоть до десятых долей», как они сами любили говорить, — была одним из основных качеств этих богатых банкиров. Они отличались пунктуальностью как в обыденной жизни, так и в делах, — причиталось ли им получить с кого-нибудь или платить самим. Старший из братьев, Франк Иохоузен, настойчиво требовал, чтобы завтракали, обедали, ужинали, вставали и ложились спать вовремя — по-военному. Да, кажется, и часы, отведенные на проявление чувств и на развлечения, были строго распределены, наподобие счетов в гроссбухе их банкирского дома — одного из крупнейших в Риге.

И вот в это утро в положенное время самовар не был подан. Почему? Виной была леность лакея Транкеля, специально приставленного к этому делу, — в чем он сам и признался.

Так получилось, что, когда Франк Иохоузен и его брат, госпожа Иохоузен и ее дочь Маргарита вошли в столовую, чай не был заварен, и его нельзя было разлить по расставленным на столе чашкам.

Как известно, богатые немцы Прибалтийского края безо всякого основания кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, осталась патриар-

хальной, к слугам относятся, как к чадам. Поэтому-то, надо полагать, их и наставляют по-отечески поркой.

— Транкель, почему чай еще не подан?.. — спросил Франк Иохоузен.

— Простите, барин, — жалобно ответил Транкель, — но я забыл...

— Это уже не в первый раз, Транкель, и боюсь, что и не в последний, — возразил банкир.

Госпожа Иохоузен и ее деверь, одобрительно закивав головами, подошли к большой кафельной печке, которую, к своему счастью, лакей не забыл разжечь, как самовар.

Транкель потупился и ничего не отвечал. Да! С его стороны это уже не первое нарушение аккуратности, столь любезной братьям Иохоузенам.

Банкир вынул из кармана книжку с отрывными листками, написал несколько строк карандашом и вручил листок Транкелю со словами:

— Отнеси это по адресу и подожди ответа.

Транкель, видимо, уже знал, куда надо доставить записку и каков будет ответ получателя. Не произнеся ни слова, он поклонился, поцеловал барину руку и пошел к двери, чтобы отправиться в полицейский участок.

Записка содержала всего несколько слов:

«Дать двадцать пять розог моему слуге Транкелю.

Франк Иохоузен».

В тот момент, когда слуга выходил, банкир бросил ему вдогонку:

— Не забудь принести квитанцию.

Транкель ни в коем случае не забыл бы об этом. В самом деле, квитанция позволяла банкиру уплатить кому

следовало за «отпущенные» розги в соответствии с тарифом, установленным полицейским полковником.

Вот какие порядки существовали и, может быть, существуют до сих пор в Курляндии, Эстляндии, Лифляндии и, вероятно, во многих других областях московской империи.

Скажем несколько слов о семье Июхаузенов.

Известно, какую значительную роль играет в России чиновничество. Над всеми тяготеет «чин», или табель о рангах — лестница в четырнадцать ступеней, которую должны преодолеть от самого малого чина до чина тайного советника все государственные служащие.

Но в России есть и высшие слои, ничего общего не имеющие с чиновничеством. К этим слоям принадлежит в Прибалтийских областях в первую очередь дворянство, пользующееся большим весом и подлинной властью. Дворянство немецкого происхождения, более древнее, чем русская знать, сохранило ряд привилегий, в том числе право жаловать грамотами, которыми не пренебрегают даже члены царствующего дома.

Кроме дворянства, существует буржуазия, играющая не меньшую, а иногда и более значительную роль в областном и городском управлении. Буржуазия, как и дворянство, почти вся немецкого происхождения. К ней принадлежат купцы, почетные граждане и, ступенькой ниже, простые мещане. Сюда относятся банкиры, судовладельцы, ремесленники, купцы, которые, в зависимости от гильдии, платят тот или иной налог, что позволяет им вести торговлю с границей. Высший слой буржуазии отличается образованностью, трудолюбием, гостеприимством, строгой нравственностью и честностью. К первым представителям этого класса молва с полным основанием причисляла семью Июхаузен. Фирма же их пользовалась в России и за границей большим кредитом.

Коренное население Прибалтийских областей находится в зависимости от этих привилегированных слоев. Оно состоит из крестьян, пахарей, оседлых земледельцев. Прозябающих в бедности латышских крестьян по меньшей мере миллион. Они говорят на своем древнем славянском диалекте, тогда как немецкий остается языком горожан. Хотя эти крестьяне уже не крепостные, но с ними поступают не лучше. Иногда их насильно женят, чтобы увеличить количество семей, которых помещики вправе облагать податями.

Вполне понятно поэтому, что русский император решил изменить это плачевное положение вещей. Правительство стремилось приобщить славянское население к областному и городскому управлению. Это вызвало упорную борьбу, страшные последствия которой мы увидим в этой повести.

Главным директором банкирского дома являлся старший из братьев — Франк Иохоузен. Младший — был холост. Старший, в возрасте сорока пяти лет, женился на немке из Франкфурта и был отцом двух детей: сына Карла, которому шел девятнадцатый год, и двенадцатилетней дочери. Карл в то время заканчивал образование в Дерптском университете, где учился и сын Дмитрия Николева.

Следует напомнить, что Рига, основанная еще в тринадцатом веке, в большей степени немецкий, чем русский город. Самая архитектура домов с высокими крышами и ступенчатыми фронтонами, выходящими на улицу, говорит об этом. Правда, некоторые здания своими причудливыми формами и позолоченными куполами напоминают строения византийского стиля.

Рига теперь больше не крепость. Центром ее является площадь Ратуши, по одну сторону которой расположено восхитительное здание ратуши, увенчанное высокой ко-

локольней с круглыми куполами; где заседает городская дума, по другую сторону — старинный дом Черноголовых. Это здание, оштетинившееся остроконечными колоколенками, на которых вращаются жалобно скрипящие флюгера, не столько радует глаз, сколько производит странное впечатление.

На этой-то площади и стоит дом банкиров Июхаузенов. Это довольно красивое здание современной архитектуры. Банкирская контора помещается в первом этаже; приемные апартаменты братьев Июхаузенов — во втором. Таким образом банк находится в центре торгового квартала и благодаря размаху своей деятельности и широким связям пользуется большим и даже решающим влиянием на городские дела.

В семье Июхаузен царит согласие и полное взаимопонимание. Старший брат руководит всей деятельностью фирмы. На младшем лежит забота о внутреннем порядке и счетоводство.

Госпожа Июхаузен весьма заурядная женщина, типичная немка. Со славянами она держится чрезвычайно надменно. Рижское дворянство хорошо относится к ней, и это только поощряет ее врожденную чванливость.

Итак, семья Июхаузен занимала одно из первых мест в среде высшей городской буржуазии, а также и в финансовом мире края. Но и вне Прибалтийских областей — в Волжске-Камском, в Учетном и в Международном банках в Петербурге — фирма пользовалась исключительным кредитом. Если бы братья Июхаузен ликвидировали свои дела, то явились бы обладателями одного из крупнейших состояний Прибалтийского края.

Франк Июхаузен заседал в городской думе и был одним из самых влиятельных ее гласных. С непреклонным упорством защищал он всегда привилегии своей касты. Его превозносили и им восхищались как глашатаем идей,

укоренившихся в высших классах еще со времен завоевания Лифляндии. А следовательно, стремление правительства сломить упорство выходцев германской крови и русифицировать край было направлено и против него, затрагивало и его лично.

Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средствам. Он был тверд, но справедлив. Ему претили жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт.

Во главе полиции стоял полковник Рагенов — чистокровный русский. Этот высокий чиновник не обладал гибкостью своего начальника и был склонен видеть врага во всяком лифляндце, эстляндце или курляндце не славянской крови. Человек лет пятидесяти, смелый, решительный, непреклонный полицейский служака, он ни перед чем не останавливался, и губернатору с трудом удавалось умерять его пыл. Рагенов был готов сокрушить любое препятствие, имей он свободу действий, тогда как следовало, скорее, не сокрушать, а ослаблять влияние немцев.

Пусть не вызовет удивления, что нам понадобилось подробно охарактеризовать этих лиц. Хотя это и не персонажи первого плана, все же они играют немаловажную роль в этой судебной драме, которая благодаря политическим страстям и национальной розни наделала столько шума в Прибалтийском крае.

Следующим после полковника лицом по департаменту полиции, достойным нашего внимания, являлся майор Вердер — непосредственный подчиненный и прямая противоположность Рагенова. Майор был чисто немец-

кого происхождения и в исполнение своих обязанностей вносил свойственное немцам чрезмерное усердие. Майор стоял за немцев, как полковник за славян. Он яростно преследовал русских и покровительствовал германцам. И если бы не вмешательство генерала Горко с его разумной умеренностью, то, несмотря на разницу в чинах, между полковником и майором нередко вспыхивали бы ссоры.

Следует также заметить, что майору Вердеру весьма ревностно помогал унтер-офицер Эк, который уже появлялся в начале нашей повести во время преследования беглого из сибирских копей. Рвение Эка отнюдь не нуждалось в подстегивании. Он всегда был готов выполнить свои служебные обязанности и старался даже больше, чем ему полагалось, в особенности когда преследовал славянина. Братья Июхаузены, которым он оказал ряд личных услуг — услуг, щедро вознагражденных у окошечка кассира банка, — тоже весьма ценили его.

Теперь все обстоятельства выяснены и можно представить себе, в какой обстановке должны были столкнуться противники на выборах в городскую думу. Против Франка Июхаузена, полного решимости не уступить своего места, правительство, а также простой народ, — чьи избирательные права были теперь сильно расширены новым законом об избирательном цензе, — выставляли кандидатуру Дмитрия Николева.

Участие в борьбе на выборах простого домашнего учителя без состояния и общественного положения, противопоставление его могущественному банкиру, представителю высшей буржуазии и высокомерного дворянства, служило весьма важным признаком для людей проницательных. Разве не предвещало это в ближайшем будущем изменения политических условий в крае в ущерб тем

слоям, в чьих руках сосредоточивалась административная власть и управление городскими делами?

Тем не менее братья Июхаузены не теряли надежды одержать победу, во всяком случае над своим непосредственным противником. Они рассчитывали погубить в зародыше растущую популярность Дмитрия Николева. Не пройдет и шести недель, как станет явным, что несостоятельный должник, осужденный судом, — который после распродажи имущества с торгов будет выброшен на улицу, разорен, оставлен без крова, — не может быть гласным думы.

Как мы уже знаем, через полтора месяца, 15 июля, истек срок векселя, выданного Дмитрием Николевым банкирскому дому Июхаузенов в обеспечение долга своего отца. Речь шла о восемнадцати тысячах рублей — сумме огромной для бедного учителя математики. Сможет ли он ее уплатить?.. Июхаузены были убеждены, что ему не удастся произвести платеж, который освободил бы его от всех долгов. Лишь с большим трудом Николев сделал предыдущие взносы, а с этого времени его материальное положение вряд ли улучшилось. Нет! Он окажется не в состоянии погасить свой долг банку. Если он придет просить отсрочку, Июхаузены не пощадят его. Они расправятся не только с должником — они погубят политического противника.

Братья Июхаузены и не подозревали, что неожиданное, невероятное стечение обстоятельств будет способствовать выполнению их планов. Будь в их распоряжении небесные громы и молнии, и тогда они не смогли бы столь своевременно и смертельно поразить своего популярного соперника, как это само собой случилось.

Между тем, подчиняясь приказанию барина, Транкель спешил — возможно, слово это здесь не подходит, — итак, он спешил выполнить его поручение. Пону-

рив голову, неуверенным шагом он отправился знакомой дорогой в полицейский участок. Покинув дом банкиров и оставив слева рижский замок с желтыми стенами — резиденцию генерал-губернатора края, он прошелся между палатками рынка, где торгуют всякой всячиной: разным хламом, безделушками, ветошью, образками и кухонной посудой; затем, для бодрости, он раскошелился на чашку горячего чая с водкой, которым бойко торгуют разносчики, со вздохом покосился на молоденьких прачек, пересек ряд улиц, где повстречал везущих тележки каторжников, за которыми наблюдал надзиратель. С почтением посмотрел он на этих несчастных, которых нисколько не порочит суровый приговор к каторжным работам за какие-нибудь незначительные провинности, и, наконец, приплелся в полицейский участок.

Здесь слугу Иохаузенов приняли как старого знакомого. Навстречу ему протянулись руки полицейских, и он ответил каждому дружеским пожатием.

— Эге, вот и Транкель! — воскликнул один из полицейских. — Что-то давненько тебя не было видно, никак с полгода?..

— Нет, не так уж давно! — отвечал Транкель.

— А кто тебя прислал?..

— Барин, господин Иохаузен послал.

— Так, так... И ты, конечно, хочешь говорить с майором Вердером?

— Если возможно.

— Он как раз прибыл, Транкель. Если тебя не затруднит пройти к нему, он будет рад принять тебя.

Весьма гордый оказанным ему приемом, Транкель направился к майору. Он тихонько постучал в дверь кабинета и, получив короткий ответ, вошел.

Майор сидел за столом и листал пачку бумаг. Подняв на вошедшего глаза, он сказал:

— А, это ты, Транкель?..

— Я самый, господин майор.

— И ты пришел, чтобы...

— Меня послал господин Иохаузен.

— Серьезный случай?..

— Самовар не мог раздуть нынче утром...

— Должно быть, ты забыл его разжечь?.. — усмехнулся майор.

— Все может быть.

— И сколько тебе причитается?

— Вот бумага.

И Транкель вручил майору записку, которую ему дал хозяин.

— О! Какая-то мелочишка, — сказал майор, пробежав записку.

— Гм, гм! — кашлянул Транкель.

— Всего лишь двадцать пять плетей!

Само собой разумеется, Транкель предпочел бы отделаться дюжиной.

— Ну что же, — сказал майор, — сейчас выдадим тебе сполна, не заставим ждать. — И он подозвал одного из своих подчиненных.

Полицейский вошел и вытянулся по-военному.

— Двадцать пять плетей, — приказал майор, — и полегче... как другу. Вот если бы это был славянин! Ступай раздевайся, Транкель. Когда покончишь с этим, приходи за квитанцией...

— Спасибо, господин майор!

Транкель вышел из кабинета майора и проследовал за полицейским в комнату, где должна была состояться экзекуция.

С ним обойдутся как с другом, как с завсегдашним участком, жаловаться не приходится.

Транкель обнажил верхнюю часть туловища, согнулся и подставил спину. Полицейский взмахнул плетью.

Но в ту самую минуту, когда он собирался нанести первый из двадцати пяти ударов, у входа в участок внезапно поднялась суматоха.

Какой-то запыхавшийся от быстрого бега человек неистово кричал:

— Майор Вердер!.. Майор Вердер!

Плеть, занесенная над спиной Транкеля, повисла в воздухе — полицейский выглянул в дверь, чтобы узнать причину шума.

Столь же любопытному Транкелю не оставалось ничего другого, как тоже выглянуть.

На шум вышел из своего кабинета и майор Вердер.

— Что здесь происходит? — спросил он.

Человек приблизился к нему, поднес руку к козырьку фуражки и вручил ему телеграмму, сказав: «Совершенно преступление...»

— Когда?.. — спросил майор.

— Нынче ночью.

— Какое преступление?..

— Убийство...

— Где?..

— На дороге в Пернов, в трактире «Сломанный крест»...

— Кого убили?..

— Артельщика банка Иохаузенов!

— Как!.. Беднягу Поха? — воскликнул Транкель. — Мой друг Пох убит?..

— Цель преступления?.. — спросил майор.

— Ограбление. В комнате, где был убит Пох, найдена его пустая сумка.

— Что было в ней?..

— Не знаю, господин майор. Но это можно узнать в банке.

Телеграмма из Пернова содержала те же сведения.

Обратившись к полицейским, майор Вердер приказал:

— Ты... ступай предупреди следователя Керсдорфа...

— Слушаюсь, господин майор!

— Ты... беги к доктору Гамину...

— Слушаюсь, господин майор!..

— Да скажите обоим, чтобы немедленно шли в банк Иохаузенев. Я их там буду ждать.

Полицейские поспешно выбежали из участка, а несколько минут спустя майор Вердер шагал уже по направлению к банку Иохаузенев.

Вот как случилось, что в суматохе, вызванной известием об убийстве, Транкель так и не получил причитавшихся ему за упущение по службе двадцати пяти плетей.

ГЛАВА 7

РАССЛЕДОВАНИЕ

Спустя два часа после описанного происшествия по дороге в Пернов мчался экипаж — не телега, не почтовая карета, а дорожный экипаж Франка Иохаузена, запряженный тройкой почтовых, которых сменяли на каждой станции. Несмотря на быструю езду, было мало надежды прибыть раньше ночи в трактир «Сломанный крест». Поэтому путешественники решили остановиться в пути, за один перегон от места назначения, и рано утром добратсья до корчмы.

В карете ехали банкир, майор Вердер, доктор Гамин, призванный установить причину смерти Поха, следователь Керсдорф, которому было поручено расследовать

это дело, и судебный писарь. Задние места в карете заняли двое полицейских.

Скажем несколько слов о следователе Керсдорфе, поскольку другие персонажи уже известны читателю и появлялись в ходе нашего повествования.

Следователю было лет около пятидесяти. Коллеги весьма ценили его, и он справедливо пользовался всеобщим уважением: можно было только восхищаться проницательностью и тонкостью, которые он проявлял при расследовании преступлений. Человек испытанной честности, он не поддавался ничьему влиянию, никакому давлению, откуда бы оно ни исходило. Политика никогда не диктовала ему решений. Этот человек был олицетворением закона. Малообщительный, замкнутый, он мало говорил и много думал.

В предстоящем следствии сталкивались противоположные флюиды, как говорят физики, которые вряд ли удалось бы согласовать, если в дело вмешалась бы политика. Ведь с одной стороны выступали банкир Иохаузен и майор Вердер — оба немецкого происхождения, а с другой — славянин доктор Гамин. Следователя Керсдорфа, единственного из всех, не обуревали бушевавшие тогда в Прибалтийском крае страсти, порожденные национальной рознью.

В пути беседу поддерживали — да и то лишь временами — только банкир и майор.

Франк Иохаузен не скрывал глубокого сожаления по поводу смерти бедняги Поха. Он чрезвычайно ценил своего артельщика — человека исключительной честности и беззаветной преданности, служившего в банке уже многие годы.

— Бедняжка Зинаида! — вздохнул он. — Как велико будет ее горе, когда она узнает об убийстве жениха!..

Да, на днях должна была состояться в Риге их свадь-

ба, но банковского артельщика вместо церкви отвезут на кладбище!

Что касается майора, то, хотя участь несчастной жертвы и не оставляла его равнодушным, все же мысль о поимке убийцы заботила его гораздо больше. До расследования на месте преступления, до ознакомления с обстоятельствами, при которых произошло убийство, ничего нельзя еще сказать. Возможно, найдутся какие-нибудь улики, какой-нибудь след, по которому можно будет направить поиски. В сущности, майор Вердер склонен был приписывать убийство одному из разбойников, которыми кишела в то время часть Лифляндии. Поэтому он надеялся, что отряды полиции, ведущие розыск в окрестностях, изловят убийцу.

Задача доктора Гамина ограничивалась освидетельствованием трупа Поха, установлением причин его смерти. Только после этого он выскажет свое мнение. Сейчас он был озабочен, вернее, обеспокоен, совсем другим. В самом деле, накануне вечером, как обычно зайдя к учителю, он не застал его дома. От Ильки он узнал, что отец ее уехал. В этот день Николев, даже не повидавшись с дочерью перед отъездом, сообщил ей в записке, что на два-три дня уезжает из Риги. Куда он едет?.. Никаких объяснений на этот счет он не дал. Была ли эта поездка задумана им уже с вечера?.. Наверное, так как никаких писем после вчерашнего возвращения домой он не получал. А между тем накануне он ничего не сообщил о своем замысле ни дочери, ни доктору, ни консулу. Не показался ли он им особенно озабоченным в тот вечер? Пожалуй. Но разве спросишь у столь замкнутого человека, чем он встревожен? Верно лишь то, что ранним утром следующего дня, уведомив Ильку запиской, он безо всяких объяснений пустился в путь. Илька была сильно

встревожена, да и доктор, покидая ее, разделял ее тревогу.

Экипаж быстро мчался по дороге. Верховой, высланный вперед, отдавал распоряжения, чтобы свежие лошади ждали на каждой следующей станции. Таким образом путешественники не теряли времени, и если бы они выехали из Риги на три часа раньше, расследование могло бы начаться в тот же день.

Воздух был сухой и слегка морозный. Буря, свирепствовавшая накануне, утихла, дул легкий северо-восточный ветер. Но на большой дороге все же гуляла вьюга, и лошадям приходилось трудно.

На полпути путешественники сделали получасовой привал. Пообедав в скромной корчме, они тотчас же снова пустились в путь.

Погруженные в свои мысли, они теперь ехали молча. Если не считать нескольких слов, которыми изредка перебрасывались Франк Иохаузен и майор, в экипаже царила полная тишина. Как ни быстро мчалась карета, пассажирам все казалось, что ямщик недостаточно гонит лошадей. Самый нетерпеливый из всех, майор, то и дело понукал ямщиков, ругал их, даже грозил им, когда лошади в гору замедляли шаг.

Одним словом, когда экипаж въехал на последнюю станцию перед Перновом, пробило пять. Низко стоящее над горизонтом солнце должно было скоро скрыться, а до трактира «Сломанный крест» оставалось еще около десяти верст.

— Господа, — сказал следователь Керсдорф, — наступит уже темнота, когда мы прибудем на место. Начинать в таких условиях расследование не очень-то удобно... Предлагаю отложить до завтрашнего утра... Да и не найдем мы приличных комнат в трактире «Сломанный крест». Переночуем лучше около станции в корчме...

— Весьма разумное предложение, — отвечал доктор Гамин. — Если вдобавок выехать на заре...

— Остановимся здесь, если только майор Вердер не имеет ничего против, — сказал тогда Франк Иохоузен.

— Я не возражаю, но это задержит следствие, — ответил майор, которому не терпелось поскорей прибыть на место преступления.

— Наверное, к трактиру с утра приставлена стража? — спросил следователь.

— Конечно, — ответил майор. — В депеше из Пернова сказано, что туда немедленно отправлен отряд полицейских с приказом не пускать никого и воспретить Крофу общаться с кем бы то ни было...

— В таком случае, — заметил г-н Керсдорф, — задержка на одну ночь не повредит ведению следствия...

— Так-то оно так, — возразил майор, — но за это время убийца успеет далеко уйти от трактира «Сломанный крест».

Майор рассуждал как весьма опытный полицейский. Однако надвигалась ночь, и тени сумерек сгущались. Разумнее было подождать до утра.

Итак, банкир и его спутники остановились в пристанционной корчме. Они здесь поужинали и кое-как устроились на ночь в отведенных им комнатах.

На следующий день, 15 апреля, как только рассвело, экипаж выехал со станции и к семи часам подкатил к трактиру.

Охранявшие его перновские полицейские встретили прибывших на крыльце. Кроф расхаживал по большой комнате корчмы. Прибегать к силе, чтобы удержать его в корчме, не пришлось. Зачем ему покидать свой дом?.. Наоборот. Разве не должен он обслуживать полицейских, подавать им все, в чем они будут нуждаться? Разве не обязан находиться в распоряжении следователя, который

будет производить допрос?.. Чьи показания, как не его, могут быть так ценны при начале следствия?

Полицейские строго наблюдали за тем, чтобы все внутри и вне дома, в комнатах и на большой дороге около трактира, оставалось в неприкосновенности. Крестьянам окрестных деревень было запрещено приближаться к дому, и даже сейчас с полсотни любопытных держались на почтительном расстоянии.

Согласно данному обещанию, накануне, в семь часов утра, Брокс с каретником и ямщиком верхами вернулись в трактир. Кондуктор рассчитывал застать там Поха и незнакомца и, починив карету, повезти их дальше.

Легко представить себе ужас, который обуял Брокса, когда он и трактирщик очутились перед трупом Поха, бедняги Поха, с таким нетерпением стремившегося обратно в Ригу, чтобы сыграть свадьбу! Оставив ямщика и каретника в корчме, кондуктор тотчас же вскочил на лошадь и поскакал в Пернов заявить в полицию. На место происшествия немедленно выехали полицейские, а майору Вердеру в Ригу отправили депешу.

Что касается Брокса, то он решил вернуться в трактир, чтобы предоставить себя в распоряжение следователя, которому, вероятно, понадобятся его показания.

Прибыв в корчму, следователь Керсдорф и майор Вердер сразу же приступили к делу. Они расставили снаружи полицейских — на дороге перед домом, позади дома, вдоль огорода и, немного правее, на опушке елового леса, — приказав не подпускать близко зевак.

При входе в дом майора, доктора и г-на Иохаузена встретил трактирщик Кроф; он провел их в комнату, где лежал убитый банковский артельщик.

При виде несчастного Поха г-н Иохаузен не мог совладать с волнением. Труп его старого служителя лежал здесь, перед ним, на кровати в том самом положении, в

каком смерть застигла беднягу во время сна. В лице банковского артельщика не было ни кровинки, за сутки, прошедшие с момента убийства, тело его окоченело. Накануне в семь часов утра, заметив, что из комнаты Поха не доносится ни звука, Кроф, помня просьбу артельщика, не стал его будить; но когда через час приехал кондуктор, оба начали стучаться в дверь, запертую изнутри. Им никто не ответил. Тогда, весьма встревоженные, они взломали дверь и нашли еще теплый труп артельщика.

На столике возле кровати лежала сумка с вензелем братьев Иохаузен. Цепочка валялась на полу, и сумка была пуста. Пятнадцать тысяч рублей кредитными билетами, которые Пох вез в Ревель, исчезли.

Первым делом доктор Гамин исследовал труп. Убитый потерял много крови. Красная лужа тянулась от кровати до двери. Рубашка Поха покоробилась от запекшейся крови. Примерно на уровне пятого ребра на ней виделось отверстие, а на груди в этом месте довольно странной формы рана. Не могло быть сомнения, что она была нанесена шведским ножом. Эти ножи имеют пятишестидюймовое лезвие на деревянной ручке, стянутой на конце металлическим кольцом с защелкой. Это кольцо оставило по краям раны заметный след. Удар был нанесен с большой силой. Нож проткнул сердце и вызвал ментальную смерть.

Причина убийства была ясна — ограбление: деньги, находившиеся в сумке Поха, исчезли.

Но каким образом преступник проник в комнату?.. Видимо, через окно, выходящее на большую дорогу, раз дверь была заперта изнутри. Ведь трактирщику с помощью Брокса пришлось ее взломать. Можно будет убедиться в этом, осмотрев окно снаружи. Ясно только одно: Пох, как это показывают кровавые следы на подушке, положил под нее сумку, убийца пошарил там,

вытащил ее окровавленной рукой и, вынуд содержимое, бросил сумку на стол.

Все это было установлено в присутствии трактирщика, который весьма толково отвечал на вопросы следователя.

Прежде чем приступить к допросу, г-н Керсдорф и майор решили осмотреть дом с внешней стороны. Нужно было обойти корчму кругом и выяснить, не оставил ли там убийца каких-нибудь следов.

В сопровождении доктора Гамина и г-на Иохаузена они вышли из дому.

Кроф и прибывшие из Риги полицейские последовали за ними. Крестьян продолжали удерживать поодаль, на расстоянии тридцати шагов.

В первую очередь подвергли тщательному осмотру окно комнаты, в которой произошло убийство. С первого взгляда заметили, что правый, и так уже ветхий, ставень был сорван при помощи какого-то рычага и державший его железный крючок вырван из подоконника. Земля была усеяна битым стеклом. Через разбитое окно убийца, вероятно, просунул руку и отодвинул шпингалет, который достаточно было повернуть для этого вокруг оси. Итак, не оставалось сомнения: убийца проник в комнату через это окно и, совершив преступление, бежал тем же способом.

Что касается следов ног вокруг трактира, то их оказалось множество. Земля, размокшая от дождя, лившего в ночь с 13-го на 14-е, сохранила их отпечатки. Но следы эти скрещивались, находили один на другой и были столь различной формы, что не могли служить уликой. Это объяснялось тем, что накануне, еще до прибытия на место перновских полицейских, толпа любопытных кружила вокруг дома, и Кроф не сумел им помешать.

Следователь Керсдорф и майор приступили тогда к

осмотру окна комнаты, где ночевал незнакомец. На первый взгляд на нем не замечалось ничего подозрительного. Наглухо запертые ставни не открывались с ночи, то есть с тех пор, как незнакомец поспешно покинул трактир. Между тем на подоконнике, а также и на стене, виднелись царапины как будто от сапог человека, лезшего через окно.

Установив это, следовательно, майор, доктор и банкир вернулись в дом. Оставалось осмотреть комнату незнакомца, примыкавшую, как известно, к общей комнате трактира. У двери со вчерашнего дня поочередно дежурили полицейские.

Комнату открыли, в ней стояла крошечная тьма. Майор Вердер сам подошел к окну, повернул деревянную задвижку, отворил окно и, отцепив укрепленный на подоконнике крючок, распахнул ставни.

В комнате стало светло. Она была в том самом состоянии, в котором ее оставил незнакомец. Постель была неубрана, сальная свеча, собственноручно погашенная Крофом после ухода путешественника, почти выгорела, два деревянных стула стояли на своих обычных местах; все свидетельствовало о том, что порядок не был ничем нарушен; в печке, находившейся в глубине комнаты у продольной стены дома, оставалось немного золы и две давно потухшие головешки. Обыскали старый шкаф, но в нем ничего не нашли. Таким образом осмотр комнаты не дал никаких улик, если не считать царапин, замеченных снаружи на стене и на подоконнике. Это открытие могло иметь важное значение.

Обыск закончили осмотром комнаты Крофа в пристройке со стороны огорода. Полицейские добросовестно обшарили задний двор, сарай и курятник, обследовали и огород до самой живой изгороди, убедившись, что в ней нет никакого пролома. Не оставалось сомнений, что

убийца проник снаружи и влез в комнату своей жертвы через выходящее на большую дорогу окно, ставень которого был сорван.

Покончив с обыском, следователь Керсдорф приступил к допросу трактирщика. Он устроился за столом в большой комнате; рядом с ним уселся судебный писарь. Майор Вердер, доктор Гамин и г-н Иохаузен, пожелавшие выслушать показания Крофа, разместились вокруг стола. Корчмарю предложили рассказать все, что он знает.

— Господин следователь, — ясным, отчетливым голосом начал он, — позавчера вечером часов около восьми в трактир вошли два путника и попросили комнаты для ночлега. Один из них слегка хромал из-за несчастного случая с почтовой каретой, которая опрокинулась в двухстах шагах отсюда на большой дороге в Пернов.

— Это был Пох, артельщик банка Иохаузенов?

— Да... я узнал об этом от него самого... Он рассказал мне, как порывом ветра сбило с ног лошадь и как карета опрокинулась... Не будь у него повреждена нога, он отправился бы с кондуктором в Пернов... И дал бы бог, чтобы он это сделал!.. Кондуктора я в тот вечер не видел, он должен был вернуться на следующее утро, чтобы, починив карету, забрать Поха и его спутника. Так оно и случилось.

— Пох не говорил вам, для чего он едет в Ревель?.. — спросил следователь.

— Нет... Он просил подать ему ужин и поел с большим аппетитом... Было около девяти часов, когда он ушел в свою комнату и заперся изнутри на ключ и задвижку.

— А другой путешественник?

— Другой, — отвечал Кроф, — просил только дать ему комнату. Он не захотел поужинать с Похом и, уходя

к себе, предупредил, что не будет дожидаться возвращения кондуктора, а в четыре часа утра уйдет пешком...

— Вы не знали, кто он был?

— Нет, господин следователь, и бедняга Пох тоже его не знал... За ужином он рассказал мне, что его спутник не произнес и двух слов за всю дорогу, отмалчивался, упрятав голову в капюшон, как будто боялся, что его узнают... Да я и сам не видел его лица и совершенно не мог бы описать его.

— Были ли еще другие посетители в «Сломанном кресте», когда вошли эти два путешественника?..

— Да, человек шесть крестьян и дровосеков из окрестных деревень, а также полицейский унтер-офицер Эк со своим подчиненным...

— Вот как! — заметил г-н Июхаузен. — Унтер-офицер Эк?.. Да ведь он, кажется, знал Поха?..

— Так и есть, они даже разговаривали во время ужина...

— И все посетители потом ушли?.. — спросил следователь.

— Да, так около половины девятого, — ответил Кроф. — Я запер за ними дверь на засовы и повернул ключ в замке.

— Значит, снаружи никак нельзя было ее отпереть?..

— Никак, господин следователь.

— Ни изнутри, без ключа?..

— Ни изнутри.

— А утром дверь была по-прежнему заперта?..

— Да, по-прежнему. В четыре часа утра незнакомец вышел из своей комнаты... Я посветил ему фонарем... Он заплатил мне, сколько полагалось, один рубль... Как и накануне, он закутал голову капюшоном, и я не мог разглядеть его лица... Я отворил ему дверь и тотчас же запер за ним...

— И он не сказал, куда идет?..

— Нет, не сказал.

— А ночью вы не слышали никакого подозрительного шума?..

— Никакого.

— По-вашему, Кроф, — спросил следователь, — убийство было уже совершено, когда этот путешественник уходил из трактира?

— Думаю, что так.

— А что вы делали после его ухода?

— Я вернулся к себе и улегся на кровать, чтобы вздремнуть до утра, но так и не заснул...

— Значит, если бы между четырьмя и шестью в комнате Поха раздался шум, вы бы, вероятно, услышали?..

— Безусловно, ведь наши комнаты смежные, хотя моя выходит на огород, и если бы между Похом и убийцей произошла борьба...

— Да, это так, — сказал майор Вердер, — но борьбы не произошло, несчастный был сражен насмерть в своей постели ударом в самое сердце!

Все было ясно. Несомненно, убийство совершено еще до ухода незнакомца. И все же полной уверенности быть не могло, так как между четырьмя и пятью утра еще темным-темно; в ту ночь ветер яростно бушевал, дорога была безлюдна, и какой-нибудь злоумышленник мог, никем не замеченный, вломиться в корчму.

Кроф весьма уверенно продолжал отвечать на вопросы следователя. Очевидно, ему и в голову не приходило, что подозрения могут пасть на него. Впрочем, являлось вполне доказанным, что убийца забрался снаружи, выломал ставень и, разбив окно, открыл его; не менее очевидно и то, что, совершив убийство, он бежал с украденными им пятнадцатью тысячами рублей через то же окно.

Затем Кроф рассказал, как он обнаружил убийство. Он встал в семь часов и расхаживал по большой комнате, когда кондуктор Брокс, оставив каретника и ямщика чинить карету, явился в корчму. Оба они вместе попытались разбудить Поха... Но на их зов он не откликнулся... Они постучались в дверь — тоже никакого ответа... Тогда они выломали дверь и увидели перед собой труп.

— Вы уверены, — спросил следователь Керсдорф, — что в этот час в нем не было уже и признака жизни?..

— Уверен, господин следователь, — ответил Кроф, явно взволнованный, несмотря на врожденную грубость. — Нет! Он был мертв. Брокс и я сам, мы все сделали что только возможно, но безуспешно!.. Подумайте, такой удар ножом прямо в сердце!..

— А вы не нашли оружие, которым пользовался убийца?..

— Нет, господин следователь, он догадался захватить его с собой!

— Вы утверждаете, — настойчиво повторил следователь, — что комната Поха была заперта изнутри?

— Да, на ключ и на задвижку... — ответил Кроф. — Не только я, но и кондуктор Брокс сможет засвидетельствовать это... Потому-то нам и пришлось выломать дверь...

— А Брокс после этого уехал?..

— Да, господин следователь, поспешно уехал. Он торопился в Пернов, чтобы заявить в полицию, откуда тотчас же прислали сюда двух полицейских.

— Брокс не возвращался?..

— Нет, но должен вернуться нынче утром, так как думает, что следователю могут понадобиться его показания.

— Хорошо, — сказал г-н Керсдорф, — вы свободны, но не покидайте корчмы и оставайтесь в нашем распоряжении...

— К вашим услугам.

В начале допроса Кроф назвал имя, фамилию, звание и возраст, и секретарь записал все это. Надо полагать, трактирщика еще вызовут на следствие.

Между тем следователю сообщили, что Брокс прибыл в «Сломанный крест». Это был второй свидетель. Его показания имели такое же значение, как и показания Крофа, и, вероятно, не разойдутся с ними.

Брокса попросили войти в большую комнату. По приглашению следователя он назвал фамилию, имя, отчество, возраст и род занятий. В ответ на требование следователя сообщить все, что ему известно о пассажире, которого он вез из Риги, о несчастном случае с каретой, о решении Поха и его спутника провести ночь в трактире «Сломанный крест», он подробно рассказал обо всем. Он подтвердил показания корчмаря о том, как было обнаружено убийство, и о том, что им пришлось выломать дверь, так как Пох не откликнулся на их зов. Причем он особенно подчеркивал одну достойную внимания подробность, — что в дороге банковский артельщик, может быть немного неосторожно, болтал о цели своей поездки в Ревель, то есть о поручении внести крупную сумму за счет банка Йохаузенов.

— Нет сомнения, — добавил кондуктор, — что второй путешественник, а также ямщики, сменявшиеся на каждой станции, могли видеть сумку, и я даже предупреждал об этом Поха.

На вопрос о втором пассажире, выехавшем с ним из Риги, Брокс ответил:

— Не знаю, кто он такой, я не мог разглядеть его лица.

— Он явился перед самым отправлением почтовой кареты?..

— Всего за несколько минут.

— А заранее билета он не брал?..

— Нет, господин следователь.

— Он ехал в Ревель?..

— Билет он купил до Ревеля, вот все, что я могу сказать.

— Вы ведь условились, что утром вернетесь и почините карету?..

— Да, господин следователь, было решено, что Пох и его спутник выедут с нами.

— А между тем на следующий день в четыре часа утра незнакомец ушел из «Сломанного креста».

— Ну да, я был удивлен, когда Кроф объявил, что пассажира этого нет больше в корчме...

— Что же вы подумали?.. — спросил г-н Керсдорф.

— Я подумал, что он хотел остановиться в Пернове, а так как до города оставалось всего лишь двенадцать верст, то он решил отправиться пешком.

— Если таково было его намерение, — заметил следователь, — странно, что он не отправился в Пернов еще накануне вечером, после поломки кареты...

— Вот именно, господин следователь, — ответил Брокс, — это и мне пришло в голову.

С допросом кондуктора было скоро покончено, и Броксу разрешили удалиться.

Когда он вышел, майор Вердер сказал, обращаясь к доктору Гамину:

— Вы закончили обследование тела убитого?..

— Да, майор, — ответил доктор. — Я совершенно точно установил место, форму и направление раны...

— Вы уверены, что удар был нанесен ножом?

— Да, ножом, и защелка кольца оставила отпечаток на теле убитого, — убежденно ответил доктор Гамин.

Возможно, в дальнейшем это послужит указанием для следствия.

— Могу я, — спросил тогда Иохаузен, — отдать рас-

поряжение о перевозке тела несчастного Поха в Ригу, где его будут хоронить?..

— Пожалуйста! — ответил следователь.

— Значит, мы можем ехать?.. — спросил доктор.

— Конечно, — ответил майор, — ведь здесь некого больше допрашивать.

— Прежде чем уехать из корчмы, — сказал следователь Керсдорф, — я хотел бы вторично осмотреть комнату незнакомца... Возможно, мы что-нибудь упустили...

В сопровождении трактирщика, готового отвечать на все их вопросы, следователь, майор, доктор и г-н Июхаузен вошли в комнату. Следователь хотел раскопать золу в печке, чтобы убедиться, не содержит ли она чего-нибудь подозрительного. Когда его взгляд упал на железную кочергу, стоявшую в углу возле очага, он взял ее в руки, осмотрел и обнаружил, что она сильно погнута. Не воспользовались ли ею как рычагом, чтобы выломать ставень комнаты Поха?.. Это казалось более чем вероятным. При сопоставлении этого факта с царапинами на подоконнике само собой напрашивалось заключение, которым следователь и поделился со своими спутниками по выходе из трактира, когда Кроф уже не мог их слышать:

— Убийство могли совершить трое: либо злоумышленник, проникший с улицы, либо трактирщик, либо неизвестный постоялец, который провел ночь в этой комнате. Однако обнаруженная нами кочерга, которая послужит вещественным доказательством, и следы на подоконнике устраняют всякие сомнения. В самом деле, постоялец знал, что в сумке Поха находится значительная сумма. Открыв ночью окно своей комнаты, он вылез из него и, пользуясь кочергой как рычагом, выломал ставень второй комнаты, убил спящего банковского артельщика и, совершив ограбление, вернулся к себе. Оттуда он вышел в четыре часа утра, по-прежнему опустив на

лицо капюшон... Вероятно, этот путешественник и есть убийца...

На это нечего было возразить. Но кто был незнакомец и удастся ли установить его личность?..

— Господа, — сказал тогда майор Вердер, — очевидно, все произошло именно так, как нам только что объяснил господин следователь Керсдорф... Но при расследовании бывают всякие неожиданности, и лишние предосторожности не помешают... Я запиру комнату путешественника, унесу с собой ключ, оставлю здесь двух полицейских и прикажу им не покидать корчму и следить за трактирщиком.

Эти меры были одобрены, и майор отдал соответствующие распоряжения.

Перед тем как сесть в карету, господин Иохаузен отвел в сторону следователя и сказал ему:

— Есть кое-что, о чем я никому еще не говорил, господин Керсдорф, и о чем вам следует знать...

— Что именно?

— Дело в том, что у Поха было сто пятьдесят сторублевых кредитных билетов¹, связанных в пачку...

— И вы переписали их номера?.. — спросил следователь, продолжая о чем-то думать.

— Да, как обычно. Эти номера я сообщу различным банкам в России и в провинциях...

¹ Русские государственные кредитные билеты выпускаются купюрами в 500, 100, 50, 25, 10 и 5 рублей, а также в 3 и 1 рубль. Эти бумажные купюры — почти единственные деньги, имеющие обращение в России. Курс государственных кредитных билетов поддерживается искусственно. Их выпуск регулируется отделом министерства финансов и поставлен под контроль кредитных учреждений империи, с участием двух советников из дворян и петербургского купечества. Бумажный рубль имел в это время стоимость около 2,75 франка, а серебряный рубль стоил 4 франка. Произведенная недавно в России денежная реформа достаточно известна. (*Прим. автора.*)

— Полагаю, что этого делать не следует, — ответил Керсдорф. — Ведь если вы поступите таким образом, это может дойти до грабителя. Он примет свои меры предосторожности, выедет за границу. Там он всегда сумеет найти банк, которому номера кредитных билетов будут неизвестны. Давайте предоставим ему свободу действий, и возможно, что он сам себя выдаст.

Несколько минут спустя карета увозила следователя, писаря, банкира, майора Вердера и доктора Гамина.

Два полицейских остались на страже в трактире «Сломанный крест». Им не велено было отлучаться ни днем, ни ночью.

ГЛАВА 8

В ДЕРПТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Шестнадцатого апреля, на следующий день после следствия в трактире «Сломанный крест», в Дерпте, одном из главных городов Лифляндии, группа из пяти-шести студентов прохаживалась по двору университета. Казалось, они оживленно о чем-то беседуют. Туго перетянутые кожаными поясами, в кокетливо одетых набекрень ярких шапочках, они шагали взад и вперед по двору, и песок похрустывал под их высокими сапогами.

Один из студентов говорил:

— Я-то уж позабочусь, чтобы нам подали самых свежих шук... Это шуки из Аа, выловленные нынче ночью... А «стремлингов»¹ доставили рыбаки с Эзеля. Им за это дорого заплатили. Готов проломить голову всякому, кто

¹ Маленькие рыбки, которых в маринованном виде очень любят жители Лифляндии. (Прим. автора.)

посмеет утверждать, что они не восхитительны на вкус, особенно если запить их стаканчиком кюммеля!

— А ты что скажешь, Зигфрид?.. — спросил старший из студентов.

— Я позаботился о дичи, — ответил Зигфрид. — И тот, кто посмеет утверждать, что мои рябчики и глухари не объедение, будет иметь дело с вашим покорным слугой!

— Я претендую на первый приз за окорока — сырой и запеченный, а также за «пурожены»¹!.. — заявил третий студент. — Разрази меня гром на месте, если вы когда-либо едали лучшие пироги с мясом!.. Рекомендую тебе их особо, мой милый Карл...

— Прекрасно, — ответил тот, кого назвали Карлом. — С такими вкусными блюдами мы достойно отметим праздник университета... Но при одном условии — присутствие этих московско-русских славян не должно помешать торжеству...

— Ни за что не пустим ни одного из них!.. — воскликнул Зигфрид. — И так уже они начинают задирать нос...

— Ну вот они и останутся с носом! — ответил Карл. — Пусть остерегается этот Иван, которого они хотят сделать своим вожаком, я сумею поставить его на место, если он посмеет мечтать сравняться с нами! Чувствую, что на днях мне придется посчитаться с ним. Не хотелось бы покидать университет, пока не заставлю его признать превосходство германцев, которых он так презирает...

— Надо сбить спесь с него и с его друга Господина!.. — добавил Зигфрид, грозя кулаком куда-то в дальний конец двора.

¹ Видимо, ошибка Жюль Верна.

— Да, с Господина, как и со всех, кто лелеет мечту взять над нами верх! Они увидят, легко ли одолеть германскую нацию!.. — воскликнул Карл. — Немецкие слова *славен* — славяне и *склавен* — рабы — равнозначны, мы срифмуем их в одном из стихов нашего ливонского гимна и заставим их петь хором...

— И петь в такт на немецком языке! — добавил Зигфрид под дружные «хох!»¹ своих товарищей.

Читатель видит, что молодые люди старательно готовились к предстоящему торжественному банкету. Однако их особенно привлекала мысль затеять ссору, вероятно даже драку, со студентами славянского происхождения. Эти германцы были порядочными шалопаями, в особенности Карл. Пользуясь своим именем и положением, он оказывал большое влияние на товарищей и мог толкнуть их на достойные сожаления выходы.

Кто же этот Карл, пользовавшийся таким авторитетом у некоторой части университетской молодежи, кто этот смелый, но злопамятный и задиристый молодой человек?.. Высокого роста светлый блондин, с жестким взглядом и злым выражением лица, он всегда был вожаком и зачинщиком.

Карл, сын банкира Франка Иохаузена, оканчивал в этом году университет. Еще каких-нибудь несколько месяцев — и он вернется в Ригу, где ему, естественно, приготовлено теплое местечко в банке отца и дяди.

А кто же такой Иван, по адресу которого ни Зигфрид, ни Карл не скупались на угрозы?.. Читатель, наверно, узнал в нем сына рижского учителя Дмитрия Николева. Иван мог положиться на своего друга Господина, тоже славянина, как Карл Иохаузен на Зигфрида.

Древний ганзейский город Дерпт основан русскими в

¹ Ура! (нем.)

1150 году. Так принято считать, хотя некоторые историки относят его основание к знаменитому тысячному году, тому самому, в котором должно было произойти светопреставление. Но если и можно сомневаться относительно времени основания Дерпта, одного из живописнейших городов Прибалтийского края, то нет сомнения, что его знаменитый университет основан Густавом-Адольфом в 1632 году и реорганизован в том виде, как он существует и доныне, в 1812 году. По словам некоторых путешественников, Дерпт напоминает город современной Греции. Так и кажется, что его дома целиком перенесены из столицы короля Оттона.

Дерпт не столько торговый, сколько студенческий город. Центром его является университет, делящийся на корпорации, или, вернее, на «нации», отнюдь не связанные между собой прочными узами братства. Из предыдущего описания видно, что в Дерпте, как и в других городах Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, неприязнь между славянами и германцами накалила страсти. Вследствие этого спокойствие воцаряется в Дерпте лишь во время университетских каникул, когда невыносимая летняя жара разгоняет студентов по домам, к их семьям.

При большом количестве студентов — около девяти-сот — требуется штат в семьдесят два преподавателя, ведущих различные предметы: физику, математику, литературу. Все это существует за счет довольно обременительного бюджета в двести тридцать четыре тысячи рублей в год. Таково же, с разницей в четыре тысячи, и число томов университетской библиотеки, одной из самых значительных и наиболее посещаемых в Европе.

Однако Дерпт — в силу своего географического положения на скрещении главных дорог Прибалтийского края, в двухстах километрах от Риги и лишь в ста тридцати от Петербурга — все же не утратил полностью харак-

тера торгового города. Да и мог ли забыть Дерпт, что он был когда-то одним из самых цветущих ганзейских городов? Но как ни мало развита в нем теперь торговля, находится она целиком в германских руках. В общем, местное эстонское население состоит лишь из рабочих и слуг.

Дерпт живописно расположен на холме, возвышающемся на южном берегу реки Эмбах. Длинные улицы соединяют три квартала города. Туристы приезжают осмотреть его обсерваторию, собор в византийском стиле, развалины готической церкви. Не без сожаления покидают они аллеи Дерптского ботанического сада, весьма ценного знатоками.

В университете, как и среди городского населения, в те годы преобладали германцы. На девятьсот студентов насчитывалось лишь около пятидесяти славян.

Среди последних выделялся Иван Николев. Товарищи признавали его если не вожаком, то, во всяком случае, своим представителем во всех столкновениях, которые мудрому и осторожному ректору не всегда удавалось предотвратить.

В то время как Карл Иохансен с группой товарищей прохаживался по двору, обсуждая возможные столкновения на будущем торжестве, другая группа студентов, русских по духу и по рождению, в сторонке совещалась о том же.

Среди этой группы выделялся студент лет восемнадцати, ростом выше среднего, крепкий для своего возраста, с живым и открытым взглядом. У него было красивое лицо, на щеках едва пробивалась бородка, а верхнюю губу уже украшали тонкие усики. При первом же знакомстве молодой человек располагал к себе, несмотря на строгое выражение лица — выражение вдумчивого, трудолюбивого, уже озабоченного мыслью о будущем студента.

Иван Николев кончал второй курс университета. Его легко было узнать уже по одному только сходству с Илькой. Оба они отличались серьезным, рассудительным характером и были полны сознания долга, — особенно Иван, — может быть, в большей степени, чем это свойственно такому юному возрасту. Понятно поэтому то влияние, каким он пользовался среди товарищей благодаря ревностной защите славянского дела.

Его друг Господин происходил из Ревеля, из богатой эстонской семьи. Хотя и на год старше Ивана Николева, он не отличался его серьезностью. Это был молодой человек, более склонный наносить, чем отражать, удары, жадный к развлечениям, увлекающийся спортом. Зато это был душа-парень, искренний друг, и Иван мог всецело положиться на него и на его преданность.

О чем же могли беседовать эти двое молодых людей, как не о празднестве, волновавшем все без различия студенческие корпорации.

По своему обыкновению, Господин давал волю врожденной горячности. Напрасно Иван старался его успокоить.

— Эти германские варвары намереваются не допустить нас на свой банкет!.. — кричал Господин. — Они отказались принять наши взносы, чтобы лишить нас права участвовать в торжестве!.. Вот как! Им стыдно чокнуться с нами бокалами!.. Но последнее слово за нами, и их обед может окончиться еще до десерта!

— Согласен, это бессовестно, — ответил Иван. — Однако стоит ли из-за этого затевать с ними ссору?.. Они заупрямились и хотят праздновать особняком — ну и пусть!.. Давайте и мы отпразднуем сами, без них. Это не помешает нам, дружище Господин, весело осушить бокалы во славу университета!

Но пылкий Господин не хотел и слышать об этом.

Допустить такое положение — значило отступить, и он выходил из себя, накаляясь от своих собственных слов.

— Все это весьма разумно, Иван, — возражал он, — ты — воплощенный здравый смысл. Никто не сомневается, что ты столь же умен, как и храбр!.. Но, что касается меня, я вовсе не рассудителен и не хочу таким быть! Я смотрю на поведение Карла Иохаузена и его шайки как на оскорбительный вызов и не потерплю дольше...

— Оставь ты его в покое, Господин, этого немца Карла! — ответил Иван Николев. — Какое тебе дело до его слов и поступков! Еще несколько месяцев — и оба вы покинете университет, а если когда-нибудь и встретитесь, то вас уже не будет волновать вопрос о национальном происхождении.

— Вполне вероятно, мудрый Нестор! — возразил Господин. — Завидное свойство — так владеть собой!.. Но уехать отсюда, не проучив Карла Иохаузена, как он того заслуживает, — этого я не мог бы себе простить!

— Послушай, — сказал Иван Николев, — пусть хотя бы сегодня зачинщиками будем не мы. Незачем задирать их без повода...

— Без повода?.. — воскликнул пылкий молодой человек. — У меня их десятки тысяч: лица его я не переносу, его поведение меня раздражает, звук его голоса мне противен. А разве не достаточный повод — пренебрежительный взгляд и высокомерный вид, который он на себя напускает? И товарищи еще поощряют его, признавая главой своей корпорации!

— Все это несерьезно, Господин, — заявил Иван Николев, дружески беря товарища под руку. — Покуда с их стороны не будет прямого оскорбления, я не вижу никаких оснований для вызова!.. Вот если они оскорбят нас, будь уверен, дружище, я первый отвечу им!..

— И мы поддержим тебя, Иван! — отозвались окружавшие его молодые люди.

— Все это я знаю, — заметил неугомонный Господин, — но неужели Иван не чувствует, что Карл хочет задеть лично его...

— Что ты хочешь этим сказать?..

— Я хочу сказать, что если наш общий спор с этими германцами не выходит из рамок университета, то у Ивана Николева есть и другие счета с Карлом Иохаузеном!..

Для Ивана не составляло секрета то, на что намекал Господин. О соперничестве Иохаузенов и Николевых в Риге знали все студенты университета: главы обеих семей должны вскоре столкнуться на выборах как противники; один из них, выдвинутый населением и поддерживаемый властями, должен сразить другого. Напрасно Господин, подчеркивая личные обстоятельства товарища, старался распространить спор отцов на сыновей. К сожалению, в пылу гнева он не мог уже сдержаться и переходил все границы.

Тем не менее Иван сохранял спокойствие. Он побледнел, кровь отхлынула от лица и прилила к сердцу. Но сильная воля помогла ему совладать с собой. Он лишь бросил пылающий взгляд на противоположный конец двора, где гордо расхаживала группа Карла Иохаузена.

— Не будем говорить об этом, Господин, — произнес он строго, слегка дрожащим голосом. — Я никогда не вмешивал имя господина Иохаузена в наши споры с Карлом. Дай бог, чтобы и Карл воздержался от каких-либо выпадов против моего отца, как и я не трогаю его отца!.. Если он будет невоздержан...

— Прав Иван, а не Господин, — сказал один из студентов. — Нас не касается то, что происходит в Риге, займемся тем, что происходит в Дерпте.

— Правильно, — одобрительно отозвался Иван Николаев, желавший вернуться к первому вопросу. — Несмотря ни на что, не будем преувеличивать и подождем, как обернется дело...

— Итак, Иван, — спросил один из студентов, — ты считаешь, что не стоит протестовать против выходки Карла Иохазена и его товарищей, которые не допускают нас к участию в банкете?..

— Полагаю, если не произойдет каких-нибудь новых инцидентов, мы должны проявить полное безразличие.

— Пусть будет безразличие! — воскликнул Господин не очень-то одобрительно. — Вопрос еще, как наши остальные товарищи примирятся с этим... Предупреждаю тебя, Иван, они взбешены...

— По твоей вине, Господин.

— Не по моей, Иван. Достаточно одного лишь пренебрежительного взгляда, одного резкого слова, чтобы произошел взрыв!

— Ладно! — с улыбкой воскликнул Иван. — Взрыва не произойдет, дружище, мы примем меры и смочим порох в шампанском!

Сам здравый смысл подсказывал этот ответ наиболее мудрому из юношей. Но остальные были сильно взвинчены... Внемлют ли они этим призывам к осторожности?.. Как еще кончится день?.. Не выльется ли празднество в столкновение?.. Если даже со стороны славян и не последует вызова, не бросят ли вызов немцы?.. Всего можно было опасаться.

Не удивительно поэтому, что ректор университета испытывал серьезное беспокойство. Как ему было известно, с некоторых пор политическая борьба, или, во всяком случае, борьба между славянами и германцами, весьма обострилась среди студентов. Значительное большинство из них отстаивало старые традиции университета, сохра-

нившиеся со времен его основания. Правительство знало, что здесь имеется сильный очаг сопротивления попыткам русификации Прибалтийских областей. Разве мог ректор предвидеть последствия волнений, которые вспыхнули бы в связи с этим?.. Следовало быть настороже. Ведь как ни древен, как ни почитаем Дерптский университет — и его не пощадит императорский указ, если он превратится в центр возмущения против прославянских преобразований. Поэтому ректор очень внимательно следил за настроениями студентов. Да и преподаватели, в большинстве своем приверженцы немцев, тоже опасливо поглядывали на них... Разве можно заранее предвидеть, до чего дойдет молодежь, если увлечется политической борьбой?..

По правде говоря, в этот день влияние одного человека оказалось сильнее влияния ректора. Этим человеком был Иван Николев. Если ректору не удалось добиться, чтобы Карл Иохаузен и его друзья отказались от своей затеи не допускать Ивана и его товарищей на банкет, то Николев добился от Господина и остальных, чтобы они не нарушали праздника. Они не войдут в зал, где состоится банкет, и не будут отвечать русскими песнями на немецкие — при одном условии: немцы не должны их ни задирать, ни оскорблять. Но разве можно было ручаться за эти возбужденные вином головы?.. Поэтому Иван Николев и его товарищи решили собраться вне стен университета, по-своему отпраздновать его юбилей и сохранять спокойствие, если никто не осмелится его нарушить.

Между тем время шло. Толпа студентов собралась на большом университетском дворе. Занятий в этот день не было. Ничего другого не оставалось делать, как разгуливать группами по двору, косясь друг на друга и избегая нежелательных встреч. Можно было опасаться, что еще до банкета какая-нибудь случайность послужит поводом

к вызову, а затем и к открытой стычке. При таком возбуждении умов, вероятно, было бы разумнее вообще запретить празднество?.. Однако такой запрет мог вызвать протест корпораций и послужить поводом к волнениям, которые как раз и хотели предотвратить?.. Университет ведь не колледж, где можно ограничиться выговором или добавочным заданием. Здесь придется прибегнуть к исключению, изгнать зачинщиков, а это уже серьезная мера.

До четырех часов пополудни — часа, в который должен был состояться банкет, — Карл Иохаузен, Зигфрид и их друзья оставались во дворе. Многие студенты подходили к ним как бы за распоряжениями начальства и перекидывались с ними несколькими словами. Был пущен слух, что банкет будет запрещен, — впрочем, ложный слух: как уже сказано, такой запрет мог привести к вспышке. Но слуха этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волнение и совещания в группах.

Иван Николев с друзьями как ни в чем не бывало прогуливался по двору. По своему обыкновению, они держались в стороне, изредка встречая на своем пути студентов из других групп.

Тогда они мерили друг друга взглядами, в которых можно было прочесть едва сдерживаемый вызов. Иван сохранял спокойствие и старался казаться безразличным. Но какого труда стоило ему удерживать Господина! Последний никогда не отворачивался, не опускал глаз, и взгляды его и Карла скрещивались, как две рапиры.

Достаточно было самой малости, чтобы вызвать столкновение, которое, конечно, не ограничилось бы схваткой между ними двумя.

Наконец пробил колокол, возвещавший о начале банкета, и Карл Иохаузен, во главе нескольких сот товарищей, направился в отведенный им просторный зал.

Вскоре во дворе не осталось никого, кроме Ивана Николева, Господина и около пятидесяти славянских студентов, которые все медлили вернуться домой к своим домочадцам или в приютившие их семьи.

Поскольку ничего их здесь не удерживало, разумнее всего было бы тотчас же уйти. Таково было и мнение Ивана Николева. Однако напрасно старался он убедить в этом своих товарищей. Казалось, что Господина и других удерживали здесь какие-то цепи, их как магнитом тянуло в зал торжественного собрания.

Так продолжалось минут двадцать. Студенты молча шагали по двору, время от времени приближаясь к выходящим на двор открытым окнам зала. Чего же они ждали? Чего хотели? Услышать шумные голоса, доносившиеся до них, ответить на обидные слова, обращенные к ним?..

Так или иначе, собравшиеся в зале не стали дожидаться конца банкета, чтобы петь и произносить тосты. Они разгорячились от первых же бокалов вина. Увидев через открытые окна, что Иван Николев и его друзья находятся достаточно близко, они воспользовались этим для личных выпадов.

Иван сделал еще одну последнюю попытку уговорить товарищей.

— Уйдемте отсюда... — сказал он.

— Нет! — ответил Господин.

— Нет! — в один голос поддержали остальные.

— Значит, вы отказываетесь меня слушать и следовать за мной?..

— Мы хотим услышать, какие дерзости позволят себе эти пьяные германцы. И если нам не понравятся их слова, — ты сам, Иван, последуешь за нами!

— Идем, Господин, — сказал Иван, — я настаиваю.

— Подожди, — возразил Господин, — через несколько минут ты сам не захочешь уйти!

Возбуждение в зале все усиливалось: шум голосов вперемежку со звоном стаканов, возгласы, крики «хох!» громыхали, как выстрелы. Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!¹

Читатель согласится, что эти слова звучат довольно уныло и больше подходят для похоронного напева. Все равно что петь на десерт «De profundis»². В общем, эта песня совершенно в характере германцев.

Вдруг на дворе раздался голос, который запел: «О Рига, кто сделал тебя столь прекрасной?.. Это сделали порабощенные латыши! Да грядет день, когда мы сможем откупить у немцев твой замок и заставить их плясать на раскаленных камнях!»

Это Господин затянул могучую широкую русскую песню.

Затем он и его товарищи хором запели «Боже, царя храни», величественный и торжественный русский национальный гимн.

¹ Будем же радоваться,
Пока мы молоды!
После радостной юности,
После тягостной старости
Нас поглотит земля! (лат.)

² Из бездны (взывал я к тебе, господи) — начало одного из псалмов (лат.).

Внезапно двери зала распахнулись, и около сотни студентов устремились во двор.

Они окружили кучку славян, в центре которых стоял Иван Николев. Последний уже не был в состоянии сдерживать товарищей: крики и выходки противников выводили их из себя. Хотя Карла Иохаузена и не было еще здесь, чтобы подстрекать германцев, — он задержался в зале, — но те орали во все горло, прямо ревели свой «*Gaudeamus igitur*», стараясь заглушить русский гимн, мощная мелодия которого, несмотря на все их старания, все же пробивалась через этот шум и гам.

В это время два студента, Зигфрид и Господин, готовые вот-вот броситься друг на друга, столкнулись лицом к лицу. Уж не они ли двое решат национальный спор?.. Не ввяжутся ли в ссору вслед за ними оба враждующих лагеря?.. Не превратится ли эта стычка в общую свалку, ответственность за которую будет нести весь университет?..

Услышав, с каким шумом и криком выбежали из зала студенты, ректор поспешил вмешаться. Вместе с несколькими преподавателями он переходил во дворе от группы к группе, стараясь успокоить готовых ринуться в драку юношей. Безуспешно. Ему не повиновались... Да и что мог он предпринять среди этих «истых германцев», число которых, по мере того как пустел зал, все росло и росло?..

Несмотря на то что они были в меньшинстве, Иван Николев с товарищами стойко выдерживали сыпавшиеся на них угрозы и ругательства, не отступая ни на шаг.

Вдруг Зигфрид, подойдя со стаканом в руке к Господину, плеснул ему вином в лицо.

Это был первый удар, нанесенный в схватке, за ним последовало множество других.

Однако лишь только Карл Иохаузен появился на сту-

пеньках крыльца, как наступило затишье. Ряды расступились, и сын банкира приблизился к группе студентов, в которой находился сын учителя.

Невозможно передать словами, как держал себя в эту минуту Карл Йохаузен. Его лицо выражало не гнев, а холодное высокомерие, переходящее, по мере того как он приближался к своему противнику, в презрение. У товарищей Ивана не могло быть сомнений: Карл направлялся сюда лишь для того, чтобы бросить в лицо их другу какое-нибудь новое оскорбление.

На смену шуму и гаму наступила жуткая тишина. Все почувствовали, что спор двух враждующих корпораций университета разрешится столкновением между Иваном Николевым и Карлом Йохаузенем.

В это время Госпо́дин, забыв о Зигфриде, выждал, чтобы Карл приблизился еще на несколько шагов, и сделал попытку преградить ему путь.

Однако Иван удержал его.

— Это касается только меня! — сказал он просто.

Да и, в сущности, он был прав, говоря, что это касается лично его. Поэтому, сохраняя полное хладнокровие, он отстранил рукой тех из своих друзей, которые намеревались вступить.

— Не мешай мне!.. — вне себя от ярости воскликнул Госпо́дин.

— Я настаиваю! — произнес Иван Николев таким решительным тоном, что оставалось лишь подчиниться.

Тогда, обращаясь к толпе студентов и стараясь быть услышанным всеми, он сказал:

— Вас здесь сотни, а нас всего лишь пятьдесят!.. Нападайте же на нас!.. Мы будем защищаться, и вы нас раздавите!.. Но так могут поступать лишь трусы и подлецы!..

Крик ярости был ему ответом.

Карл знаком показал, что хочет говорить.

Снова водворилась тишина.

— Да, — произнес он, — мы были бы подлецами!.. Но, может быть, кто-нибудь из славян согласен решить дело поединком?..

— Мы все к твоим услугам! — воскликнули товарищи Ивана.

Но последний выступил вперед и заявил:

— Этим славянином буду я. И если Карл добивается личного вызова, то я вызываю его...

— Ты?.. — презрительным тоном воскликнул Карл.

— Да, я! — отвечал Иван. — Выбери двух из твоих друзей... Я уже выбрал себе секундантов...

— И это ты... ты собираешься драться со мной?..

— Да, я... завтра, если ты сейчас не готов... Немедленно, если ты согласен!

Такие дуэли не редкость среди студентов. И лучшее, что могут сделать власти, — закрывать на это глаза, так как чаще всего они кончаются благополучно. Правда, в данном случае противников обуревала такая ненависть, что можно было опасаться смертельного исхода.

Карл скрестил руки, смерив Ивана с ног до головы презрительным взглядом.

— Ах, вот как! — произнес он. — Ты даже выбрал секундантов?..

— Вот они, — ответил Иван, указывая на Господина и еще одного студента.

— И ты думаешь, что они согласятся?..

— Еще как согласятся!.. — воскликнул Господин.

— Ну, так вот, что касается меня, — сказал Карл, — есть вещь, на которую я никогда не соглашусь, — это драться с тобой, Иван Николев!..

— А почему бы это, Карл?..

— Потому что не дерутся на дуэли с сыном убийцы!..

ОВВИНЕНИЕ

Накануне в Риге, куда следователь Керсдорф, майор Вердер, доктор Гамин и г-н Франк Иохоузен вернулись в ночь с 15 на 16 апреля, произошли следующие события.

Еще за двенадцать часов до их возвращения по городу разнесся слух, что в трактире «Сломанный крест» совершено убийство. Стало известно также и то, что жертва преступления — банковский артельщик Пох.

Несчастливого хорошо знали в городе. Его можно было ежедневно встретить на улице, когда с сумкой через плечо, держа под мышкой портфель, прикрепленный медной цепочкой к поясу, он шел по делам банка братьев Иохоузен. Добрый и услужливый, со счастливым характером, всегда в хорошем расположении духа, всеми любимый и уважаемый, он имел лишь друзей — ни одного врага. Благодаря своему трудолюбию, примерному поведению, размеренному образу жизни и расположению, с которым к нему относились, он сделал кое-какие сбережения и после столь долгого ожидания должен был вот-вот жениться на Зинаиде Паренцовой. Его сбережения и сбережения жены могли обеспечить им счастливое будущее. Как раз через день нареченные супруги должны были предстать перед протестантским пастором, который благословил бы их брак. За этим последовало бы семейное торжество, на которое были приглашены коллеги Поха из других банков, чтобы повеселиться на их свадьбе. К тому же все были уверены, что братья Иохоузен почтут своим присутствием это торжество. Приготовления к нему были уже начаты, даже закончены... И вот Пох пал жертвой убийцы в каком-то трактире на одной из дорог Лифляндии!.. Известие это произвело потрясающее впечатление!

И, к сожалению, не удалось избежать, чтобы Зинаида узнала о случившемся внезапно, без подготовки, из газеты, которая опубликовала одно лишь сообщение без всяких подробностей!

Несчастную просто сразило это известие. Сначала соседи, потом г-жа Иохазен выражали ей сочувствие и всячески поддерживали ее. Вряд ли бедная женщина придет в себя после такого жестокого удара!

Между тем если жертву опознали, то убийца оставался неизвестен. За два дня, 14-е и 15-е, пока выехавшими на место судебными властями велось расследование, в публику не просочилось на этот счет никаких сведений. Оставалось лишь ждать возвращения следователя и полицейских, да и они, возможно, не открыли еще злодея.

Что касается убийцы, кто бы он ни был, — он вызывал всеобщее омерзение. Самые строгие кары казались недостаточными за такое злодейство. Многие сожалели о времени, когда смертной казни предшествовали ужаснейшие пытки. Не следует забывать, что эта уголовная драма произошла в Прибалтийском крае, где, не говоря уже об отдаленных временах, еще совсем недавно правосудие прибегало к варварским приемам в отношении убийц. Сначала их жгли раскаленным докрасна железом, затем били плетью, нанося тысячу, иногда до шести тысяч ударов, которые сыпались уже на труп. Некоторых заключенных замуровывали в стене, где они и умирали в муках голода. Если же от них хотели добиться каких-либо признаний, тогда их кормили исключительно солониной и соленой рыбой, не давая ни капли воды, — способ «допроса», который вырывал не одно признание.

В настоящее время нравы значительно смягчились, настолько, что если для политических преступников и сохранена смертная казнь, то для уголовных она заменена каторжными работами в сибирских коях и рудниках.

Но такое наказание для убийцы из трактира «Сломанный крест» не могло удовлетворить население Риги.

Как сказано выше, уже были даны распоряжения о перевозке праха убитого в город. Дело не в том, что требовалось произвести новое освидетельствование трупа в Риге, — доктор Гамин тщательно отметил в составленном им протоколе освидетельствования характер и форму раны, а также отпечаток защелки ножа по ее краям, — но г-н Франк Иохоузен пожелал, чтобы похороны состоялись в городе, причем все расходы из жалости и расположения к банковскому артельщику он всецело взял на себя.

Утром 16 апреля майор Вердер явился к своему начальнику полковнику Рагенову. Последний с нетерпением ожидал, чтобы майор доложил ему о ходе расследования, решив, если только обнаружен какой-нибудь след, пустить по нему своих лучших сыщиков. В дальнейшем будет видно, нужно ли ставить об этом в известность губернатора края. До получения более подробных сведений казалось, что здесь имело место самое заурядное уголовное преступление — убийство с целью грабежа.

Майор доложил полковнику Рагенову о всех подробностях дела: об обстоятельствах, при которых совершено убийство, о различных найденных полицией уликах, о результатах освидетельствования трупа доктором Гаминым.

— Вижу, — заметил полковник, — что ваши подозрения падают главным образом на неизвестного путешественника, прошедшего ночь в корчме...

— Главным образом, господин полковник.

— А трактирщик Кроф не держал себя подозрительно во время следствия?..

— И нам, вполне естественно, приходило на ум, что убийцей может быть он, — ответил майор, — хотя в его

прошлом и не к чему придраться. Однако после того, как мы обнаружили различные следы на подоконнике спальни незнакомца, который ушел из корчмы в такую рань, после того как в его комнате мы нашли кочергу, послужившую для взлома ставень, у нас не осталось больше сомнений в том, чьих это рук дело.

— И все же надо последить за этим Крофом...

— Само собой разумеется, господин полковник. Поэтому двое моих людей остались на страже в доме, а Крофу приказано находиться в распоряжении судебных властей.

— Итак, — настойчиво повторил полковник Рагенов, — вы не думаете приписать это убийство какому-нибудь злоумышленнику с большой дороги, который мог проникнуть в комнату своей жертвы?..

— Не могу утверждать решительно, — ответил майор, — но трудно допустить такую возможность, настолько догадки превращаются в уверенность при мысли о спутнике Поха.

— Вижу, что у вас составилось определенное мнение, майор...

— И мнение мое совпадает с мнением следователя Керсдорфа, доктора Гамина и господина Иохаузена... Заметьте, что этот путешественник все время старался не быть узнанным как по прибытии в трактир, так и когда уходил из него...

— Он не сказал, куда он направляется по выходе из корчмы «Сломанный крест»?..

— Нет, не сказал, господин полковник.

— Нельзя ли предположить, что, покидая Ригу, он намеревался поехать в Пернов?..

— Догадка эта вполне вероятна, господин полковник, хотя билет-то он взял до Ревеля.

— Ни одного приезжего не замечено в Пернове четырнадцатого и пятнадцатого апреля?..

— Ни одного, — уверенно заявил майор Вердер. — А между тем полиция была начеку, ее в тот же день оповестили об убийстве... Куда направился неизвестный?.. Заходил ли он вообще в Пернов?.. Не бежал ли он скорее с награбленными деньгами из Прибалтийского края?..

— Действительно, майор, надо думать, что близость портов предоставила ему случай ускользнуть...

— Вернее, предоставит случай, господин полковник, — возразил майор, — так как пока еще плавание по Балтийскому морю и Финскому заливу едва ли возможно... По полученным мною сведениям, до сих пор ни одно судно еще не вышло в море... Поэтому, если незнакомец хочет сесть на борт корабля, то он должен выждать несколько дней: либо где-нибудь в поселке внутри страны, либо в каком-нибудь порту побережья — Пернове, Ревеле...

— Или Риге, — подхватил полковник Рагенов. — Почему бы ему не вернуться сюда?.. Пожалуй, здесь еще больше возможностей сбить полицию со следа?..

— Мне это кажется маловероятным, господин полковник. Однако надо все предвидеть! Дадим указание нашим людям обыскать все корабли, готовящиеся к отплытию. Так или иначе, до конца недели море еще не освободится ото льда, а пока что я дам приказ, чтобы в городе и в порту установили строгий надзор.

Полковник одобрил мероприятия, намеченные его подчиненным, приказав распространить их на всю территорию Прибалтийского края. Майор Вердер обещал все время держать его в курсе дела. Что касается следствия, то оно поручено следователю Керсдорфу, а на него можно положиться: он не упустит ничего имеющего какое-нибудь отношение к делу.

Впрочем, после разговора с майором Вердером у полковника Рагенова не оставалось никаких сомнений, что убийца — путешественник, сопровождавший банковского артельщика в трактир Крофа. Против него имелись тяжкие улики. Но кто он, этот путешественник?.. Как установить его личность, когда ни кондуктор Брокс, посадивший его в карету в Риге, ни трактирщик Кроф, пустивший его переночевать в корчме, ничего о нем не знали?.. Ни тот, ни другой не видели его лица и даже не могли сказать, молод ли он или стар. В таком случае по какому следу пустить полицейских?.. В какую сторону направить поиски?.. Каких еще свидетелей привлечь, чтобы получить сведения, дающие хоть некоторую надежду на успех?..

Все это было покрыто мраком.

Читатель скоро узнает, как этот мрак внезапно озарился светом, как ночь стала днем.

В то же утро, составив свой судебно-медицинский отчет по делу об убийстве в «Сломанном кресте», доктор Гамин отнес его в кабинет г-на Керсдорфа.

— Никаких новых данных?.. — спросил он следователя.

— Никаких, доктор.

Выйдя из кабинета следователя, доктор Гамин встретил французского консула г-на Делапорта. По дороге они заговорили о загадочном деле и о трудностях, связанных с ним.

— Действительно, — согласился консул, — если ясно, что преступление совершено неизвестным путешественником, то по меньшей мере сомнительно, что его найдут... Вы, доктор, придаете как будто большое значение тому, что удар нанесен ножом и защелка оставила след вокруг раны... Допустим!.. Ну а как найти этот нож?..

— Как знать?.. — ответил доктор Гамин.

— Что ж, увидим, — сказал г-н Делапорт. — Кстати, у вас есть известия о господине Николеве?

— Известия о Дмитрие?.. — удивился доктор. — А откуда бы я мог их иметь, если он до сих пор путешествует?..

— Да, действительно, — ответил консул, — вот уже три дня!.. Чем больше я об этом думаю, тем больше нахожу это странным...

— Да... — заметил доктор Гамин.

— Вчера еще мадемуазель Николева не имела от него никаких известий...

— Пойдем проведать Ильку, — предложил доктор. — Быть может, почтальон доставил ей сегодня утром письмо от отца, а может быть, и сам Николев уже вернулся домой?..

Господин Делапорт и доктор Гамин направились на окраину предместья, где стоял дом учителя. Взойдя на крыльцо, они спросили, может ли барышня принять их.

Служанка доложила о них и тотчас же ввела в столовую, где находилась Илька.

— Твой отец еще не вернулся, дорогая Илька?.. — прежде всего спросил доктор.

— Нет, не вернулся... — ответила девушка.

По ее бледному и озабоченному лицу было видно, что она очень встревожена.

— А получили ли вы от него известия, мадемуазель? — спросил консул.

Илька отрицательно покачала головой.

— Отсутствие Дмитрия, как и причина его поездки, совершенно непонятны... — заметил доктор.

— Не случилось ли чего-нибудь с отцом!.. — в волнении пробормотала девушка. — За последнее время в Лифляндии так участились преступления...

Доктор Гамин, скорее удивленный, чем встревоженный этим отсутствием, захотел ее успокоить.

— Не надо преувеличивать, — сказал он, — пока что путешествовать еще довольно безопасно!.. Правда, около Пернова совершено убийство... хотя убийца и неизвестен. Но жертва известна... несчастный банковский артельщик...

— Вот видите, милый доктор, — заметила Илька, — дороги вовсе не безопасны, а вот уже скоро четыре дня, как отец уехал... Увы! Я не в силах отогнать от себя предчувствие какого-то несчастья...

— Успокойтесь, дорогая детка, — сказал доктор, взяв ее руку в свои, — не надо расстраиваться!.. Вы такая мужественная, такая энергичная... не узнаю вас!.. Ведь Дмитрий предупредил, что он пробудет в отсутствии дня два, три... опоздание еще не так велико, чтобы тревожиться.

— Вы действительно так думаете, доктор?.. — спросила, глядя на него, Илька.

— Безусловно, Илька, безусловно. И я был бы совсем спокоен, если бы знал причину этой поездки... У вас письмо, оставленное вам отцом перед отъездом?

— Вот оно! — ответила Илька, вынимая из кармана небольшую записку и передавая ее доктору.

Господин Делапорт внимательно прочел записку. Из единственной лаконической фразы, которую дочь Дмитрия читала и перечитывала уже сотни раз, ничего нового нельзя было извлечь.

— Итак, — снова заговорил доктор, — он даже не поцеловал вас перед отъездом?..

— Нет, не поцеловал, дорогой доктор, — ответила Илька. — И уже накануне, когда, как обычно, он прощался со мной перед сном, мне показалось, что мысли его заняты совсем другим...

— Может быть, — заметил консул, — господин Николев был чем-то озабочен?..

— Он в тот вечер вернулся домой позже обычного... Помните, доктор?.. Задержался на каком-то уроке... так он сказал...

— В самом деле, — ответил доктор Гамин, — он показался мне более задумчивым, чем обычно!.. Но мне важно знать следующее, милая Илька: что делал Дмитрий после нашего ухода?..

— Он пожелал мне спокойной ночи, я пошла к себе, а он поднялся в свою комнату...

— А не мог ли после этого зайти к нему кто-нибудь, что и вызвало поездку?..

— Вряд ли, — ответила девушка. — Думаю, что он тотчас же лег спать, так как за весь вечер я не слышала больше ни звука...

— Не приносила ли ему служанка какого-нибудь письма после того, как вы расстались?..

— Нет, доктор, двери дома закрылись за вами и больше не открывались.

— Очевидно, решение было принято еще с вечера...

— В этом нет никакого сомнения, — поддержал доктора г-н Делапорт.

— Никакого сомнения! — подхватил доктор. — А на следующее утро, прочитав записку отца, вы не пытались выяснить, дорогая детка, куда он направился, выйдя из дома?..

— Как я могла это узнать, — ответила Илька, — и зачем бы я это сделала?.. У отца, видно, были причины, которые он не хотел никому сообщать, даже своей дочери... И если я встревожена, то не отъездом, а задержкой, отца...

— Нет, Илька, нет! — воскликнул доктор Гамин, желая во что бы то ни стало успокоить девушку. — Еще не

истек срок, намеченный Дмитрием, этой ночью или самое позднее завтра утром он будет уже дома!

В сущности, доктора тревожили скорее причины, вызвавшие эту поездку, чем сама поездка.

Затем они с г-ном Делапортом попрощались с девушкой и обещали зайти вечером, чтобы узнать, нет ли известий от Дмитрия Николева.

Молодая девушка стояла на пороге дома, глядя им вслед, пока они не скрылись за поворотом улицы. Задумчивая, встревоженная мрачными предчувствиями, она вернулась затем в свою комнату.

Почти в то же время в кабинете майора Вердера стал известен факт, относящийся к преступлению, совершенному в «Сломанном кресте»; он должен был навести правосудие на след убийцы.

В этот день утром Эк возвратился со своим отрядом в Ригу.

Читатель помнит, что полицейские были посланы в северную часть области, где с некоторых пор участились нападения на отдельных лиц и грабежи в имениях. Следует также напомнить, что за неделю до того в окрестностях Чудского озера Эк преследовал одного беглого каторжника из сибирских копей и что ему пришлось гнаться за ним до самого Пернова. Но беглец бросился на несущиеся по реке Пернове льдины и исчез среди ледяных глыб.

Погиб ли этот преступник?.. Вероятно, погиб. Но полной уверенности все же не было. Унтер-офицер Эк тем более сомневался в этом, что трупа беглеца не нашли ни в порту, ни в устье Перновы.

Короче говоря, вернувшись в Ригу и спеша с донесением к майору Вердеру, унтер-офицер шел к нему в кабинет, когда ему сообщили об убийстве в «Сломанном

кресте»; никто не подозревал, что в руках Эка находится ключ к раскрытию этого таинственного дела.

Поэтому велики были удивление и радость майора Вердера, когда он узнал, что унтер-офицер может сообщить ему сведения о преступлении и о преступнике, которого безуспешно разыскивали.

— Ты видел убийцу банковского артельщика?..

— Его самого, господин майор.

— Ты знал Поха?..

— Как же, знал и видел его в последний раз тринадцатого числа вечером.

— Где?..

— В трактире Крофа.

— Ты был там?

— Да, господин майор, перед возвращением в Пернов с одним из моих людей.

— И ты разговаривал с несчастным артельщиком?..

— Как же, несколько минут. Могу добавить, что если убийца, по всей вероятности, тот самый незнакомец, который сопровождал Поха, путешественник, прошедший ночь в корчме... то его я тоже знаю...

— Ты знаешь его?

— Да, если только убийца тот самый путешественник...

— По данным расследования, в этом не может быть сомнения.

— Что ж, господин майор, я вам его назову... Только вряд ли вы поверите мне!

— Поверю, раз ты утверждаешь...

— Я утверждаю следующее, — ответил Эк, — хотя я и не разговаривал в трактире с этим путешественником, но я прекрасно узнал его, несмотря на то, что лицо его было скрыто капюшоном... Это учитель Дмитрий Николев...

— Дмитрий Николев?! — воскликнул пораженный майор. — Он?.. Не может быть...

— Говорил ведь я, что вы мне не поверите, — заметил унтер-офицер.

Майор Вердер поднялся и большими шагами стал расхаживать по кабинету, бормоча:

— Дмитрий Николев!.. Дмитрий Николев!..

Как! Этот человек, которого выставили кандидатом на предстоящих выборах в городскую думу, соперник влиятельнейшей семьи Иохаузен, этот русский — выразитель всех надежд и притязаний славянской партии, направленных против германцев, этот человек, которому покровительствовало московское правительство, — он и есть убийца несчастного Поха!..

— Ты утверждаешь это?.. — повторил он, остановившись перед Эком.

— Утверждаю.

— Значит, Дмитрий Николев уезжал из Риги?..

— Да... по крайней мере в ту ночь... Впрочем, это трудно проверить...

— Я пошлю к нему на дом полицейского, — сказал майор, — и велю передать господину Франку Иохаузену, чтобы он зашел ко мне в кабинет... Ты ожидай здесь...

— Слушаюсь, господин майор!

Майор отдал распоряжения двум полицейским из участка, и они тотчас же ушли.

Десять минут спустя г-н Франк Иохаузен был у майора, и Эк повторял перед ним свои показания.

Можно без труда представить себе чувства, переполнявшие душу злопамятного банкира. Наконец-то самый неожиданный случай — преступление, убийство — передавал в его руки соперника, которого он преследовал своей ненавистью!.. Дмитрий Николев... убийца Поха!..

— Ты утверждаешь это?.. — в последний раз спросил майор, обращаясь к унтер-офицеру.

— Утверждаю! — голосом, в котором звучала непоколебимая уверенность, ответил Эк.

— Но... если он не уезжал из Риги?.. — в свою очередь спросил г-н Франк Иохаузен.

— Он уезжал, — заявил Эк. — Его не было дома в ночь с тринадцатого на четырнадцатое... раз я его видел... собственными глазами видел... и узнал...

— Подождем возвращения полицейского, которого я послал к нему на дом, — сказал майор Вердер, — через несколько минут он будет здесь.

Сидя у окна, г-н Франк Иохаузен предался нахлынувшим на него чувствам. Ему хотелось верить, что унтер-офицер не ошибся, и вместе с тем инстинкт справедливости восставал в нем против столь невероятного обвинения.

Вернулся полицейский и доложил, что г-н Дмитрий Николев 13-го рано утром выехал из Риги и еще не возвращался.

Это подтверждало сообщение Эка.

— Видите, я был прав, господин майор, — сказал он. — Дмитрий Николев покинул дом тринадцатого на заре... Он и Пох сели в почтовую карету... Несчастный случай с каретой произошел около семи часов вечера, и оба пассажира в восемь пришли в трактир «Сломанный крест», где и остались на ночь... Значит, если один из путешественников убил другого, то этот убийца — Дмитрий Николев!

Господин Франк Иохаузен ушел ошеломленный и торжествующий. Ужасное известие должно было сразу же распространиться. И действительно, подобно вспышке пороха, зажженного искрой, новость облетела весь го-

род!.. Убийство в «Сломанном кресте» — дело рук Дмитрия Николева!

К счастью, Илька Николева еще ничего об этом не знала. В их дом не проникали слухи. Об этом позаботился доктор Гамин. И вечером, когда г-н Делапорт и он встретились в столовой Николевых, не было произнесено ни слова о происшедшем. Впрочем, узнав новость, они только пожалы плечами... Николев — убийца!.. Они отказывались этому верить.

Но телеграф действовал своим чередом. Полицейским отрядам края передали приказ арестовать Дмитрия Николева, как только его найдут.

Вот каким образом шестнадцатого после полудня известие это прибыло в Дерпт. Карла Иохоузена одним из первых осведомили об этом. Читатель уже знает, какой ответ в присутствии товарищей по университету он дал Ивану Николеву, вызвавшему его на дуэль.

ГЛАВА 10

ДОПРОС

Никем в дороге не признанный, Дмитрий Николев возвратился в Ригу в ночь с 16 на 17 апреля.

Илька не спала — тревога одолевала ее. Но в каком состоянии была бы несчастная девушка, знай она о тяготившем над отцом обвинении!..

Была у нее и еще одна причина для беспокойства: вечером, после ухода г-на Делапорта и доктора Гамина, телеграмма из Дерпта уведомила ее, что Иван Николев прибудет на следующий день. Никаких причин своего внезапного приезда он не сообщал.

Какая тяжесть спала с души Ильки, когда около трех часов утра она услышала шаги отца, подымавшегося к

себе по лестнице! Он не постучался к ней, и она решила, что лучше дать ему выспаться и отдохнуть с дороги. Наутро, как только он встанет, она пойдет поздороваться и поцеловать его. Возможно, он скажет ей, почему так внезапно, без предупреждения, вынужден был уехать.

И действительно, на следующий день, когда рано утром отец и дочь встретились, Дмитрий Николев сразу же сказал:

— Вот я и вернулся, дорогая детка... Я запоздал больше, чем думал... О! только на одни сутки...

— У тебя усталый вид, отец, — заметила Илька.

— Я немного устал, но за утро я отдохну, а после обеда пойду давать уроки.

— Быть может, подождать до завтра, отец?.. Твои ученики предупреждены...

— Нет, Илька, нет... Не могу я их дольше заставлять ждать. В мое отсутствие никто не приходил?..

— Никто, кроме доктора и господина Делапорта, которые были весьма удивлены твоим отъездом.

— Да... — с некоторым колебанием ответил Николев, — я никому не говорил об этом... О! такая короткая поездка... думаю, никто меня даже не узнал в дороге...

Учитель ничего не добавил, а его дочь, как всегда сдержанная, лишь спросила, не из Дерпта ли он вернулся?

— Из Дерпта?.. — несколько удивился Николев. — Почему такой вопрос?..

— Потому что я не нахожу объяснения телеграмме, которую получила, вчера вечером...

— Телеграмма? — с живостью воскликнул Николев. — От кого?..

— От брата, он уведомляет меня, что приедет сегодня.

— Иван приезжает?.. Действительно странно. Зачем

бы это?.. Что ж, мой сын может быть всегда уверен в том, что дома ему будут рады.

И все же, чувствуя по поведению дочери, что она как бы ожидает от него разъяснения причин его поездки, он добавил:

— Важные дела... заставили меня уехать так внезапно...

— Если ты доволен поездкой, отец...

— Доволен... да... детка, — ответил он, бросая украдкой взгляд на дочь, — и надеюсь, что это не вызовет неприятных последствий.

Затем, как будто решив больше к этому не возвращаться, он переменял тему разговора.

После первого утреннего чая Дмитрий Николев поднялся к себе в кабинет, привел в порядок разные бумаги и снова засел за работу.

В доме воцарилась обычная тишина, и Ильяка была далека от мысли, что скоро над ними грянет гром.

Пробило четверть первого, когда в дом Дмитрия Николева явился полицейский. Он принес письмо и, вручив его служанке, наказал немедленно передать барину. Он даже не спросил, дома ли сейчас учитель. Хотя ничего и не было заметно, но дом уже с вечера находился под наблюдением.

Дмитрию Николеву вручили послание, и он тотчас же прочел его. Содержание письма было краткое:

«Следователь Керсдорф просит учителя Дмитрия Николева незамедлительно явиться к нему в кабинет, где он будет его ожидать. Дело срочное».

При чтении письма Дмитрий Николев не мог удержаться от жеста, который выражал больше чем удивление. Он побледнел, и на лице его отразилось живейшее беспокойство.

Затем, должно быть решив, что лучше сразу выполнить требование, выраженное следователем Керсдорфом

в столь настойчивой форме, он набросил плащ и спустился в столовую к дочери.

— Илька, — сказал он, — я только что получил записку от следователя Керсдорфа, который просит меня зайти к нему в кабинет...

— Следователь Керсдорф?.. — воскликнула молодая девушка. — Что ему нужно от тебя?..

— Не знаю... — ответил Николев, отворачиваясь.

— Не идет ли речь о каком-нибудь деле, в которое замешан Иван и которое заставило его покинуть Дерпт?..

— Не знаю, Илька... Да... возможно... Так или иначе, мы вскоре узнаем, в чем дело.

Учитель вышел, но Илька все же успела заметить, что он был сильно взволнован. Он шел неуверенным шагом в сопровождении полицейского, как бы машинально, и не замечал, что является предметом всеобщего любопытства. Некоторые прохожие даже шли за ним следом или провожали его недружелюбными взглядами.

Они пришли в судейскую палату, и учителя ввели в кабинет, где его уже поджидали следователь Керсдорф, майор Вердер и секретарь суда. Поздоровавшись со всеми, Дмитрий Николев стал ждать, чтобы с ним заговорили.

— Господин Николев, — обратился к нему следователь Керсдорф, — я пригласил вас, чтобы получить некоторые сведения об одном порученном мне деле.

— О каком деле идет речь? — спросил Дмитрий Николев.

— Садитесь, пожалуйста, и выслушайте, что я вам скажу.

Учитель сел на стул против письменного стола, за которым сидел в кресле следователь, майор остался стоять у окна. Беседа тотчас же превратилась в допрос.

— Господин Николев, — сказал следователь, — не

удивляйтесь, если вопросы, которые я вам поставлю, будут касаться вас лично, затрагивать вашу личную жизнь... В интересах дела, как и в ваших личных, вы должны отвечать без обиняков.

Господин Николев не столько слушал следователя, сколько внимательно следил за выражением его лица. Он сидел скрестив руки и продолжал молчать, лишь изредка кивая головой.

Перед г-ном Керсдорфом лежали протоколы расследования. Он разложил их на столе и спокойным строгим голосом продолжал:

— Господин Николев, вы несколько дней отсутствовали?..

— Да, это так, господин следователь.

— Когда уехали вы из Риги?..

— Тринадцатого рано утром.

— А вернулись?

— Нынче ночью в первом часу.

— Вас никто не сопровождал?..

— Никто.

— И вы вернулись один?..

— Один.

— Вы выехали с ревельской почтовой каретой?..

— Да... — после некоторого колебания ответил Николев.

— А возвратились?..

— Я приехал на телеге.

— Где вы сели на эту телегу?..

— В пятидесяти верстах отсюда на рижском тракте.

— Итак, вы уехали тринадцатого с восходом солнца?..

— Да, господин следователь.

— Кроме вас, никого не было в почтовой карете?..

— Нет... в карете был еще один пассажир.

— Вы были с ним знакомы?

— Совершенно незнаком.

— Но вскоре вы узнали, что это Пох, артельщик банка братьев Иохаузен?..

— Да, действительно, этот артельщик был очень болтлив и все время разговаривал с кондуктором.

— Он говорил о своих личных делах?..

— Только о них.

— А что он говорил?

— Он говорил, что едет в Ревель по поручению господ Иохаузенов.

— Не заметили ли вы, что он очень торопится вернуться в Ригу... чтобы сыграть там свадьбу?..

— Да, господин следователь... если память мне не изменяет, — ведь я обращал очень мало внимания на их беседу, не представлявшую для меня интереса.

— Не представлявшую для вас интереса? — вмешался майор Вердер.

— Конечно, господин майор, — ответил Николев, бросая на майора удивленный взгляд. — Почему меня могло интересовать то, что говорил этот артельщик?..

— Возможно, это-то как раз и намеревается выявить следствие, — отвечал г-н Керсдорф.

Услышав этот ответ, учитель сделал недоумевающий жест.

— Не было ли у этого Поха сумки, — продолжал следователь, — какую обычно носят банковские артельщики?..

— Возможно, господин следователь, но я не заметил ее.

— Значит, вы не можете сказать, не оставил ли он ее по неосторожности в карете, не бросил ли на скамье и не мог ли ее видеть на станции кто-нибудь посторонний?

— Я уткнулся в свой угол, завернулся в дорожный плащ, иногда дремал, закрыв лицо капюшоном, и вовсе не замечал, что делали мои спутники.

— Между тем кондуктор Брокс утверждает, что сумка была...

— Что же, господин следователь, если он это утверждает, значит — так оно и есть. Что касается меня, я не могу ни оспаривать, ни подтвердить его слов.

— Вы не разговаривали с Похом?..

— В дороге — нет... Я впервые заговорил с ним, когда карета сломалась и нам пришлось отправиться в корчму.

— Стало быть, вы сидели весь день, уткнувшись в угол, старательно надвинув на лицо капюшон?..

— Старательно?.. Почему «старательно», господин следователь?.. — с некоторой запальчивостью подхватил это слово г-н Николев.

— Потому что вы как будто не хотели быть узнанным.

Это замечание, в котором чувствовался определенный намек, вставил майор Вердер, снова вмешиваясь в допрос.

На этот раз Дмитрий Николев не выразил того возмущения, которое вызвали у него раньше слова следователя. Помолчав с минуту, он лишь сказал:

— Предположите, что мне хотелось совершить поездку инкогнито. Я полагаю, это право всякого свободного человека — в Лифляндии, как и везде!

— Ловкая предосторожность, чтобы избежать очной ставки с возможными свидетелями! — возразил майор.

Это был еще один намек, всю серьезность которого учитель не мог не понять, и это заставило его побледнеть.

— В конце концов, — сказал следователь, — не отрицаете же вы, что банковский артельщик Пох был в этот день вашим попутчиком?..

— Нет... не отрицаю... если моим попутчиком в карете был действительно Пох...

— Это совершенно достоверно, — ответил майор Вердер.

Господин Керсдорф возобновил допрос следующим образом:

— Итак, путешествие протекало без приключений, от станции к станции... В полдень вы остановились на часок пообедать... Вы приказали подать себе в сторонке, в темном углу корчмы, как бы постоянно заботясь о том, чтобы вас не узнали. Затем почтовая карета отправилась дальше... Погода была очень плохая, лошади с трудом боролись с ветром. И вот в половине восьмого вечера произошел несчастный случай... Одна из лошадей упала, и карета, у которой сломалась передняя ось, опрокинулась...

— Господин следователь, — сказал Николев, прерывая его, — могу я вам задать вопрос: почему вы меня обо всем этом спрашиваете?

— В интересах правосудия, господин Николев. Когда кондуктор Брокс убедился в том, что карета не может добраться до следующей станции, города Пернова, пассажирам было предложено провести ночь в трактире, который виднелся в двухстах шагах у дороги... Вы сами указали на этот трактир...

— Кстати, я не знал этой корчмы и вошел туда в этот вечер впервые.

— Допустим! Достоверно только то, что вы предпочли провести ночь там, а не отправиться с кондуктором и ямщиком в Пернов.

— Безусловно. Погода стояла отвратительная, пришлось бы пройти пешком около двадцати верст, и я счел за лучшее переночевать вместе с банковским артельщиком в этой корчме.

— Это вы уговорили его пойти с вами в корчму?..

— Я ни в чем его не уговаривал, — возразил г-н Ни-

колев. — Когда почтовая карета опрокинулась, он был ранен — повреждение ноги, кажется, — и не смог бы пройти расстояние, отделявшее нас от Пернова... Счастье для него, что в этой корчме...

— Счастье для него?! — воскликнул майор Вердер, который, не обладая хладнокровием и выдержкой следователя, даже подскочил при этих словах.

Обернувшись к нему, Дмитрий Николев не мог сдерживать презрительного пожатия плеч.

Не желая отвлекаться от намеченного хода допроса, г-н Керсдорф поспешил задать новый вопрос:

— Кондуктор и возница отправились в Пернов в то самое время, когда вы подошли к трактиру «Сломанный крест» ?

— «Сломанный крест»?.. — переспросил г-н Николев. — Понятия не имел, что эта корчма так называется.

— В корчме вас и Поха встретил трактирщик Кроф... Вы попросили дать вам комнату на ночь, так же поступил и Пох... Кроф предложил вам поужинать, но вы отказались, тогда как банковский артельщик согласился...

— Мне так было удобнее.

— Уйти на следующий день еще до зари, не дожидаясь возвращения кондуктора, вот что вам было удобнее... Поэтому-то, предупредив трактирщика Крофа о ваших намерениях, вы и удалились тотчас же в свою комнату...

— Да, все это так, — ответил учитель, давая понять, что эти бесконечные вопросы начинают его утомлять.

— Ваша комната находилась слева от большой комнаты корчмы, где несколько завсегдатаев Крофа продолжали еще распивать вино, а в дальнем конце дома...

— Понятия не имею, господин следователь... Повторяю, я не бывал в этом трактире, моя нога ступила туда впервые... Кроме того, когда я туда пришел, было уже темно, а когда уходил, еще не рассвело...

— Уходили, не дожидаясь кондуктора! Я настаиваю на этом факте, — заметил г-н Керсдорф. — Не дожидаясь кондуктора, который, починив карету, должен был захватить за вами...

— Верно, не дожидаясь кондуктора, — ответил г-н Николев, — ведь мне оставалось пройти до Пернова всего двадцать верст...

— Допустим! Достоверно лишь то, что эта мысль возникла у вас еще с вечера, и привели вы ее в исполнение в четыре часа утра.

Дмитрий Николев ничего не ответил.

— Теперь, — продолжал г-н Керсдорф, — наступил, мне кажется, момент задать вам один вопрос, на который, думается, нетрудно будет ответить...

— Я вас слушаю, господин следователь.

— Чем вызвана ваша поездка, поездка, которую столь внезапно и таинственно вы решились предпринять и о которой накануне не сообщили никому из ваших учеников, кстати, уже опрошенных нами?..

Этот вопрос, видимо, чрезвычайно смутил г-на Николева.

— Личными делами... — произнес он наконец.

— А именно?..

— Я не обязан ставить вас в известность о них.

— Вы отказываетесь отвечать?..

— Отказываюсь.

— Можете ли вы по крайней мере сказать, куда вы направлялись, уезжая из Риги?..

— Я не обязан отвечать на этот вопрос.

— Вы купили билет до Ревеля?.. Значит ли это, что у вас были дела именно в Ревеле?..

Молчание.

— По-видимому, скорее в Пернове, — продолжал следователь, — так как вы не сочли нужным дожидаться,

чтобы карета заехала за вами в трактир «Сломанный крест». Итак, я спрашиваю: значит, вы ехали в Пернов?..

Дмитрий Николев упорно молчал.

— Продолжим, — сказал следователь. — В четыре часа утра, согласно показаниям трактирщика, вы встали... Он встал в одно время с вами... Вы вышли из комнаты, как и накануне, кутаясь в дорожный плащ и натянув на голову капюшон, так что лица совсем не было видно... Кроф спросил вас, не желаете ли выпить чашку чаю или стаканчик шнапса... Вы отказались и заплатили ему за ночлег... Затем Кроф отодвинул засов и, вынув ключ, отомкнул замок... И тогда, не произнеся ни слова, в полном мраке вы быстро зашагали по дороге в Пернов... Точно ли я излагаю ход событий?

— Совершенно точно, господин следователь...

— В последний раз: скажете ли вы, чем вызвана ваша поездка и куда вы направлялись, уехав из Риги?

— Господин Керсдорф, — холодно произнес Дмитрий Николев, — не знаю, к чему весь этот допрос и зачем вы меня вызвали к себе в кабинет... Тем не менее я ответил на все вопросы, на которые считал нужным отвечать... На другие — нет!.. Полагаю, это мое право... Добавлю, дал я свое показание совершенно искренне... Если бы я захотел — по соображениям, касающимся только меня, — скрыть эту поездку, если бы хотел отрицать, что пассажиром почтовой кареты, спутником банковского артельщика был я, как бы вы могли опровергнуть мои слова, раз согласно вашему собственному признанию ни кондуктор, ни Пох, ни кто-либо другой не узнал меня, так хорошо я скрывал свое лицо?

Все эти доводы были приведены Дмитрием Николевым тоном человека, хорошо владеющего собой, с ноткой пренебрежения в голосе. Тем более ответ следователя удивил его:

— Если Пох и Брокс и не опознали вас, господин Николев, зато нашелся другой очевидец, который узнал вас.

— Другой очевидец?..

— Да... и вы сейчас услышите его показание.

И, вызвав полицейского, следователь приказал ему:

— Введите унтер-офицера Эка.

Минуту спустя унтер-офицер Эк вошел в кабинет и, отдав честь своему начальнику, вытянулся, ожидая вопросов следователя.

— Вы унтер-офицер Эк шестого полицейского отряда? — обратился к нему следователь Керсдорф.

Унтер-офицер назвал свое имя, отчество, чин и должность. Дмитрий Николев разглядывал его, как человека, которого видит впервые.

— Были ли вы тринадцатого апреля вечером в трактире «Сломанный крест»? — спросил следователь.

— Так точно, господин следователь, я зашел туда, возвращаясь с облавы вдоль Перновы, где мы вели розыск беглого каторжника. Но он ускользнул от нас, бросившись на льдины, несущиеся по реке.

При этом ответе Дмитрий Николев невольно вздрогнул, что не ускользнуло от г-на Керсдорфа. Тем не менее следователь не сделал по этому поводу никакого замечания и, обращаясь к унтер-офицеру, сказал:

— Говорите, мы слушаем вас.

— Почти два часа сидели мы с одним из моих людей в трактире «Сломанный крест» и собирались уже уходить в Пернов, — так начал свой рассказ унтер-офицер, — как вдруг дверь открылась... На пороге показались два человека, два путешественника. Их карета дорогой сломалась, и они пришли в корчму, чтобы переночевать, между тем как кондуктор и возница отправились с лошадьми в Пернов... Одним из пассажиров был мой старый знакомый,

банковский артельщик Пох, с которым я и побеседовал минут десять... Что касается другого путника, он как будто старался скрыть лицо капюшоном... Это показалось мне подозрительным, и я решил выяснить, кто этот человек...

— Ты лишь исполнил свой долг, Эк, — произнес майор Вердер.

— Пох, у которого была слегка повреждена нога, — продолжал унтер-офицер, — сел за столик и положил на него сумку с вензелем братьев Иохоузен... В трактире находилось еще пять-шесть посетителей, и я посоветовал Поху не очень-то выставлять напоказ свою сумку, которая, впрочем, была прикреплена цепочкой к поясу... Затем я направился к выходу, стараясь разглядеть незнакомца, которого Кроф провожал в его комнату. Вдруг капюшон немного съехал, и я на минуту, на одну лишь минуту, увидел лицо, которое незнакомец так тщательно старался скрыть...

— И вам этого было достаточно?..

— Да, господин следователь.

— Вы знали его?..

— Да, я часто встречал его на улицах Риги.

— Это был господин Дмитрий Николев?

— Он самый.

— Здесь присутствующий?..

— Так точно.

Учитель, который, не прерывая, выслушал показания Эка, сказал тогда:

— Унтер-офицер ни в чем не ошибся... Верю ему, что он был в трактире, раз он это утверждает... Но если он и обратил на меня внимание, то я лично не заметил его... Да и не понимаю, господин следователь, зачем вам понадобилась очная ставка, раз я сам заявил, что находился в ту ночь в корчме «Сломанный крест»?..

— Сейчас узнаете это, господин Николев, — ответил следователь. — Но сначала скажите: вы все еще отказываетесь объяснить, какова была цель вашей поездки?..

— Отказываюсь.

— Этот отказ может вызвать неприятные для вас последствия!

— Почему?..

— Потому что ваше объяснение избавило бы правосудие от необходимости привлечь вас к делу в связи с тем, что произошло в ту ночь в трактире «Сломанный крест».

— В ту ночь?.. — переспросил учитель.

— Да... Вы ничего не слышали между восемью часами вечера и тремя часами утра?..

— Нет, ничего не слышал, все это время я спал...

— И ничего подозрительного не заметили, когда уходили?..

— Нет.

Не обнаруживая больше никакого волнения, Дмитрий Николев добавил:

— Я начинаю понимать, господин следователь, что, сам того не зная, я замешан в каком-то серьезном деле и вызван в качестве свидетеля...

— Нет... не свидетеля, господин Николев.

— В качестве обвиняемого! — воскликнул майор Вердер.

— Господин майор, — строгим голосом произнес следователь, — прошу вас не выражать своего мнения до тех пор, пока правосудие не высказалось и не вынесло окончательного решения!

Майор вынужден был сдержаться, а Дмитрий Николев пробормотал про себя:

— Так вот зачем меня сюда вызвали!

Затем уже твердым голосом спросил:

— В чем меня обвиняют?..

— В ночь с тринадцатого на четырнадцатое апреля в трактире «Сломанный крест» совершено убийство — убит банковский артельщик Пох.

— Что! Этот несчастный убит?.. — воскликнул г-н Николев.

— Да, — ответил г-н Керсдорф, — и мы имеем доказательства, что убийцей является постоялец, занимавший комнату, в которой вы ночевали...

— А так как этот постоялец вы, Дмитрий Николев... то... — заявил майор Вердер.

— Значит, это я убийца!..

С этими словами г-н Николев вскочил, оттолкнул стул и направился к двери кабинета, которую охранял унтер-офицер Эк.

— Вы отрицаете это... Дмитрий Николев? — спросил следователь, тоже поднявшись с места.

— Есть вещи, которые нет необходимости отрицать, настолько они бессмысленны... — ответил Николев.

— Смотрите...

— Послушайте!.. Ведь это несерьезно!

— Очень серьезно.

— Мне не подобает спорить, господин следователь, — на этот раз уже с высокомерием ответил учитель. — Но все же позвольте спросить, почему обвинение падает на одного лишь постояльца, прошедшего ночь в этой комнате трактира?..

— Потому что, — ответил г-н Керсдорф, — именно на подоконнике этой комнаты обнаружены следы, указывающие, что убийца пролез через него ночью и, взломав ставни комнаты, занимаемой Похом, влез к нему в окно... потому что кочерга, послужившая орудием взлома, найдена именно в комнате этого путешественника...

— Действительно, — ответил Дмитрий Николев, —

если обнаружены такие улики, то это по меньшей мере странно.

Затем спокойным тоном, как будто это дело отнюдь его не касалось, добавил:

— Допустим, что различные находки говорят о том, что преступление совершил злоумышленник, проникший через окно, однако они вовсе не доказывают, что убийство произошло еще до моего ухода...

— Вы обвиняете, стало быть, трактирщика... против которого следствие не обнаружило никаких улик?..

— Я никого не обвиняю, господин Керсдорф, — еще более высокомерным тоном ответил Дмитрий Николев, — но я вправе заявить, что я последний, кого правосудие может заподозрить в подобном преступлении!..

— Убийство сопровождалось грабежом, — сказал тогда майор Вердер, — и деньги, которые вез Пох в Ревель, чтобы произвести платеж за счет братьев Иохаузен, исчезли из его сумки...

— Ну и что ж! Какое это имеет ко мне отношение?..

Следователь поспешил вмешаться в спор учителя и майора Вердера.

— Дмитрий Николев, — сказал он, — вы все еще отказываетесь объяснить цель вашей поездки, а также причину, почему в четыре часа утра вы покинули корчму и куда потом направились?..

— Отказываюсь.

— В таком случае правосудие с полным основанием может сказать: вам было известно, что банковский артельщик имел при себе крупную сумму... Когда почтовая карета сломалась и вы вели Поха в трактир «Сломанный крест», у вас явилась мысль ограбить его... Выждав подходящий момент, вы вылезли через окно вашей комнаты и через окно же забрались к Поху... Убили его, ограбили

и в четыре часа утра покинули трактир, чтобы спрятать деньги... где-ни...

— Где мы их в конце концов и найдем! — прервал следователя майор Вердер.

— В последний раз, — продолжал г-н Керсдорф, — ответите вы или нет, куда вы направились по выходе из корчмы?..

— В последний раз говорю — нет! — ответил учитель. — Арестуйте меня, если такова ваша воля...

— Нет, господин Николев, — к полному недоумению майора Вердера, произнес следователь. — Улики против вас очень серьезны, но человек вашего положения, с вашим безупречным прошлым вправе рассчитывать на доверие. Я не подпишу приказа об аресте... во всяком случае, не сегодня... Вы свободны... Все же прошу вас оставаться в распоряжении правосудия.

ГЛАВА 11

НЕИСТОВСТВО ТОЛПЫ

Как думал майор Вердер, после допроса должен был последовать приказ об аресте Николева, да и многие так думали. В самом деле, ведь учитель отказался объяснить причину своей поездки. Не дал он и сколько-нибудь правдоподобных объяснений, зачем с такой поспешностью покинул трактир в четыре часа утра, и даже не захотел сказать, где провел три дня до возвращения в Ригу. Безусловно, этот странный отказ только усиливал тяготившие над ним улики. Почему же в таком случае Дмитрия Николева не арестовали?.. Почему его оставили на свободе и разрешили вернуться домой, вместо того чтобы отвести в тюрьму?.. Правда, ему запрещено отлучаться из дома... Однако теперь, узнав, насколько он замешан в де-

ле «Сломанного креста», не вздумает ли он бежать, воспользовавшись предоставленной ему свободой?

В России, как и в других странах, независимость суда не может ставиться под сомнение, — она проявляется во всей полноте. И все же, стоит какому-нибудь делу быть хоть в самой незначительной мере связанным с политикой, как тотчас вмешиваются власти. Так произошло и в случае с Дмитрием Николевым, обвиненным в чудовищном преступлении в те самые дни, когда славянская партия выставила его своим кандидатом на выборах. Поэтому-то генерал Горко, губернатор Прибалтийского края, и не счел уместным вынести решение об аресте учителя до тех пор, пока виновность его не будет доказана...

Когда во второй половине дня полковник Рагенов принес ему протокол допроса Николева, губернатор пожелал поговорить с ним об этом неприятном деле, о котором должен был дать отчет правительству.

— К услугам вашего высокопревосходительства! — ответил полковник.

Генерал Горко внимательно прочел протокол.

— Виновен или не виновен Дмитрий Николев, — сказал он, — германцы воспользуются его делом для разжигания страстей. Ведь он славянин, и мы выставили его кандидатуру на ближайших выборах против кандидата дворянских и буржуазных немецких слоев, всемогущих в наших областях и в особенности в Риге. И как раз в это время над Николевым нависло столь тяжкое обвинение, и он так неловко защищается...

— Ваше высокопревосходительство правы, — ответил полковник, — это произошло при самых худших обстоятельствах, когда умы и так возбуждены...

— Вы считаете Николева виновным, полковник?

— Не могу ответить вашему высокопревосходительству так уверенно, как я бы того желал, — ведь речь идет о

Дмитрии Николеве, который казался мне всегда достойным всяческого уважения.

— Но отчего он отказывается дать объяснение своей поездке... С какой целью он ее предпринял? Куда ездил? У него должны быть серьезные причины, чтобы умалчивать об этом!..

— Во всяком случае, пусть ваше высокопревосходительство соизволит заметить, что только случай свел его с этим несчастным Похом, только случайно оказались они вместе в почтовой карете, выехав из Риги, только случай привел их в трактир «Сломанный крест»...

— Так-то оно так, полковник, признаю всю серьезность ваших доводов. Вот поэтому-то улики, тяготеющие над Николевым, потеряли бы силу, если бы он согласился дать объяснения по поводу своей неожиданной поездки, о которой не предупредил даже родных...

— Согласен, ваше высокопревосходительство, и все же это еще не доказывает его виновность... Нет! Хотя он и был в ту ночь в трактире Крофа, не могу, не хочу верить, что преступление совершил Николев!

Губернатор хорошо понимал, что полковник склонен защищать Дмитрия Николева, славянина, как и он сам. В свою очередь и сам губернатор с трудом допускал мысль о виновности Николева. Он поверит этому обвинению лишь в случае неопровержимых доказательств. И, как говорится, нужно будет десять раз доказать это, чтобы убедить его.

— Приходится все же признать, — заметил он, перелистывая дело, — что против Николева имеются серьезные улики. Он не отрицает, что ночь с тринадцатого на четырнадцатое провел в корчме... Не отрицает он и того, что занимал ту самую комнату, на подоконнике которой сохранились совсем свежие отпечатки, комнату, где на-

шли кочергу, послужившую для взлома ставень, что позволило убийце забраться к Поху...

— Все это верно, — возразил полковник Рагенов, — обстоятельства дела доказывают, что убийцей является путешественник, проведенный ночь в этой комнате, и нет сомнения, что путешественник этот Дмитрий Николев. Но вся его жизнь, его безукоризненное и достойное прошлое ограждают его от подобного обвинения. Да и кроме того, ваше высокопревосходительство, ведь не знал же он, собираясь в поездку, что артельщик братьев Иохоузен везет крупную сумму для ревельского клиента банка и окажется его попутчиком... А для утверждения, что преступная мысль зародилась у него при виде сумки, которую беспечный артельщик выставлял напоказ, надо еще доказать, что Дмитрий Николев находился в затруднительном положении и испытывал столь острую нужду в деньгах, что не колеблясь совершил убийство с целью грабежа!.. Но разве это было доказано и разве достойное и вместе с тем скромное существование учителя Николева позволяет думать, что нужда в деньгах могла толкнуть его на преступление, вплоть до убийства?

Эти доводы еще усилили колебания губернатора, который и сам недоверчиво относился к догадкам, выдаваемым майором Вердером и некоторыми другими за действительность. Не углубляя вопроса, он ограничился таким решением:

— Дадим следствию идти своим ходом... — сказал он полковнику Рагенову. — Возможно, новые данные, новые свидетельские показания придадут бóльшую основательность обвинению... Следователь Керсдорф, которому поручено это дело, заслуживает полного доверия. Этот честный, независимый служитель правосудия прислушивается лишь к голосу собственной совести. Он не поддастся никаким политическим влияниям Арестовывать

учителя, не спросив моего мнения, не следовало, — он и оставил его на свободе... вероятно, это лучшее, что можно было сделать... Если какие-нибудь новые обстоятельства потребуют ареста, я первый отдам приказ о заключении Николева в крепость.

Между тем волнение в городе росло. Можно смело утверждать, что после допроса значительная часть населения ожидала ареста учителя — одни, в высших слоях общества, потому, что верили в его виновность, другие — потому, что при столь серьезном обвинении его следовало по меньшей мере взять под стражу.

Поэтому при виде Дмитрия Николева, свободно возвращающегося к себе домой, многие выражали чрезвычайное удивление и негодование.

Ужасная весть проникла наконец и в дом учителя. Илька знала теперь, что над отцом ее тяготеет обвинение в убийстве. Ее брат Иван прибыл и долго утешал ее, сжимая в своих объятиях. В нем все кипело от негодования. Он описал сестре сцену, разыгравшуюся между студентами в Дерпте.

— Наш отец невиновен! — воскликнул он. — И я сумею заставить этого негодяя Карла...

— Да... невиновен! — ответила девушка, гордо вскинув голову. — Разве найдется даже среди его врагов такой человек, который поверит в его виновность?..

Излишне говорить, что таково же было и мнение ближайших друзей Дмитрия Николева, доктора Гамина и консула Деллапорта, поспешивших примчаться, как только учителя вызвали к рижскому следователю.

Их приход, их сочувствие, вера в Николева смягчали горе брата и сестры. Однако друзья не без труда уговорили их не ходить к следователю.

— Нет, — сказал им доктор Гамин, — оставайтесь

здесь, с нами... Лучше подождать!.. Николев вернется от следователя полностью обеленный.

— Стоит ли всю жизнь быть честным человеком, — сказала девушка, — если это не ограждает даже от таких гнусных обвинений?..

— Это служит защитой! — воскликнул Иван.

— Да, дитя мое, — поддержал его доктор. — Признайся даже Дмитрий, — я отвечу: «Он с ума сошел — не верю!»

Вот в каком настроении Дмитрий Николев застал свою семью, доктора, г-на Делапорта и нескольких друзей, собравшихся у него дома. Но страсти в городе были до того распалены, что по дороге домой ему пришлось услышать не одно оскорбление по своему адресу.

Брат и сестра бросились навстречу отцу. Он прижал их к груди и долго целовал. Теперь он уже знал, как оскорбили его Ивана в Дерпте, какое гнусное обвинение бросил ему в лицо в присутствии товарищей Карл Иохаузен!.. Его Ивана обозвали сыном убийцы!..

Доктор Гамин, консул, друзья жали ему руку, дружескими словами выражали свое возмущение против несправедливого обвинения. Никогда они не сомневались в его невиновности и никогда не усомнятся в ней!.. Они не скупилась на изъявление самых искренних дружеских чувств...

Затем в комнате, где они сошлись все вместе, в то время как враждебно настроенная толпа бушевала перед домом, Дмитрий Николев рассказал все, что произошло в кабинете следователя, рассказал о нескрываемом предубеждении к нему майора Вердера, отдал должное достойному и сдержанному поведению г-на Керсдорфа. Сделал он это коротко, отрывисто; видно было, что ему неприятно возвращаться к этим подробностям.

Друзья поняли, что учителю нужно отдохнуть, остать-

ся одному, может быть, даже забыться за работой после столь тяжких переживаний, и они попрощались с ним.

Иван пошел в комнату к сестре, а учитель поднялся к себе в кабинет.

— Дорогой друг, умы возбуждены, — сказал г-н Делапорт доктору, когда они вышли из дома, — и несмотря на то, что Николев невиновен, необходимо открыть настоящего преступника, не то ненависть врагов будет неотступно преследовать Дмитрия!

— Да, этого следует весьма опасаться, — ответил доктор. — Никогда еще я так не желал, чтобы преступник был пойман, как в этом деле!.. Иохоузену не преминут воспользоваться смертью Поха в своих целях. Подумайте только, ведь Карл не дождался даже доказательств обвинения, чтобы обозвать Ивана сыном убийцы!

— Вот я и боюсь, — заметил г-н Делапорт, — что на этом дело между ним и Карлом не кончится!.. Вы ведь знаете Ивана... Он захочет отомстить за отца и за себя!

— Нет... нет, — воскликнул доктор, — в нынешних обстоятельствах ему надо воздержаться от безрассудств!.. Эх, проклятая поездка! И зачем только понадобилось Дмитрию уезжать и зачем только возымел он эту мысль?

Этот вопрос задавали себе и дети, и друзья Николева, потому что он так и не дал никаких объяснений на этот счет.

Следует заметить, что, рассказывая о допросе, учитель ни разу не обмолвился ни о поездке, ни о том, что следователь интересовался причинами, вызвавшими его отъезд, ни о своем отказе отвечать на этот вопрос. Такое упорное отмалчивание на этот счет должно было показаться по меньшей мере странным. Но, быть может, оно объяснится впоследствии. Его трехдневная отлучка могла быть вызвана лишь уважительными причинами, и не ме-

нее достойными уважения должны быть причины, по которым он упорствует в своем молчании.

А между тем, принимая во внимание всю невероятность того, чтобы такой уважаемый человек совершил гнусное преступление, одного его слова было бы, вероятно, достаточно, чтобы опровергнуть обвинение; и все-таки он упорно отказывался произнести это слово.

В то же время освобождение Дмитрия Николаева вызвало взрыв негодования в городе, в особенности у немцев, составлявших значительное большинство населения. Семья Иохазен, их друзья, дворянство и буржуазия осыпали местные власти упреками. Губернатора и полковника Рагенова обвиняли в попустительстве учителю ради его происхождения. Любого другого человека, не славянина, над которым бы тяготело такое обвинение, уже давно заключили бы в крепость.

Почему, спрашивается, не поступают с ним, как с самым обыкновенным разбойником?.. Разве заслуживает он, чтобы с ним церемонились больше, чем с каким-нибудь Карлом Моором, Жаном Сбогаром или Яромиром?.. Ведь обвинение против него строится не просто на догадках, а на уликах, а его оставляют на свободе, и он может бежать и скрыться от суда, который не колеблясь осудил бы его!.. Правда, наказание было бы чересчур мягким, так как смертная казнь за уголовные преступления не применяется больше в Российской империи. Он отделался бы каторжными работами в сибирских рудниках, он — этот убийца, заслуживающий смерти!..

Такие разговоры велись главным образом в богатых кварталах города, где преобладало немецкое население. В семействе Иохазен освобождение учителя вызвало приступ неистовой ярости против Дмитрия Николаева, против убийцы несчастного Поха, или, вернее, против

скромного учителя — политического противника влиятельного банкира.

— Конечно, — повторял г-н Иохаузен, — отправляясь в поездку, Николев не предвидел ни того, что Пох окажется его спутником, ни того, что Пох будет иметь при себе крупную сумму. Но вскоре он узнал об этом и, когда после поломки кареты предложил провести ночь в трактире «Сломанный крест», уже замыслил ограбить нашего артельщика и не остановился перед убийством, чтобы совершить ограбление... Если он не хочет сказать, для чего уезжал из Риги, пусть объяснит по крайней мере, отчего еще до рассвета бежал из трактира, почему не дождался возвращения кондуктора!.. Пусть, наконец, откроет, куда он направлялся, где провел эти три дня, пока отсутствовал... Но он этого не скажет!.. Это значило бы признаться в своей вине, потому что бежал он так поспешно, старательно скрывая лицо, только для того, чтобы спрятать в укромном месте украденные деньги!

Что же касается причин, вынудивших Дмитрия Николаева совершить это ограбление, то банкир до поры до времени держал их в секрете.

«Денежные дела учителя, — думал он, — находятся в отчаянном положении... У него имеются обязательства, которые он не сумеет покрыть... Через три недели наступает срок платежа по долгу в сумме восемнадцать тысяч рублей, и ему негде достать таких денег, чтобы расплатиться со мной... Напрасно будет он просить об отсрочке!.. Я ему в ней откажу без всякой жалости».

Весь Франк Иохаузен проявился здесь, беспощадный, злобный, мстительный.

Однако в деле, где замешалась политика, генерал Горко решил соблюдать величайшую осторожность. И хотя общественное мнение настаивало на этом, он не

считал нужным арестовать учителя, не возражая, однако, против обыска в его доме.

Восемнадцатого апреля следователь Керсдорф, майор Вердер и унтер-офицер Эк произвели у него обыск.

Не препятствуя этому, Дмитрий Николев дал полиции произвести обыск, презрительно и холодно отвечая на задаваемые ему вопросы. Полицейские рылись в его письменном столе и шкафах, просмотрели все бумаги, переписку, приходо-расходную запись. Это позволило убедиться, что г-н Франк Иохаузен отнюдь не преувеличивал, говоря, что учитель не обладает никакими средствами. Он жил лишь тем, что приносили ему уроки, но теперь, ввиду создавшихся обстоятельств, не лишится ли он и этих уроков?..

Обыск не дал никаких результатов в отношении грабежа, совершенного в ущерб братьям Иохаузенам. Да и как могло быть иначе, если, по убеждению банкира, Николев имел время спрятать украденные деньги в укромное место, то есть в то самое место, куда он направился на следующий день после убийства и которое он ни за что не укажет.

Что касается кредитных билетов, номера которых были известны банкиру, то г-н Керсдорф был с ним согласен, что вор, — кто бы он ни был, как говорил следователь, — вероятно, разменяет их лишь тогда, когда будет считать, что опасность миновала. Пройдет, следовательно, некоторый срок, прежде чем они снова поступят в обращение.

В то же время друзья Дмитрия Николева ясно отдавали себе отчет, какое возбуждение вызвало это дело не только в Риге, но и во всем крае.

Они знали, что общественное мнение было в большинстве против учителя и что немецкая партия старалась оказать давление на власти, добиваясь его ареста и пре-

дания суду. В общем, простой народ, рабочие, служащие, одним словом — коренное население, даже не разбираясь в том, виновен он или нет, просто в силу национального инстинкта, готово было вступить за Николева и поддержать его в борьбе с врагами. Правда, что могли сделать эти бедные люди? Со средствами, которыми располагали братья Иохаузены и их партия, нетрудно было воздействовать на них, толкнуть их на самоуправство и таким образом вынудить губернатора отступить перед движением, которому опасно было сопротивляться.

Посреди всего этого волнения, царящего в городе, и несмотря на то, что в предместье то и дело появлялись группы мещан и всяких подонков, всегда готовых служить тому, кто платит, а у дома учителя часто создавались сборища, Дмитрий Николев сохранял достойное удивления высокомерное спокойствие. По просьбе детей доктор Гамин упросил его не выходить из дома. Ведь ему угрожала опасность подвергнуться оскорблениям и даже каким-нибудь грубым выходкам. Пожав плечами, он дал себя уговорить. Он стал молчаливее обычного и часами не выходил из своего рабочего кабинета. Уроков у него больше не было ни в городе, ни на дому. Он стал угрюм, неразговорчив и никогда не упоминал ни словом о тяготившем над ним обвинении. В его душевном состоянии произошла настолько резкая перемена, что дети и друзья не на шутку встревожились. Поэтому доктор Гамин, чья дружба доходила до безграничной преданности, посвящал им все свои досуги. Г-н Делапорт и несколько друзей собирались каждый вечер у Николевых. Несмотря на то, что по приказу полковника Рагенова полиция продолжала охранять их дом, иногда с улицы доносились враждебные выкрики. Это были тоскливые вечера! Дмитрий Николев сторонился даже друзей. Но все же брат и сестра были не одни в вечерние часы, которые сумерки

делали еще тягостней! Затем друзья покидали их. С сердцем, сжимающимся от тревоги, Иван и Илька, поцеловавшись, уходили к себе в комнаты. Они прислушивались к звукам, доносившимся с улицы, и к шагам отца, который долго расхаживал по кабинету, как будто его мучила бессонница.

Само собой понятно, Иван и не помышлял о возвращении в Дерпт. В каком трудном положении оказался бы он в университете!.. Как примут его студенты, даже те из них, которые до сих пор проявляли к нему искренние дружеские чувства?.. Что, если товарищи поверят молве? Вероятно, лишь один Господин не отступится от него!.. Да и сам Иван, — как сможет он совладать с собой при виде Карла Иохаузена?..

— Ах! Этот подлец Карл! — повторял он доктору Гамину. — Отец мой невиновен!.. Когда подлинного убийцу обнаружат, все признают его невиновность!.. Но будет ли так или нет, а я заставлю Карла Иохаузена ответить мне за оскорбление!.. Да и зачем дольше ждать?..

Не без труда удавалось доктору успокоить молодого человека.

— Не будь так нетерпелив, Иван, — советовал он ему, — не делай безрассудств!.. Придет время, я первый скажу тебе: «Исполни свой долг!»

Но Иван не поддавался его доводам и, если бы не настойчивые просьбы сестры, возможно, дошел бы до каких-нибудь крайностей, которые еще ухудшили бы положение.

В тот же вечер, когда Дмитрий Николев прибыл в Ригу и вернулся домой после допроса у следователя, как только ушли друзья, он осведомился, нет ли для него письма.

Нет... Почтальон каждый вечер приносил лишь газету — орган защиты славянских интересов.

На следующий день, выйдя из своего кабинета в час, когда доставлялась почта, учитель на крыльце стал поджидать почтальона. Улицы предместья были еще безлюдны, только несколько полицейских расхаживали взад и вперед перед домом.

Услышав шаги отца, Илька тоже вышла на крыльцо.

— Поджидаешь почтальона?.. — спросила она.

— Да, — ответил Николев, — он что-то сегодня утром опаздывает...

— Нет, отец, еще рано, уверяю тебя... На улице свежо... Ты бы лучше вошел в дом... Ждешь письма?..

— Да... детка. Но тебе незачем оставаться здесь... пойдди в свою комнату...

По его немного смущенному виду можно было предположить, будто присутствие Ильки стесняет его.

Как раз в эту минуту появился почтальон. У него не было письма для учителя, и последний не мог скрыть своей досады.

Вечером и утром следующего дня Николев выказал такое же нетерпение, когда почтальон, не останавливаясь, прошел мимо его дома. От кого же это Дмитрий Николев ожидал письма, какое значение имело оно для него?.. Стояло ли это в какой-либо связи с поездкой, прошедшей при столь печальных обстоятельствах?.. Никаких объяснений по этому поводу он не давал.

В тот же день в восемь часов утра примчались доктор Гамин и г-н Делапорт и пожелали немедленно видеть брата и сестру. Они пришли предупредить их, что днем состоятся похороны Поха. Можно было опасаться каких-нибудь враждебных выступлений против Николева, и следовало принять некоторые предосторожности...

Действительно, от враждебно настроенных братьев Иохаузен можно было всего ожидать. Ведь они не без

умысла решили устроить банковскому артельщику торжественные похороны.

Допустим, что они хотели почтить память своего верного служителя, тридцать лет проработавшего в их банкирском доме. Но было уж чересчур явным, что они ищут лишь предлога, чтобы вызвать всеобщее возмущение против Николева.

Быть может, губернатор поступил бы разумнее, запретив эту манифестацию, о которой оповестили антиславянские газеты. Однако, при настоящем состоянии умов, не вызвало ли бы такое вмешательство властей резкого противодействия? Пожалуй, наилучшим выходом все же было принять необходимые меры, чтобы оградить жилище учителя и находившихся там лиц от нападения.

Это казалось тем более необходимым, что похоронная процессия, направлявшаяся на рижское кладбище, должна была пройти через предместье как раз мимо дома Николева — достойное сожаления обстоятельство, которое могло послужить поводом к беспорядкам.

Предвидя таковые, доктор Гамин посоветовал ничего не говорить об этом Дмитрию Николеву. Это избавит его от лишних тревог, а может быть, и от опасностей, — ведь он обычно сидит запершись в своем кабинете и сходит вниз лишь в определенные часы, к обеду, к чаю.

Завтрак, к которому Илька пригласила доктора и г-на Делапорта, прошел в полном молчании. О похоронах, назначенных на вторую половину дня, никто не упомянул. Не раз, однако, яростные крики заставляли вздрогнуть собравшихся, за исключением учителя, который, казалось, их даже и не слышал. После завтрака он пожал руки своим друзьям и снова удалился к себе в рабочий кабинет.

Иван, Илька, доктор и консул остались в столовой. Наступило напряженное ожидание, тягостное молчание,

прерываемое лишь иногда шумом большого собрания и гневными выкриками толпы.

Шум все усиливался вследствие большого скопления у дома учителя горожан всех слоев и классов, нахлынувших в предместье. Надо признать, что большинство этих людей было явно настроено против Николева, которого молва обвиняла в убийстве банковского артельщика.

Было бы, вероятно, благоразумнее арестовать учителя, дабы избавить его от опасности попасть в руки толпы. Если он невиновен, его невиновность не станет менее явной от того, что он подвергнется заключению в крепость... Кто знает, не подумывали ли в эту самую минуту губернатор и полковник Рагенов о том, чтобы в интересах самого Дмитрия Николева взять его под стражу?..

Около половины второго все усиливающиеся крики оповестили о появлении похоронной процессии в конце улицы. Дом содрогнулся от бешеных возгласов толпы. К величайшему ужасу сына, дочери и друзей, учитель вышел из кабинета и спустился в столовую.

— В чем дело?.. — спросил он.

— Ступай к себе, Дмитрий, — с живостью ответил доктор. — Это похороны несчастного Поха.

— Которого я убил?.. — холодно произнес Николев.

— Уйди, прошу тебя...

— Отец! — умоляюще воскликнули Илья и Иван.

В неописуемом душевном волнении Дмитрий Николев, никого не слушая, бросился к окну и попытался отворить его.

— Ты не сделаешь этого!.. — воскликнул доктор. — Это безумие!..

— Нет, я сделаю это!

И не успели они ему помешать, как он распахнул окно и показался народу.

Крики «смерть ему», подхваченные множеством голосов, раздалась из толпы.

В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди за утопавшим в цветах и венках гробом, словно вдова покойного, шла Зинаида Паренцова. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади — друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации.

Посреди шума, гама, выкриков, сопровождаемых яростными угрозами, несшихся отовсюду, процессия остановилась перед домом учителя.

Полковник Рагенов и майор Вердер в сопровождении многочисленного полицейского отряда подоспели вовремя. Но удастся ли Эку и его полицейским сдержать натиск разъяренной толпы?..

В самом деле, как только показался Дмитрий Николаев, толпа заревела под самым окном:

— Смерть убийце!.. Смерть убийце!..

Скрестив на груди руки, с гордо поднятой головой, неподвижный, как статуя, полный презрения, Николаев не произносил ни слова. Его двое детей, доктор и г-н Делапорт, не сумев предотвратить этот безрассудный поступок, встали рядом с ним.

Между тем шествие снова тронулось, прокладывая себе путь в толпе. Выкрики все усиливались. Наиболее яростные участники сборища бросились к дому и пытались выломать дверь.

Полковнику, майору и полицейским удалось их оттеснить. Но они поняли, что для спасения Николаева необходимо его арестовать. Впрочем, следовало опасаться, как бы с ним не расправились тут же на месте...

Несмотря на все усилия полиции, толпа готова была уже ворваться в дом, как вдруг через толпу пробился ка-

кой-то человек. Он добрался до крыльца, поднялся по ступенькам, загородил собою дверь и громким голосом, покрывшим весь этот шум, закричал:

— Остановитесь!

Толпа отхлынула, прислушиваясь, — так властно прозвучал его голос.

Подойдя к нему, г-н Франк Иохазузен спросил:

— Кто вы такой?..

— Да!.. Кто вы такой?.. — повторил за ним и майор Вердер.

— Я беглый каторжник, которого Дмитрий Николев хотел спасти ценой собственной чести! Я пришел его спасти ценой моей жизни...

— Ваше имя? — спросил, выступая вперед, полковник.

— Владимир Янов!

ГЛАВА 12

ВЛАДИМИР ЯНОВ

Да позволит нам читатель вернуться на две недели назад, к началу этой драмы.

К восточному берегу Чудского озера подходит путник. Он пробирается ночью между ледяными глыбами, которыми усеяна застывшая поверхность озера. Дозор таможенников, полагая, что напал на след контрабандиста, преследует его и открывает стрельбу. Он успеваает скрыться среди сугробов. Человек этот остается невредим и находит приют в рыбацкой хижине, где проводит весь день. С наступлением сумерек он снова пускается в путь, спасается бегством от стаи волков и находит убежище на мельнице, откуда добрый мельник помогает ему бежать. И наконец, преследуемый отрядом унтер-офицера Эка, он лишь чудом ускользает от него, вскочив на льдины,

несущиеся по течению Перновы. Только чудом спасается он посреди ледохода и укрывается в городе Пернове, и только чудом, никем не обнаруженный, проводит здесь несколько дней.

Владимир Янов был сыном Ивана Янова¹, давнего друга Дмитрия Николева. Отец Владимира перед смертью доверил все свое состояние старому другу. Эти деньги, двадцать тысяч рублей кредитными билетами, тот должен был вручить Владимиру Янову, если ссыльному суждено когда-нибудь вернуться в родной край.

Читатель уже знает, по какому политическому делу его сослали в Восточную Сибирь на каторжные работы в минусинские соляные копи. Владимир был приговорен к вечной ссылке. Разве могла Илька Николева надеяться, что ей вернут жениха и что когда-нибудь в их любящей семье, единственной, которая еще оставалась у него на свете, он снова обретет счастье и покой?.. Нет, они соединятся лишь в том случае, если Ильке разрешат последовать за ним в ссылку, — разве что ему удастся бежать!..

И вот четыре года спустя побег удался! Владимир пересек сибирские и европейские степи Российской империи и достиг Пернова, где надеялся сесть на какой-нибудь корабль, отплывающий во Францию или в Англию. Там он и укрывался, сбивая со следа полицию и выжидая, что с открытием судоходства на Балтийском море какой-нибудь корабль примет его на борт.

В Пернове Владимир Янов остался без всяких средств к существованию. Тогда он написал Дмитрию Николеву. Это-то письмо и вызвало таинственную поездку учителя; он спешил вручить сыну деньги, которые ему доверил отец.

¹ В третьей главе Жюль Верн называет отца Владимира Янова Михаилом.

Вначале Николев потому ничего не говорил о своей поездке ни друзьям, ни дочери, что не был уверен, встретит ли действительно Владимира в Пернове; не сказал он им ничего и по возвращении, так как беглец взял с него слово ничего не говорить Ильке, пока не придет от него второго письма, извещающего, что он уже в безопасности, за границей.

Поэтому Дмитрий Николев выехал из Риги тайком. Он купил билет до Ревеля, чтобы нельзя было догадаться о цели его поездки, но рассчитывал выйти из почтовой кареты в Пернове, куда она должна была прибыть в тот же вечер. Не произойди в двадцати верстах от города несчастного случая с каретой, путешествие прошло бы самым благополучным образом.

Мы уже знаем, какое ужасное стечение обстоятельств нарушило планы Дмитрия Николева. Ему пришлось остаться на ночь в трактире «Сломанный крест» вместе с банковским артельщиком. В четыре часа утра он ушел пешком в Пернов, так как не стоило дожидаться возвращения кондуктора с каретой... И вот теперь его обвиняют в убийстве попутчика!

Стояла еще ночь, когда Дмитрий Николев вышел из корчмы. Надеясь, что его никто не заметит, он быстро шагал по пустынной дороге в Пернов. На рассвете, после двухчасовой быстрой ходьбы, он достиг Пернова и направился в гостиницу, где под вымышленным именем проживал Владимир Янов.

Велика была радость обоих, когда они свиделись вновь после столь долгой разлуки, стольких испытаний, стольких опасностей!.. Как будто отец вновь обрел своего сына!.. Николев вручил Владимиру портфель, содержащий все состояние Ивана Янова, и, желая лично проводить его, остался еще на два дня. Но отплытие корабля, на котором Владимир Янов заказал место, было отложе-

но. Не имея возможности задерживаться дольше, Дмитрий Николев принужден был возвратиться в Ригу. Молодой изгнанник просил его передать Ильке уверения и клятвы в вечной любви, но взял слово с Николева ничего не говорить дочери о его побеге из Сибири до тех пор, пока он не окажется вне досягаемости для грозной русской полиции. Он обещал написать ей, как только будет в безопасности, и, возможно, учитель с Илькой смогут тогда переехать к нему.

Николев обнял Владимира, выехал из Пернова в ночь с 16-го на 17-е и, ничего не подозревая о тяготевшем над ним чудовищном обвинении, вернулся в Ригу.

Читателю известно, с каким негодованием учитель отверг это обвинение и как гордо держал себя на допросе. Известно также, с какой настойчивостью следователь добивался, чтобы Николев объяснил цель своей поездки и сообщил, куда он направился по выходе из корчмы «Сломанный крест». Но Дмитрий Николев отказался дать эти объяснения. Он не имел права говорить до тех пор, пока письмо от Владимира не оповестит его, что изгнанник в безопасности. Письмо это не прибыло, и читатель помнит, с каким нетерпением последние два дня поджидал его Николев! И вот, очутившись в ложном положении из-за молчания, которое не желал нарушить, преследуемый жестокой ненавистью своих политических противников, он подвергался смертельной опасности самосуда толпы; его уже собирались арестовать, как вдруг появился Владимир Янов.

Теперь все знали, кто этот беглец и зачем он явился в Ригу. Дверь дома отворилась, и Владимир Янов бросился в объятия Дмитрия Николева. Он обнял невесту, поцеловал Ивана, пожал протянутые ему руки и в присутствии полковника и майора Вердера, следовавших за ним, заявил:

— Когда я узнал... в Пернове, в каком гнусном преступлении подозревают Николева, когда я узнал, что его обвиняют в убийстве в «Сломанном кресте», когда газеты сообщили, что он отказывается указать цель своей поездки, — хотя ему достаточно произнести одно слово, одно имя, мое имя, чтобы оправдаться, но он молчит, чтобы не выдать меня, — я не мог колебаться. Я понял, в чем состоит мой долг, я покинул Пернов, и вот я здесь!.. За то, что ты сделал для меня, Дмитрий Николев, друг Ивана Янова, ты, мой второй отец, — я хочу отплатить тебе тем же...

— И ты напрасно это сделал, Владимир, напрасно!.. Я невиновен, мне нечего бояться, и я ничего не боялся. Моя невиновность была бы вскоре установлена.

— Разве я мог поступить иначе, Илька? — спросил Владимир, обращаясь к девушке.

— Не отвечай, детка, — сказал Николев, — ты не в состоянии сделать выбор между отцом и женихом. Я уважаю тебя, Владимир, за благородный поступок, продиктованный чувством долга, но порицаю тебя за то, что ты так поступил!.. Ты сделал бы разумнее, если бы укрылся в надежном месте... и написал мне оттуда. По получении твоего письма я нарушил бы молчание и объяснил цель моей поездки... Что мне стоило перенести еще несколько дней тяжелых испытаний, лишь бы тебе уже ничего не угрожало?

— Отец, — твердым голосом сказала тогда Илька, — выслушай все же мой ответ. Что бы ни случилось дальше, Владимир хорошо поступил, и всей моей жизни не хватит, чтобы уплатить этот долг...

— Спасибо, Илька, спасибо! — воскликнул Владимир. — Этот долг уже уплачен, если я избавлю вашего отца от того, чтобы хоть один лишний день над ним тяготело обвинение.

Благодаря вмешательству Владимира Янова невиновность Дмитрия Николева не вызвала теперь сомнений. Известие об этом быстро распространилось по городу. В том, что господа Иохаузены со злобным упорством не хотели этому верить, в том, что майор Вердер явно сожалел, что славянин избавился от обвинений, в том, что друзья банкира приняли эту весть весьма холодно, не было ничего удивительного, и читатель вскоре увидит, сложили ли они оружие. Но известно, с какой быстротой, часто лишенной логики, происходит поворот в общественном мнении. Это как раз и произошло в данном случае. Волнение улеглось, толпа уже не угрожала вломиться в дом Дмитрия Николева; полиции больше незачем было оберегать его от народной ярости.

Но оставалось решить вопрос о судьбе Владимира Янова. Ведь, несмотря на то, что лишь душевное благородство и чувство долга привели его в Ригу, он тем не менее оставался политическим преступником, беглым каторжником из сибирских копей.

Полковник Рагенов обратился к нему благожелательным тоном, однако с холодной сдержанностью русского чиновника — полковника полиции.

— Владимир Янов, вы бежали из ссылки, и я должен запросить указаний на ваш счет у губернатора. Я отправлюсь сейчас к генералу Горко. В ожидании моего возвращения разрешаю вам оставаться в этом доме, если вы дадите мне слово, что не будете пытаться бежать.

— Даю слово, полковник, — отвечал Владимир.

Полковник ушел, оставив, впрочем, Эка с полицейскими сторожить дом.

Не станем описывать горячие излияния, которым предались Иван, Илька и Владимир. Доктор Гамин и г-н Делапорт поспешили оставить их одних. Семья учителя снова после долгих лет пережила несколько мгновений

настоящего счастья. Снова они были вместе, говорили друг с другом, далее строили планы на будущее. Они забыли и опасное положение Янова, и его осуждение на каторгу; не думали они ни о последствиях его побега из Сибири, которые могли быть ужасны, ни о полковнике, который должен был скоро вернуться и сообщить решение губернатора.

Полковник вернулся через час и, обратившись к Владимиру, сказал:

— По приказу генерала Горко вы отправитесь в рижскую крепость, где будете дожидаться распоряжений из Петербурга.

— Я готов подчиниться, полковник, — ответил Владимир и, обращаясь к своим близким, сказал: — Прощай, мой отец, мой брат Иван, прощай, моя сестра Илька!

— Нет... ваша жена! — ответила девушка.

Они расстались. Надолго ли? Владимир Янов покинул дом, в который он принес столько счастья.

С этого дня всеобщее внимание, вызываемое этим далеко не законченным делом, было приковано к беглецу, который не поколебался ради спасения Николева пожертвовать своей свободой, а может быть, и жизнью, — ведь он политический преступник. Как бы ни относиться к делу Дмитрия Николева, нельзя было не восхищаться таким поступком. Даже в противном лагере женщины наперебой славилы благородство души Владимира Янова. Вызывала сочувствие и столь трогательная сторона в его истории — любовь к Ильке Николевой, их внезапная разлука накануне свадьбы!.. Однако какое же решение примет теперь император?.. Отправят ли несчастного обратно в Восточную Сибирь, откуда он бежал ценой стольких усилий, преодолев столько опасностей? Не суждено ли невесте, обретшей мимолетное счастье встречи с ним, оплакивать его вечно?.. Что ожидает его по выходе

из рижской крепости: заслужит ли он помилование или будет снова отправлен в изгнание?..

Было бы, однако, ошибкой предполагать, что внезапное и никем неожиданное вмешательство Владимира Янова совершенно оправдало в глазах всех Дмитрия Николева. В таком городе, как Рига, столь проникнутом германским духом, этого не могло случиться. В особенности высшие слои рижского общества не могли примириться с тем, что этот учитель — выразитель чаяний славянского населения — так просто отделался от тяготевшего над ним обвинения. Газеты немецкой партии со свойственной им недобросовестностью продолжали всячески внушать сомнение в невиновности Николева. Ведь убийца-то до сих пор не был обнаружен. Жертва взывала к отмщению, и взывала главным образом злобными, нетерпимыми голосами противников всего русского.

Выражая мнение многочисленных врагов учителя, не желавших упускать из рук добычу, Франк Иохаузен говорил:

— Допустим, что причина поездки Дмитрия Николева теперь известна... Пусть он ездил в Пернов для встречи с Владимиром Яновым!.. Пусть даже в четыре часа утра он вышел из корчмы лишь для того, чтобы скорее добраться до Пернова!.. Но ночь-то с тринадцатого на четырнадцатое он провел все же в трактире «Сломанный крест», да или нет?.. Пох-то был убит ночью в этом самом трактире, да или нет?.. Кто же может быть убийцей, как не путешественник, занимавший комнату, где обнаружено орудие взлома?.. А разве не Дмитрий Николев этот самый путешественник?..

На такие вопросы можно было дать только утвердительный ответ. Но против «да или нет» банкира можно было поставить следующие вопросы: «Разве не мог совершить убийство какой-нибудь злоумышленник, явив-

шийся с улицы, да или нет?.. А не был ли убийцей корчмарь Кроф?.. Ведь он имел больше возможностей убить Поха до или после ухода учителя? Не знал разве Кроф, что в сумке банковского артельщика находится крупная сумма?»

На это следствие давало ответ, что при обыске не обнаружено никаких улик против трактирщика, — ответ не вполне убедительный. С другой стороны, судебные власти не отказывались допустить, что это убийство могло быть делом рук одного из разбойников, замеченных с некоторых пор в Северной Лифляндии.

Таково было мнение полковника Рагенова, который на следующий день после описанных событий беседовал по поводу этого дела с майором Вердером и, как и следовало ожидать, не находил с ним общей точки зрения.

— Видите ли, майор, — говорил он, — мне кажется маловероятным, чтобы Николев вылез ночью из окна своей комнаты и забрался через окно к Поху...

— Ну, а следы на подоконнике?.. — возразил майор.

— Следы?.. Нужно бы сначала удостовериться, что они недавнего происхождения, а это вовсе не доказано... Трактир «Сломанный крест» стоит совершенно уединенно у дороги... Весьма вероятно, что какой-нибудь бродяга в ту или другую ночь пытался выломать ставень...

— Осмелюсь заметить, господин полковник, что убийца должен был знать о наличии крупной поживы, а как раз Николеву это было известно...

— И другим тоже, — с живостью возразил полковник Рагенов. — Ведь Пох весьма легкомысленно болтал об этом, держал свою сумку у всех на виду... Разве не знали об этом и Кроф, и кондуктор Брокс, и ямщики, сменявшиеся на каждой станции, не говоря уже о крестьянах и дровосеках, выпивавших в большой комнате, когда Николев и банковский артельщик вошли в трактир?

Это, конечно, были веские доводы. Подозрения падали не на одного только Дмитрия Николева. Оставалось еще доказать, что острая нужда в деньгах могла заставить учителя прибегнуть к убийству с грабежом.

Однако, несмотря ни на что, майор продолжал настаивать на виновности Николева.

— Я прихожу к выводу, — воскликнул полковник, — что немец всегда остается немцем...

— Как и славянин — всегда славянином, — отпарировал майор.

— Предоставим следователю Керсдорфу продолжать дознание, — заключил спор полковник Рагенов, — когда следствие кончится, будет время взвесить все «за» и «против».

В стороне от этих толков, разжигаемых политическими страстями того времени, г-н Керсдорф продолжал тщательно вести расследование. Ему всегда претила мысль о виновности Николева, и теперь, когда цель поездки учителя, которую тот до сих пор отказывался объяснить, стала известна, тем более находил он оправдание своему внутреннему убеждению. Но кто же тогда совершил убийство?.. Многие свидетели побывали в кабинете г-на Керсдорфа. Были тут и ямщики с различных станций между Ригой и Перновом, и крестьяне, и дровосеки, находившиеся в трактире, когда туда явился Пох, — словом, все, кто знал, зачем банковский артельщик ехал в Ревель, то есть знал, что он должен был внести там деньги на счет братьев Иохаузен. Однако ничто не давало повода заподозрить кого-либо из этих людей.

Кондуктор Бракс был допрошен даже несколько раз. Ведь он лучше, чем кто-либо другой, знал, зачем едет Пох и что при нем крупная сумма. Но от этого честного малого отскакивали все подозрения. После случая с каретой он отправился с возницей и лошадьми в Пернов и

переночевал в пристанционной корчме. Никаких сомнений это не вызывало. Его алиби было неопровержимо. Не могло быть и речи о том, чтобы заподозрить его.

Таким образом, предположение, что это дело рук какого-нибудь злоумышленника с улицы, приходилось отбросить. Да и как бы пришло в голову разбойнику с большой дороги ограбить банковского артельщика, если он ничего о нем не знал? Разве только допустить, что он каким-то образом проведал в Риге о поручении, данном Поху, и тогда, старательно проследив за ним и дождавшись удобного случая, воспользовался поломкой кареты, вынудившей Поха остановиться в трактире «Сломанный крест»...

Даже допустив такое предположение, все же казалось более вероятным, что преступление совершено одним из тех, кто ночевал в корчме. Но их было всего двое: корчмарь и Дмитрий Николев.

Со времени происшествия Кроф не отлучался из трактира, где, как известно, находился под надзором полицейских. Его несколько раз возили к следователю и подвергали долгому и тщательному допросу. Ничто в его поведении, ничто в его ответах не давало ни малейшего повода для подозрений. Между тем он продолжал утверждать, что убийцей должен быть Дмитрий Николев, так как у него были все возможности совершить это преступление.

— И вы не слышали ночью никакого шума?.. — спрашивал его г-н Керсдорф.

— Никакого, господин следователь.

— Как же это возможно: одно окно пришлось отворить, другое взломать?..

— Моя спальня со стороны двора, — ответил Кроф, — а окна обеих комнат выходят на большую дорогу... Я спал крепким сном... Впрочем, в эту ночь бушевала такая буря, что из-за ветра все равно не было ничего слышно.

Слушая показания Крофа, следователь внимательно изучал его, но, хотя в глубине души и был предубежден против трактирщика, не имел повода поставить под сомнение правдивость его показаний.

После каждого допроса Кроф без конвоя возвращался в «Сломанный крест». Если даже он виновен, не лучше ли оставить его на свободе, одновременно наблюдая за ним?.. А вдруг да он выдаст себя чем-нибудь?..

Прошло четыре дня с тех пор, как Владимира Янова заключили в рижскую крепость.

Узнику по приказанию губернатора была предоставлена отдельная комната. С ним обходились вежливо, как того заслуживало его общественное положение и поведение. Генерал Горко не сомневался, что никто в верхах не осудит его за эти послабления, какой бы оборот ни приняло дело Владимира Янова.

Дмитрий Николев, здоровье которого было поколеблено столь сильными потрясениями, не выходил из дому и не мог при всем желании навещать его. Семье Николевых и друзьям Владимира Янова доступ в тюрьму был разрешен. Иван и Илька ежедневно бывали в крепости и навещали узника в его камере. Какие долгие дружеские беседы, полные надежд и мечтаний, велись там! Да! Сестра и брат верили, хотели верить в великодушные императора... Его величество не может остаться бесчувственным к мольбам несчастной семьи, подвергавшейся столь долгим и тяжким испытаниям... Владимира и Ильку не будут больше отделять друг от друга тысячи верст, их не разлучит пожизненная ссылка Владимира, еще более ужасная, чем все расстояния... Любящие смогут, наконец, через несколько недель сочетаться браком, если император помилует Янова... Было известно, что губернатор ходатайствует об этом... Особое положение Дмитрия Николева в Риге накануне выборов, где он представлял сла-

вянскую партию, стремление правительства к русификации городского управления в Прибалтийских областях — все это должно было способствовать полному освобождению беглеца от наказания.

Двадцать четвертого апреля, попросившись с Яновым, с отцом и сестрой, Иван отбыл из Риги обратно в Дерпт. С высоко поднятой головой возвращался он в университет, он, которого там обозвали сыном убийцы.

Излишне было бы описывать прием, оказанный ему товарищами по корпорации. Всех горячее приветствовал его Господин. Однако напрасно было предполагать, что остальные студенты, которыми верховодил Карл Иохоузен, сложили оружие. Никому не верилось, что дело обойдется без какого-нибудь столкновения.

Стычка действительно произошла на другой же день после возвращения Ивана Николева.

Иван потребовал от Карла удовлетворения за нанесенное оскорбление, но тот отказался драться с ним и еще сильнее оскорбил его.

Иван ударил его по лицу. Ставшая неизбежной дуэль состоялась в тот же день, и Карл Иохоузен был тяжело ранен.

Можно себе представить впечатление, которое известие об этом произвело в Риге! Г-н и г-жа Иохоузен немедленно отправились в Дерпт ухаживать за сыном, может быть смертельно раненным. С каким новым ожесточением вспыхнет борьба между непримиримыми врагами, когда они вернутся!

Между тем пять дней спустя после описываемых событий ответ относительно участи Владимира Янова прибыл из Петербурга.

Надежды на милость императора оправдались. Изгнанник, бежавший из сибирских копей, был помилован. В тот же день Владимир Янов вышел на свободу.

ВТОРОЙ ОБЫСК

Помилование Владимира Янова произвело огромное впечатление не только в Риге, но и во всем Прибалтийском крае. В этом усматривали желание правительства подчеркнуть свое особое расположение ко всему антигерманскому. Рабочий люд бурно приветствовал освобождение Янова. Буржуазия и дворянство порицали царскую милость, которая, помимо Владимира, как бы коснулась и Дмитрия Николева, оправдывая его. Конечно, своим великодушным поступком беглец заслужил помилования, полного оправдания и восстановления в гражданских правах, которых был лишен как политический преступник. Но разве не являлась эта мера протестом против преследований, которым подвергался учитель, до сих пор всегда уважаемый и почитаемый гражданин, ставленник славянской партии на предстоящих выборах?..

Так, во всяком случае, была воспринята милость императора. А генерал Горко и не думал скрывать, что и сам придерживается такого мнения.

Владимир Янов вышел из рижской крепости, сопровождаемый полковником Рагеновым, который пришел лично объявить ему царский указ. Он тотчас же направился в дом Дмитрия Николева. Новость хранилась в секрете, и Илька и ее отец узнали обо всем из его собственных уст.

Каким светом радости и благодарности озарился этот скромный дом, куда, казалось, наконец-то вернулось счастье!

Почти сразу же явились доктор Гамин, г-н Делапорт и несколько друзей семьи. Владимира поздравляли, об-

нимали. Кто помнил теперь об обвинениях, недавно еще тяготевших над учителем?..

— Если бы вас даже осудили, — сказал ему г-н Делапорт, — никто из нас все же не усомнился бы в вашей невинности!

— Осудили!.. — воскликнул доктор. — Разве мог бы он когда-либо быть осужден?..

— Если бы это случилось, отец, то Владимир, Иван и я всю жизнь бы посвятили тому, чтобы тебя оправдать! — заявила Илька.

Со стесненным сердцем, бледный от волнения, Дмитрий Николев не мог произнести ни слова. Он горько усмехнулся. Не думал ли он, что от слепого людского правосудия можно всего ожидать?.. Разве нет недостатка в несправедливых и подчас непоправимых приговорах?..

Вечером за чайным столом собрались ближайшие друзья Владимира и Николевых. Как забились все сердца, какую бурную радость выражали все близкие, когда со свойственной ей простотой Илька сказала:

— Если вы не передумали, Владимир, я готова стать вашей женой.

Свадьбу назначили через шесть недель, и в первом этаже дома приготовили комнату для Владимира Янова. Имущественное положение жениха и невесты известно. У Ильки не было никакого состояния. Вдобавок Николев до сих пор никому не сообщал о своем положении, о принятых им перед банком Иохаузенов обязательствах по долгу отца. Благодаря своей бережливости он уже выплатил значительную его часть и не терял надежды уплатить и остающуюся сумму. Поэтому он ничего не говорил своим детям, и они не знали, что срок последнего платежа в восемнадцать тысяч рублей наступает через пятнадцать дней. Следовало все же сказать им об этом, — Владимир не мог оставаться в неведении об угрозе, навис-

шей над семьей... Впрочем, вряд ли это изменило бы его чувства к девушке. С деньгами, завещанными ему отцом и переданными Дмитрием Николевым, он сумеет переждать и при его уме и энергии обеспечит свое будущее.

Если семья Николевых была теперь счастлива, счастливее, вероятно, чем она когда-либо мечтала быть, нельзя того же сказать о семье Июхаузен! Явилась надежда, что тяжело раненный Карл, которого удалось перевезти в Ригу, при хорошем уходе со временем поправится. Однако Франк Июхаузен чувствовал, что в борьбе с учителем, который, казалось, уже был уничтожен, победа ускользает от него. Казалось, страшное оружие, которым в своей ненависти он, не колеблясь, воспользовался, сломалось в его руке. Денежные затруднения соперника — обязательства, взятые им на себя перед банком, которые он, вероятно, не сможет покрыть в срок, — вот все, что оставалось у г-на Июхаузена, чтобы погубить политического противника.

Ведь было очевидно, что общественное мнение, мнение не заинтересованных в деле людей, судящих о нем без предвзятости, мало-помалу склонялось к оправданию Николева и даже обернулось против хозяина трактира «Сломанный крест».

Действительно, если отбросить мысль о причастности какого-нибудь преступника с большой дороги, то подозрения должны были неизбежно пасть на Крофа. Что можно сказать о его прошлом, говорило ли оно за или против него?.. По правде говоря, не было в нем ни плохого, ни хорошего. Кроф имел репутацию грубого, жадного к деньгам человека. Молчаливый, очень скрытный, он жил одиноко без семьи в этой уединенной корчме, посещаемой крестьянами и дровосеками. Его родители были немецкого происхождения и, как это довольно часто встречается в Прибалтийском крае, православного ве-

роисповедания. Они жили довольно бедно доходами от корчмы. Дом да огород — вот и все, что их сын унаследовал от них; стоимость всего имущества не достигала, вероятно, и тысячи рублей.

Кроф жил бобылем, безо всякой прислуги и делал все собственными руками. Отлучался он из корчмы очень редко, лишь когда требовалось возобновить припасы в Пернове.

Следователь Керсдорф с самого начала имел подозрения против трактирщика. Основательны ли они? Не для того ли Кроф пытался очернить путешественника, прибывшего в корчму с банковским артельщиком, чтобы выгородить себя?.. Не им ли сделаны царапины, обнаруженные на подоконнике комнаты, не он ли поставил у печки кочергу после того, как взломал ставень, и, наконец, не он ли и совершил убийство до или после ухода Дмитрия Николева, на которого благодаря подстроенным им козням должны были пасть подозрения судебных властей?..

Не здесь ли надо искать новый след, который приведет к цели, если идти по нему со всей осторожностью?..

С тех пор как вмешательство Владимира Янова, казалось бы, сняло всякое подозрение с Дмитрия Николева, Кроф мог ожидать, что его собственное положение поколеблется. Раз преступника надо во что бы то ни стало найти — не обернется ли дело против него?..

Как уже известно, после убийства трактирщик отлучался из корчмы, лишь когда его вызывали в кабинет следователя. Хотя, в общем, он и был свободен, но все время чувствовал на себе бдительный взгляд полицейских, ни днем, ни ночью не покидавших трактир. Комнаты путешественника и Поха заперли на ключ, ключи находились у следователя, и проникнуть в комнату никто

не мог. Таким образом все оставалось в том же состоянии, как и при первом обыске.

Хотя Кроф и не устал повторять всем и каждому, кто только хотел его слушать, что, отказавшись от обвинения против Николева, следствие пошло по неправильному пути, хотя он упорно настаивал на виновности путешественника, всячески стараясь очернить его в глазах следователя Керсдорфа, хотя он и находил в этом поддержку у врагов учителя, хотя, с другой стороны, друзья Николева перекладывали вину на корчмаря, но в действительности положение обоих продолжало служить предметом яростных споров и не могло выясниться до тех пор, пока подлинный убийца не попадет в руки правосудия.

Владимир Янов и доктор Гамин частенько говорили между собой об этом. Они отдавали себе отчет, что даже ареста убийцы недостаточно, чтобы заставить замолчать Иохаузенов и их приспешников. Для этого нужно еще предать суду и осудить настоящего преступника. Вот почему в то время, как Дмитрий Николев, казалось, потерял всякий интерес к делу, не занимался им больше, никогда не упоминал о нем, друзья его не переставали всячески торопить следственные власти и помогать им сведениями, которые им удавалось добыть то тут, то там. Они так убежденно настаивали на виновности трактирщика, что под давлением общественного мнения г-н Керсдорф и полковник Рагенов решили произвести вторичный обыск в трактире «Сломанный крест».

Этот обыск был произведен 5 мая.

Выехав вечером, следователь Керсдорф, майор Вердер и унтер-офицер Эк прибыли в корчму утром.

Полицейские, находившиеся на своем обычном посту в доме, ничего нового сообщить не могли.

Ожидавший приезда следственных властей Кроф с готовностью предоставил себя в их распоряжение.

— Господин следователь, — сказал он, — я знаю, что меня оговаривают... Но на этот раз, надеюсь, вы уедете совершенно убежденный в моей невинности...

— Увидим, — ответил г-н Керсдорф. — Начнем же...

— С комнаты постояльца, ключ от которой у вас? — спросил трактирщик.

— Нет, — ответил следователь.

— Вы собираетесь обыскать весь дом? — спросил майор Вердер.

— Да, господин майор.

— Полагаю, господин Керсдорф, что если от нас и укрылось что-нибудь, то, скорее всего, следует обыскать комнату Дмитрия Николева.

Это замечание ясно показывало, что майор по-прежнему не сомневался в виновности учителя, а стало быть, и в полной непричастности трактирщика. Ничто не способно было изменить его убеждения, основанного на фактах: убийца — путешественник, а путешественник этот — Дмитрий Николев. Сдвинуть его с этой позиции не было никакой возможности.

— Проводите нас, — приказал следователь хозяину трактира.

Кроф повиновался с готовностью, располагавшей в его пользу.

В присутствии следователя и майора полицейские под начальством унтер-офицера Эка вторично обыскали пристройку, выходящую на огород, и сарайчики на дворе. Затем тщательно осмотрели огород вдоль всей живой изгороди, обследовали подножие каждого дерева, каждую грядку с редко посаженными овощами. Может быть, Кроф, если ограбление дело его рук, зарыл где-нибудь свою добычу? Вот что важно было установить.

Поиски оказались напрасными. Что касается денег, то в шкафу трактирщика хранилась какая-нибудь сотня кредиток достоинством в двадцать пять, десять, пять рублей, а также в три рубля и рубль, то есть значительно меньшая сумма, чем в сумке банковского артельщика.

Майор Вердер отвел следователя в сторону.

— Не забудьте, господин Керсдорф, — сказал он, — что со дня убийства Кроф выходил из трактира только в сопровождении полицейских, прибывших в то же утро...

— Я это знаю, — ответил г-н Керсдорф, — но после ухода господина Николева и еще до прибытия полицейских корчмарь оставался на несколько часов один в доме.

— Но в конце концов вы же сами видите, господин Керсдорф, что никаких улик против него мы не нашли...

— Действительно, до сих пор никаких. Правда, обыск еще не закончился. У вас ключи от обеих комнат, майор?..

— Да, господин Керсдорф.

Ключи эти хранились в полиции, и майор Вердер вынул их теперь из кармана.

Отперли дверь комнаты, в которой был убит банковский артельщик.

Спальня находилась в том же состоянии, как и при первом обыске. В этом легко было удостовериться, как только распахнули ставни. Постель стояла неубранная, подушка была в крови, пол залит лужей засохшей крови, растекшейся до самой двери. Ничего нового обнаружить не удалось. Убийца, кто бы он ни был, не оставил никаких следов.

Захлопнув снова ставни, г-н Керсдорф, майор, унтер-офицер со своими людьми и Кроф вернулись в большую комнату.

— Осмотрим вторую спальню, — сказал г-н Керсдорф.

Прежде всего подвергли осмотру дверь. Никаких сле-

дов на внешней стороне ее не обнаружили. Да и полицейские, охранявшие трактир, утверждали, что никто не пытался ее отпереть. Уже десять дней, как ни один из них не покидал дома.

Комната была погружена в глубокий мрак. Унтер-офицер Эк, подойдя к окну, открыл его настежь, отодвинул засов, распахнул ставни и прижал их к стене. Можно было осмотреться при полном свете.

Со времени первого обыска ничего в комнате не изменилось. В глубине стояла кровать, на которой спал Дмитрий Николев. У изголовья кровати — грубый стол, а на столе — железный подсвечник с почти выгоревшей свечой. В одном углу — соломенный стул, в другом — табуретка. Направо — шкаф с закрытыми дверцами. В глубине — печка, точнее, очаг, сложенный из двух плоских камней. Над очагом — широкий внизу дымоход, сужающийся по направлению к крыше.

Обследовали кровать и, как и в первый раз, ничего подозрительного не нашли. В ящиках шкафа не обнаружили ни одежды, ни каких-либо бумаг: он был пуст.

Внимательно осмотрели кочергу, стоявшую в одном из углов очага. Она была погнута на конце и безусловно могла послужить для взлома ставень другой комнаты. Но верно также и то, что самая обыкновенная палка годилась для этой цели — так ветхи были ставни. Что касается царапин на подоконнике, то они были по-прежнему видны; произвел ли их человек, лезший через окно, — нельзя было утверждать это с уверенностью.

Следователь снова подошел к очагу.

— А путешественник разводил огонь?.. — спросил он Крофа.

— Вряд ли, — отвечал корчмарь.

— Золу в первый раз исследовали?..

— Кажется, нет, — заметил майор Вердер.

— А ну-ка!

Унтер-офицер склонился над очагом и в левом углу его обнаружил полусгоревшую бумажку, что-то вроде квадрата, от которого остался лишь покрытый золой уголок.

Каково же было удивление присутствующих, когда в этом клочке бумаги они узнали уголок кредитного билета. Да! Сторублевого государственного кредитного билета, номер которого уничтожил огонь. А о каком другом огне, как не о пламени стоящей на столе догоревшей свечи, могла быть речь, если огонь в очаге не разводили?..

Кроме того, обрывок кредитки был запачкан кровью.

Сомнений не оставалось: это рука убийцы замарала кредитку, это он ее сжег, раз она запачкана в крови! А откуда могла бы взяться эта кредитка, как не из сумки Поха?.. Да, кредитка почти сгорела, но оставалась уничтожающая улика!

Какие тут еще сомнения?.. Как можно допустить, что убийство совершено злоумышленником, проникшим извне? Разве не очевидно, что убийца — постоялец, который занимал эту комнату? После убийства он вернулся к себе через окно и ушел из корчмы в четыре часа утра.

Майор и унтер-офицер переглянулись, как люди, давно в этом убежденные. Однако г-н Керсдорф не произнес ни слова, и они промолчали.

Но Кроф не мог удержаться.

— Что я вам говорил, господин следователь! Можете вы еще сомневаться в моей невинности?..

Господин Керсдорф вложил уголок кредитки в качестве вещественного доказательства в свою записную книжку и лишь промолвил:

— Обыск окончен, господа... Выйдем отсюда и немедленно в путь.

Через четверть часа карета катила по дороге в Ригу,

между тем как полицейские по-прежнему остались охранять трактир «Сломанный крест».

Рано утром следующего дня г-ну Франку Иохоузену уже сообщили о результатах расследования. Угол кредитки с номером сгорел, и установить, принадлежит ли она к одной из переписанных банком, — нельзя. Но кредитка из той же серии, и нет сомнения, что она выкрадена из сумки Поха.

Известие об этом быстро разнеслось по городу и как громом поразило друзей Дмитрия Николева. Дело таким образом вступало во вторую фазу, или, вернее, возвращалось к первой. Какие ужасные испытания грозили еще злополучной семье, казалось бы, уже избавленной от них?!

Что же касается сторонников Иохоузена, то они шумно ликовали. Они были уверены, что приказ об аресте Дмитрия Николева не заставит себя ждать. Наконец-то он предстанет перед судом, который вынесет ему суровый приговор, как того заслуживает столь чудовищное преступление.

Владимиру Янову сообщил о новых данных расследования доктор Гамин. Они решили ничего не говорить Николеву. И так он, к сожалению, не замедлит узнать о новой угрозе, нависшей над ним. Владимир старался, чтобы эти слухи не дошли до его невесты... Но из этого ничего не вышло, и в тот же день он стал свидетелем ее безысходного горя.

— Мой отец невиновен!.. Отец невиновен!.. — твердила она в полном отчаянии. Больше она ничего не могла сказать.

— Да, дорогая Илька, он безусловно невиновен, мы найдем преступника и посраим всех, кто порочит его!.. Действительно, я начинаю думать, что подо всем этим

кроются какие-то гнусные махинации, что их цель погубить лучшего и честнейшего из людей.

Да, этот благородный человек в самом деле так думал. Ведь он по горькому опыту знал, до чего может дойти политическая месть. А между тем какие данные указывали на то, что существует такой гнусный замысел и что происки врагов могут удасться?..

То, что должно было случиться, случилось.

Во второй половине дня Дмитрия Николева вызвали к следователю. Он тотчас же спустился в столовую. Владимир и Илька объяснили ему создавшееся положение.

— Опять это проклятое дело! — сказал он, пожимая плечами. — Неужели оно так никогда и не кончится?..

— Они хотят получить от тебя, отец, несколько добавочных сведений... — сказала Илька.

— Может быть, мне пойти с вами?.. — спросил Владимир.

— Нет... спасибо, Владимир.

Учитель вышел и быстро удалился. Через четверть часа он был уже в кабинете г-на Керсдорфа.

Там он застал лишь следователя и его секретаря. На совещании у губернатора в присутствии полковника Рагенова было решено, что учитель будет подвергнут вторичному допросу. Решение вопроса об его аресте предоставлялось всецело на усмотрение следователя.

Господин Керсдорф пригласил Николева сесть и голосом, выдававшим некоторое волнение, произнес:

— Господин Николев, вчера в моем присутствии в трактире «Сломанный крест» был произведен вторичный обыск... Полицейские тщательно обследовали весь дом и не обнаружили никаких новых следов... Но в комнате, которую вы занимали в ночь с тринадцатого на четырнадцатое апреля, найдено вот это.

И он протянул учителю уголок кредитного билета.

— Что это за клочок бумаги? — спросил Дмитрий Николев.

— Это обрывок от кредитного билета, который был сожжен и брошен в очаг.

— Одного из кредитных билетов, украденных у Поха?

— Во всяком случае, это весьма вероятно, — ответил следователь. — Вас не должно удивить, если я усматриваю в этом новую улику против вас...

— Против меня?.. — воскликнул учитель, переходя на свой иронически-пренебрежительный тон. — Как, господин следователь, значит, с этим делом не покончено, и, несмотря на заявление Владимира Янова, надо мной все еще тяготеют подозрения?..

Господин Керсдорф не отвечал. Он пытливо следил за Николевым, этим несчастным больным стариком, который явно еще не оправился от душевного потрясения, вызванного непрерывными испытаниями.

И, казалось, им не будет конца, так как новые данные отягощали его положение.

Проведя рукой по лбу, Дмитрий Николев сказал:

— Итак, этот уголок кредитного билета обнаружен в очаге комнаты, где я провел ночь?..

— Да, господин Николев.

— И комната эта после первого обыска была заперта на ключ?..

— На ключ. Дверь, безусловно, никто не открывал...

— И, значит, никто не мог проникнуть в комнату?..

— Никто.

Следователь, видимо, сознательно шел на эту переменную ролей и охотно отвечал на вопросы.

— Этот кредитный билет был залит кровью, затем брошен в огонь и оказался в золе, где его и нашли?.. — снова задал вопрос Николев, рассматривая кредитку.

— Да, в золе...

— В таком случае как же его не обнаружили при первом обыске?..

— Я и сам не нахожу объяснения, и меня это удивляет, так как, очевидно, с тех пор никто не мог его туда подбросить....

— Я не менее удивлен, чем вы, — не без некоторой иронии заметил Дмитрий Николев, — вернее сказать, не удивлен, а обеспокоен этим. Ведь это меня, надо думать, обвиняют в том, что я сжег кредитку и затем бросил ее в очаг?..

— Вас, конечно, — ответил г-н Керсдорф.

— Итак, — со все возрастающим сарказмом продолжал учитель, — если эта кредитка из пачки банковского артельщика, если она выкрадена после убийства Поха из его сумки, то нет сомнения, что вор — это постоялец, занимавший комнату. А так как комнату занимал я, то я и есть убийца...

— Можно ли еще сомневаться?.. — спросил г-н Керсдорф, не спуская с Николева глаз.

— Ни в коем случае, господин следователь. Все складывается одно к одному!.. Вывод безукоризненный... И все же разрешите мне вашим доводам противопоставить свои?

— Прошу вас, господин Николев.

— Итак, в четыре часа утра я покинул трактир «Сломанный крест»... Было ли к этому времени совершено убийство или нет?.. Если это моих рук дело, то, конечно, да, если убийца не я, то нет... Впрочем, не в этом суть. Так вот! Можете ли вы утверждать, господин следователь, что убийца не принял, уже после моего ухода, все меры к тому, чтобы подозрение пало на путешественника, то есть на меня?.. Разве не мог он войти в комнату, поставить кочергу, подбросить в очаг запачканный кровью полусожженный кредитный билет, сделать снаружи

царапины на подоконнике, чтобы создать видимость, что не кто иной, как я, влез в окно и зарезал банковского артельщика в его постели?..

— Ваше заявление, господин Николев, является прямым обвинением против трактирщика Крофа...

— Против Крофа или любого другого!.. Впрочем, не мое дело искать преступника... Я вынужден защищаться — и я защищаюсь!..

Господин Керсдорф невольно был поражен словами Дмитрия Николева. Сколько раз говорил он себе те же слова... Нет! Он отказывался верить в виновность столь достойного человека. Однако если он и подозревал Крофа, то ни обыск, ни собранные о нем сведения, ни показания свидетелей не дали против него никаких улик. Следователю пришлось сказать об этом Николеву в дальнейшем ходе допроса, который продолжался еще целый час.

— Господин следователь, — сказал наконец учитель, — вам решать, над кем из нас, над Крофом или над мной, тяготеют более тяжкие подозрения. Любой справедливый человек, хладнокровно взвесив все, может и должен прийти к выводу, что теперь все данные говорят в мою пользу... По известным вам причинам я должен был раньше молчать о целях моей поездки. С тех пор как Владимир Янов отдался в руки властей, тайна вам стала известна... Это был наиболее сомнительный пункт в моем деле, но по этому вопросу существует теперь полная ясность... Является ли убийцей корчмарь?.. Или, быть может, какой-нибудь злоумышленник с большой дороги?.. Выяснить это — дело суда!.. Что касается меня, я не сомневаюсь в виновности Крофа... Ему было известно, что Пох едет в Ревель, чтобы совершить платеж за счет братьев Иохаузен... Он знал, что при нем крупная сумма... Он знал, что я ухожу в четыре часа утра... Он

знал все, что требовалось знать, чтобы, совершив убийство, свалить ответственность на путешественника, пришедшего в корчму вместе с банковским артельщиком... Это он, до или после моего ухода, убил несчастного... Когда я ушел, он прокрался в мою комнату, бросил обрывки кредитки в очаг и сделал все, чтобы подозрения пали на меня... Ну что ж! Если вы все еще убеждены, что это я — убийца Поха, пусть я предстану перед судом... Я буду обвинять Крофа. Этот спор решится между нами двумя... И я буду знать, что думать о человеческом правосудии, если оно осудит меня!

Излагая все это, Дмитрий Николев говорил спокойнее, чем того можно было ожидать, настолько он был уверен в вескости своих доводов. Г-н Керсдорф не прерывал его.

— Так как же: подпишете вы приказ о моем аресте?.. — заключил учитель.

— Нет, господин Николев, — ответил следователь.

ГЛАВА 14

УДАР ЗА УДАРОМ

Как вполне понятно, весь интерес дела сосредоточился теперь на трактирщике Крофе и учителе Дмитрие Николеве. Найденный в очаге уголок кредитного билета полностью исключал причастность к преступлению одного из разбойников, которые, по сведениям полиции, скрывались в этой части Лифляндии. Как мог бы такой грабитель, совершив убийство, никем не замеченный, снова забраться в комнату путешественника, оставить кочергу (допуская, что именно эта кочерга послужила орудием для взлома ставень) и подбросить в очаг найденный в золе уголок обгоревшего кредитного билета?.. Как

это ни Дмитрий Николев, ни Кроф ничего не услышали, даже если спали крепким сном?.. И как, наконец, могла явиться у убийцы мысль свалить ответственность за преступление на путешественника?.. Ведь после убийства и ограбления он бросился бы прочь и к рассвету постарался бы уйти как можно дальше от трактира «Сломанный крест»...

Сам здравый смысл подсказывал все это судебным властям. Оставалось лишь сосредоточить внимание на двух столь различных по своему положению людях, как учитель и трактирщик, и остановить свой выбор на одном из них.

А между тем, к вящему удивлению даже самых невозмутимых умов, после нового обыска в корчме не был арестован ни тот, ни другой.

Легко представить себе, что в результате новых данных расследования политические страсти разгорелись еще пуще. Необходимо отметить, что обострению дела способствовала национальная рознь, разделявшая не только население Риги, но и всех трех губерний Прибалтийского края на два враждующих лагеря.

Дмитрий Николев был славянином, и славяне поддерживали его как в интересах общего дела, так и потому, что они действительно не могли допустить и мысли о его виновности.

Кроф же был германского происхождения, и немцы становились на его защиту не столько из симпатии к этому содержателю захудалого деревенского трактира, сколько из желания уничтожить Дмитрия Николева.

Газеты обоих направлений вели между собой борьбу при помощи крикливых статей, отражавших мнение той или другой стороны. В дворянских и буржуазных домах, в конторах торговцев, в жилищах рабочих и служащих только и разговору было что об этом.

Надо признать, что положение генерал-губернатора все усложнялось. Чем более приближались городские выборы, тем громче и восторженнее славяне провозглашали кандидатуру Дмитрия Николева в противовес г-ну Франку Иохаузену.

Семья богатого банкира, друзья, клиенты и не думали прекращать борьбу, стараясь использовать против учителя все средства. Что и говорить, на их стороне была сила денег, и они не скупились на поддержку своих газет. Властей и следователя печать обвиняла в слабости и даже в попустительстве, к ним предъявлялось требование об аресте Дмитрия Николева, а наиболее умеренные из газет предлагали по меньшей мере арестовать и трактирщика, и учителя. Необходимо было так или иначе покончить с этим делом до выборов; а происходящие впервые на новых началах выборы приближались.

Однако что же случилось с Крофом во время всей этой предвыборной борьбы, которая несколько его не интересовала?

Кроф не отлучался из трактира, все еще находясь под строгим надзором полицейских. Он по-прежнему занимался своим делом. Каждый вечер завсегдатаи трактира, крестьяне, дровосеки собирались, как обычно, в большой комнате корчмы. Но Кроф был заметно обеспокоен создавшимся положением. Учителя оставили на свободе, и трактирщик опасался ареста. Он стал еще более угрюмым, опускал глаза под чересчур пристальными взглядами и неустанно, с таким жаром, упорством, яростью обличал Николева, что кровь приливала к его лицу, и можно было ожидать, что его хватит удар.

Обычно дом наполняется радостью, когда в нем идут приготовления к свадьбе. В семье царит праздничное на-

строение. В отворенные настежь окна врывается вольный воздух и веселье, каждый уголок озарен счастьем.

Но не так было в доме Дмитрия Николева. Может быть, он и не думал больше о деле, внесшем такое смятение в его жизнь, но зато опасался самого худшего от безжалостных кредиторов — своих наиболее ожесточенных врагов?..

Прошла неделя со времени последнего допроса в кабинете г-на Керсдорфа.

Наступило 13 мая. На следующий день истекал срок платежа по обязательству, подписанному Николевым. Если утром этого дня он не явится к окошечку кассы братьев Июхаузен, ему немедленно предъявят судебный иск. А требуемой суммы у него не было. Выплатив уже часть отцовского долга, всего семь тысяч рублей, он понадеялся покрыть и остальную часть, и вот наступление срока заставало его неподготовленным.

Тут-то и подстерегали его братья Июхаузен. Страшные счета были у них с должником.

Либо Дмитрий Николев не сможет уплатить долг, либо уплатит его.

В первом случае, если даже дело «Сломанного креста» разрешится в его пользу, если продолжаемое г-ном Керсдорфом следствие обнаружит новые улики против корчмаря, если, наконец, Крофа признают виновным, он будет арестован, предан суду и в результате осуждения подлинного преступника невиновность учителя выявится во всей своей полноте, — то и тогда судьба его, как несостоятельного должника, будет в руках господ Июхаузенов. Они безжалостно расправятся со своим противником, поднявшим против германцев славянское знамя, заставят его заплатить за кровь молодого Карла, за свое уязвленное самолюбие, за все, что они претерпели от него.

Во втором случае, если у Дмитрия Николева окажется необходимая для покрытия долга сумма, — значит, он добыл ее грабежом в трактире. Господа Иохаузены знали, что только с большим трудом, пожертвовав последними остатками своего достояния, смог учитель выплатить семь тысяч из двадцати пяти. Где было ему достать остальные восемнадцать тысяч рублей, если не преступным путем?.. И тогда, произведя платеж в срок кредитными билетами, номера которых известны в банке, о чем он и не подозревает, Николев сам себя выдаст, и на этот раз уже ни протекция властей, ни вмешательство друзей не спасут его: он погиб, погиб безвозвратно.

Утро следующего дня прошло, и Николев не явился к окошечку кассы братьев Иохаузен.

Часов около четырех пополудни Николеву послали судебную повестку для истребования платежа — восемнадцати тысяч рублей. На беду, судебный пристав вручил повестку Владимиру Янову. Да! Как читатель сейчас увидит, на беду!

Пробежав повестку, Владимир узнал из нее, что Николев принял на себя отцовские обязательства и должен еще братьям Иохаузен крупную сумму. Владимир вспомнил, что после смерти отца учитель испытал большие денежные затруднения, и догадался обо всем; он понял, что Николев взял на себя ответственность за долги отца и не говорил об этом детям, не желая прибавлять к стольким огорчениям еще одно, а также потому, что надеялся с помощью трудолюбия и бережливости уплатить весь долг сполна.

Да! Владимир понял все это, понял он также, что повелевает ему его собственный долг.

Долг повелевал ему — и он мог это сделать — спасти Дмитрия Николева. Разве не было у него более

чем достаточной суммы — той суммы в двадцать тысяч рублей, которую Иван Янов перед смертью вручил учителю, а тот полностью передал Владимиру в Пернове?..

Ну что ж! Он возьмет из этой суммы деньги, необходимые для погашения обязательства, он внесет их братьям Иохазен и избавит Дмитрия Николева от этого последнего удара.

Было пять часов вечера, а банк закрывался в шесть.

Нельзя было медлить ни минуты. Решив никому ничего не говорить, Владимир вошел к себе в комнату, взял из письменного стола необходимое для платежа количество кредитных билетов и, никем не замеченный, собиравшись уже выйти из дома, как вдруг дверь отворилась и на пороге появились вместе Иван и Илья.

— Уходите, Владимир? — подавая ему руку, спросила девушка.

— Да, дорогая Илья, мне надо кое-куда зайти, но я не задержусь... вернусь еще до обеда...

Возможно, в эту минуту у него и мелькнула мысль сказать брату и сестре, по какому делу он идет... Но он удержался. Если обстоятельства не вынудят к тому, не стоит говорить об этом до свадьбы. Позже, когда Илья станет его женой, он ей расскажет все, и она, конечно, одобрит его поступок, если даже спасение отца поставит под угрозу их будущее благополучие.

— Ступайте, Владимир, — сказала девушка, — и возвращайтесь скорей... Я чувствую себя гораздо спокойнее, когда вы дома... Я все боюсь, что отец...

— Он подавлен и мрачен, как никогда, — заметил Иван, и глаза его гневно засверкали. — Эти мерзавцы доконают его!.. Он болен... и болен серьезнее, чем мы думаем...

— Ты преувеличиваешь, Иван, — ответил Влади-

мир. — Отец обладает душевной стойкостью, которую не сломить его врагам.

— Дай бог, чтобы это было так, Владимир! — воскликнула девушка.

Владимир пожал ей руку.

— Верьте мне!.. — сказал он. — Еще несколько дней — и все наши испытания кончатся!

Он выбежал на улицу и через двадцать минут вошел в банкирский дом братьев Иохаузен.

Касса была еще открыта, и он прямо подошел к окошечку.

Кассир, к которому он обратился, объяснил ему, что это дело касается лично директоров банка, в чьих руках находится вексель Николева, и пригласил пройти к ним в кабинет.

Братья были у себя, и когда им передали визитную карточку Владимира Янова, младший воскликнул:

— Владимир Янов! Это от Николева. Он будет просить у нас отсрочить или переписать вексель...

— Ни дня, ни часа! — тоном, в котором слышалась неумолимая ненависть, отозвался Франк Иохаузен. — Завтра же мы потребуем описать его имущество за долги.

Предупрежденный служителем, что господа Иохаузены согласны его принять, Владимир Янов вошел в кабинет и тотчас же приступил к делу.

— Господа, — сказал Владимир, — я пришел по поводу векселя Дмитрия Николева, срок которого истек сегодня и который вы подали к протесту.

— Совершенно верно, господин Янов, — ответил Франк Иохаузен.

— Этот долг Николева, — продолжал Владимир, — выражается вместе с процентами в сумме восемнадцать тысяч рублей...

— Совершенно точно... восемнадцать тысяч.

— Эта сумма составляет остаток долга, принятого на себя господином Дмитрием Николевым по смерти отца...

— Все это так, — подтвердил Франк Иохазузен, — но мы не потерпим никаких отсрочек...

— Кто вас об этом просит, господа?.. — с высокомерием произнес Владимир.

— Ну да! — воскликнул старший из братьев. — Вексель следовало покрыть еще до полудня, и...

— Он будет покрыт до шести, вот и все! Не думаю, чтобы из-за такого опоздания ваша фирма могла объявить себя несостоятельной...

— Господин Янов!.. — воскликнул Франк Иохазузен, которого эти холодные насмешливые слова привели в ярость. — Вы явились уплатить нам восемнадцать тысяч рублей или...

— Вот они! — ответил Владимир и протянул ему пачку кредитных билетов. — Вексель, пожалуйста!

Удивленные и рассерженные господа Иохазузены ничего не ответили. Один из братьев подошел к несгораемому шкафу, стоявшему в углу кабинета, открыл лежащий в нем бумажник с затвором, вынул из него вексель и положил на стол.

Владимир взял его, внимательно проверил подпись Дмитрия Николаева под обязательством на имя господ Иохазузенов и, передавая им пачку кредитных билетов, сказал:

— Пересчитайте, пожалуйста.

Франк Иохазузен даже побледнел под презрительным взглядом, которым его смерил Владимир. Дрожащими руками он начал пересчитывать ассигнации.

Внезапно глаза его загорелись, лицо вспыхнуло злобной радостью, и голосом, полным ненависти, он воскликнул:

— Господин Янов, эти деньги краденые!..

— Краденые?..

— Да это деньги, выкраденные из сумки несчастного Поха!

— Не может быть!.. Эти деньги завещал мне отец, они с давних пор у Дмитрия Николева, и он передал мне их в Пернове...

— Все теперь ясно! — заявил г-н Франк Иохаузен. — Эти деньги... он не был в состоянии вам их вернуть, вот он и воспользовался случаем...

Владимир в ужасе отшатнулся.

— В банке отмечены номера кредитных билетов, вот список, — добавил Франк Иохаузен, вытаскивая из ящика письменного стола покрытый цифрами лист бумаги.

— Господа... господа, — бормотал ошеломленный Владимир. Язык не повиновался ему.

— Да, это так, — продолжал Франк Иохаузен. — И раз Николев передал вам эти кредитные билеты, значит, это он, Дмитрий Николев, убил и ограбил нашего банковского артельщика в трактире «Сломанный крест»!

Владимир Янов не знал, что и ответить... Мысли мешались у него в голове, он чувствовал, что сходит с ума... И в то же время, несмотря на смятение мыслей, он понимал, что Дмитрий Николев теперь окончательно погиб. Все скажут, что он растратил доверенные ему деньги, и если выехал из Риги, получив письмо Владимира Янова, то лишь с целью как-нибудь умиловить его, оправдаться, а не вернуть деньги, которых у него больше не было; скажут, что случай свел его в почтовой карете с Похом... с Похом, который вез в сумке деньги из банка; что он убил и ограбил его, а затем вручил сыну своего друга Янова, доверием которого он злоупотребил, кредитные билеты господ Иохаузенов!

— Дмитрий!.. Дмитрий!.. совершить такое... — вне себя повторял Владимир.

— Если не он, так вы... — произнес Франк Иохаузен.

— Подлец!

Но Владимиру было не до мести за личное оскорбление. Брошенное ему обвинение в убийстве совсем не занимало его в эту минуту. Он думал только о Николеве.

— Наконец-то этот негодяй в наших руках! — кладя в карман пачку кредиток, воскликнул г-н Франк Иохаузен. — Теперь это уже не только подозрения, а прямые улики, вещественные доказательства. Господин Керсдорф дал мне хороший совет не разглашать списка кредитных билетов!.. Рано или поздно убийца должен был себя выдать — и он выдал себя!.. Я иду к господину Керсдорфу. Не пройдет и часа, как приказ об аресте Николева будет подписан.

Между тем Владимир Янов выскочил из банка и быстрыми шагами, как безумный, помчался к дому учителя. Он старался отогнать от себя мятущиеся мысли. Ничему он не поверит до тех пор, пока не объяснится с Николевым. Для этого объяснения он и спешил к нему. Ведь как-никак кредитки-то были те самые, которые Дмитрий Николев передал ему в Пернове, ни одной из них Владимир еще не разменял!..

Он подбежал к дому и открыл дверь.

Ни Ивана, ни Ильки в первом этаже, к счастью, не оказалось. Иначе по одному виду Янова они поняли бы, что над их семьей стряслась новая, на этот раз непоправимая беда...

Владимир поднялся по лестнице прямо в кабинет учителя.

Дмитрий Николев сидел за своим письменным сто-

лом, обхватив руками голову. При виде остановившегося на пороге Владимира он встал.

— Что с тобой?.. — спросил он, устремив на него измученный взгляд.

— Дмитрий! — воскликнул Владимир. — Да скажите же что-нибудь... скажите мне все... Не знаю что... оправдайтесь... Нет! Это невозможно!.. Объяснитесь, я теряю рассудок...

— Что случилось?.. — спросил Николев. — Какая еще нас ждет беда?

Он произнес эти слова тоном отчаявшегося, готового ко всему человека, которого никакой удар судьбы уже не удивит.

— Владимир... — продолжал он, — да говори же, теперь я требую этого... Оправдываться мне? В чем?.. Ты, значит, тоже начинаешь думать...

Владимир не дал ему закончить и, сделав над собой нечеловеческое усилие, чтобы успокоиться, сказал:

— Дмитрий, час тому назад сюда принесли повестку для истребования платежа...

— От имени братьев Июхаузен!.. — воскликнул Николев. — Ты, следовательно, теперь знаешь, в каком я положении... Я не могу уплатить долг... и это бесчестье падает на голову моих близких!.. Ты видишь теперь — немыслимо, чтобы ты стал моим сыном...

Владимир Янов ничего не ответил на эти слова, полные глубокой горечи.

— Дмитрий... — сказал он, — я подумал, что от меня зависит покончить с таким печальным положением...

— От тебя?..

— Ведь в моем распоряжении была сумма, которую вы мне вручили в Пернове...

— Это твои деньги, Владимир!.. Они завещаны тебе отцом... Я только сохранил их для тебя...

— Да... знаю... знаю... они мои, и я вправе был ими распорядиться... Я взял эти кредитные билеты... те самые, что вы мне принесли... и отправился в банкирскую контору...

— Ты сделал это... Ты сделал это! — воскликнул Николев, бросаясь к молодому человеку с распростертыми объятиями... — Зачем ты это сделал?.. Ведь это все твое состояние! Отец оставил тебе эти деньги не для того, чтобы они пошли на погашение долгов моего отца!..

— Дмитрий... — понизив голос, продолжал Владимир, — деньги, которые я внес господам Иохаузенам... это те самые кредитки, выкраденные из сумки Поха в трактире «Сломанный крест», — банк сохранил запись всех номеров...

— Кредитки... кредитки!.. — повторил Николев и вдруг закричал душераздирающим голосом, который разнесся по всему дому.

Дверь кабинета тотчас же распахнулась.

Илька и Иван появились на пороге.

Увидев, в каком состоянии находится их несчастный отец, оба бросились к нему. В стороне от них стоял Владимир, закрыв лицо руками.

Брат и сестра и не помышляли его расспрашивать. Отец задыхался — первым делом надо было оказать ему помощь. Видя, что он едва стоит на ногах, они заставили его сесть. Старик все время повторял:

— Краденые деньги... краденые деньги!..

— Отец... — воскликнула девушка, — что с тобой?..

— Что случилось, Владимир?.. — спросил Иван. — Не лишился ли он рассудка?

Николев поднялся, подошел к Владимиру и, схватив его за руки, насильно оторвал их от лица. Затем, глядя на него в упор, он придушенным голосом спросил:

— Кредитные билеты, которые ты получил от меня...

и внес в банк Иохаузенов... это те самые кредитки, которые украдены из сумки Поха... убитого Поха?..

— Да, — ответил Владимир.

— Я погиб!.. я погиб!.. — вскричал Николев.

И, оттолкнув детей, прежде чем они успели ему помешать, он выбежал из кабинета и поднялся к себе в комнату. Против обыкновения он не заперся там, а через четверть часа спустился, вышел из дома, — и погруженные во мрак улицы предместья поглотили его. Ни Иван, ни Ильяка ничего не поняли в этой ужасной сцене. Услышав, как он твердил: «Краденые деньги!.. краденые деньги!..» — они не могли догадаться, что теперь на отца обрушилась неопровержимая улика!..

Они стали расспрашивать Владимира. Опустив глаза, прерывающимся голосом рассказал он им, как, желая спасти Николева, вырвать его из рук Иохаузенов, сам же и погубил его!.. Кто сможет теперь оспаривать виновность учителя после того, как украденные у Поха кредитки оказались если и не в его руках, то в руках Владимира Янова?.. Ведь он сам заявил банкирам, что это деньги, завещанные отцом и переданные ему Николевым.

Вне себя от горя и ужаса, Иван и Ильяка молча плакали.

В эту минуту служанка пришла сказать, что несколько полицейских спрашивают барина. После прямого обвинения господ Иохаузенов против Дмитрия Николева следователь послал их арестовать убийцу Поха.

Известие об этом не успело распространиться по городу. Никто еще не знал, что дело приняло такой оборот, перешло в решительную фазу и близилось к развязке.

В то время как полицейские обыскивали дом, чтобы удостовериться в отсутствии Николева, Владимир, Иван

и Илька, движимые единым чувством, не сговариваясь, выбежали на улицу.

Они хотели найти отца... Не оставлять его одного... Несмотря на столь уничтожающие свидетельства, на столь неопровержимые улики, они отказывались верить в его виновность. Эти несчастные единодушно возмущались при одной мысли об этом. А между тем последние слова, произнесенные Николевым: «Я погиб!.. я погиб!..» — разве не означали они признание, сорвавшееся с его уст?..

Уже спустились сумерки. Прохожие видели, как Николев выходил из предместья. Владимир, Иван и Илька поспешили в указанном направлении и достигли древней городской стены. Перед ними простиралось пустынное поле. Как бы влекомые инстинктом, направлявшим их шаги, они пошли по перновской дороге.

Пройдя двести шагов, все трое остановились как вкопанные перед распростертым на обочине дороги телом.

Это был Дмитрий Николев.

Рядом с ним валялся окровавленный нож...

Илька и Иван кинулись к телу отца, а Владимир побежал за помощью в ближайший дом.

Пришли крестьяне с носилками и перенесли Николева к нему в дом, где немедленно явившемуся доктору Гамину оставалось лишь установить причину его смерти.

Дмитрий Николев покончил с собой ударом ножа. И, как и Поху, удар был нанесен прямо в сердце. Нож оставил вокруг раны такие же следы, как и на трупке банковского артельщика.

Понимая, что он погиб, несчастный покончил с собой, чтобы избежать достойной кары за свое преступление!

Наступила, наконец, развязка уголовной драмы, которая так взволновала все население Прибалтийского края и обострила борьбу двух враждебных партий накануне выборов. Насильственная смерть представителя славянских интересов еще раз обеспечивала победу немцам. Однако национальная рознь не могла прекратиться на этом. Рано или поздно она вспыхнет с новой силой. Так или иначе под давлением правительства русификация Прибалтийских областей неминуемо произойдет.

Мало того, что Дмитрий Николев покончил с собой, но самоубийству сопутствовали еще столь ужасные обстоятельства (оно произошло после случая с украденными кредитками), что больше нельзя было сомневаться в его виновности. Значит, когда, по получении письма Владимира Янова, он покинул Ригу, у него больше не было доверенной ему суммы... Решил ли он признаться во всем сыну своего друга? Или же, совершив растрату, которую не был в состоянии возместить, замышлял спастись бегством? Трудно ответить на эти вопросы. Надо думать, что неожиданное прибытие изгнанника, бежавшего из сибирских копей, захватило его врасплох. Он чувствовал, что его как бы затягивает между зубчатых колес, откуда ему не вырваться, не оставив на зубьях свою разорванную в клочья честь. Владимиру Янову он не мог вернуть отцовское наследство, а господам Йохаузенам не в силах был уплатить долга, срок которому истекал через несколько дней. Ему не было никакого спасения... И вот тут-то по дороге повстречался ему банковский артельщик Пох; ограбив его, он получил возможность привезти в Пернов

растраченные им деньги... Первый долг был покрыт. Но какой ценой?.. Ценой двойного преступления — убийства и грабежа!

Когда же все раскрылось, когда на это вначале столь загадочное дело пролился свет, когда благодаря банковской записи кредитные билеты, внесенные в уплату Владимиром Яновым, были признаны за украденные из сумки Поха, разоблаченный преступник Дмитрий Николаев, убийца Дмитрий Николаев, покончил с собой тем самым ножом, которым поразил свою жертву, — одним ударом в самое сердце.

Нечего и говорить, что развязка дела обеспечивала трактирщику Крофу полную безопасность. Как раз вовремя! Г-н Керсдорф хотел было уже подписать приказ о его аресте. Ведь в случае прекращения дела против Николаева неминуемо обвинили бы Крофа. У правосудия был выбор только между ними двумя. Известно, какие подозрения падали на корчмаря, поэтому больше всех поражен был следователь, когда узнал о том, что произошло в банкирской конторе братьев Иохоузен. Теперь ему предстояло объявить виновным не Крофа, а Николаева.

Кроф зажил своей обычной жизнью в трактире «Сломанный крест» и даже сумел извлечь некоторую пользу из происшедшего. Ведь он был пострадавшим, невинно осужденным, которому отменили несправедливый приговор!.. Об этом поговорили еще некоторое время и перестали говорить.

Что касается банкиров, то хотя долг Дмитрия Николаева и остался неуплаченным, все же они вернули себе врученные Владимиром Яновым восемнадцать тысяч.

После похорон отца Илька и Иван, решивший не ехать обратно в Дерпт, вернулись домой, куда многие из

прежних друзей Николева не осмеливались больше заглядывать. В обрушившейся на них беде не покинули их только трое: нечего и говорить, что это были Владимир Янов, г-н Делапорт и доктор Гамин.

Брату и сестре все их прошлое и будущее представлялось в неясном свете. Мраком окутаны были и все обстоятельства дела Дмитрия Николева, виновность которого казалась им невероятной. Иван и Илья пришли к мысли, что отец, измученный непрерывными ударами судьбы, сошел с ума и покончил с собой в припадке умопомешательства. В их глазах самоубийство отца еще во все не доказывало, что преступление в «Сломанном кресте» совершено им.

Само собой, так же думал и Владимир Янов. Он отказывался верить даже фактам! А между тем, как могли кредитки, номера которых были записаны, оказаться у Дмитрия Николева, если не он ограбил Поха?.. Когда он спорил по этому поводу с доктором Гаминым, старейшим другом семьи, тот с неопровержимой логикой отвечал:

— Готов, дорогой Владимир, все допустить: допускаю, что не Николев ограбил Поха, хотя украденные деньги и оказались у него; допускаю даже, что самоубийство еще не доказательство его виновности, — он мог покончить с собой в припадке умопомрачения, вызванного рядом столь тяжелых испытаний... Однако решающим все же является тот факт, что Дмитрий покончил с собой тем же оружием, которым был заколот Пох. Как ни ужасно, — скажу больше, — как ни невероятно все это, но тут приходится склониться перед очевидностью.

— Если это так, — выдвигал последнее возражение Владимир, — это значило бы, что у Дмитрия Николева был такой нож. Почему же ни сын, ни дочь никогда его

не видели?.. Ни они, доктор, и ни кто другой!.. Нет, здесь что-то не так...

— Могу вам ответить на это лишь одно, Владимир, конечно, у Дмитрия Николева был этот нож... Какое может быть еще сомнение, когда он воспользовался им дважды, против Поха и против самого себя!..

Владимир Янов, не зная, что ответить, опустил голову...

— Что будет теперь с несчастными детьми? — продолжал доктор.

— Разве Иван не будет мне братом, когда Илька станет моей женой?

Доктор схватил руку Владимира и крепко сжал ее в своей.

— Неужели вы могли думать, доктор, что я откажусь от Ильки, которую я люблю, которая любит меня... будь даже ее отец преступником!..

Да, если и после слов доктора он продолжал упорствовать в своем неверии, то лишь потому, что в любви находил еще силу сомневаться.

— Нет, Владимир, — ответил доктор, — никогда у меня не было и мысли, что вы можете отказаться от женитьбы на Ильке... Разве несчастная в чем-либо виновата?..

— Конечно, нет! — воскликнул Владимир. — В моих глазах это святейшее, благороднейшее существо, девушка, всецело достойная любви честного человека... Венчание отложено, но оно состоится... И если придется покинуть этот город, что же, мы покинем его...

— Узнаю в этом вашу благородную душу, Владимир... Вы хотите жениться на Ильке, но согласится ли Илька?..

— Если она откажет мне, значит — не любит меня...

— Если она откажет вам, Владимир, то не потому ли,

что любит вас настоящей любовью и не хочет, чтобы вам когда-либо пришлось краснеть за нее?!

Разговор этот отнюдь не повлиял на решимость Владимира Янова добиться скорейшего брака с Илькой, как только приличия будут соблюдены. Пересуды и разговоры в городе, общественное мнение, даже порицание товарищей — могло ли все это тревожить такого человека, как он?.. Нет, у него были другие заботы: следовало подумать и о собственном положении.

От суммы, врученной ему Дмитрием Николевым, мало что оставалось. Возвратив деньги братьям Иохоузен, он сохранил всего две тысячи рублей... Правда, он решил пожертвовать своим состоянием уже тогда, когда пошел в банк уплатить по векселю Дмитрия Николева!.. Ну что ж! Если будущее не пугало его тогда, почему бы ему тревожиться теперь... Он будет работать за себя и за жену... Любила бы его Илька — и нет для него ничего невозможного...

Прошло две недели. Иван, Илька и Владимир, доктор Гамин были, можно сказать, неразлучны. Доктор и частую г-н Делапорт были единственными друзьями, продолжавшими посещать дом учителя.

Владимир еще ни разу не заговаривал о венчании. Но само его присутствие было красноречивее всяких слов. Со своей стороны ни Иван, ни Илька никогда не упоминали об этом. Брат и сестра стали молчаливыми и могли часами сидеть вдвоем, не выходя из комнаты.

Оставшись однажды с Илькой наедине в столовой, Владимир решил наконец вызвать ее на разговор.

— Илька, — сказал он с волнением в голосе, — когда тому назад четыре года я покидал Ригу, когда меня разлучили с вами и сослали в Сибирь, я обещал никогда не забывать вас... Забыл я вас?..

— Нет, Владимир.

— Я обещал любить вас всегда... Изменились ли мои чувства?..

— Нет, Владимир, как и мои к вам. И если бы мне дали разрешение, я приехала бы к вам в Сибирь и стала бы вашей женой...

— Женой осужденного, Илька?..

— Женой изгнанника, Владимир, — ответила девушка.

Владимир почувствовал, что скрывается за этим ответом, но не подал виду и продолжал:

— Так вот, Илька, вам не пришлось ехать туда, чтобы стать моей женой... Обстоятельства изменились, я сам приехал сюда, чтобы стать вашим мужем...

— Вы правы, говоря, что обстоятельства изменились, Владимир... Да! и ужасно изменились...

В голосе Ильки чувствовалось страдание, и она вся дрожала, произнося эти слова.

— Дорогая Илька, — сказал Владимир, — какие бы тяжелые воспоминания это ни будило, я должен поговорить с вами... Буду краток... Я пришел лишь просить вас сдержать ваше обещание...

— Мое обещание, Владимир, — ответила Илька, не в силах совладать с теснившими грудь рыданиями, — мое обещание?.. Когда я давала его, я была достойна этого... Но сейчас...

— Сейчас, Илька, вы, как и всегда, достойны сдержать свое обещание!

— Нет, Владимир, надо забыть наши мечты.

— Вы знаете, что никогда я их не забуду!.. Разве не осуществились бы они еще две недели назад, разве не принадлежали бы мы друг другу, не случись накануне свадьбы этого несчастья?..

— Да, — с покорностью сказала Илька, — слава богу, что мы не успели обвенчаться!.. Вам не придется раскаи-

ваться и краснеть, вступив в семью, на которую пали бесчестие и позор!

— Илька, — проникновенным голосом произнес Владимир, — клянусь, я не раскаивался бы, и мне нечего было бы краснеть, что я муж Ильки Николевой, позор не может пасть на нее!..

— Я верю... да... верю вам, Владимир!.. — воскликнула молодая девушка, прижимая руки к сердцу. — Я знаю благородство вашей души... Нет, вы не раскаялись бы и... не краснели бы за меня!.. Вы любите меня всей душой, но и я люблю вас не меньше...

— Илька, моя обожаемая Илька!.. — воскликнул Владимир и хотел взять ее за руку.

Но она тихонько отстранилась и сказала:

— Да... мы любим друг друга... Любовь наша была нашим счастьем... Но брак стал невозможен...

— Невозможен?! — воскликнул Владимир. — В этом только я, только я один могу быть судьей... Я уже не мальчик... Жизнь моя до сих пор не была так легка, так счастлива, чтобы я не привык обдумывать свои поступки!.. Мне казалось, раз я люблю вас, раз вы любите меня, — наконец-то счастье близко!.. Я надеялся, что вы питаете ко мне достаточно доверия, что считаете справедливым то, что я считаю справедливым; ведь обо всем этом вы не можете иметь правильного суждения.

— Я сужу об этом так, как будет судить свет, Владимир!

— Какое мне дело до того, что вы называете светом, дорогая Илька! Свет для меня — это вы, вы одни... И для вас не должно быть иного света, кроме меня!.. Хотите — мы уедем из этого города?!.. Иван последует за нами. И где бы мы ни были, клянусь, мы будем счастливы!.. Илька, дорогая Илька, скажите, что вы согласны быть моей женой...

Он упал перед ней на колени, просил, умолял ее, но, казалось, вид преклоненного Владимира внушал ей еще больше презрения к самой себе.

— Встаньте... встаньте! — твердила она. — Нельзя стоять на коленях перед дочерью...

Он не дал ей договорить.

— Илька... Илька! — повторял он, как безумный, со слезами на глазах. — Будьте моей женой...

— Никогда! — ответила Илька. — Никогда дочь убийцы не станет женой Владимира Янова.

Эта сцена сломила обоих. Илька поднялась к себе в комнату. Доведенный до отчаяния, Владимир вышел из дома. Долго бродил он по улицам города и наконец зашел к доктору Гамину.

Доктор сразу понял, что между женихом и невестой произошло объяснение, что теперь между ними выросла непреодолимая преграда, воздвигнутая общественными предрассудками.

Владимир рассказал доктору все, рассказал, как он умолял Ильку изменить свое решение.

— Увы, дорогой Владимир, — ответил доктор Гамин, — ведь я вас предупреждал... Я хорошо знаю Ильку, ничто не заставит ее отказаться от своей клятвы...

— О! Доктор, не отнимайте у меня последнюю надежду!.. Она согласится...

— Никогда, Владимир... У нее непреклонный характер... Она считает себя обесчещенной. Ни за что она не станет вашей женой, ни за что, потому что она дочь убийцы...

— Но если это не так?.. — воскликнул Владимир. — Если отец ее невиновен?

Доктор Гамин отвел глаза в сторону, чтобы не отвечать на этот решенный уже теперь вопрос.

Поборов волнение, совершенно овладев собой, про-

никновенным голосом, в котором чувствовалась непреоборимая решимость, Владимир произнес тогда:

— Вот что я вам скажу, доктор, Илька жена моя перед богом... и я буду ждать

— Чего, Владимир?

— Перста божьего!

Прошли месяцы. Ничего не изменилось. Волнение, вызванное делом Николева в различных слоях городского общества, улеглось. О нем перестали говорить. Германская партия победила на городских выборах, и переизбранный в думу Франк Иохазен потерял, казалось, всякий интерес к семье Николевых.

Однако, согласные во всем, Иван и Илька не забывали об обязательствах перед банкиром, взятых на себя отцом. Они считали своим долгом оградить его память хотя бы от этого бесчестья.

Для этого нужно было время. Надо было превратить в деньги то малое, чем они еще располагали, продать отцовский дом, библиотеку — все, что только возможно. Быть может, пожертвовав своим последним имуществом, они смогут полностью погасить долг.

Потом видно будет... Илька, если только ей не откажут, будет давать уроки... Не здесь, так, может быть, в другом городе. Иван постарается поступить служащим в какой-нибудь торговый дом.

Но пока что надо было жить. Средства истощались. Небольшие сбережения, сделанные Илькой из заработков отца, таяли с каждым днем. Надо было поторопиться с продажей имущества. Брат и сестра решат потом, оставаться ли им в Риге.

Само собой понятно, что после отказа девушки выйти за него замуж Владимир Янов, хотя бы ради приличия, должен был покинуть дом учителя. Но, поселившись в предместье, он продолжал быть столь же частым

гостем, как если бы жил у Николевых. Он всячески помогал им советом при распродаже их скромного имущества для покрытия долга братьям Иохаузен. Он предлагал Ильке все, что у него осталось от денег, завещанных отцом, но она упорно отказывалась принять эту помощь.

Восхищаясь величием ее души, благородством характера, обожая ее, Владимир умолял Ильку согласиться выйти за него замуж, отбросить мысль о том, что она недостойна его, внять настойчивым уговорам друзей отца... Но от нее нельзя было ничего добиться, даже надежды на будущее, — воля ее была непреклонна.

Видя отчаяние Владимира, доктор Гамин пытался несколько раз уговорить Ильку, но напрасно...

— Дочь убийцы, — твердила она, — не может быть женой честного человека!

Все в городе знали об этом и не могли не восхищаться благородным характером девушки, в то же время искренне жалея ее.

Между тем время текло своим чередом без каких-либо новых происшествий. Но вот 17 сентября на имя Ивана и Ильки Николевых пришло письмо.

Письмо это было за подписью рижского священника, семидесятилетнего старца, почитаемого всем православным населением города. Ища утешения, которое может дать только религия, Илька иногда посещала его.

Священник просил брата и сестру явиться в тот же день в пять часов на рижское кладбище.

Доктор Гамин и Владимир получили такие же письма и пришли утром к Николевым.

Иван показал им письмо за подписью попа Аксева.

— Что может означать это приглашение, — спросил он, — и почему он вызывает нас на кладбище?

На этом кладбище без всякого церковного обряда был похоронен самоубийца Дмитрий Николев.

— Что вы думаете, доктор?.. — спросил Владимир.

— Думаю, что нам следует прийти туда, куда нас приглашает священник. Это всеми уважаемый, мудрый и осторожный старик; если он счел нужным послать нам такое приглашение, значит, у него есть на то серьезные причины!

— Вы пойдете, Илька? — обратился Владимир к молчаливо стоящей девушке.

— Я уже не раз молилась на могиле отца... — ответила Илька. — Пойду... Да услышит нас бог, когда священник помолится с нами вместе...

— В пять часов мы будем на кладбище, — сказал доктор Гамин.

Он ушел вместе с Владимиром. В назначенный час Иван и Илька явились на кладбище. Друзья уже ожидали их у входа. Все вместе они направились к месту погребения Дмитрия Николева.

Преклонив колени перед могилой, священник молился за упокой души несчастного.

Заслышав шаги, он поднял свою красивую, белую как лунь голову и выпрямился во весь рост. В глазах его горел какой-то особый огонь. Он протянул навстречу пришедшим обе руки, знаком приглашая брата и сестру, доктора и Владимира приблизиться.

Как только Владимир и Илька стали по обе стороны скромной могилы, священник сказал:

— Владимир Янов... вашу руку.

Затем обращаясь к молодой девушке:

— Илька Николева... вашу руку.

И он соединил руки молодых людей над могилой. Взгляд его излучал столько энергии, все лицо дышало та-

кой добротой, что девушка оставила свою руку в руке Владимира.

— Владимир Янов и Илька Николева, — торжественно произнес священник, — обручаю вас перед богом.

Девушка невольно хотела вырвать руку...

— Оставьте, Илька Николева, — ласково сказал старик, — ваша рука принадлежит отныне тому, кто любит вас...

— Меня... дочь убийцы!.. — воскликнула Илька.

— Дочь невинного и даже не самоубийцы... — призывая небо в свидетели, ответил священник.

— Но кто же убийца?.. — весь дрожа от волнения, спросил Иван.

— Хозяин трактира «Сломанный крест»... Кроф!

ГЛАВА 16

ИСПОВЕДЬ

Трактирщик Кроф, заболевший воспалением легких, накануне скончался. Агония его продолжалась всего несколько часов.

Уже пять месяцев мучимый раскаянием, перед смертью корчмарь велел позвать попа Аксеева и исповедался ему.

Исповедь эту старик записал, и Кроф поставил под нею свою подпись. Священник должен был после его смерти предать документ гласности.

Эта исповедь была признанием Крофа, и ей надлежало восстановить доброе имя Дмитрия Николева. Из исповеди подлинного убийцы читатель узнает, благодаря какому стечению обстоятельств Крофу удалось переложить ответственность за преступление на плечи Николева. Вот что содержала эта исповедь:

В ночь с 13 на 14 апреля Дмитрий Николев и Пох прибыли в трактир «Сломанный крест».

При виде сумки Поха трактирщик, дела которого уже давно шли неважно, замыслил обокрасть банковского артельщика. Однако из осторожности следовало выждать, чтобы другой постоялец, собиравшийся уйти в четыре часа утра, покинул корчму. Но трактирщику не терпелось, и в два часа после полуночи, надеясь, что Пох не услышит, он вошел в его комнату.

Однако Пох не спал и, освещенный фонарем Крофа, приподнялся на кровати. Видя, что он обнаружен, корчмарь, задумавший лишь ограбить артельщика, бросился на несчастного и ножом, который носил на поясе — шведским ножом с защелкой, — нанес ему смертельный удар в сердце.

Засунув руку в сумку Поха, он вытащил оттуда пятнадцать тысяч сторублевыми кредитными билетами.

Но какими проклятиями разразился Кроф, когда в одном из отделений сумки он обнаружил записку следующего содержания:

«Список номеров кредитных билетов, копия которого находится у братьев Июхаузен».

Это была обычная предосторожность Поха, когда он шел совершать платеж за счет банка.

Значит, преступнику не удастся, не подвергаясь большой опасности, спустить эти кредитки!.. Значит, это убийство не принесет ему никакой выгоды!..

Тогда-то явилась у него мысль свалить ответственность за преступление на постояльца, спавшего в другой комнате. Он вышел из корчмы, сделал царапины на стене под подоконником комнаты незнакомого путешественника, кочергой выломал ставень окна Поха и вернулся в дом.

Приведенный в бешенство мыслью, что эти деньги

окажутся не только бесполезными, но и опасными в его руках, он возымел преступнейшую мысль.

Почему бы не пробраться в комнату незнакомца, подсунуть ему эти деньги в карман, предварительно вытащив у него те, которые, вероятно, при нем были?..

Как уже известно, Дмитрий Николев имел при себе двадцать тысяч рублей, которые собирался вернуть Владимиру Янову. И вот, пока он спал глубоким сном, Кроф вытащил у него из кармана все деньги... Номера этих кредитных билетов не были никому известны!.. Трактирщик отсчитал пятнадцать тысяч рублей и подменил их кредитками банковского артельщика. Затем, никем не замеченный, он вышел из комнаты и во дворе под елью зарыл эти деньги, а также и нож, которым зарезал Поха, зарыл так хорошо, что все поиски полиции оказались тщетны.

В четыре часа утра, простившись с корчмарем, Дмитрий Николев вышел из «Сломанного креста» и направился в Пернов, где его ожидал Владимир Янов. Теперь понятно, как благодаря хитрости трактирщика подозрения, в скором времени превратившиеся в неопровержимые улики, пали на учителя.

Завладев кредитными билетами Дмитрия Николева, который не мог заметить и не заметил подмены, Кроф, ничего не опасаясь, начал тратить их. Тем не менее делал он это чрезвычайно осторожно и брал деньги лишь на неотложные нужды.

В ходе следствия, которое было поручено г-ну Керсдорфу, унтер-офицер Эк признал в Дмитрие Николеве путешественника, на которого падали все подозрения. Упорно отрицая свою виновность, учитель в то же время отказался объяснить причины своей поездки и подвергся бы, вероятно, аресту, если бы появление Владимира Янова не спасло его от этой участи.

Видя, что Николев все больше отводит от себя обвинение, Кроф начал испытывать страх, понимая, что в таком случае подозрения падут на него. Несмотря на то, что за ним в корчме все время наблюдали полицейские, он замыслил новую хитрость, которая, по его мнению, должна была снова набросить тень на путешественника, подозреваемого в совершении преступления. Он выпачкал кровью и сжег один из кредитных билетов, оставив только один уголок его, взобрался ночью на крышу корчмы и бросил его в очаг комнаты, которую занимал Николев, где этот обгорелый клочок и обнаружили на следующий день.

После этой находки Дмитрия Николева снова допросили. Но г-н Керсдорф, который в душе не мог поверить в его виновность, не отдал приказа об аресте.

Все более обеспокоенный Кроф был осведомлен о том, в чем его обвиняли защитники Николева. Крофа подозревали в убийстве банковского артельщика и в том, что он, всячески стараясь навлечь подозрения на невинного, поставил после ухода путешественника кочергу в его комнату и подбросил уголок кредитки в золу очага, где при первом обыске его не обнаружили. Вследствие этого все, что Николев выигрывал во мнении следователя, шло во вред Крофу. Он надеялся все же, что при размене украденные кредитные билеты опознают и это нанесет Николеву последний удар, который и доконает его. Но Владимир Янов не имел еще случая воспользоваться этими кредитками.

Наконец Кроф понял, что его скоро арестуют и что этот арест приведет его к гибели. О! Если бы он знал, что украденные кредитные билеты будут 14 мая вручены господам Йохаузенам и в них признают кредитки, находившиеся в сумке Поха! Ведь это было окончательным осуждением Дмитрия Николева. Разве пришла бы ему тогда

дьявольская мысль отвести от себя обвинение в первом убийстве, совершив второе?!

Но он этого не знал, или, вернее, узнал об этом уже после совершения второго убийства! Он еще был на свободе, свободно мог ездить в Ригу, куда его часто вызывал следователь. И он приехал туда в тот самый вечер и с наступлением сумерек бродил вокруг дома учителя, ища случая убить его, чтобы навести на мысль, будто Николев покончил самоубийством.

Обстоятельства благоприятствовали ему. После ужасной сцены с Владимиром в присутствии сына и дочери Николев, как безумный, выбежал из дома. Кроф последовал за ним за город, и тут, на безлюдной дороге, убил его тем же ножом, которым убил Поха. Нож этот он бросил рядом с телом убитого.

Кто мог теперь сомневаться, что, приведенный в отчаянье последними уликами в виде украденных кредитных билетов, Дмитрий Николев покончил с собой, а следовательно, он и есть убийца из трактира «Сломанный крест»?..

Никто в этом и не усомнился. И это новое преступление привело к желанному для убийцы результату.

Следствие само собой прекратилось, и огражденный если не от угрызений совести, то от всех подозрений Кроф мог теперь спокойно пользоваться тем, что ему принесло это двойное убийство.

В руках его находились кредитки, которые он обменял на кредитки Поха, номера их не были никому известны, и ничто не мешало ему, не подвергаясь никакой опасности, пустить их в ход.

Но недолго пользовался Кроф доходом от двух убийств. Схватив воспаление легких и с ужасом чувствуя приближение смерти, он покаялся и продиктовал свою исповедь священнику, вручив ему деньги, принадлежав-

шие по праву Владимиру Янову. Исповедь свою он наказал предать гласности.

Итак, доброе имя Дмитрия Николева было полностью восстановлено. Однако он лежал в могиле, и ничто не могло утешить его сына, дочь и друзей в их глубоком горе.

Так закончилась эта столь нашумевшая в свое время драма, оставившая неизгладимый след в судебной хронике Прибалтийского края.

1904 г.

«ЧЕНСЛЕР»



— *Чарлстон. Двадцать седьмое сентября 1869 года.* — Корабль покидает набережную Баттери в три часа пополудни. Отлив быстро несет его в открытое море. Капитан Хантли приказывает поставить верхние и нижние паруса, и «Ченслер», подгоняемый северным ветром, пересекает бухту. Вскоре он огибает форт Самтер и оставляет слева береговые батареи. В четыре часа корабль входит в пролив, где его подхватывает стремительное в эту пору дня течение. Но до открытого моря еще далеко, и, чтобы добраться до него, надо пройти по одному из узких каналов, прорытых волнами в песчаных отмелях. Капитан Хантли направляет корабль по юго-западному фарватеру, влево от форта Самтер. Теперь «Ченслер» идет в крутой бейдевинд. В семь часов вечера корабль минует последнюю песчаную косу, и вот он уже несется под всеми парусами по Атлантическому океану.

«Ченслер» — превосходное трехмачтовое судно с прямым вооружением, водоизмещением в девятьсот тонн — принадлежит крупной ливерпульской компании «Лирд и братья». Он был спущен на воду два года назад. Корпус обшит медью, палуба сделана из индийского дуба, а все нижние мачты, кроме бизань-мачты, — железные, так же, как и часть оснастки. Этот прочный и красивый корабль, числящийся среди лучших кораблей в реестрах бюро «Веритас», совершает свое третье плавание между

Чарлстоном и Ливерпулем. Хотя при выходе из Чарлстонской бухты британский флаг был спущен, но стоило любому моряку взглянуть на корабль, чтобы безошибочно определить его национальную принадлежность. От ватерлинии до клотика «Ченслер» был тем, чем он казался, то есть типично английским судном.

Вот причины, по которым я решил сесть на этот корабль, возвращавшийся в Англию.

Между Южной Каролиной и Соединенным Королевством не существует прямого пароходного сообщения. Чтобы совершить это трансатлантическое путешествие, надо отправиться в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк или в Новый Орлеан. Между Нью-Йорком и Старым Светом есть несколько линий — английская, французская, гамбургская; любой пароход — «Шотландия», «Перейре» или «Голсатия» — быстро доставил бы меня по назначению. А между Новым Орлеаном и Европой курсируют суда «Национальной пароходной компании», следуя по линии французских трансатлантических кораблей: Колон — Франция. Но, прохаживаясь по набережной Чарлстона, я увидел «Ченслер». Он мне понравился. Не знаю, что побудило меня сесть на это судно. Возможно, вид комфортабельных кают. К тому же плавание под парусами, особенно при благоприятном ветре и не слишком сильном волнении, можно совершить почти так же быстро, как на пароходе, но зато оно во всех отношениях приятнее. В начале осени в этих широтах погода стоит еще прекрасная. Итак, я решил ехать на «Ченслере».

Хорошо ли я поступил? Не придется ли мне раскаиваться в принятом решении? Это покажет будущее. Я изо дня в день буду вести дневник, хоть и не знаю, когда пишу эти строки, попадет ли он когда-нибудь в руки читателю.

— *Двадцать восьмое сентября.* — Я уже говорил, что капитан «Ченслера» — Хантли, прибавлю еще, что зовут его Джон-Сайлас. Это шотландец из Данди. Ему пятьдесят лет, и он пользуется репутацией опытного моряка, много раз плававшего по Атлантическому океану. Хантли — человек среднего роста, узкий в плечах, с небольшой головой, по привычке несколько склоненной влево. Не причисляя себя к первостатейным физиономистам, я думаю, что составил себе правильное представление о капитане, хотя я знаю его лишь несколько часов.

Возможно, что Сайлас Хантли хороший моряк и прекрасно знает свое дело, но вряд ли он человек физически сильный, твердый и решительный.

В самом деле, Хантли несколько тяжеловесен, плечи у него опущены. Он апатичен, о чем свидетельствуют неуверенный взгляд, нерешительные движения и медленная, вперевалку, походка. У капитана нет и не может быть ни стойкости, ни даже упрямства. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на его безжизненные глаза, вялый рот и бессильно опущенные руки. К тому же я заметил на лице у Сайласа Хантли какое-то странное выражение; не могу пока объяснить, в чем тут дело, хоть и наблюдаю за ним с тем вниманием, которого заслуживает капитан, тот, кого называют на корабле «первым после бога».

Однако, если я не ошибаюсь, на борту «Ченслера» есть человек, который в случае надобности может занять важное место между богом и Сайласом Хантли. Это помощник капитана, которого я еще недостаточно изучил. Вот почему не стану пока говорить о нем.

Экипаж «Ченслера» состоит из восемнадцати человек — капитан Хантли, его помощник, Роберт Кертис,

лейтенант Уолтер, боцман и четырнадцать английских и шотландских матросов — количество более чем достаточное для трехмачтового судна водоизмещением в девятьсот тонн. Эти люди, очевидно, хорошо знают свое дело. Могу только сказать, что при выходе из Чарлстонской бухты они отлично справились со всеми маневрами под командой помощника капитана.

Чтобы покончить с перечислением лиц, находящихся на борту «Ченслера», следует назвать буфетчика Хоббарта, негра-повара Джинкстропа и также упомянуть о пассажирах.

Пассажиров, включая и меня, восемь человек. Я почти не знаю их, но однообразная жизнь на корабле, мелкие повседневные случайности, близкое соприкосновение на тесном пространстве, естественная потребность общения, любопытство, присущее каждому человеку, — все это в конце концов нас, вероятно, сблизит. До сих пор суматоха, неизбежная при посадке, хлопоты по устройству, необходимому для двадцати — двадцатипятидневного плавания, и всевозможные другие дела отдаляли нас друг от друга. Вчера и сегодня даже не все вышли к столу в кают-компании, — возможно, что некоторые пассажиры страдают морской болезнью. Словом, я не всех видел, но знаю, что среди нас есть две дамы, занимающие каюты в кормовой части судна.

Вот список пассажиров, взятый мной из судового журнала:

Мистер и миссис Кир, американцы из Буффало;
Мисс Херби, англичанка, компаньонка миссис Кир;
Господин Летурнер с сыном Андре, французы из Гавра;
Уильям Фолстен, инженер из Манчестера, и *Джон Руби*, торговец из Кардиффа, — оба англичане.

Дж.-Р. Казаллон из Лондона — автор этого дневника.

III

— *Двадцать девятое сентября.* — Привожу текст коносамента капитана Хантли, иначе говоря, документа, в котором засвидетельствован факт погрузки товаров на «Ченслер» и перечислены условия их доставки.

«Бронсфилд и К°, комиссионеры. Чарлстон.

Я, Джон-Сайлас Хантли из порта Данди (Шотландия), капитан судна «Ченслер» водоизмещением в девятьсот тонн или около того, находясь в настоящее время в Чарлстоне, с тем чтобы при первом попутном ветре отбыть с помощью божьей прямым путем в Ливерпуль, принял от господ Бронсфилд и компания, торговых комиссионеров в Чарлстоне, одну тысячу семьсот тюков хлопка, стоимостью в двадцать шесть тысяч фунтов¹, все тюки в прекрасном состоянии, с клеймом и номером согласно прилагаемой описи; указанный груз я обязуюсь доставить в полной сохранности в Ливерпуль, если не приключится в море какой-либо прискорбной случайности, и сдать братьям Лирд или любому лицу по их приказанию, получив фрахт ровно две тысячи фунтов², как то указано в договоре о найме корабля, и сверх того возмещение убытков от могущих быть повреждений согласно существующим на это морским правилам и обычаям. В том, что принятые на себя обязательства будут выполнены, ручаюсь судном и всем своим достоянием.

В удостоверение чего и подписываю три тождественных коносамента. По приложении на одном из них подписи получателя остальные два теряют силу.

¹ Приблизительно шестьсот пятьдесят тысяч франков. (*Прим. автора.*)

² Приблизительно пятьдесят тысяч франков. (*Прим. автора.*)

Составлен в Чарлстоне тринадцатого сентября 1870 года.

Дж.-С. Хантли».

Итак, «Ченслер» везет в Ливерпуль тысячу семьсот тюков хлопка. Отправители: Бронсфилд и К° из Чарлстона. Получатели: Братья Лирд из Ливерпуля.

Погрузка прошла вполне удачно, ибо судно специально построено для перевозки хлопка. Весь трюм заполнен хлопком за исключением небольшой его части, предназначенной для багажа пассажиров. Плотнo уложенные при помощи ваг тюки лежат тесными рядами. В трюме не оказалось таким образом свободного места, что весьма выгодно для капитана судна, перевозящего груз.

IV

— *С тридцатого сентября по шестое октября.* — «Ченслер» — быстроходное судно, без труда обгоняющее корабли такого же водоизмещения. С тех пор как ветер посвежел, за его кормой остается пенистый след, он тянется насколько видит глаз, словно белое кружево на синем фоне моря.

Волнение в океане не особенно сильное. Насколько я знаю, никто на корабле не страдает ни от бортовой, ни от килевой качки. К тому же пассажиры наши едут не впервые, и все они более или менее знакомы с морем. Поэтому за столом в часы трапез не пустоует ни одно место.

Пассажиры постепенно знакомятся друг с другом, и жизнь на корабле становится менее скучной. Я часто беседую с французом, господином Летурнером.

Господин Летурнер — высокий человек лет пятидесяти пяти. У него седые волосы, в бороде проглядывают серебряные нити. На вид он, безусловно, старше своих

лет — очевидно, ему пришлось немало выстрадать. Чувствуется, что и сейчас его снедает какое-то затаенное горе. Видимо, этот человек носит в себе неиссякаемый источник печали, что заметно по его слегка согнутому стану и по манере часто опускать голову на грудь. Он никогда не смеется, а если слегка улыбается, то только своему сыну. Взгляд его ласков, но словно затуманен слезами. Во всем облике старика — характерная смесь горечи и нежности, обычно же его лицо выражает безграничную доброту.

Можно подумать, что господин Летурнер в чем-то себя укоряет. И это действительно так! Но как не испытать глубокого волнения, узнав, какими, безусловно преувеличенными, упреками осыпает себя несчастный отец?

Господин Летурнер едет на корабле вместе с сыном Андре. У этого двадцатилетнего юноши мягкое привлекательное лицо. Он очень похож на отца, только наружность у него менее волевая. Но Андре — калека, вот причина неутешного горя старика. Левая нога у юноши сильно искривлена, и ходит он не иначе, как опираясь на палку и сильно хромая.

Отец боготворит сына, и чувствуется, что вся его жизнь посвящена бедному калеке. Он страдает из-за врожденного недостатка Андре гораздо сильнее, чем сын, и в душе постоянно просит у него прощения. Его преданность Андре проявляется ежеминутно. Он не оставляет сына одного, исполняет малейшее его желание, следит за каждым его движением. Руки отца принадлежат больше сыну, чем ему самому. Они неизменно обнимают, поддерживают юношу, когда тот гуляет по палубе «Ченслера».

Из всех пассажиров господин Летурнер особенно сблизился со мной и постоянно рассказывает мне о сыне.

Сегодня я ему сказал:

— Я только что беседовал с Андре. У вас хороший

сын, господин Летурнер. Это умный и образованный молодой человек.

— Да, господин Казаллон, — ответил Летурнер, сияясь улыбнуться, — у него прекрасная душа, заключенная в убогом теле, — душа его покойной матери, которая умерла, произведя его на свет!

— Он вас любит, сударь.

— Дорогое дитя! — прошептал господин Летурнер, грустно опуская голову. — Да, вам трудно понять, — продолжал он, — как страдает отец, глядя на сына-калеку... калеку от рождения!

— Господин Летурнер, — ответил я, — несчастье поразило и вас, и вашего сына, но бремя это вы разделили не поровну. Андре, безусловно, достоин жалости, но разве мало быть любимым так, как вы его любите? Физический недуг переносится легче, чем нравственные муки, а они-то главным образом достались на вашу долю. Я внимательно наблюдал за Андре и готов побиться об заклад, что его удручает больше всего ваша печаль...

— Но я всячески скрываю от него свое горе, — взволнованно произнес господин Летурнер, — и стремлюсь только к одному: развлекать Андре, не давать ему грустить. Я знаю, несмотря на хромоту, мой сын страстно любит путешествия. У него всесторонне развитый ум, богатая фантазия, и вот уже несколько лет, как мы с ним путешествуем. Сначала мы объехали Европу, а теперь возвращаемся из Соединенных Штатов. Я сам руководил образованием Андре, мне не хотелось посылать его в коллеж. Теперь же, чтобы пополнить полученное сыном образование, я путешествую вместе с ним. Андре одарен живым умом, пылким воображением, он очень восприимчив. Иногда я с радостью вижу, что он забывает о своем несчастье, любясь величием природы.

— Да, сударь... без сомнения... — взволнованно говорю я.

— Но если он и забывает, — продолжает Летурнер, пожимая мне руку, — то я не могу забыть и не забуду никогда! Скажите, сударь, думаете ли вы, что мой сын не винит ни мать, ни меня в том, что он калека от рождения?

Меня удручает скорбь этого отца, который казнит себя за то, в чем никто не виноват. Я порываюсь его утешить, но в эту минуту появляется Андре. Летурнер спешит к нему навстречу и помогает подняться по довольно крутому трапу, ведущему на ют.

Там Андре Летурнер опускается на одну из скамеек, расположенных над клетками для кур, отец садится рядом с ним. Они беседуют, и я принимаю участие в разговоре. Речь идет о плавании «Ченслера», о случайностях путешествия и о жизни на корабле. Господин Летурнер тоже не особенно хорошего мнения о Сайласе Хантли. Нерешительность капитана, его сонный вид действительно производят неприятное впечатление. И, наоборот, помощник капитана Роберт Кертис чрезвычайно нравится Летурнеру. Это человек лет тридцати, хорошо сложенный, в высшей степени подвижный и физически сильный. Он, очевидно, наделен неукротимой волей и не любит пребывать в бездействии.

Роберт Кертис как раз появляется на палубе. Я внимательно разглядываю помощника капитана, и меня поражает его волевая наружность и огромная жизненная сила. У него статная фигура, уверенные манеры, гордый взгляд, слегка сдвинутые брови. Видно, что он не только энергичен, но и обладает хладнокровием, столь необходимым моряку. В то же время у него добрая душа, ибо он очень участливо относится к молодому Летурнеру и неизменно старается быть ему полезным.

Оглядев небо и проверив паруса, помощник капитана вступает с нами в разговор.

Заметно, что молодой Летурнер любит с ним беседовать.

Роберт Кертис сообщает нам некоторые сведения о пассажирах, с которыми мы еще очень мало знакомы.

Мистер и миссис Кир — американцы из Северной Америки, разбогатевшие на эксплуатации нефтяных месторождений. Известно, что в Соединенных Штатах очень многие нажили себе на этом огромные состояния. Мистер Кир — человек лет пятидесяти — производит впечатление скорее разбогатевшего выскочки, чем богача. Это скучный попутчик, ничего не признающий, кроме своих удобств. Руки у него постоянно засунуты в карманы, в которых позвякивают золотые и серебряные монеты. Он горделив, тщеславен, самовлюблен, презирает других и проявляет величайшее безразличие ко всему и ко всем, кроме собственной особы. Он выступает важно, как павлин, о нем можно сказать словами ученого физиологиста Гратиоле: «Он сам себя вдыхает, смакует, вкушает». Словом, это глупец и эгоист. Не понимаю, почему он едет на «Ченслере» — простом коммерческом судне, где ему не могут предоставить комфорта, каким отличаются трансатлантические пароходы.

Миссис Кир — незначительная сорокалетняя женщина, с заметной сединой на висках, вялая, ко всему равнодушная; она неумна, необразованна, не умеет поддержать разговор. Кажется, что она смотрит и не видит, слушает и не слышит. Думает ли она? Я не решился бы это утверждать.

Единственное занятие миссис Кир — требовать по всякому поводу услуг от своей компаньонки мисс Херби, молодой двадцатилетней англичанки, доброй и спокойной; ради жалких грошей, которые платит ей, словно из

милости, торговец нефтью, ей приходится терпеть немало унижений.

Молодая девушка очень хороша собой — блондинка с темно-голубыми глазами и изящным овалом лица. В ней совершенно не чувствуется пустоты, свойственной англичанкам. Рот у нее прелестен, но редко кому удается это заметить, ведь у бедной девушки нет ни времени, ни повода для улыбки. Да и кому стала бы улыбаться компаньонка, выносящая беспрестанные придирки и нелепые капризы своей госпожи? Однако, если мисс Херби и страдает в глубине души, она все же смирилась со своей участью, или по крайней мере так кажется со стороны.

У Уильяма Фолстена, инженера из Манчестера, характерная английская наружность. Он управляет большим заводом гидравлических машин в Южной Каролине и едет в Европу за разными новыми усовершенствованиями, между прочим — за центробежными мельницами фирмы Кэйл. Этот сорокапятилетний мужчина — тип ученого, который думает лишь о машинах, — с головой ушел в механику и в математические расчеты и ничего, кроме этого, не знает и знать не хочет. Когда он с вами заговаривает, от него невозможно бывает отделаться, причем испытываешь такое чувство, словно попал между шестерен какой-то безжалостной машины.

Среди пассажиров есть некто по имени Джон Руби, торговец, человек заурядный, мелкий, ограниченный. Целых двадцать лет он только и делал, что продавал и покупал, и так как обычно продавал дороже, чем покупал, то и нажил состояние. Что теперь делать с деньгами, он и сам не знает. Всю свою жизнь он вел розничную торговлю и отвык думать, размышлять, стал на редкость невосприимчив, и, уж конечно, к нему трудно применить изречение Паскаля: «Человек явно создан для того, чтобы мыслить. В этом все его достоинство и вся его заслуга».

— *Седьмое октября.* — Вот уже десять дней как мы покинули Чарлстон, и, по-видимому, плавание протекает благополучно. Мне часто случается беседовать с помощником капитана, и между нами установились дружеские отношения.

Сегодня Роберт Кертис сообщил, что мы находимся недалеко от Бермудских островов, иначе говоря, мы удалились от мыса Гаттераса в открытый океан. Согласно произведенным вычислениям координаты судна 32° 20' северной широты и 64° 50' западной долготы, считая от Гринвичского меридиана.

— Мы увидим Бермудские острова, вернее остров Святого Георгия, до наступления ночи, — сказал мне Роберт Кертис.

— Как Бермудские острова? А я-то полагал, что корабль, держащий курс из Чарлстона в Ливерпуль, должен идти севернее, следуя по течению Гольфстрима? — удивленно спросил я.

— Без сомненья, господин Казаллон, — ответил Роберт Кертис, — это обычный путь судов, но, по-видимому, на этот раз капитан не намерен его придерживать.

— Почему?

— Это мне неизвестно, но он взял курс на восток, и «Ченслер» идет на восток.

— И вы обратили его внимание на то, что?..

— Да, я обратил его внимание на необычайность такого курса, но получил ответ, что он сам отвечает за свои поступки!

При этом Роберт Кертис хмурится, машинально проводит рукой по лбу и, как мне кажется, не говорит всего того, что хотел бы сказать.

— Но как же так, господин Кертис, — настойчиво про-

должаю я, — сегодня седьмое октября, и отыскивать новые пути поздно. Нельзя терять ни одного дня, иначе мы не прибудем в Европу до наступления сезона плохих погод...

— Безусловно, господин Казаллон, ни одного дня.

— Не считите это за нескромность, господин Кертис, но мне хочется спросить, что вы думаете о капитане Хантли?

— Я думаю, — ответил помощник капитана, — я думаю, что... он — мой капитан!

Этот уклончивый ответ до сих пор меня беспокоит.

Роберт Кертис не ошибся. Около трех часов пополудни вахтенный заметил землю с наветренной стороны, на северо-востоке, но сперва она показалась нам лишь голубоватой дымкой.

В шесть часов я поднялся на палубу с отцом и сыном Летурнер, и мы стали рассматривать Бермудский архипелаг — ряд сравнительно невысоких островов, окруженных грядой рифов.

— Вот тот волшебный архипелаг, господин Казаллон, — сказал Андре Летурнер, — те живописнейшие острова, которые ваш поэт Томас Мур воспел в своих одах! А еще раньше, в тысяча шестьсот сорок третьем году, о них с восторгом отзывался изгнанник Уолтер. Если не ошибаюсь, английские дамы одно время носили шляпы, сделанные из листьев какой-то бермудской пальмы.

— Вы правы, дорогой Андре, — ответил я, — Бермудский архипелаг был в моде в семнадцатом веке, но теперь он совершенно забыт.

— А между тем, Андре, моряки придерживаются иного мнения об этих островах, — заметил Роберт Кертис, — и это вполне естественно: место столь живописное очень опасно для кораблей. В двух-трех лье от берега тянется цепь подводных камней, которых особенно страшатся мореплаватели. Следует добавить, что хотя небо здесь

прозрачно и ясно, чем по праву гордятся жители Бермудских островов, хорошая погода часто сменяется ураганами. Бури, опустошающие Антильские острова, захватывают край и Бермудские и бывают здесь особенно страшны. Так что я не советую мореплавателям доверяться рассказам Уолтера и Томаса Мура.

— Вы, конечно, правы, господин Кертис, — продолжал, улыбаясь, Андре Летурнер, — но поэты, как и пословицы, существуют лишь для того, чтобы опровергать друг друга. Правда, Томас Мур и Уолтер прославили чудесную красоту этого архипелага, но зато величайший из ваших поэтов, Шекспир, знающий архипелаг безусловно лучше, чем они, избрал его местом действия самых ужасных сцен своей «Бури»!

В самом деле, море здесь очень опасно. Англичане, которым Бермудские острова принадлежат со времени их открытия, используют их лишь как военную базу между Антильскими островами и Новой Шотландией. Этот архипелаг состоит из ста пятидесяти островов и островков, но когда-нибудь их будет насчитываться гораздо больше, так как мадрепоры работают неустанно, строя все новые Бермуды, которые в отдаленном будущем сольются между собой и образуют новый материк. Таков закон природы.

Никто из остальных пассажиров не потрудился подняться на палубу, чтобы взглянуть на любопытный архипелаг. А бедная мисс Херби едва только появилась на юте, как послышался скрипучий голос миссис Кир, и она вынуждена была вернуться к своей хозяйке.

VI

— С восьмого по тринадцатое октября. — Северовосточный ветер все крепчает, и «Ченслер» под фоком и марселями, у которых взяты все рифы, лавирует против ветра.

На море сильное волнение, и плавание очень утомляет. Переборки кают-компания неприятно скрипят, и это начинает раздражать. Большинство пассажиров находится в помещениях на юте.

Я же предпочитаю оставаться на палубе, хотя ветер подхватывает дождевые струи и, дробя их в водяную пыль, пронизывает меня до костей.

Так в течение двух дней мы идем в крутой бейдевинд. «Свежий бриз» превратился в шторм. Брам-стенги спущены. Ветер усилился до пятидесяти-шестидесяти миль в час¹.

Несмотря на свои превосходные качества, «Ченслер» значительно отклонился от первоначального пути, и его все больше относит к югу. Густые облака мешают измерить высоту солнца, приходится ограничиться счислением, чтобы приблизительно знать местонахождение судна.

Наши спутники, которым помощник капитана ничего не говорил, до сих пор не знают, что мы взяли какой-то странный курс. Англия на северо-востоке, а мы плывем на юго-восток! Роберт Кертис решительно не понимает упорства капитана, который должен был бы повернуть на другой галс и, идя на северо-запад, использовать попутные течения. Но нет! С тех пор как ветер подул с северо-востока, «Ченслер» забирает все больше к югу.

Встретясь сегодня на юте с Робертом Кертисом, я говорю ему:

— Уж не с ума ли сошел ваш капитан?

— Я хотел вас спросить об этом, господин Казаллон, ведь вы как будто внимательно наблюдали за ним, — отвечает Роберт Кертис.

— Право, не знаю, что вам сказать, господин Кертис,

¹ Приблизительно тридцать метров в секунду. (Прим. автора.)

но, признаться, его странный вид, порой блуждающий взгляд... Вам уже случалось плавать вместе с ним?

— Нет, это впервые.

— А вы с ним больше не говорили о курсе корабля?

— Говорил, но он мне ответил, что курс правильный.

— А что думают о действиях капитана лейтенант Уолтер и боцман?

— Они думают то же, что и я.

— Ну, а если бы капитан Хантли захотел вести корабль в Китай?

— Они повиновались бы так же, как и я.

— Однако повиновение имеет границы?

— Нет, до тех пор, пока поведение капитана не ведет корабль к гибели.

— А если он сумасшедший?

— Если это так, господин Казаллон, то я приму необходимые меры.

Предпринимая путешествие на «Ченслере», я совсем не ожидал такого осложнения.

Между тем погода все больше портится, и настоящий шторм, словно сорвавшись с цепи, разражается в этой части Атлантического океана. Корабль идет под малым кливером и грот-марселем, у которого взяты все рифы, и он мог смело идти навстречу ветру и бушующим волнам. Но, как я уже говорил, «Ченслер» значительно отклонился от курса, и его все дальше относит к югу, что стало совершенно очевидным, когда в ночь с 11 на 12 октября корабль вошел в Саргассово море.

Это море — не что иное, как обширное водное пространство, окруженное теплым течением Гольфстрима. Оно заросло водорослями, которые испанцы зовут «саргассо», и корабли Колумба не без труда пересекли его во время своего первого плавания.

С наступлением утра Атлантический океан принял до-

вольно странный вид, и Летурнеры вышли взглянуть на него, несмотря на свирепые порывы ветра, заставляющие звучать металлические ванты подобно струнам арфы. Ветер так силен, что наша одежда разлетелась бы в клочья, если бы он проник под нее. Корабль несется по этому морю, покрытому водорослями, словно по обширной, поросшей травой равнине, и форштевень проходит по ней, как лемех плуга. Порой ветер подхватывает водоросли и несет их с собой; они цепляются за снасти, обвивают мачты до самых верхушек, точно дикие виноградные лозы, и образуют у нас над головой причудливую беседку из зелени. Некоторые из этих водорослей — огромные ленты в триста-четыреста футов длиной — развеваются по ветру, похожие на языки пламени. Несколько часов нам приходится пробиваться сквозь море саргассов, и «Ченслер» с мачтами, увитыми водорослями, напоминает рощу,двигающуюся среди бескрайней прерии.

VII

— *Четырнадцатое октября.* — «Ченслер» наконец покинул этот океан водорослей. Шторм заметно стих. Ветер превратился в «свежий бриз», и мы быстро идем под марселями, у которых взяты два рифа.

Ярко светит появившееся в небе солнце. Становится очень жарко. Определение координат судна, произведенное в хороших условиях, дает 21° 33' северной широты и 50° 17' западной долготы. Итак, «Ченслер» отклонился к югу более чем на 10°.

Корабль по-прежнему держит курс на юго-восток!

Желая понять, в чем причина недопустимого упрямства капитана Хантли, я несколько раз заговаривал с ним. В своем ли он уме или нет? Не знаю, что и думать. В общем, он рассуждает здраво. Может быть, у капитана

частичное помешательство и затмение находят на него лишь тогда, когда дело касается мореплавания? Подобные случаи уже наблюдались в медицинской практике. Я говорю об этом Роберту Кертису, который холодно меня выслушивает. Он вновь заявляет, что не вправе отстранить капитана, пока его безумие не установлено и не грозит гибелью судну. Действительно, это серьезная мера, и большая ответственность легла бы в случае чего на помощника капитана.

Я вернулся в свою каюту около восьми часов вечера и при свете раскачивающейся лампы провел час, читая и размышляя. Потом прилег и уснул.

Несколько часов спустя меня разбудил необычайный шум. На палубе раздавались тяжелые шаги и слышались взволнованные голоса. Мне показалось, что матросы суетятся, бегают по судну. Что за причина столь странного оживления? Без сомнения, брасопят реи, что необходимо для поворота на другой галс... Но нет! «Ченслер» продолжает крениться на правый борт, следовательно, он не изменил галса.

Я подумал было подняться на палубу, но шум вскоре утих. Слыша, что капитан Хантли возвратился в свою каюту, расположенную на юте, я снова улегся на койку. По всей вероятности, какой-нибудь маневр вызвал это хождение взад и вперед. Однако ход корабля не увеличился. Значит, ветер не крепчает.

На следующий день, 14 октября, в шесть часов утра я поднимаюсь на ют и окидываю взглядом корабль.

Как будто ничто не изменилось. «Ченслер» идет левым галсом под нижними парусами, марселями и брамселями. Он очень устойчив и прекрасно держится на волнах, подгоняемый довольно свежим ветром. Скорость довольно велика, должно быть не менее одиннадцати миль в час.

Вскоре на палубе показывается господин Летурнер с

сыном. Я помогаю юноше подняться на ют. Андре с наслаждением вдыхает живительный утренний воздух, насыщенный запахом моря.

Я спрашиваю, не были ли они разбужены этой ночью шумом шагов, суетой?

— Нет, что вы, — отвечает Андре Летурнер, — я спал без просыпу всю ночь.

— Значит, ты спал очень крепко, дорогой мой, — замечает отец, — потому что меня тоже разбудил шум, о котором говорит господин Казаллон. Мне даже слышались слова: «Скорее, скорее! К люкам!»

— А в котором часу это было? — интересуюсь я.

— Приблизительно часа в три утра, — отвечает господин Летурнер.

— Вы не знаете причину этого шума?

— Право, не знаю, господин Казаллон, но вряд ли это что-нибудь серьезное, потому что иначе нас вызвали бы на палубу.

Я осматриваю люки, расположенные по обе стороны грот-мачты. Люки задраены как обычно, но я замечаю, что они покрыты толстым брезентом и приняты все меры, чтобы воздух не проникал в них. Почему же так тщательно законопачены люки? На это, очевидно, есть причина, которую я не могу отгадать. Роберт Кертис, наверно, все мне расскажет. Я оставляю про себя свои наблюдения, ничего не говорю господину Летурнеру и жду, когда наступит вахта помощника капитана.

День обещает быть прекрасным, солнце взошло ослепительно яркое, словно умытое, а это хорошая примета. На противоположной стороне небосвода виден ущербный диск луны, которая должна зайти в десять часов пятьдесят семь минут утра. Через три дня наступит последняя ее четверть, а 24 октября появится молодой месяц. Я справляюсь по календарю и вижу, что в этот день

ожидается прилив, совпадающий с периодом новолуния. Нас, плывущих в открытом море, это почти не коснется. Ведь мы не увидим прилива во всей его мощи. Зато на берегу материков и островов будет интересно наблюдать, как под влиянием молодого месяца огромные массы воды поднимутся на значительную высоту.

Я один на юте. Летурнеры спустились пить чай. Я же поджидаю помощника капитана.

В восемь часов приходит Роберт Кертис и принимает вахту у лейтенанта Уолтера. Я хочу пожать ему руку. Но прежде чем поздороваться со мной, Роберт Кертис бросает быстрый взгляд на палубу, и брови его слегка хмурятся. Затем он изучает небо и осматривает паруса.

Приблизившись к лейтенанту Уолтеру, он спрашивает:

— А капитан Хантли?

— Я еще не видел его, сударь.

— Ничего нового?

— Ничего.

Несколько минут они разговаривают, понизив голос. Лейтенант Уолтер качает головой в ответ на какой-то заданный ему вопрос.

— Пришлите мне боцмана, Уолтер, — говорит помощник капитана, когда лейтенант уже собирается уходить.

Боцман является немедленно, и Роберт Кертис задает ему какие-то вопросы, на которые тот отвечает тихим голосом, качая головой. Затем по приказу помощника капитана боцман вызывает вахтенную команду и велит полить водой брезент, покрывающий большой люк.

Через несколько минут я подхожу к Роберту Кертису, и разговор заходит сперва о каких-то незначительных мелочах. Помощник капитана не затрагивает интересующего меня вопроса и наконец я говорю ему:

— Кстати, господин Кертис, что такое произошло этой ночью на корабле?

Он пристально смотрит на меня и не отвечает.

— Да, — продолжаю я, — меня разбудил необычный шум, потревоживший также сон господина Летурнера. Что случилось?

— Ничего, господин Казаллон, — отвечает Роберт Кертис, — просто ошибочный поворот руля чуть было не вывел корабль из ветра, пришлось переставлять паруса, что и вызвало беготню по палубе. Но беду быстро исправили, и «Ченслер» немедленно лег на свой курс.

Мне кажется, что Роберт Кертис, всегда такой прямой, на этот раз скрыл от меня правду.

VIII

— *С пятнадцатого по восемнадцатое октября.* — Плавание продолжается в тех же условиях. Ветер по-прежнему дует с северо-востока, и неопытному глазу кажется, что на борту ничего особенного не случилось.

А между тем что-то есть! Матросы часто собираются кучками, о чем-то говорят, но тотчас же замолкают при нашем приближении. Несколько раз я уловил слово «люк», которое уже привлекло внимание господина Летурнера в ту тревожную ночь. Что такое происходит в трюме «Ченслера», из-за чего такие предосторожности? Почему люки герметически закрыты? Право, будь в трюме пленный экипаж вражеского корабля, мы и тогда не приняли бы более решительных мер.

Пятнадцатого октября, прогуливаясь на баке, я услышал, как матрос Оуэн сказал товарищам:

— А знаете что, ребята? Не стану я ждать до последнего! Каждый за себя!

— Ну а что же ты сделаешь, Оуэн? — спрашивает повар Джинкстроп.

— Что? — удивляется матрос. — Да ведь шлюпки-то изобретены не для дельфинов, как по-вашему?

Этот разговор резко обрывается, и мне ничего больше не удается узнать.

Что это? Уж не готовится ли мятеж против офицеров корабля? Заметил ли Роберт Кертис признаки недовольства? Надо быть настороже против некоторых матросов и применять к ним железную дисциплину.

Прошло три дня, но ничего нового как будто не произошло.

Со вчерашнего дня я замечаю, что капитан и его помощник часто совещаются друг с другом. Роберт Кертис проявляет нетерпение, что удивительно со стороны человека, так хорошо владеющего собой. Мне кажется, что после этих совещаний капитан Хантли более чем когда-либо придерживается своего мнения. Кроме того, он находится, по-видимому, в состоянии нервного возбуждения, причина которого от меня ускользает.

За обедом мы с господином Летурнером замечаем молчаливость капитана и озабоченность Роберта Кертиса. Порой помощник капитана пытается завязать разговор, который тут же обрывается, и ни инженер Фолстен, ни господин Кир не могут его поддержать. Молчит, конечно, и Руби. Между тем пассажиры не без основания начинают жаловаться, что путешествие затягивается. Мистер Кир как человек, перед которым, по его мнению, все должны преклоняться, очевидно, возлагает ответственность за эту задержку на капитана Хантли и ведет себя по отношению к нему очень высокомерно.

Начиная с семнадцатого числа палубу поливают по приказанию помощника капитана несколько раз в день. Обычно это проделывали только утром, а теперь, вероят-

но, поливку приходится производить чаще из-за жары, ведь нас сильно отнесло к югу. Чехлы, покрывающие люки, постоянно смачиваются, и их плотная ткань стала непроницаемой. «Ченслер» вполне обеспечен шлангами, которые облегчают дело. Я думаю, что палубы роскошных яхт не моются так усердно. Казалось бы, матросы имеют основание жаловаться на увеличение работы, но они не жалуются.

В ночь с 23 на 24 октября жара в каютах и в кают-компании показалась мне нестерпимой. Хотя на море сильное волнение, я был вынужден оставить открытым иллюминатор в своей каюте, находящейся на правой стороне корабля.

Определенно чувствуется, что мы находимся под тропиками.

Я поднялся на палубу с зарей. Непонятно, почему температура снаружи не соответствует внутренней температуре корабля. Утро скорее прохладное, так как солнце едва показалось над горизонтом, а на верхней палубе в то же время очень жарко.

Матросы все время моют палубу; вырываясь непрерывной струей из шлангов, вода стекает по шпигатам правого или левого борта, в зависимости от крена корабля. По палубе струится прозрачный пенистый ручей, и матросы бегают по нему босые. Не знаю почему, но мне захотелось последовать их примеру. Я разуваюсь, снимаю носки и вот уже шлепаю по прохладной морской воде.

К своему великому изумлению, я ощущаю под ногами, что палуба «Ченслера» очень горяча, и не могу удержаться от восклицания.

Услышав это, Роберт Кертис оборачивается, идет ко мне и, отвечая на мой немой вопрос, говорит:

— Ну да! На борту пожар!

— *Девятнадцатое октября.* — Теперь все стало понятным: разговоры матросов, их встревоженный вид, слова Оуэна, беспрестанная поливка палубы и, наконец, эта жара, которая дошла уже до кают-компания и становится нестерпимой. Пассажиры просто изнемогают и никак не могут понять причину столь высокой температуры.

Сделав мне это важное сообщение, Роберт Кертис умолкает. Он ждет расспросов, но меня, признаться, трясет как в лихорадке. Вот оно, ужаснейшее из несчастий, какие только случаются в море, и ни один человек, как бы он хорошо ни владел собой, не может слышать без содрогания зловещие слова: «На борту пожар!»

Однако я почти тотчас беру себя в руки и спрашиваю Роберта Кертиса:

— Когда начался пожар?

— Шесть дней тому назад.

— Шесть дней! Значит, в ту самую ночь?

— Да, в ту ночь, когда был такой переполох на палубе «Ченслера». Вахтенные матросы заметили легкий дымок, выбивавшийся из щелей большого люка. Они немедленно сообщили об этом капитану и мне. Сомнений не было. В трюме загорелся груз, а добраться до очага пожара не представлялось возможным. Мы сделали все что могли в этом случае, то есть заколотили люки, чтобы преградить доступ воздуха в трюм. Я надеялся таким образом затушить начинающийся пожар; и действительно, в первые дни мне показалось, что мы справились с огнем. Но вот уже три дня, как пришлось, к несчастью, убедиться, что пожар разгорается. Палуба у нас под ногами нагревается, и если бы из предосторожности я не приказал все время ее поливать, здесь уже нельзя было бы стоять. Мне хотелось, чтобы вы знали правду, господин Казаллон, —

говорит в заключение Роберт Кертис, — вот почему я рассказал вам все это.

Я молча выслушал рассказ помощника капитана. Положение очень серьезное — это ясно. Пожар все усиливается, и не в силах человеческих его остановить.

— Знаете ли вы, как возник пожар? — спрашиваю я у Роберта Кертиса.

— Очевидно, получилось самовозгорание хлопка, — отвечает он.

— А часто это случается?

— Часто? Нет, но иногда; например, если хлопок был не очень сух в момент погрузки, самовозгорание может произойти в глубине сырого трюма, который плохо вентилируется. Для меня более чем ясно, что возникший на борту пожар не имеет иной причины.

— Зачем нам доискиваться до причин, — замечаю я. — Скажите, нет ли каких-нибудь средств помочь беде, господин Кертис?

— Нет, господин Казаллон, — говорит Роберт Кертис, — повторяю вам, что все необходимое уже сделано. Я хотел было прорубить отверстие в корпусе судна на высоте ватерлинии, чтобы таким образом в трюм проникла вода, которую затем выкачали бы насосами, но оказалось, что огонь уже добрался до верхних слоев хлопка и потушить его можно, лишь затопив весь трюм. Все же я велел проделать в палубе несколько отверстий, и по ночам в них льют воду, но этого недостаточно. Нет, существует один только способ, — к нему-то и прибегают в подобных случаях, — это прекратить доступ воздуха в трюм и предоставить огню самому потухнуть за недостатком кислорода.

— Но пожар все же усиливается?

— Да, и это доказывает, что воздух откуда-то проникает в трюм. Однако, несмотря на все поиски, мы нигде не обнаружили ни одной щели.

— А бывало, что корабли, попавшие в такое положение, все же спасались?

— Ну, конечно, господин Казаллон. Иногда корабли прибывали в Ливерпуль или Гавр с грузом хлопка, наполовину уничтоженным огнем. Но в таких случаях пожар удавалось затушить в пути или по крайней мере не дать ему разгореться. Я знаю не одного капитана, входившего в порт с горящей под ногами палубой. Там не медля приступали к выгрузке, стараясь одновременно спасти и судно, и нетронутую часть груза. У нас — другое дело. Я ясно чувствую, что пожар не только не прекращается, а усиливается с каждым днем! Безусловно, где-то есть отверстие, которое мы никак не можем найти, и наружный воздух, проходя в трюм, только раздувает огонь!

— Не лучше ли повернуть назад и направиться в ближайшую гавань?

— Пожалуй, — отвечает Роберт Кертис. — Как раз об этом лейтенант, боцман и я хотим поговорить сегодня с капитаном. Признаюсь вам, господин Казаллон, что я уже изменил курс на свой страх и риск, и мы идем теперь с попутным ветром на юго-запад, то есть к берегу.

— Пассажиры не знают о грозящей опасности?

— Нет, и я прошу вас держать в тайне то, что я вам сейчас сказал. Испуг женщин и трусов лишь осложнит наше положение. Вот почему матросы получили приказ молчать.

Я понимаю, насколько вески доводы помощника капитана, и обещаю ему не проронить ни слова.

Х

— *Двадцатое — двадцать первое октября.* — А «Ченслер» между тем продолжает плавание. На нем поднято столько парусов, сколько может выдержать рангоут. Вре-

менами брамстеньги гнутся и, кажется, вот-вот сломаются. Но Роберт Кертис начеку. Он боится всецело положиться на рулевого и стоит рядом с ним у штурвала, умело маневрируя, чтобы ослабить действие ветра, когда тот грозит судну бедой. В надежных руках своего кормчего «Ченслер» идет вперед, ни на минуту не теряя скорости.

Весь день 20 октября пассажиры провели на юте.

Они, конечно, заметили ненормальное повышение температуры в кают-компании, но, не подозревая истины, ничуть не тревожатся. К тому же ноги у них хорошо обуты и не ощущают, как нагрелись доски палубы, хотя ее и поливают почти непрерывно. Шланги не остаются в бездействии, и это могло бы вызвать хоть недоумение, но нет, в большинстве своем пассажиры растянулись на скамьях и, убаюканные легкой качкой, наслаждаются полным покоем.

Один только Летурнер, по-видимому, удивлен чрезмерной чистоплотностью, необычной на торговых судах. Он заговаривает со мной по этому поводу, но я отвечаю ему уклончиво. Правда, этот француз — человек энергичный, волевой, и ему можно довериться, но я обещал Роберту Кертису молчать и молчу.

Между тем сердце мое сжимается, когда я думаю о возможных последствиях пожара. Нас на борту двадцать восемь человек, быть может — двадцать восемь смертников, под ногами у которых огонь скоро не оставит ни одной целой доски!

Сегодня состоялось совещание капитана, его помощника, лейтенанта и боцмана, совещание, от которого зависит спасение «Ченслера», его пассажиров и всего экипажа.

Роберт Кертис сообщил мне о принятом решении. Как легко было предвидеть, капитан Хантли совершенно потерял голову. У него не осталось ни выдержки, ни ре-

шимости, ни энергии, и он негласно передал командование Роберту Кертису. Огонь распространяется, это бесспорно. В помещении, отведенном для матросов в носовой части «Ченслера», уже невозможно оставаться. Очевидно, потушить пожар нельзя, и он рано или поздно вырвется наружу.

Что же делать в таком случае? Остается одно: добраться до ближайшей земли. Такой землей, согласно произведенным вычислениям, оказались Малые Антильские острова, и есть надежда быстро туда добраться благодаря постоянному северо-восточному ветру.

Вот какое решение было принято, и помощнику капитана остается только придерживаться того курса, которым корабль идет уже целые сутки. Пассажиры, не умеющие ориентироваться среди беспредельной пустыни океана и плохо разбирающиеся в показаниях компаса, не заметили, что «Ченслер» переменял курс.

А на самом деле, подняв все паруса вплоть до лиселей и бомбрамселей, он спешит к Антильским островам, отстоящим от него более чем на шестьсот миль.

Между прочим, на вопрос Летурнера об изменении курса Роберт Кертис ответил, что он не в силах бороться с ветром и ведет судно на запад, чтобы воспользоваться там благоприятными течениями.

Это было единственное замечание, вызванное тем, что «Ченслер» изменил путь.

Следующий день, 21 октября, не принес никаких перемен. Пассажиры считают, что плавание совершается в обычных условиях и жизнь на корабле течет по-прежнему.

Распространение пожара в трюме не особенно заметно снаружи, и это хороший знак. Все отверстия так плотно заделаны, что не видно ни малейшего дымка, свидетельствующего о пожаре. Может быть, удастся локализовать огонь, может быть, за недостатком воздуха он

затухнет или будет спокойно тлеть, а не разгорится, не охватит всего груза. Вот на что надеется Роберт Кертис и из предосторожности велит тщательно законопатить отверстия, через которые в трюм опущены шланги, боясь, как бы вместе с ними туда не проникло немного воздуха.

Да поможет нам бог, так как, по правде сказать, сами мы совершенно бессильны.

День прошел без происшествий, если не считать случайно подслушанного мною разговора, из которого явствует, что наше положение, и так очень серьезное, может стать катастрофическим.

Судите сами.

Я сидел на юте, а поблизости тихо беседовали два пассажира, не предполагая, что кто-нибудь их услышит. То были инженер Фолстен и торговец Руби, которые часто разговаривают между собой.

Мое внимание сначала привлекли гневные жесты инженера, который, казалось, в чем-то упрекал своего собеседника. Я невольно прислушался.

— Это идиотство, идиотство, — повторяет Фолстен. — Как можно быть таким неосторожным!

— Да полно, — беззаботно отвечает Руби, — ничего не случится!

— Напротив, может случиться большое несчастье, — продолжает инженер.

— Я уже не первый раз так поступаю.

— Но ведь достаточно одного толчка, чтобы вызвать взрыв!

— Бутыль прекрасно упакована, господин Фолстен, и я повторяю: бояться нечего.

— Но почему вы не предупредили капитана?

— Да просто потому, что он отказался бы взять бутылку.

Ветер на несколько мгновений стих, и я ничего боль-

ше не слышу, но ясно — инженер продолжает настаивать. Руби в ответ только пожимает плечами.

Вскоре до меня доносится продолжение разговора.

— Да, да! Надо предупредить капитана, — настаивает Фолстен, — необходимо бросить бутыль в море. У меня нет охоты взлететь на воздух.

Взлететь на воздух! Я срываюсь с места. Что хочет сказать инженер? На что он намекает? Ведь он не знает положения, не знает, что на «Ченслере» пожар!

Но одно страшное в нашем положении слово заставляет меня подскочить. Это слово, или, вернее, слова «пикрат калия» повторены несколько раз.

В один миг я очутился возле двух собеседников и, сам себе не отдавая отчета в том, что делаю, схватил Руби за шиворот.

— На борту есть пикрат калия?

— Да! — отвечает Фолстен. — Целая бутыль в тридцать фунтов.

— Где?

— В трюме, там же, где и хлопок!

ХТ

— *Двадцать первое октября. Продолжение.* — Не могу передать, что я почувствовал, услышав ответ Фолстена. То был не ужас, нет, а скорее что-то вроде чувства покорности судьбе! Мне кажется, что все это не столько осложнит положение, сколько может послужить развязкой драмы! И вот я совершенно спокойно иду к Роберту Кертису на бак.

Узнав, что бутыль, содержащая тридцать фунтов пикрата калия, иначе говоря, количество, достаточное, чтобы взорвать целую гору, находится в глубине трюма, в самом очаге пожара, и что «Ченслер» с минуты на мину-

ту может взорваться, Роберт Кертис даже глазом не моргнул, только на лбу у него залегли складки да зрачки расширились.

— Так! — говорит он мне. — Ни слова об этом... Где этот Руби?

— На юте.

— Идемте со мной, господин Казаллон!

Мы отправляемся на ют, где продолжают пререкаться инженер и торговец.

Роберт Кертис подходит прямо к ним.

— Это вы сделали? — спрашивает он Руби.

— Ну да, я, — спокойно отвечает Руби, который думает, что виноват разве только в провозе запрещенного груза.

Мне показалось на одно мгновение, что Роберт Кертис сейчас задушит злосчастного пассажира, не понимающего всей опасности подобного безрассудства. Но помощник капитана сдерживается, и я замечаю, как он закладывает руки за спину, чтобы не поддаться соблазну и не схватить Руби за горло.

Затем начинает спокойно допрашивать торговца. Тот подтверждает мои слова. Среди его товаров находится бутылка, содержащая приблизительно тридцать фунтов взрывчатого вещества.

Руби поступил в данном случае с неосторожностью, присущей, надо признаться, англосаксам, и погрузил взрывчатую смесь в трюм корабля с такой же беспечностью, с какой француз поставил бы туда обыкновенную бутылку вина. И если он не сказал капитану о содержимом бутылки, то лишь потому, что, как ему было хорошо известно, тот отказался бы принять его на борт своего корабля.

— Все это дело выеденного яйца не стоит, — замечает

он, пожимая плечами, — если же бутылка вам мешает, прикажите выбросить ее в море! Мой груз застрахован!

При этом заявлении я уже не могу больше сдерживаться, так как не обладаю хладнокровием Роберта Кертиса.

Вне себя от гнева, я подбегаю к Руби и, прежде чем помощнику капитана удастся меня остановить, кричу:

— Негодяй, разве вы не знаете, что на борту пожар?

Я тут же пожалел об этих словах, но было слишком поздно! Они произвели на Руби потрясающее впечатление. Несчастного охватил панический страх. От ужаса он застыл на месте, волосы стали дыбом, глаза вылезли из орбит, дыхание стало прерывистым, как у астматика, язык онемел. Внезапно пальцы его задвигались, он оглядел палубу «Ченслера», которая с минуты на минуту может взлететь на воздух, и, размахивая руками, соскочил с юта, упал, поднялся и начал бегать по кораблю. Тут к нему вернулся дар речи, и с его губ сорвались зловещие слова:

— Пожар, пожар на борту!

Услышав этот крик, на палубу сбегаются все матросы, видимо полагая, что огонь пробился наружу и настала минута спасаться на шлюпках. Появляются также пассажиры, мистер Кир с женой, мисс Херби, оба Летурнера. Роберт Кертис хочет заставить Руби замолчать, но тот от страха потерял рассудок.

Суматоха царит неопишуемая. Миссис Кир падает в обморок. Муж не обращает на нее никакого внимания, предоставляя мисс Херби ухаживать за ней. Матросы уже схватили тали, чтобы снять шлюпку и спустить ее на воду.

Я сообщаю Летурнерам то, чего они не знают, а именно, что груз объят пламенем. Взволнованный отец думает только об Андре и прижимает его к себе, словно стараясь защитить. Юноша сохраняет полное хладнокро-

вие и старается успокоить отца, повторяя, что непосредственной опасности еще нет.

Между тем Роберту Кертису удается с помощью лейтенанта остановить матросов. Он заверяет их, что пожар не усилился, а пассажир Руби потерял голову и сам не знает, что говорит. Он убеждает их не поступать опрометчиво, так как все успеют покинуть корабль, когда это будет необходимо...

Матросы останавливаются, услышав голос помощника капитана, которого любят и уважают. Он добивается от них того, чего капитан Хантли не мог бы добиться, и шлюпка остается на месте.

Большое счастье, что Руби не заикнулся о пикрате калия, находящемся в трюме. Если бы матросы узнали правду, если бы поняли, что «Ченслер» стал вулканом, готовым взорваться у них под ногами, они вышли бы из повиновения и, несмотря на все уговоры, непременно сбежали бы с корабля.

Помощник капитана, инженер Фолстен и я — одни только знаем, как ужасны могут быть последствия пожара, и это должно быть известно только нам.

Едва только порядок восстановлен, мы с Робертом Кертисом отправляемся к Фолстену на ют. Инженер оставался там среди общей паники и, скрестив на груди руки, обдумывал, вероятно, какую-нибудь проблему по механике. Мы просим его не говорить никому ни слова о новом несчастье, вызванном неосторожностью Руби.

Фолстен обещает хранить молчание. Что же до капитана Хантли, которому еще не известен весь ужас нашего положения, то Роберт Кертис сам берется поставить его в известность.

Но прежде всего надо принять меры в отношении Руби, ибо несчастный совершенно лишился рассудка. Он

не сознает, что делает, и продолжает бегать по палубе с криками: «Пожар! Пожар!»

Роберт Кертис приказывает матросам схватить пассажира. Руби удается связать, заткнуть ему рот и перенести в каюту, где он будет находиться под постоянным присмотром.

Роковое слово так и не сорвалось с его губ!

XII

— *Двадцать второе — двадцать третье октября.* — Роберт Кертис все сообщил капитану Хантли; формально он все еще является командиром корабля, от которого нельзя скрывать создавшееся положение.

На это сообщение капитан не ответил ни слова. Проведя рукой по лбу, как человек, который хочет отогнать от себя докучливую мысль, он преспокойно вошел в свою каюту, не сделав никакого распоряжения.

Роберт Кертис, лейтенант, Фолстен и я держим совет, и меня крайне поражает хладнокровие, с которым мы относимся к постигшей нас беде.

Мы обсуждаем все шансы на спасение, и Роберт Кертис говорит под конец:

— Пожар остановить невозможно, жара в носовой части стала невыносимой. Наступит момент, и, вероятно, очень скоро, когда огонь прорвется, наконец, сквозь палубу. Если волнение на море позволит нам воспользоваться шлюпками, то мы еще до этого покинем «Ченслер». Если же бежать с корабля не удастся, мы будем бороться с огнем до последней возможности. Кто знает, не легче ли будет затушить пожар, когда он вырвется наружу? Возможно, что мы скорее одолеем явного врага, чем тайного.

— Я вполне согласен с вами, — спокойно отвечает инженер.

— И я тоже, — говорю я. — Но, господин Кертис, учитываете ли вы, что в глубине трюма находятся тридцать фунтов взрывчатого вещества?

— Нет, господин Казаллон, — это пустяки, и они не в счет! Зачем мне зря беспокоиться? Могу ли я вынуть из горящего груза бутылку с взрывчатым веществом, да еще спустившись в трюм, куда нельзя открыть доступ воздуха. Нет! Об этом и помышлять нечего. Не взорвется ли пикрат калия раньше, чем я закончу эту фразу? Вполне возможно! Огонь либо доберется до него, либо не доберется. Следовательно, то обстоятельство, о котором вы говорите, для меня не существует. Избавить всех нас от ужасного конца — дело бога, а не мое.

Роберт Кертис говорит все это спокойно, серьезно, мы же молча опускаем головы. При таком бурном море спастись бегством нельзя, — значит, надо забыть об этом.

«Взрыв не обязателен, но возможен», — сказал бы формалист.

Такое замечание с прекраснейшим в мире хладнокровием сделал инженер.

— У меня к вам есть вопрос, господин Фолстен, — говорю я тогда. — Может ли пикрат калия воспламениться без предварительного толчка?

— Безусловно, — отвечает инженер. — В обычных условиях пикрат калия воспламеняется так же, как порох. Ergo...¹

Да, Фолстен сказал «Ergo». Похоже, право, что он читает лекцию по химии.

Мы поднимаемся на палубу. Выходя из кают-компании, Роберт Кертис сжимает мне руку.

— Господин Казаллон, — говорит он, не пытаясь скрыть свое волнение, — «Ченслер» — это корабль, кото-

¹ Следовательно (лат.).

рый я так люблю... Видеть, как его пожирает огонь, и быть бессильным, совершенно бессильным!..

— Господин Кертис, ваше волнение...

— Сударь, простите меня, в эту минуту я потерял власть над собой! Вы один видели, как я страдаю. Но этого больше не будет, — добавляет он, стараясь овладеть собой.

— Значит, положение безнадежно?

— Безнадежно, — бесстрастно повторяет Роберт Кертис. — Мы привязаны к mine, фитиль которой зажжен! Остается узнать, долго ли он будет гореть.

Сказав это, Роберт Кертис ушел.

Во всяком случае, ни матросы, ни пассажиры не знают, насколько опасно наше положение.

С тех пор как стало известно о пожаре, мистер Кир занялся отбором наиболее ценных вещей и, конечно, позабыл о жене. Заявив помощнику капитана, что необходимо затушить огонь, он возложил на него ответственность за все последствия пожара, удалился в свою каюту в кормовой части судна и больше не показывался. Миссис Кир все время стонет, и, несмотря на свои чудачества, несчастная женщина внушает жалость. Мисс Херби считает себя более чем когда-либо обязанной ухаживать за своей госпожой и проявляет исключительную самоотверженность. Я не могу не восхищаться этой молодой девушкой, для которой долг — это все.

На следующий день, 23 октября, капитан Хантли пригласил своего помощника к себе в каюту, где между ними произошел следующий разговор, который мне и передал Роберт Кертис.

— Господин Кертис, — говорит капитан, блуждающий взгляд которого свидетельствует о помрачении рассудка, — ведь я моряк, не правда ли?

— Да, сударь!

— Так вот, представьте себе, что я позабыл свое дело... Не понимаю, что со мной... но я забываю... не знаю... Разве мы не взяли курс на северо-восток по выходе из Чарлстона?

— Нет, сударь, — отвечает Роберт Кертис, — мы все время шли на юго-восток, согласно вашему приказу.

— Однако же мы везем груз в Ливерпуль?

— Конечно.

— А как... как называется наш корабль, господин Кертис?

— «Ченслер».

— Ах, да! «Ченслер»... Где он сейчас находится?

— Несколько южнее тропика Рака.

— Так вот, сударь, я не берусь вести его на север... Нет! Не могу... Не хочу выходить из каюты... Вид моря мне противен...

— Надеюсь, сударь, что заботливый уход...

— Да... да! Увидим... позже. А сейчас я дам вам приказ, последний, который вы от меня получите.

— Я вас слушаю.

— Начиная с этой минуты, сударь, я — ничто на борту корабля и вы принимаете его командование... Обстоятельства сильнее меня, не могу больше бороться... Что-то плохо соображаю, и мне очень не по себе, господин Кертис, — добавляет Сайлас Хантли, сжимая лоб обеими руками.

Помощник капитана внимательно вглядывается в того, кто до сих пор командовал кораблем, и ограничивается ответом:

— Хорошо, сударь!

Потом, поднявшись на палубу, он передает мне этот разговор.

— Если этот человек окончательно и не сошел с ума, — говорю я, — то, во всяком случае, он душевно-

больной. Хорошо, что капитан добровольно отказался от командования.

— Я замещаю его в очень тяжелых условиях, — заявляет Роберт Кертис. — Ну что же, я исполню свой долг.

Сказав это, Роберт Кертис подзывает матроса и приказывает вызвать боцмана, который тотчас же является.

— Боцман, — говорит ему Роберт Кертис, — соберите экипаж у грот-мачты.

Через несколько минут все матросы «Ченслера» уже толпятся в назначенном месте.

Роберт Кертис становится среди них.

— Ребята, — говорит он спокойно, — в этом тяжелом для всех нас положении и по причинам, о которых я не хочу говорить, Сайлас Хантли сложил с себя обязанности капитана. С сегодняшнего дня на борту команду я.

Так Роберт Кертис стал капитаном «Ченслера», и это назначение может лишь послужить к общему благу. Теперь во главе экипажа стоит человек решительный и надежный, готовый на все ради нашего спасения. Летуэрны, Фолстен и я тотчас же поздравляем Роберта Кертиса, к нам присоединяются лейтенант и боцман.

Корабль продолжает идти на юго-запад, и Роберт Кертис, велев поднять все паруса, стремится поскорее добраться до ближайшего из Малых Антильских островов.

XIII

— С двадцать четвертого по двадцать девятое октября. — Все эти пять дней море очень неспокойно. И хотя «Ченслер» идет с попутным ветром и волной, его так и подбрасывает. Находясь на этом горящем брандере, мы не имеем ни минуты покоя и завистливым взглядом созерцаем окружающую нас воду, которая притягивает, завораживает.

— А почему бы не прорубить отверстие в палубе? — спрашиваю я у Роберта Кертиса. — Пусть вода зальет трюм. Велика ли беда, если корабль наполнится водой? Ведь, потушив пожар, можно будет насосами откачать воду!

— Я уже говорил вам и повторяю, господин Казаллон, — отвечает Роберт Кертис, — что едва только воздух проникнет в трюм, как пожар мгновенно распространится и пламя охватит весь корабль от киля до клотика! Мы бессильны что-либо сделать. Бывают обстоятельства, когда надо иметь мужество ждать.

— Да, герметически заделать все щели — вот единственное средство борьбы с пожаром. Этим-то как раз и занимаются матросы.

Между тем пожар все больше распространяется, и, быть может, быстрее, чем мы предполагаем. Стало так жарко, что пассажиры вынуждены искать убежище на палубе и в двух кормовых каютах с большими иллюминаторами; только там и можно еще дышать. Миссис Кир не покидает одну из них, а другую Роберт Кертис предоставил торговцу Руби. Я несколько раз навещал этого несчастного, который совершенно потерял рассудок, и его приходится держать связанным, иначе он разнесет в щепки дверь каюты. Странное дело! В своем безумии он не забыл о пожаре и жалобно стонет, точно в силу какого-то непонятного физиологического явления ощущает настоящие ожоги.

Я не раз заходил также к бывшему капитану. Он вполне спокоен и здраво рассуждает обо всем, кроме мореплавания. Касаясь этого предмета, Сайлас Хантли становится невменяемым. Я предложил больному поухаживать за ним, но он отказался. Из своей каюты он не выходит.

Сегодня помещение экипажа полно едким, удушливым дымом, который проникает сквозь перегородку. Яс-

но, что пожар приближается с этой стороны, и, прислушавшись, можно даже расслышать глухое шипение. Но ведь для того, чтобы огонь разгорелся, надо много кислорода. Где же отверстие, которое осталось незамеченным во время наших поисков? Страшная катастрофа близится! Быть может, это вопрос нескольких дней, нескольких часов. А на море, к несчастью, такое волнение, что нечего и думать о том, чтобы спустить шлюпки.

По приказу Роберта Кертиса перегородку покрыли брезентом, который беспрестанно поливают водой. Несмотря на это, дым по-прежнему распространяется вместе с влажным горячим воздухом и наполняет носовую часть корабля, где становится невозможно дышать.

Хорошо, что грот-мачта и фок-мачта железные. Не будь этого, они загорелись бы у основания, упали бы на палубу, и мы погибли бы.

Роберт Кертис велел поставить все паруса, какие у нас есть, и подгоняемый усилившимся северо-восточным ветром «Ченслер» быстро идет вперед.

Вот уже две недели, как начался пожар, и он разгорается, так как мы бессильны бороться с ним. Управлять судном становится все труднее. Ют не приходится над трюмом, и там еще можно ходить, но зато на палубу невозможно ступить, вплоть до бака, даже в обуви на толстой подошве. Вода больше не охлаждает досок, которые лижет снизу огонь, и они коробятся посередине. Пазы расходятся. Смола плавится, закипает вокруг суков и растекается капризными узорами, следуя крену судна, которое из стороны в сторону швыряют волны.

Вдруг в довершение несчастья ветер резко меняет направление и начинает дуть с такой бешеной силой, что напоминает ураганы, какие бывают иногда в этих местах. Он лишь отдаляет нас от Антильских островов, к которым мы стремимся. Роберт Кертис пытается сопротив-

ляться буре и приводит «Ченслер» к ветру, но сила ветра так велика, что нам остается спастись бегством, чтобы избавиться от свирепых валов, особенно страшных, когда они обрушиваются на кормовую часть судна.

Двадцать девятого октября ярость шторма доходит до предела. Волны неистовствуют, обдавая брызгами весь корабль. Спустить шлюпку в море невозможно — она мгновенно затонула бы. Одни из нас спасаются на юте, другие на баке. Смотрим друг на друга, боясь произнести хоть слово.

Мы даже не думаем о бутылки с пикратом калия. Мы забыли об этих «пустяках», как сказал Роберт Кертис. Не пожелать ли, право, чтобы корабль взорвался, — по крайней мере наступит развязка. Говоря об этом, я хочу как можно точнее выразить наше общее чувство. Человек, которому долго угрожает опасность, начинает под конец призывать ее, ибо ожидание неизбежной катастрофы ужаснее самой катастрофы.

Капитан Кертис своевременно позаботился о том, чтобы извлечь продовольствие из камбуза, куда сейчас уже нельзя попасть. От жары и так уже испортилось много провизии, но несколько бочонков с солониной и сухарями, бочонок водки, бочки с водой все-таки вытащили на палубу. Рядом положили несколько одеял, инструменты, компас, запасные паруса, чтобы при первой возможности немедленно покинуть корабль.

В восемь часов вечера, несмотря на вой урагана, слышится громкий треск огня. Доски на палубе поднимаются под напором горячего воздуха, и из-под них вырываются черные клубы дыма, словно пар из-под крышки парового котла.

Матросы бросаются к Роберту Кертису, ожидая его приказаний. У всех одна мысль: бежать с этого вулкана, который вот-вот начнет действовать у нас под ногами!

Роберт Кертис окидывает взглядом океан с его огромными бушующими волнами. К шлюпке, укрепленной посреди палубы, уже нельзя приблизиться, но еще можно использовать лодку, подвешенную у правого борта, и вельбот, висящий на корме корабля.

Матросы бегут к лодке.

— Назад! — кричит Роберт Кертис. — Назад! Иначе мы лишимся последнего шанса на спасение!

Несколько обезумевших матросов во главе с Оуэном все же хотят спустить лодку. Роберт Кертис бросается на ют и, схватив топор, предупреждает:

— Проломлю голову первому, кто дотронется до талей!

Матросы отступают. Одни лезут на ванты. Другие взбираются на марсы.

В одиннадцать часов утра в трюме раздаются громкие взрывы. Это лопаются переборки, открывая путь раскаленному воздуху и дыму. Тотчас же потоки пара вырываются из помещения экипажа, и длинный язык пламени лижет фок-мачту.

Раздаются крики. Миссис Кир, поддерживаемая мисс Херби, торопливо покидает свою каюту, которой угрожает огонь. Затем появляется Сайлас Хантли с черным от дыма лицом и, поклонившись Роберту Кертису, спокойно направляется на корму, поднимается по выбленкам и усаживается на крьюйс-марсе.

Увидев Сайласа Хантли, я вспоминаю о другом человеке, оставшемся запертым под ютом, в каюте, к которой, возможно, уже подобрался огонь.

Нельзя же дать погибнуть несчастному Руби! Я спешу к трапу, но сумасшедший уже разорвал свои путы и появляется на палубе с опаленными волосами, в горячей одежде. Без единого крика шагает он по тлеющим доскам, не чувствуя боли от ожогов. Он попадает в клубы

черного дыма, но не задыхается. Точно саламандра в образе человека, Руби идет сквозь огонь!

Слышится новый грохот, — это шлюпка разлетелась в щепы; крышка среднего люка вылетает, разодрав брезент, и столб долго сдерживаемого огня взвизгивает до середины мачты.

В этот момент сумасшедший испускает дикий вопль, и с его губ срываются слова:

— Пикрат калия! Пикрат калия! Мы все взорвемся... взорвемся!.. взорвемся!..

И прежде чем кто-либо мог его остановить, он бросается в огненную пучину трюма.

XIV

— *Ночь двадцать девятого октября.* — Эта сцена потрясла нас, и, несмотря на наше отчаянное положение, мы почувствовали весь ее ужас.

Руби не стало, но его последние слова, возможно, будут иметь самые печальные последствия. Матросы слышали, как он кричал: «Пикрат калия». Они поняли, что корабль может с минуты на минуту взлететь на воздух и что им угрожает не только пожар, но и чудовищной силы взрыв.

Несколько матросов, потеряв всякое самообладание, хотят бежать немедленно, бежать любой ценой...

— Лодка! Лодка! — кричат они.

Безумцы, они не видят, не хотят видеть бушующего моря, не понимают, что ни одна лодка не справится с волнами, вздымающимися на головокружительную высоту. Ничто не может их удержать, они уже не подчиняются капитану. Роберт Кертис бросается в толпу матросов — напрасно! Оуэн подстрекает товарищей, найтовы отданы, и лодку перекидывают за борт. Следуя движению кораб-

ля, она с минуту раскачивается в воздухе, но цепляется за поручень. Матросы не без труда высвобождают ее. Лодка уже почти касается воды, как вдруг чудовищная волна подхватывает ее, относит в сторону и затем с неодолимой силой швыряет о корпус «Ченслера».

Шлюпка и лодка уничтожены, у нас остался только хрупкий и узкий вельбот.

Матросы остолбенели, пораженные ужасом. Слышен лишь свист ветра в снастях да треск и шипение огня. Пожар свирепствует в глубине судна, и потоки почерневшего от сажи пара, вырываясь из люка, столбом поднимаются к небу. С кормы не видно, что делается на носу корабля, так как огненная завеса разделяет «Ченслер» на две части.

Пассажиры и два-три человека из экипажа укрылись в задней части юта. Миссис Кир лежит без сознания на клетках для кур, а мисс Херби сидит подле нее. Господин Летурнер прижимает к груди сына. Нервное возбуждение овладевает мной, и я не в силах с ним справиться. Инженер Фолстен хладнокровно посматривает на часы и засекает время в блокноте.

Что делается на носу, где, по всей вероятности, находятся лейтенант, боцман и остальной экипаж, нам не видно. Всякое сообщение между двумя половинами корабля прервано, и никто не может пробиться сквозь завесу огня, вырывающегося из центрального люка.

Я подхожу к Роберту Кертису.

— Надежда потеряна? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает он. — Теперь, когда люк открыт, мы обрушим туда потоки воды, и, может быть, нам удастся затушить пожар!

— Но как же работать шлангами на горящей палубе, господин Кертис? Как давать приказания сквозь пламя?

Роберт Кертис не отвечает.

— Все погибло? — снова спрашиваю я.

— Нет, нет! — повторяет Роберт Кертис. — Я не отчаюсь до тех пор, пока от «Ченслера» останется хоть одна доска.

Пожар между тем все усиливается. Вода в море приобретает красноватый оттенок. Заревом полыхают облака у нас над головой. Длинные языки пламени вырываются из люков; и нам приходится искать спасения на гакаборте. Миссис Кир кладут в подвешенный вельбот, мисс Херби занимает место рядом с ней.

Какая страшная ночь! Чье перо сумеет описать весь этот ужас!

Разыгравшийся не на шутку ураган раздувает точно огромными мехами этот пылающий костер, и «Ченслер» несется во мраке, похожий на гигантский брандер. Нет иной альтернативы: либо броситься в море, либо погибнуть в пламени!

Так, значит, пикрат калия не взорвется? Огненная бездна не разверзнется под нашими ногами! Руби солгал! В трюме нет взрывчатого вещества!

В половине двенадцатого, когда море разбушевалось не на шутку, среди рева разъяренных стихий слышится характерный треск, которого так боятся моряки, и на носу корабля раздается крик:

— Буруны, буруны с правого борта!

Роберт Кертис вскакивает на борт, окидывает быстрым взглядом белые гребни волн и, повернувшись к рулевому, повелительно кричит:

— Лево на борт!

Слишком поздно чудовищная волна подхватывает «Ченслер», и мы ощущаем глухой толчок. Корабль ударяется кормовой частью, киль его упирается во что-то твердое, и бизань-мачта, переломившись у основания, падает в море. «Ченслер» недвижим.

— *Продолжение ночи двадцать девятого октября.* — Полночь еще не наступила. Луны нет, кругом кромешная тьма. Мы не знаем, где наш корабль наскочил на риф. Быть может, подгоняемый штормом, он достиг американского берега и с рассветом мы увидим землю?

Я сказал, что, ударившись несколько раз кормой, «Ченслер» остановился. Вскоре на носу слышится грохот цепей, и Роберт Кертис понимает, что якоря отданы.

— Отлично! — говорит он. — Лейтенант с боцманом отдали оба якоря. Надо надеяться, корабль не сорвется.

Я вижу, что Роберт Кертис идет по направлению к границе, переступить которую не позволяет огонь. Он добирается до русленей правого борта, куда как раз кренится корабль, и несколько минут стоит там, несмотря на окатывающие его огромные волны. Он прислушивается. Можно подумать, что среди шума бури он различает какой-то особый звук.

Наконец Роберт Кертис возвращается на ют.

— Вода вливается в трюм, — говорит он. — Да поможет нам небо! Возможно, она победит огонь!

— Ну, а потом? — спрашиваю я.

— «Потом» — это будущее, господин Казаллон, а оно в руках божьих! Будем думать только о настоящем! — отвечает Роберт Кертис.

Первое, что надо сделать, — это испытать насосы, но их нельзя достать среди пламени. Может быть, корабль получил пробоину и теперь вода заливают огонь. Мне кажется, пожар утихает. Слышится глухое шипение, говорящее о борьбе двух стихий. Без сомнения, трюм наполняется и нижний ряд тюков хлопка уже затоплен. Ну что ж! Пусть вода затушит пожар, а потом мы справимся с ней. Надо надеяться, она окажется менее страшна, чем

огонь! Вода — это стихия моряка, и он привык ее побеждать!

До утра остается три часа, ночь тянется бесконечно, и мы ждем рассвета, терзаясь беспокойством. Где мы? Неизвестно. Несомненно одно: буря мало-помалу стихает, ярость волн уменьшается. По-видимому, «Ченслер» налетел на подводную скалу через час после наибольшей высоты прилива, но это трудно определить точно, без предварительных расчетов и наблюдений. Если это так, то есть надежда, что, затушив пожар, мы без труда снимемся с рифа в следующий же прилив.

Около половины пятого утра огненная завеса, отделяющая нос от кормы корабля, понемногу рассеивается, и мы замечаем, наконец, темную группу людей. Это экипаж, укрывавшийся на баке. Скоро сообщение восстанавливается между обеими частями судна, и лейтенант с боцманом перебираются на ют по поручням, так как на палубу невозможно ступить.

Капитан Кертис, лейтенант и боцман совещаются в моем присутствии и приходят к заключению, что не следует ничего предпринимать до утра. Если земля недалеко и волнение немного утихнет, мы достигнем берега на вельботе или на плоту. Если же не видно земли и «Ченслер» потерпел аварию далеко в море, надо постараться снять его с рифа, наскоро починить и добраться до ближайшего порта.

— Трудно угадать, где мы находимся, — говорит Роберт Кертис, мнение которого разделяют лейтенант и боцман, — северо-западный ветер, очевидно, отнес «Ченслер» довольно далеко к югу. Я давно уже не определял высоту солнца, но, насколько я знаю, в этой части Атлантики нет никаких рифов. Возможно, поэтому мы потерпели крушение где-нибудь у берегов Южной Америки.

— Но мы по-прежнему находимся под угрозой взры-

ва, — замечаю я. — Не лучше ли покинуть «Ченслер» и укрыться...

— На этом рифе? — возражает Роберт Кертис. — Но что мы знаем о нем? Не покрывается ли он водой во время прилива? Разве можно его осмотреть в такой темноте? Подождем до утра, там будет видно.

Я немедленно передаю слова Роберта Кертиса остальным пассажирам. В них нет ничего особенно ободряющего, но никто не хочет думать о новой опасности, грозящей кораблю, в том случае, если он, на наше несчастье, налетел на неведомый риф в нескольких стах милях от берега. Мы думаем только об одном: вода теперь работает на нас и успешно борется с пожаром, сводя на нет опасность взрыва.

В самом деле, из люка вместо яркого пламени повалил густой черный дым. Несколько огненных языков еще мелькают среди его темных клубов, но почти тотчас же гаснут. Треск огня сменяется свистом воды, испаряющейся из внутреннего очага пожара. Безусловно, море делает то, чего не могли сделать все наши шланги и ведра, и действительно, чтобы затушить пожар, вспыхнувший среди тысячи семисот тюков хлопка, требовалось по меньшей мере наводнение!

XVI

— *Тридцатое октября.* — Утро уже забрезжило, но туман ограничивает поле зрения. Земли не видно, и все же мы нетерпеливо всматриваемся в западную и южную часть океана.

Вода почти совсем спала. Корабль, который с полным грузом имеет около пятнадцати футов осадки, сидит теперь не глубже чем на шесть футов. Над поверхностью океана торчат там и сям вершушки подводных скал, на-

верно базальтовых, если судить по их окраске. Каким образом «Ченслер» оказался посреди этих рифов? Очевидно, он был подхвачен огромной волной, что я и почувствовал за несколько мгновений до аварии. Я изучаю расположение скал, окружающих корабль, и не могу себе представить, как нам удастся выбраться отсюда. «Ченслер» имеет большой дифферент на нос, что очень затрудняет передвижение по палубе; кроме того, с тех пор как вода убывает, он стал крениться на левый борт. Роберт Кертис опасался даже, как бы во время отлива корабль не опрокинулся, но крен больше не увеличивается, и в этом отношении бояться нечего.

В шесть часов утра чувствуются сильные толчки. Это бизань-мачта, унесенная волнами, снова приплыла и ударяется о бок «Ченслера». В то же время раздаются крики и слышится несколько раз повторенное имя Роберта Кертиса.

Посмотрев в ту сторону, откуда доносятся крики, мы видим в неясном свете зарождающегося дня человека, вцепившегося в крюйс-марс. Это чудом избежавший смерти Сайлас Хантли, которого увлекла за собой упавшая в море мачта.

Пренебрегая опасностью, Роберт Кертис бросается на помощь своему бывшему капитану и вытаскивает его из воды. Сайлас Хантли, не сказав ни слова, усаживается в самом отдаленном углу юта. Это уже не человек, а какая-то безвольная тень, с ним никто больше не считается.

Наконец, удается подвести бизань-мачту к «Ченслеру» и крепко привязать с подветренной стороны, чтобы она не угрожала больше пробить корпус судна, к тому же этот обломок нам еще, быть может, пригодится.

Теперь, когда достаточно рассвело, туман понемногу рассеивается. Море уже видно на расстоянии более трех миль в окружности, но нигде нет ничего похожего на бе-

рег. Гряда рифов с милю длиною тянется с юго-запада на северо-восток. На севере, не более чем в двухстах саженях от «Ченслера», выступает из воды островок неправильной формы. Это не что иное, как причудливое нагромождение скал, футов в пятьдесят высотой, и море, наверно, не покрывает их даже в самый сильный прилив. Мы сможем в случае необходимости добраться до этого острова по узкой отмели, обнажающейся при низкой воде.

Вдали море снова принимает темную окраску. Глубина там большая и гряда рифов кончается.

Огромное разочарование овладевает всеми. Действительно, можно опасаться, что за этими бурунами нет никакой земли.

Уже семь часов, — стало совсем светло, и туман исчез. Четко вырисовывается линия горизонта, но океан пустынен — кругом лишь вода и небо.

Роберт Кертис безмолвно, напряженно обзирает океан, взгляд его подолгу задерживается на западной части горизонта. Мы с господином Летурнером стоим рядом, ловим малейшее его движение и ясно читаем мысли, вихрем проносящиеся в голове капитана. Его удивление велико. Ведь он считал, что корабль находится вблизи земли, ибо со времени поворота у Бермудских островов мы неизменно шли на юг. А между тем никакой земли не видно.

Роберт Кертис покидает ют, пробирается по борту до грот-вант, поднимается по выбленкам и ловко влезает на брам-стенгю. Оттуда он несколько минут старательно осматривает бескрайнее водное пространство, потом, схватившись за один из бак-штагов, соскальзывает вниз и возвращается к нам.

Мы смотрим на него вопрошающим взглядом.

— Земли не видно! — холодно отвечает он на наш немой вопрос.

Подходит мистер Кир и спрашивает раздраженно:

— Где мы находимся, сударь?

— Не знаю, — отвечает Роберт Кертис.

— Вы должны это знать, — глупо заявляет торговец нефтью.

— Пусть так! Но я все же не знаю!

— Так имейте в виду, — продолжает мистер Кир, — что я не намерен вечно торчать на вашем корабле, сударь, и требую, чтобы вы продолжали путь!

Роберт Кертис лишь пожимает плечами.

Потом, обернувшись ко мне и Летурнеру, говорит:

— Если покажется солнце, я определю его высоту, тогда мы узнаем, в какое место Атлантического океана нас забросила буря.

И Роберт Кертис дает распоряжение выдать съестные припасы пассажирам и экипажу, в чем мы очень нуждаемся, так как истощены усталостью и голодом. Мы едим сухари с консервированным мясом. Затем капитан, не теряя ни минуты, начинает изыскивать средства, чтобы снять корабль с рифа.

Пожар значительно уменьшился, и огонь уже не вырывается наружу. Дым стал не такой густой, хотя он все еще черен, как сажа. Очевидно, в трюме «Ченслера» много воды, но в этом убедиться нельзя, ибо по палубе по-прежнему невозможно ходить.

Роберт Кертис приказывает поливать тлеющие доски, и через два часа матросы могут спуститься на палубу.

В первую очередь приступают к измерению воды в трюме. Этим делом занимается боцман. Оказывается, уровень ее достигает пяти футов, но капитан не дает приказа пустить в ход насосы, так как хочет, чтобы вода завершила свое дело. Сначала надо покончить с пожаром, потом с водой.

Не лучше ли, однако, немедленно покинуть корабль и

искать пристанища на скалистом островке? Но капитан не согласен с этим, так же как лейтенант и боцман. И они правы, ведь при сильном волнении нельзя будет оставаться на этих скалах, даже на самых высоких из них, ибо валы все с них сметут. Что касается взрыва, то опасность его тоже значительно уменьшилась. Вода, несомненно, наполнила ту часть трюма, в которой находятся товары Руби, а следовательно, и бутылку с пикратом калия. Итак, решено, что никто не покинет «Ченслер». Мы тут же устраиваем на юте нечто вроде лагеря, причем несколько уцелевших от пожара матрасов предоставлены двум женщинам. Матросы, которым удалось сберечь свои вещевые мешки, тащат их на бак. Здесь они и располагаются, так как их помещение непригодно для жилья.

Какое счастье, что повреждения в камбузе не очень велики и большую часть продуктов, а также бочки с водой, удалось спасти! Склад запасных парусов, расположенный на носу, тоже остался нетронутым.

Наконец-то наши испытания как будто подходят к концу! Хочется этому верить, тем более что с утра ветер значительно упал, и в открытом море стало немного спокойнее. Это очень хорошо, ибо волны могли бы в щепы разнести «Ченслер» о твердые базальтовые скалы.

Мы с Летурнерами долго беседовали об офицерах и матросах и об их поведении перед лицом опасности. Все они проявили мужество и решительность. Особенно отличились лейтенант Уолтер, боцман и плотник Даулас. Да, у нас на корабле есть славные люди и хорошие моряки, на которых можно положиться. О Роберте Кертисе не приходится и говорить. Сегодня, как и всегда, он полон энергии, всюду поспекает, ничто не застает его врасплох. Капитан воодушевляет матросов словом и делом, он — душа всего экипажа, который беспрекословно ему повинуется.

Между тем в семь часов утра вода начала прибывать. Сейчас одиннадцать часов, и все гребни рифов уже скрылись в волнах. Как и следовало ожидать, вместе с приливом стал повышаться уровень воды в трюме «Ченслера». Вскоре лот показывает девять футов, значит, затоплены новые ряды тюков хлопка, с чем нас можно только поздравить.

С тех пор как наступил прилив, большая часть скал, окружающих «Ченслер», исчезла под водой. Видны только очертания маленького круглого бассейна диаметром в двести пятьдесят — триста футов, в северном углу которого находится «Ченслер». Море здесь довольно спокойно, и волны не доходят до корабля. При неподвижности нашего судна это — большое счастье, так как иначе валы разбивались бы о него, как об утес.

Наконец, в половине двенадцатого весьма кстати показалось солнце, которое с десяти часов скрывалось за облаками. Капитан еще ранним утром успел вычислить часовой угол и теперь готовится определить меридиональную высоту, чтобы в полдень сделать точную обсервацию.

Затем он удаляется в свою каюту, вычисляет координаты корабля и, возвращаясь на ют, говорит нам:

— Мы находимся на восемнадцатом градусе пятой минуте северной широты и сорок пятом градусе пятьдесят третьей минуте западной долготы.

Капитан тут же разъясняет положение судна тем, кто мало знаком с долготами и широтами. Роберт Кертис прав, что ничего не хочет скрывать. Он за то, чтобы каждый из нас уяснил себе положение.

«Ченслер» потерпел аварию на $18^{\circ}5'$ северной широты и $45^{\circ}53'$ западной долготы, наскочив на риф, не обозначенный на карте. Спрашивается, как до сих пор могли не знать о существовании рифов в этой части Атлантиче-

ского океана? По-видимому, наш островок появился сравнительно недавно. Не вулканического ли он происхождения? Не знаю, как можно иначе объяснить его возникновение.

Как бы то ни было, а островок находится по крайней мере в восьмистах милях от Гвианы, то есть от ближайшей к нам земли, — вот что совершенно точно показывают вычисленные Робертом Кертисом координаты.

«Ченслер», таким образом, отклонился к югу вплоть до восемнадцатой параллели, сначала из-за безрассудного упрямства Сайласа Хантли, а потом по причине штормового северо-западного ветра, от которого он вынужден был спастись бегством. Значит, ему надо еще пройти более восьмисот миль, прежде чем он достигнет ближайшего берега.

Положение серьезное, но все, что нам сказал капитан, не слишком нас расстроило, во всяком случае в данный момент. Какие опасности могут нас испугать теперь, когда мы только что избежали угрозы пожара и взрыва? Совершенно забывается, что трюм «Ченслера» заливают водой, что земля далеко, что, выйдя снова в море, корабль может затонуть в пути... Мы еще находимся под впечатлением пережитых ужасов и, немного успокоившись, склонны верить в благополучный исход плавания.

Что сейчас предпримет Роберт Кертис? Очевидно, то, чего требует здравый смысл: надо окончательно потушить пожар, выбросить в море весь груз или часть его, не забыв о бутылки с пикратом калия, заделать течь и воспользоваться приливом, чтобы как можно скорее покинуть риф.

XVII

— *Тридцатое октября. Продолжение.* — Я беседовал с господином Летурнером о нашем положении. По-моему, если все сложится хорошо, мы недолго останемся сидеть

на рифе, но Летурнер, по-видимому, не разделяет моего оптимизма.

— А я, напротив, очень боюсь, — ответил он, — как бы нам не пришлось надолго задержаться на этих скалах!

— Но почему? Выбросить за борт несколько сотен тюков хлопка не так уж трудно и долго, — эту работу можно сделать за два-три дня.

— Разумеется, господин Казаллон, выбросить тюки — дело нехитрое. Но ведь проникнуть в трюм «Ченслера» нельзя, там нечем дышать, и, пожалуй, раньше как через несколько дней туда не попадешь, раз груз еще горит в середине. И сможем ли мы вообще продолжать плавание, даже когда потушим пожар? Нет! Надо еще заделать течь, очевидно порядочную, и заделать очень тщательно, чтобы не пойти ко дну после того, как мы чуть не погибли в огне? Нет, господин Казаллон, я не строю себе иллюзий и почел бы за счастье, если бы нам удалось покинуть этот риф через три недели. И дай-то бог, чтобы буря не разыгралась прежде, чем мы выйдем в море. Иначе «Ченслер» разобьется, как скорлупка, об этот риф, который станет нашей могилой!

В самом деле, такова наибольшая опасность, которая нам сейчас угрожает. Пожар мы потушим, пробоину, надо думать, заделаем, но ведь мы зависим от милости ветра. Пусть даже мы спасемся от бури, взобравшись на вершину скалы, но что станется с пассажирами и экипажем, если корабль разобьется о скалы?

— Доверяете ли вы Роберту Кертису, господин Летурнер? — спрашиваю я.

— Безусловно, и считаю милостью божьей, что наш прежний капитан передал ему командование судном. Я уверен, что Роберт Кертис сделает решительно все, чтобы найти выход из нашего трудного положения.

Когда спрашиваешь капитана, долго ли продлится

вынужденная стоянка «Ченслера», он неизменно отвечает, что ничего пока не может сказать, все зависит от обстоятельств, но он надеется, что погода не испортится. И действительно, барометр неуклонно поднимается, указывая на отсутствие атмосферических колебаний. А это верный признак продолжительного безветрия и счастливого предзнаменование для предстоящих нам работ.

Время еще не ушло, и все мы энергично принимаемся за дело.

Роберт Кертис хочет прежде всего окончательно потушить огонь, который еще тлеет над уровнем воды, залившей трюм.

О спасении груза не стоит и помышлять. Поэтому остается только одно: затушить огонь, залив его сверху водой. И вот снова прибегают к шлангам.

Матросы вполне справляются с работой без посторонней помощи. Пассажиров пока не привлекают, хоть все мы готовы предложить свои услуги, и ими не придется пренебрегать, когда вопрос станет о разгрузке корабля. В ожидании этого мы с Летурнером занимаемся беседой, чтением, а я, кроме того, посвящаю несколько часов своему дневнику. Инженер Фолстен, человек малообщительный, он либо погружен в цифры, либо чертит эюры машин с планом, разрезами и видом снизу. Дай-то бог, чтобы он изобрел какой-нибудь мощный механизм, который помог бы снять «Ченслер» с рифов! Что касается супругов Кир, то они держатся в стороне, не докучая нам своими бесконечными пререканиями; к несчастью, мисс Херби вынуждена оставаться с ними, и мы видим молодую девушку очень мало, а то и совсем не видим. Сайлас Хантли ни во что не вмешивается. Моряк в нем умер, а как человек он не живет, а прозябает. Буфетчик Хоббарт исполняет свои обязанности так, словно на корабле ничего не случилось и он идет обычным курсом.

Хоббарт — личность до приторности угодливая. Он очень скрытен, и у него бывают вечные раздоры с поваром Джинкстропом — грубым, уродливым и нахальным негром, который слишком много времени проводит с остальными матросами.

Итак, развлечений на борту очень мало. К счастью, мне пришла в голову мысль исследовать незнакомый риф, на который наткнулся «Ченслер». Прогулка не обещает быть ни долгой, ни интересной, но это единственная возможность хоть на несколько часов покинуть корабль и изучить островок, происхождение которого, несомненно, очень любопытно.

Кроме того, очень важно снять план рифа, не обозначенного на картах. Я думаю, что мы с Летурнерами вполне справимся с этой гидрографической задачей, предоставив Роберту Кертису дополнить ее точными координатами островка.

Мое предложение поддержано Летурнерами. Нам предоставляют вельбот, и, захватив с собой гирию и лотлинь, мы покидаем «Ченслер» 31 октября утром в сопровождении лишь одного матроса-гребца.

XVIII

— *С тридцать первого октября по пятое ноября.* — Прежде всего мы обошли вокруг островка, имеющего около четверти мили в длину.

Это маленькое «кругосветное путешествие» быстро закончено, и с лотом в руках мы устанавливаем, что берега островка почти отвесно обрываются у воды. Глубина здесь очень велика, и не подлежит сомнению, что островок — результат внезапного поднятия морского дна, вызванного действием плутонических сил.

Словом, происхождение островка, несомненно, вул-

каническое. Куда ни кинешь взгляд, всюду видны базальтовые глыбы, словно старательно уложенные рукою человека и своей правильной призматической формой напоминающие гигантские кристаллы.

Море вокруг так изумительно прозрачно, что легко различить основание этого любопытного надводного сооружения, тоже состоящее из сросшихся между собою базальтовых призм.

— Что за странный островок! — восклицает господин Летурнер. — И безусловно недавнего происхождения!

— Ты прав, отец, — подтверждает Андре. — Замечу только, что этот утес образовался так же, как островок Джулия у берегов Сицилии и группа островов Санторин в Эгейском море. Природа словно нарочно создала его для того, чтобы он послужил пристанищем «Ченслеру».

— По-видимому, здесь недавно произошло поднятие морского дна, — вмешиваюсь я в разговор, — ибо этот риф не обозначен даже на новейших картах. Не заметить же моряки его не могли, так как пути многих кораблей пересекают эту часть Атлантического океана. Давайте же получше исследуем островок и сообщим о нем мореплавателям.

— А не исчезнет ли он так же внезапно, как и появился? — замечает Андре Летурнер. — Вы же знаете, господин Казаллон, что острова вулканического происхождения весьма недолговечны. Едва наш остров нанесут на карту, как от него, быть может, не останется и следа.

— Неважно, сынок, — возражает господин Летурнер, — лучше указать людям на несуществующую опасность, чем позабыть о вполне реальной угрозе. Уверю тебя, моряки не вправе будут жаловаться, если не найдут больше рифа там, где мы его обозначим!

— Твоя правда, отец, — отвечает Андре, — ведь не исключена возможность, что островок просуществует

столько же, сколько и материки. Но если ему суждено исчезнуть, пусть это произойдет через несколько дней. Капитан Кертис успеет как раз исправить все повреждения, и вместе с тем ему не придется снимать корабль с рифа.

— Право, Андре, — шутливо восклицаю я, — вы собираетесь самовластно распоряжаться природой. Вы желаете, чтобы она воздвигала и уничтожала острова по вашему усмотрению, ради ваших удобств! Создав риф, чтобы помочь затушить пожар на «Ченслере», она по мановению вашей палочки должна опустить его на дно океана и таким образом освободить корабль.

— Ничего я не хочу, господин Казаллон, — отвечает, улыбаясь, молодой человек, — кроме одного — возблагодарить бога за его несомненную помощь. Ему угодно было забросить наш корабль на эту подводную скалу, и он же спустит его на воду, когда придет время.

— А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы помочь самим себе, не так ли, друзья?

— Да, господин Казаллон, — серьезно отвечает господин Летурнер, — ведь люди должны сами себе помогать. Однако Андре прав, доверяясь богу. Конечно, пускаясь в дальнее плавание, человек проявляет все те качества, которыми одарила его природа. Но среди безграничного океана, среди бушующих стихий он чувствует, насколько хрупко его суденышко и как сам он слаб и беспомощен! Поэтому я думаю, что у моряка должен быть такой девиз: «Уверенность в себе, вера в бога!»

— Вполне разделяю ваше мнение, сударь, — замечаю я, — по-моему, мало найдется моряков, для которых не существует бога!

Беседуя так, мы тщательно исследуем основание островка и все более убеждаемся в том, что он возник совсем недавно. В самом деле, на базальтовых скалах не

видно ни одной ракушки, ни единого пучка водорослей. Любитель естественной истории не стал бы затрачивать время на исследования этого нагромождения камней, где отсутствуют флора и фауна, где не найдешь ни моллюсков, ни водорослей. Ветер не занес еще сюда ни единого семечка, и морские птицы никогда не залетали сюда. Один только геолог мог бы обнаружить интересный для изучения материал, исследуя эти базальтовые глыбы, сохранившие еще следы своего вулканического происхождения.

Наш вельбот как раз возвращается к южному мысу островка, где потерпел аварию «Ченслер». Я предлагаю своим спутникам сойти на берег, и они охотно соглашались.

— Если островку суждено исчезнуть, — смеясь, говорит Андре, — пусть на него хоть раз ступит нога человека!

Лодка причаливает, и мы выходим на берег. Андре опережает нас: в этом месте скат довольно пологий, и молодой человек может идти без посторонней помощи.

Отец Летурнер остается позади, рядом со мной, и мы поднимаемся по очень удобному склону на самую большую скалу.

Через четверть часа мы уже наверху и все трое садимся отдохнуть на базальтовую призму — это самая высокая точка островка. Андре Летурнер достает из кармана записную книжку и начинает зарисовывать островок, который очень четко выделяется на зеленом фоне моря.

На небе ни облачка. Отлив только что обнажил последние рифы, образующие на юге узкий канал, по которому и прошел «Ченслер» перед тем, как наскочить на подводную скалу.

Форма островка довольно странная и очень напоминает окорок. Мы находимся как раз там, где этот окорок утолщается.

Едва только Андре зарисовал очертания островка, как его отец восклицает:

— Ведь ты нарисовал окорок, сынок!

— Да, отец, — отвечает Андре, — окорок из базальта, размеры которого порадовали бы Гаргантюа. Если только капитан Кертис согласится, мы назовем этот риф Хэм-Рок¹.

— Удачное название, — говорю я, — риф Хэм-Рок! Но пусть мореплаватели не слишком приближаются к нему, надо иметь крепкие зубы, чтобы отведать этакой ветчинки.

«Ченслер» наскочил на южную оконечность островка, то есть на ножку окорока, и находится в маленькой бухточке, образованной ее загнутым концом. Нос у корабля опущен, и он сильно кренится, ибо вода сейчас сильно спала.

Как только набросок Андре Летурнера закончен, мы идем обратно по другому склону утеса, полого спускающемуся к западу, и скоро нашим взорам открывается красивый грот. При взгляде на него можно, право, подумать, что это одно из тех чудесных произведений, которые природа создала на Гебридах и особенно на острове Стаффа. Летурнеры, посетившие Фингалову пещеру, говорят, что наш грот — точная ее копия, только в миниатюре. Те же призматические глыбы, образовавшиеся в результате охлаждения базальтов; тот же черный готический свод с желтыми орнаментами; та же чистота рисунка призматических граней, которые ни один архитектор не мог бы обтесать лучше. Наконец, тот же мелодичный шум ветра, эхом отдающийся в базальтовых глыбах, который древние кельты приписывали игре на арфах неких таинственных теней. Но если в гроте на острове Стаффа

¹ Ветчинный риф (англ.).

под ногами струится вода, то наш грот целиком вымощен тем же крепким базальтом, и волны заливают его лишь в сильную бурю.

— Есть еще одно различие, — замечает Андре Летурнер, — если грот на острове Стаффа — великолепный готический собор, то наш грот — всего лишь придел в этом соборе! Ну, кто бы мог подумать, что на неизвестном рифе, затерянном среди океана, встретится такое чудо природы?

Отдохнув около часа на Хэм-Роке, мы возвращаемся по берегу островка на «Ченслер». Сообщаем Роберту Кертису о своих открытиях, и он наносит островок на корабельную карту под наименованием, которое дал ему Андре Летурнер.

С тех пор мы не пропускали ни одного дня, чтобы не побывать на Хэм-Роке и не провести там нескольких приятных часов. Роберт Кертис также посетил островок, но он слишком озабочен и не уделил должного внимания красотам грота. Фолстен съездил туда один раз, чтобы исследовать природу скал и отколоть несколько кусков базальта с бесцеремонностью геолога. Мистер Кир не пожелал двинуться с места и все время провел на корабле. Я предложил как-то миссис Кир сопутствовать нам, но она боялась, что переезд на вельботе ее утомит, и отказалась.

Господин Летурнер спросил со своей стороны мисс Херби, не хочется ли ей осмотреть островок. Молодая девушка чуть было не согласилась, радуясь возможности избавиться хотя бы на час от тирании своей капризной хозяйки, но, когда она обратилась к миссис Кир за разрешением, та отказала ей наотрез.

Я был возмущен поведением миссис Кир и вступился за ее компаньонку. Дело обошлось не без борьбы, но, так как мне приходилось оказывать небольшие услуги эгои-

стической даме и я могу еще пригодиться в будущем, она уступила под конец моим настояниям.

Мисс Херби несколько раз сопровождала нас во время этих прогулок. Мы ловим рыбу на побережье островка и весело завтракаем в гроте, слушая, как звучат от дуновения ветерка невидимые арфы. И мы поистине счастливы, видя, как радуется вырвавшаяся на свободу мисс Херби. Конечно, островок мал, но ничто в мире еще не казалось таким большим и прекрасным молодой девушке. Мы тоже полюбили этот голый риф, и вскоре на нем не осталось ни одного неизвестного нам камня, ни одной неисследованной расселины. По сравнению с палубой «Ченслера» это — целый мир, и я уверен, что в минуту отъезда мы покинем островок не без грусти.

Кстати, Андре Летурнер сообщил нам, что остров Стаффа принадлежит семейству Мак-Дональда, которое сдает его в аренду за двенадцать фунтов стерлингов¹ в год.

— А как вы думаете, господа, — спросила мисс Херби, — можно бы сдать в аренду наш островок больше чем за полкроны?

— За него и пенни не дадут, мисс, — сказал я смеясь. — Уж не вы ли намерены арендовать его?

— Нет, что вы, господин Казаллон, — ответила молодая девушка, подавляя вздох, — а между тем это может быть единственное место, где я была счастлива!

— И я тоже! — прошептал Андре.

Сколько скрытой боли чувствуется в словах мисс Херби! Несчастливая сирота, не имеющая ни родных, ни друзей, нашла проблеск счастья лишь на этом неведомом рифе посреди Атлантического океана!

¹ Триста франков. (Прим. автора.)

— *С шестого по четырнадцатое ноября.* — В первые пять дней после аварии из трюма «Ченслера» вырывался густой едкий дым, потом он понемногу стал редеть, и 6 ноября можно уже считать, что пожар прекратился. Из предосторожности Роберт Кертис приказывает по-прежнему накачивать воду в трюм, так что корпус судна залит теперь чуть ли не до межпалубного пространства. Только во время отлива вода в трюме убывает, понижаясь до уровня моря.

— Раз вода вытекает так быстро, значит, пробоина получилась большая, — говорит мне Роберт Кертис.

И в самом деле, пробоина в корпусе оказалась не менее четырех квадратных футов. Один из матросов, Флейпол, нырнув при низкой воде, определил место и размеры повреждения. Течь открывается в тридцати футах от руля; три доски обшивки выбиты при ударе приблизительно на два фута выше килевого шпунта. Огромная сила толчка объясняется не только штормом, бушевавшим тогда на море, но и значительной осадкой судна. Даже удивительно, что корпус не был проломлен в нескольких местах. Что же касается течи, то пока еще невозможно сказать, легко ли удастся ее заделать. Для этого надо вытащить или переместить груз, чтобы дать плотнику осмотреть поврежденное место. Но пройдет еще дня два, прежде чем можно будет проникнуть в трюм и вытащить оттуда тюки хлопка, уцелевшие от огня.

А пока что Роберт Кертис трудится не покладая рук, и матросы усердно следуют его примеру. Выполнен ряд важных работ.

Так, капитан приказал поставить упавшую во время аварии бизань-мачту, которую удалось втащить на риф вместе со всем такелажем. С помощью установленных на

корме кранов мачта поднята на борт судна. Плотник Даулас мастерски приделал ее к прежнему основанию. Обе сломанные части крепко-накрепко соединены железными болтами.

Вслед за этим матросы тщательно пересмотрели все снасти, заново натянули ванты, фордуны и штаги, сменили несколько парусов, привели в порядок бегучий такелаж, и теперь можно спокойно продолжать плавание.

Есть еще много работы на корме и на носу «Ченслера», ибо ют и помещение экипажа сильно пострадали от огня; необходимо все отремонтировать заново, а это требует времени и труда. Времени у нас достаточно, есть и рабочие руки, и мы скоро сможем опять занять свои каюты.

Только восьмого числа удалось приступить к разгрузке «Ченслера». Так как во время прилива груз покрывается водой, у люков устанавливают тали, и мы помогаем матросам вытаскивать из трюма тяжелые тюки хлопка, по большей части совершенно испорченные. Их грузят по одному в вельбот и перевозят на риф.

Когда верхний слой тюков выгружен, приходится подумать о том, чтобы откачать, хотя бы частично, наполняющую трюм воду. Для этого необходимо прежде всего как можно скорее заделать пробоину. Это трудное дело, но боцман и матрос Флейпол превосходно справляются с ним. Во время отлива они ныряют в море под корму корабля, добираются до пробоины и забивают отверстие медным листом. Но так как лист может не выдержать напора снаружи, когда вода из трюма будет выкачана, Роберт Кертис приказывает навалить тюки хлопка на поврежденное место. В материале нет недостатка, и вскоре все дно «Ченслера» как бы вымощено тяжелыми водоне-

проницаемыми тюками, благодаря чему, надо надеяться, медный лист будет держаться крепче.

Все удалось как нельзя лучше. И едва заработали насосы, уровень воды в трюме стал мало-помалу снижаться, что дало возможность продолжать разгрузку.

— Нам, вероятно, удастся подойти вплотную к пробоине и заделать течь изнутри, — говорит нам Роберт Кертис. — Конечно, лучше всего было бы положить судно на бок и сменить доски обшивки, но мы не можем предпринять такой сложный ремонт, к тому же я боюсь, как бы не испортилась погода. Если корабль будет лежать на боку, его погубит первый же налетевший шквал. Все же я ручаюсь, что течь будет прочно заделана и вскоре мы попытаемся достигнуть берега, не подвергая себя слишком большой опасности.

После двух дней упорной работы выкачали почти всю воду и закончили выгрузку хлопка. Пассажирам пришлось в свою очередь взяться за насосы, чтобы помочь матросам, и мы добросовестно справились с делом. Андре Летурнер работал вместе со всеми, несмотря на хромоту, и каждый из нас выполнил долг по мере своих сил.

Все же это утомительное дело, и мы не можем долго откачивать воду, не отдыхая. Руки и поясница скоро устают от бесконечного подымания и опускания ручки насоса, и я понимаю, почему матросы питают отвращение к этой работе. А ведь надо сознаться, что мы находимся в благоприятных условиях, поскольку судно стоит на месте, и у нас нет под ногами бездны океана. Мы не защищаем свою жизнь от угрожающего нам моря, не боремся с водой, которая вновь заливает судно по мере того, как ее выкачивают. Дай-то бог, чтобы мы никогда больше не подверглись подобному испытанию на тонущем корабле.

XX

— *С пятнадцатого по двадцатое ноября.* — Сегодня удалось осмотреть трюм, где и была наконец обнаружена бутылка с пикратом калия. Она находилась близ кормы, куда, к счастью, еще не дошел пожар. Бутылка цела и невредима, даже содержимое не попорчено водой. Ее спрятали в надежном месте на дальнем краю островка. Но почему было тут же не бросить взрывчатое вещество в море? Не знаю, но, как бы то ни было, бутылку не бросили.

Роберт Кертис и Даулас установили при осмотре, что палуба и поддерживающие ее бимсы пострадали гораздо меньше, чем предполагалось. От сильного жара толстые крепкие доски и поперечные брусья лишь покособились, — очевидно, огонь обрушился главным образом на корпус «Ченслера».

В самом деле, внутренняя обшивка корабля выгорела на большом пространстве. То там, то тут торчат обугленные концы нагелей, и, к несчастью, очень серьезно пострадал набор корабля. Пенька в торцовых и продольных швах усохла, и просто чудо, что корабль до сих пор не развалился.

Нельзя не признать, что все это очень неприятно. «Ченслер» получил такие повреждения, которые нашими средствами невозможно исправить, тем более что кораблю предстоит еще долгое плавание.

Понятно, что капитан и плотник возвращаются с осмотра очень озабоченные. Повреждения настолько серьезны, что, будь Роберт Кертис на острове, а не на утесе, который море грозит залить каждую минуту, он, не колеблясь, разобрал бы судно, чтобы построить из него другое, поменьше, но более надежное.

Однако Роберт Кертис быстро принимает решение и собирает всех — матросов и пассажиров — на палубе.

— Друзья мои, — говорит он, — авария гораздо значительнее, чем мы предполагали, корпус «Ченслера» сильно поврежден. Вместе с тем у нас нет ни возможности как следует починить судно, ни времени, чтобы построить новое, так как при первом шторме нас смоеет с этого островка. Вот почему я предлагаю сделать следующее: заделать как можно лучше течь и добраться до ближайшей земли. Мы находимся лишь в восьмистах милях от порта Парамарибо на северном берегу голландской Гвианы и при благоприятной погоде будем там через десять-двенадцать дней.

Ничего другого не оставалось делать, и предложение Роберта Кертиса было единодушно принято.

Даулас со своими помощниками тотчас же принялся заделывать течь и укреплять насколько возможно шпангоуты, поврежденные огнем. Ясно, однако, что «Ченслер» не выдержит длительного перехода и с него придется сойти в первом же порту.

Плотник конопатит также внешнюю обшивку судна в тех местах, которые обнажаются во время отлива, но он ничего не может сделать с частью, неизменно скрытой под водой, и вынужден ограничиться там внутренним ремонтом.

Работы заканчиваются 20 ноября. Сделав все, что в человеческих силах для восстановления корабля, Роберт Кертис решает в тот же день выйти в море.

Нечего и говорить, что как только выбросили груз и выкачали воду из трюма, «Ченслер» сошел с рифа и оставался на поверхности воды даже в часы отлива. Из предосторожности, чтобы корабль не прибило к рифу, с носа и кормы были отданы якоря. «Ченслер» стоял в маленькой естественной гавани, справа и слева защищенный скалами, которые море не покрывает даже при полной воде. В самой широкой части этой гавани «Ченслер» мог по-

ворачиваться по ветру, причем этот маневр облегчался прикрепленными к рифу перлинами. В данный момент корабль был обращен носом к югу.

По всей вероятности, вывести «Ченслер» в открытое море будет нетрудно. Надо либо поднять паруса при благоприятном ветре, либо дотащить судно на буксире до конца пролива при противном ветре. Встретятся, конечно, и некоторые трудности, которые надо будет преодолеть.

В самом деле, вход в пролив преграждает подводная скала, и даже при полной воде глубина там едва ли достаточна для теперешней осадки «Ченслера». Если он и прошел над этой плотиной перед катастрофой, то, повторяю, потому, что его поднял огромный вал и перебросил в естественную гавань, о которой я уже говорил. К тому же в тот день наблюдался исключительно сильный прилив, один из тех, что бывает в периоды равноденствия, и раньше нескольких месяцев он не повторится.

Само собой разумеется, что Роберт Кертис не согласится ждать несколько месяцев. Сегодня полнолуние, и вода высока; следует воспользоваться этим, вывести корабль из гавани и, нагрузив его балластом, чтобы он устойчиво держался под парусами, пуститься в дальний путь. Ветер как раз благоприятный, северо-восточный. Дует он по направлению к проливу. Однако капитан поступает совершенно правильно, не желая пускаться на всех парусах навстречу препятствию, на которое может наскочить корабль, прочность которого теперь оставляет желать лучшего. И вот, посоветовавшись с лейтенантом Уолтером, боцманом и плотником, Роберт Кертис приказывает тащить «Ченслер» на буксире. Один якорь отдают с кормы на случай, если маневр не удастся и придется возвращаться обратно, два других выносят за пролив, длина которого не превышает двухсот футов. Цепи наматываются на вал брашпиля, у которого работает весь эки-

паж, и в четыре часа пополудни «Ченслер» начинает двигаться по направлению к проливу.

В двадцать три минуты пятого прилив достигнет наивысшей точки. Остается еще десять минут. «Ченслер» протасили так далеко, как только позволяет его осадка, но вот передняя часть киля поднялась на подводную скалу, и корабль остановился.

И теперь, когда форштевень «Ченслера» преодолел препятствие, Роберт Кертис решает присоединить силу действия ветра к механической силе брашпиля и велит поставить верхние и нижние паруса.

Однако пора! Море не шелохнется. Матросы и пассажиры работают у брашпиля. Летурнеры, Фолстен и я стоим на правом борту, у насоса. Роберт Кертис на юте наблюдает за парусами, лейтенант дежурит на баке, боцман у руля.

«Ченслер» несколько раз вздрагивает, прилив слегка приподнимает его. Море, к счастью, спокойно.

— Ну, друзья, — кричит Роберт Кертис своим спокойным решительным голосом, — дружно, разом... вперед!

Брашпиль вновь начинает работать. Слышно позвякивание цепей. Проходя через клюзы, они постепенно натягиваются. Ветер крепчает, и, так как корабль не может развить нужную скорость, мачты гнутся под напором парусов. Проходим футов двадцать. Один из матросов запевает громкую песню, под которую легче становится работать. Мы удваиваем усилия, корпус «Ченслера» дрожит...

Напрасные старания! Прилив начинает спадать. Мы не пройдем.

Однако «Ченслер» не может оставаться на подводной скале во время отлива, он потеряет равновесие и переломится надвое. По приказу капитана быстро убирают паруса, кормовой якорь должен немедленно сослужить нам службу. Терять нельзя ни минуты. Корабль тянется назад, и все замирают в страшной тревоге... Но «Ченслер»

плавно скользит килем по подводной скале и возвращается обратно в маленькую гавань, которая становится отныне его тюрьмой.

— Господин капитан, как же мы теперь пройдем? — спрашивает боцман.

— Не знаю, — отвечает Роберт Кертис, — но мы пройдем!

XXI

— *С двадцать первого по двадцать третье ноября.* — В самом деле, надо уходить из этого узкого бассейна, и без промедления. Погода, благоприятствовавшая нам весь ноябрь месяц, грозит перемениться. Со вчерашнего дня барометр упал, и море вокруг Хэм-Рока начинает волноваться. Между тем в бурю нельзя оставаться близ островка, так как «Ченслер» вдребезги разобьется о скалы.

В тот же вечер мы с Робертом Кертисом, Фолстеном, боцманом и Дауласом исследуем подводную скалу, заграждающую выход из бухточки. Есть только один способ проложить путь кораблю — это пробить скалу кирками на десять футов в ширину, на шесть футов в длину и углубить дно пролива на восемь-девять дюймов, хорошо все расчистив кругом. Тогда при своей теперешней осадке «Ченслер» без труда выйдет из бассейна в открытое море.

— Но ведь базальт тверд, как гранит, — замечает боцман, — придется с ним повозиться, тем более что работать можно только во время отлива, иначе говоря, каких-нибудь два часа в сутки!

— Тем более, боцман, нельзя терять ни минуты, — отвечает Роберт Кертис.

— Да на это понадобится целый месяц, господин капитан, — говорит Даулас. — Нельзя ли взорвать скалу? Ведь у нас на борту есть порох.

— Его слишком мало, — заявляет боцман.

— Действительно, положение чрезвычайно серьезное. Целый месяц работы! Да ведь раньше месяца волны разобьют корабль.

— А ведь у нас есть нечто получше пороха, — вмешивается в разговор Фолстен.

— Что же это такое? — спрашивает Роберт Кертис.

— Пикрат калия!

В самом деле, у нас есть пикрат калия. Та самая бутыл, которую погрузил на борт «Ченслера» несчастный Руби. Пикрат чуть было не взорвал корабль, а теперь пригодится, чтобы взорвать препятствие! Стоит только заложить мину, и скала будет сметена с лица земли!

Как я уже говорил, бутыл с пикратом калия укрыта на островке в надежном месте. Какое счастье, просто перст провидения, что ее не выбросили в море!

Матросы приносят кирки, и Даулас под руководством Фолстена принимается долбить базальт в определенном направлении, чтобы сделать минную камеру. Можно надеяться, что камера будет готова ночью, а завтра на рассвете перед кораблем откроется после взрыва свободный выход в море.

Как известно, пикриновая кислота — горькое кристаллическое вещество, добываемое из каменного угля. В соединении с углекислым калием она дает желтого цвета соль, известную под названием пикрата калия. Взрывчатая сила его несколько слабее, чем у пироксилина или динамита, но намного больше, чем у обыкновенного пороха¹. Воспламеняется пикрат калия от сильного, резкого удара. Мы без труда можем достигнуть того же результата при помощи капсюля — детонатора.

¹ Один грамм пикринового порошка равняется по силе действия тринадцати граммам обыкновенного пороха. (Прим. автора.)

Даулас и его помощники трудятся с большим усердием, но на рассвете конца работы все еще не видно. Да это и не удивительно — ведь долбить минную камеру можно только во время отлива, то есть в течение какого-нибудь часа-двух. Значит, надо поработать четыре отлива подряд, чтобы сделать ее достаточно глубокой.

И вот только утром 23 ноября работа, наконец, закончена. В базальтовой скале сделано косое углубление, в которое как раз могут войти фунтов десять взрывчатого вещества. А время между тем уже приближается к восьми.

Перед тем как заложить мину, Фолстен заявляет нам:

— По-моему, не худо бы смешать пикрат с обыкновенным порохом, тогда вместо капсюля, который взрывается лишь от удара, можно будет попросту зажечь фитиль, что гораздо проще. Кроме того, употребление смеси пороха и пикрата рекомендуется при взрыве твердых пород. Пикрат, обладающий большой взрывчатой силой, проложит путь, а порох, который воспламеняется медленнее и горит равномернее, лучше разрушит базальт.

Инженер Фолстен говорит мало, но надо ему отдать справедливость — уж если раскроет рот, то скажет что-нибудь дельное. Его совет принимается. Смешивают оба вещества и, опустив один конец фитиля на дно углубления, закладывают туда минный заряд.

«Ченслер» стоит достаточно далеко от мины, и ему нечего опасаться. Однако из предосторожности пассажиры и матросы укрываются в гроте на противоположном берегу островка, и даже мистер Кир, несмотря на возражения, вынужден покинуть корабль.

Тогда Фолстен зажигает фитиль, который должен гореть минут десять до взрыва, и присоединяется к нам.

Слышится взрыв. Он звучит глухо, гораздо слабее, чем мы предполагали, но так всегда бывает, когда мина заложена глубоко.

Спешим взглянуть, что получилось... Все удалось как нельзя лучше: от базальтовой скалы буквально не осталось и следа, препятствие устранено; образовавшийся маленький канал быстро начинает наполняться водой, так как прилив уже наступил.

Путь свободен. Мы оглушительно кричим «ура». Дверь тюрьмы распахнулась, и заключенным остается только бежать.

И вот, дождавшись высокой воды, «Ченслер» минует пролив и выходит в открытое море.

Но нам приходится пробыть еще один день возле острова, так как перед плаванием необходимо взять балласт для придания остойчивости судну. Целые сутки матросы проводят за погрузкой камней и наименее испорченных тюков хлопка.

В этот день Летурнеры, мисс Херби и я совершили еще одну прогулку на базальтовый островок, который мы никогда больше не увидим и где провели целых три недели. Андре очень искусно выгравировал на одной из скал слово «Ченслер», название рифа, а также дату кораблекрушения. И вот последнее «прости» сказано островку, связанному для некоторых из нас с воспоминаниями о счастливейших днях жизни.

Наконец, 24 ноября, в час утреннего прилива, на «Ченслере» ставят нижние паруса, марселя и брамселя, и два часа спустя последняя верхушка Хэм-Рока исчезает за горизонтом.

XXII

— С двадцать четвертого ноября по первое декабря. — И вот мы снова в море, на корабле, надежностью которого нельзя похвастаться. Большое счастье, что плавание нам предстоит недолгое — остается пройти всего восемь-

сот миль. Если попутный северо-восточный ветер продержится еще несколько дней, то «Ченслер» не слишком пострадает в пути и без труда достигнет берегов Гвианы.

Курс взят на юго-запад. Жизнь на борту идет своим чередом.

Первые дни проходят спокойно, без происшествий. Направление ветра не меняется, но Роберт Кертис не хочет ставить много парусов, опасаясь, как бы при большой скорости судна не открылась течь.

Невесело, в общем, плыть, когда нет уверенности в прочности корабля, на котором находишься, к тому же мы возвращаемся по уже пройденному пути вместо того, чтобы идти вперед! Поэтому каждый погружен в свои мысли и нет на борту того оживления, которое наблюдается при быстром и благополучном плавании.

Днем 29 ноября ветер передвигается на один румб к северу. Идти на фордевинд уже нельзя. Приходится бра-сопить реи и ставить паруса на правый галс. Поэтому судно довольно сильно накренилось.

Видя, что крен не уменьшается, а это очень опасно для корабля, Роберт Кертис дает команду взять брамселя на гитовы. И он прав, ведь дело не в том, чтобы ускорить плавание, а в том, чтобы добраться до берега без новых происшествий.

Ночь с 29 на 30 ноября темная, пасмурная. Ветер все крепчает и, к несчастью, начинает дуть с северо-запада. Пассажиры большей частью сидят в каютах, но капитан Кертис остается на юте, и матросы не покидают палубы. Корабль все время идет с большим креном, хотя верхние паруса и убраны.

Около двух часов ночи, когда я только что собрался спуститься к себе в каюту, матрос Берке выбегает из трюма с криком:

— Вода! На два фута воды!

Роберт Кертис и боцман спешат по трапу в трюм и убеждаются, что зловещая новость более чем справедлива. То ли, несмотря на все предосторожности, снова открылась течь, то ли разошлись плохо законопаченные швы, но только трюм довольно быстро наполняется водой.

Капитан возвращается на ют, приводит корабль на фордевинд, чтобы его меньше качало. И мы ждем утра.

На заре новое измерение показывает, что в трюме уровень воды поднялся до трех футов.

Я смотрю на Роберта Кертиса. От волнения у него побелели губы, но внешне он вполне спокоен. Несколько пассажиров поднимаются на палубу. Они уже осведомлены о происходящем, да это и трудно скрыть.

— Новое несчастье? — спрашивает господин Летурнер.

— Это можно было предвидеть, — отвечаю я. — Но мы, наверно, не очень далеко от земли и, надеюсь, скоро до нее доберемся.

— Да услышит вас бог! — замечает господин Летурнер.

— Разве есть бог на борту? — восклицает, пожимая плечами, Фолстен.

— Да, сударь, он здесь, — серьезно говорит мисс Херби.

Инженер умолкает, относясь с уважением к этим словам, полным нерассуждающей веры.

Между тем по приказу Роберта Кертиса работа насосов возобновилась. Матросы принялись за дело без всякой охоты, с молчаливой покорностью. Но ведь вопрос стоит о спасении корабля, и, разделившись на две команды, они посменно выкачивают воду.

Днем боцман несколько раз измеряет уровень воды в трюме и обнаруживает, что она медленно, но неуклонно прибывает.

К несчастью, от долгого употребления насосы стали часто портиться, и приходится их чинить. А иногда они засоряются то золой, то волокнами хлопка, заполняющего нижнюю часть трюма. Чистка тоже отнимает немало времени и тормозит работу.

На следующее утро оказывается после нового измерения, что уровень воды поднялся до пяти футов. Итак, стоит почему-либо перестать откачивать воду, и она зальет весь корабль. Это было бы лишь вопросом времени, и, несомненно, очень короткого. Ватерлиния «Ченслера» уже опустилась в воду на один фут, и килевая качка становится все ощутимее, ибо корабль с трудом поднимается на гребень волны. Я вижу, как хмурится капитан Кертис всякий раз, когда боцман или лейтенант подходят к нему с докладом. Это плохой признак.

Работа насосов не прекращается весь день и всю ночь, но море опять побеждает. Матросы выбились из сил, упали духом, и это чувствуется. Но капитан и боцман сами занимают места у насосов, и пассажиры следуют их примеру.

Положение было лучше, когда «Ченслер» налетел на риф Хэм-Рок. Теперь корабль находится над морской бездной, которая каждую минуту грозит его поглотить.

XXIII

— *Второе — третье декабря.* — Мы боремся изо всех сил еще сутки, не давая уровню воды в трюме подниматься. Ясно, однако, что скоро уже нельзя будет выкачивать столько воды, сколько ее набирается.

Капитан Кертис не отдыхает ни минуты. Он снова лично осматривает трюм, я сопровождаю его вместе с плотником и боцманом. Отодвинув несколько тюков, мы прислушиваемся и различаем какое-то журчание, или,

точнее, бульканье. Не открылась ли снова течь? Или весь корпус судна расшатался? Трудно сказать. Как бы то ни было, Роберт Кертис пытается преградить доступ воде, подведя с внешней стороны под корму просмоленный парус. Быть может, приток воды хоть временно прекратится? В таком случае работа насосов пойдет успешнее и осадка корабля, вероятно, уменьшится.

Но дело это гораздо сложнее, чем кажется. Сначала надо уменьшить скорость «Ченслера», затем при помощи горденей подвести толстые паруса под его киль и закрыть ими место, где находится пробоина, плотно обтянув талями этот пластырь.

Все приведено в исполнение, теперь мы уже начинаем побеждать море и испытываем прилив бодрости. Несомненно, вода еще проникает в трюм, но меньше, чем прежде, и к концу дня установлено, что уровень ее понизился на несколько дюймов. Всего лишь несколько дюймов! Не беда! Все же насосы выбрасывают больше воды, чем ее просачивается в трюм. Работа не прекращается ни на минуту.

Ночь выдалась темная, ветер сильно посвежел, капитан Кертис приказывает поставить все паруса. Он прекрасно знает, как ненадежен корпус «Ченслера», и потому спешит добраться до ближайшего берега. Если бы в открытом море показался какой-нибудь корабль, он, не колеблясь, подал бы сигнал бедствия, чтобы спасти пассажиров и матросов, а сам остался бы на борту «Ченслера», считая своим долгом не покидать корабля до последней минуты. На следующий день выясняется, однако, что все принятые меры ни к чему не привели.

За ночь парус, которым было обтянуто поврежденное место, не выдержал напора воды, и утром 3 декабря боцман произвел, как всегда, измерение и крикнул, отчаянно ругаясь:

— Опять на шесть футов воды в трюме!

Да, это неоспоримый факт! Корабль снова погружается, и его ватерлиния уже заметно ушла под воду.

Однако мы работаем насосами еще усерднее, чем прежде. Силы наши слабеют, руки болят, пальцы в крови, но, несмотря на все усилия, вода побеждает. Роберт Кертис выстроил людей в ряд большого люка, и полные ведра быстро начинают переходить из рук в руки.

Все напрасно! В половине девятого утра отмечено новое повышение уровня воды в трюме. Тут некоторыми матросами овладевает отчаяние. Роберт Кертис приказывает им продолжать работу. Они отказываются.

У матросов есть зачинщик, о котором я уже говорил, это мятежник Оуэн. Ему сорок лет. На подбородке — рыжеватая остrokонечная борода, не растущая или чисто выбритая на щеках. Губы узкие, поджатые, светло-карие глазки окружены красными веками, прямой нос, сильно оттопыренные уши, лоб избороджен злыми морщинами.

Он первый покидает пост.

Пять или шесть товарищей следуют за ним, и среди них я замечаю повара Джинкстропа, он тоже нехороший человек.

На приказание Роберта Кертиса вернуться к насосам Оуэн отвечает от имени всех решительным отказом.

Капитан повторяет приказ. Оуэн снова отказывается.

Роберт Кертис вплотную подходит к бунтовщику.

— Не советую вам меня трогать! — холодно заявляет Оуэн и поднимается на бак.

Тогда Роберт Кертис идет к себе в каюту и возвращается оттуда с заряженным револьвером в руке.

Оуэн одно мгновение пристально смотрит на капитана, но Джинкстроп делает ему знак, и все снова принимаются за работу.

— *Четвертое декабря.* — Первая попытка к возмущению была энергично пресечена капитаном. Но можно ли рассчитывать на такую же удачу в будущем? Надо надеяться, что да: если экипаж разложится, наше положение, и без того серьезное, станет ужасным.

Ночью насосы уже едва справляются с откачкой. Судно движется тяжело, с трудом поднимаясь на гребень волны. Вода хлещет через борт, проникает в люки. Она все прибывает.

Положение скоро станет не менее опасным, чем оно было во время пожара, в последние его часы. Пассажиры, экипаж — все чувствуют, что судно постепенно уходит у них из-под ног. Они видят, что вода поднимается медленно, но непрерывно, она начинает им внушать такой же ужас, как прежде огонь.

Между тем матросы продолжают работать под грозные окрики Роберта Кертиса и волей-неволей борются изо всех сил, но силы эти уже на исходе. Матросы не могут выкачать воду, которая прибывает без конца; уровень ее поднимается с каждым часом. Те, кто вычерпывает ее ведрами в трюме, уже стоят по пояс в воде и рискуют утонуть. Они вынуждены подняться на палубу.

Остается один лишь выход, и утром 4 декабря лейтенант, боцман и капитан Кертис, посоветовавшись, принимают решение оставить судно. Так как вельбот, единственное, что у нас осталось, не может вместить и пассажиров и экипаж, — придется сделать плот. Матросы будут выкачивать воду до тех пор, пока не получат приказа покинуть судно.

Вызывают плотника Дауласа. Решено, что плот начнут строить немедленно из запасных рей и рангоута, предварительно распиленных на бревна нужной длины.

Море относительно спокойно, и это облегчит работу, трудную даже при самых благоприятных обстоятельствах.

И вот Роберт Кертис, инженер Фолстен, плотник и десять матросов, вооруженных пилами и топорами, достают и распиливают рей, прежде чем бросить их в море. После этого останется лишь крепко связать их и сделать прочное основание футов сорока в длину и двадцати — двадцати пяти в ширину.

Остальная команда и мы, пассажиры, занимаемся откачкой воды. Возле меня работает Андре Летурнер, на которого отец смотрит с глубокой скорбью. Что будет с его сыном, под силу ли ему сражаться с волнами в такой обстановке, когда даже здоровому человеку трудно спастись? Как бы то ни было, нас двое, и мы не покинем юношу в беде.

От миссис Кир, надолго впавшей в какое-то дремотное, почти бессознательное состояние, скрыли грозящую нам опасность.

Мисс Херби несколько раз ненадолго выходила на палубу. От усталости она побледнела, но держится стойко. Я советую ей быть готовой ко всему.

— Я всегда готова к худшему, сударь, — отвечает храбрая девушка и тотчас же возвращается к миссис Кир.

Андре Летурнер провожает ее печальным взглядом.

К восьми часам вечера основание плота уже почти готово. Спускают пустые, герметически закрытые бочки и прикрепляют их к плоту, чтобы он лучше держался на воде.

Через два часа в рубке раздаются отчаянные вопли. Выбегает мистер Кир.

— Мы тонем! Тонем! — кричит он.

И тотчас же мисс Херби и Фолстен выносят бесчувственную миссис Кир.

Роберт Кертис бросается в свою каюту и возвращается с картой, секстаном, компасом.

Крики ужаса... На судне все и вся беспорядочно перемешалось. Матросы устремляются к плоту, но не могут им воспользоваться: готово лишь основание, настил еще отсутствует...

Невозможно пересказать все мысли, промелькнувшие у меня в эту минуту, или нарисовать быстро пронесшиеся видения — развернутый свиток моей жизни! Мне кажется, что все мое существование сосредоточилось в этой последней, завершающей его минуте! Я чувствую, что палуба уходит у меня из-под ног. Я вижу, как вокруг судна поднимается вода, точно океан разверзся, чтобы нас поглотить!

Несколько матросов, испуская вопли ужаса, ищут убежища на вантах. Я собираюсь последовать за ними...

Кто-то останавливает меня. Летурнер указывает мне на сына, из его глаз текут крупные слезы.

— Да, — говорю я, судорожно сжимая его плечо. — Вдвоем мы спасем его!

Но Роберт Кертис опережает меня, он подходит к Андре, чтобы отнести его на ванты грот-мачты. «Ченслер», который шел с большой скоростью, гонимый ветром, внезапно останавливается. Мы ощущаем сильный толчок.

Судно идет ко дну! Вода уже лижет мне ноги, я инстинктивно хватаюсь за канат... Но вдруг мы перестали погружаться. И хотя палуба ушла на два фута под воду, «Ченслер» продолжает держаться на поверхности океана.

XXV

— *Ночь с четвертого на пятое декабря.* — Роберт Кертис берет на руки молодого Летурнера и, перебежав с ним через залитую водой палубу, ставит его на ванты

правого борта. Отец Летурнер и я взбираемся на те же ванты.

Я оглядываюсь. Ночь достаточно светла, и я могу рассмотреть все, что делается вокруг, Роберт Кертис опять занял свой пост в рубке. Сзади, возле не затопленного еще гакаборта, я различаю смутные силуэты мистера Кира, его жены, мисс Херби и Фолстена; на самом краю бака вижу лейтенанта и боцмана; на марсах и вантах — всех остальных.

Андре Летурнер поднялся на грот-марс с помощью отца, который переставлял его ноги с перекладки на перекладину, и, несмотря на качку, благополучно добрался до места. Но миссис Кир не поддавалась никаким уговорам и не покинула рубки, где ее может смыть волной, если усилится ветер. Поэтому и мисс Херби самоотверженно осталась подле нее.

Как только судно перестало погружаться, Роберт Кертис приказал немедленно спустить все паруса, а затем убрать реи и брам-стенги, чтобы оно не потеряло остойчивости. Он надеется, что благодаря этим мерам «Ченслер» не будет опрокинут волнами. Но ведь судно может с минуты на минуту затонуть? Я подхожу к Роберту Кертису и задаю ему этот вопрос.

— Не знаю, — отвечает он спокойно. — Это прежде всего зависит от моря. Ясно, что теперь «Ченслер» находится в состоянии равновесия... но это каждое мгновение может измениться.

— Может ли плавать «Ченслер», раз его палуба уже на два фута погрузилась в воду?

— Нет, господин Казаллон, но течение и ветер могут нести его и, если он продержится несколько дней, прибить его к какой-нибудь точке побережья. Наконец, у нас есть плот — наше последнее прибежище; он будет

окончен через несколько часов, и с наступлением дня мы на него переберемся.

— Значит, надежда еще не потеряна? — спросил я, удивленный спокойствием Роберта Кертиса.

— Надежды никогда нельзя терять, господин Казаллон, даже в самом отчаянном положении. Если из шансов девяносто девять против нас, то на сотый все-таки можно рассчитывать, это все, что я могу сказать вам. Если память мне не изменяет, наполовину затонувший «Ченслер» находится точно в таком же положении, в каком было трехмачтовое судно «Юнона» в тысяча семьсот девяносто пятом году. Более двадцати дней оно находилось на волосок от гибели. Пассажиры и матросы спаслись на марсах, и, когда наконец показалась земля, все, кто вынес голод и усталость, были спасены. Это известный факт из летописи флота, и я не могу не вспомнить о нем в такую минуту! Нет никаких оснований полагать, что на «Ченслере» оставшимся в живых повезет меньше, чем на «Юноне».

Многое, пожалуй, можно возразить Роберту Кертису, но из этого разговора ясно одно: наш капитан не потерял надежды.

Но раз равновесие может быть в любое мгновение нарушено, необходимо покинуть «Ченслер», и чем раньше, тем лучше. Поэтому решено, что завтра, как только плот будет готов, все переберутся на него.

Легко представить себе, какое отчаяние овладело экипажем, когда Даулас заметил около полуночи, что остов плота исчез! Канаты, как они ни были крепки, перетерлись от боковой качки, и плот уже, вероятно, с час как унесен течением.

Когда матросы узнали об этом новом несчастье, слышались возгласы отчаяния.

— В море! Мачты в море! — кричат потерявшие голову люди.

Они хотят перерезать такелаж, чтобы сбросить в море стеньги и сейчас же построить новый плот...

Но тут раздается голос Роберта Кертиса.

— По местам, ребята! — кричит он. — Чтобы ни одна нитка не была перерезана без моего приказа! «Ченслер» держится! «Ченслер» еще не тонет!

К экипажу, как только он услышал решительный голос капитана, вернулось хладнокровие, и, несмотря на явное неудовольствие некоторых матросов, все разошлись по местам.

С наступлением дня Роберт Кертис поднимается на салинг, он внимательно осматривает даль вокруг судна. Нет! Плота нигде не видно! Что же делать? Снарядить вельбот и пуститься на поиски, быть может продолжительные и опасные? При сильном волнении это невозможно, такому углу суденышку не совладать с ним. Значит, надо взяться за постройку нового плота — и медленно.

Волнение еще усилилось, и миссис Кир наконец решила оставить свое место в конце юта; она тоже взобралась на грот-марс и упала там почти в полном бесчувствии. Мистер Кир поместился вместе с Сайласом Хантли на фор-марсе. Возле миссис Кир и мисс Херби устроились оба Летурнера, тесно прижавшись друг к другу, ведь длина этой площадки составляет всего-навсего двенадцать футов. Но между вантами протянуты канаты, которые помогают держаться при сильной качке. Кроме того, Роберт Кертис велел натянуть над марсом парус, который немного защищает обеих женщин от палящего солнца.

Несколько бочонков и ящиков, плававших между мачтами, были вовремя подобраны, подняты на марс и

крепко привязаны к штагам. Эти ящики с консервами и сухарями да бочонки с пресной водой — весь наш скудный запас провизии.

XXVI

— *Пятое декабря.* — Жаркий день. Декабрь на шестнадцатой параллели это уже не осенний, а настоящий летний месяц. Надо ждать жестокой жары, если ветер не умерит палящего зноя солнечных лучей.

Однако на море волнение продолжается. Волны бьются, точно об утес, о корпус судна, на три четверти погруженного в воду. Пенистые гребни достигают марсов и обдают нас брызгами, похожими на мелкий дождь.

Вот все, что осталось от «Ченслера», что находится еще на поверхности бурного моря: три мачты, над ними — стены, бушприт, к которому подвешен вельбот, чтобы его не разбили волны, затем рубка и бак, соединенные лишь узким фальшбортом. Что касается палубы, она совершенно погружена в воду.

Сообщение между марсами очень затруднено. Только матросы, передвигаясь по штагам, могут пробираться от одного марса до другого. Внизу между мачтами, на пространстве от гакаборта до бака, волны перекатываются, пенясь, точно над подводной скалой, и мало-помалу отрывают от судна куски обшивки; матросы подбирают доски. Воистину ужасающее зрелище для пассажиров, взгромоздившихся на узкие площадки, — видеть у себя под ногами ревуший океан. Мачты, торчащие из воды, вздрагивают при каждом ударе волны, и кажется, что их вот-вот смоем.

Лучше всего не смотреть, не думать, ведь эта бездна притягивает, хочется броситься в нее!

Между тем матросы без усталости трудятся над сооруже-

нием второго плота. В дело идут стеньги, брам-стеньги, реи; под руководством Роберта Кертиса работа ведется самым тщательным образом. По-видимому, «Ченслер» затонет не скоро: по словам капитана, он еще продержится некоторое время, наполовину погруженный в воду. И Роберт Кертис следит, чтобы плот был сколочен возможно крепче. Путь предстоит долгий, так как ближайший берег, гвианский, отстоит от нас на несколько сот миль. Поэтому лучше провести лишний день на марсах и за это время соорудить плот понадежнее. На этот счет мы все одного и того же мнения.

Матросы несколько приободрились, работа идет дружно.

И только один моряк, шестидесятилетний старик, поседевший в плаваниях, находит, что нет смысла покидать «Ченслер». Это ирландец О'Реди.

Как-то мы с ним одновременно оказались в рубке.

— Сударь, — сказал он, жуя табак с видом величайшего равнодушия, — товарищи думают, что нам надо оставить судно. Я — нет. Я девять раз терпел кораблекрушение — четыре раза в открытом море и пять раз у берега. Это стало моей профессией. О, я знаю толк в кораблекрушениях. Так вот, провались я на этом месте, ежели вру, но те хитрецы, что искали спасения на плотках или в шлюпках, всегда находили гибель! Пока судно держится, надо оставаться на нем. Уж поверьте мне.

Произнеся весьма решительным тоном эту тираду, старый ирландец, заговоривший, очевидно, для очистки совести, снова ушел в себя и не сказал больше ни слова.

Сегодня днем, часа в три, я заметил, что мистер Кир и бывший капитан Сайлас Хантли оживленно разговаривают на фор-марсе. Торговец нефтью, по-видимому, в чем-то горячо убеждает своего собеседника, а тот возражает. Сайлас Хантли несколько раз и подолгу озирает

море и небо, покачивая головой. Наконец после целого часа препирательств Хантли спускается по штагу на бак, подходит к группе матросов, и я теряю его из виду.

Впрочем, я не придаю особого значения этому разговору. Возвращаюсь на грот-марс и несколько часов провожу в беседе с обоими Летурнерами, мисс Херби и Фолстеном. Солнце палит немилосердно, и если бы не парус, заменяющий тент, положение наше было бы невыносимо.

В пять часов мы обедаем. Каждый получает по сухарю, немного сушеного мяса и полстакана воды. Миссис Кир, изнуренная лихорадкой, не ест. Мисс Херби ухаживает за больной, время от времени смачивая водой ее запекшиеся губы. Несчастливая женщина сильно страдает. Сомневаюсь, чтобы она могла долго выдержать выпавшие на нашу долю испытания.

Муж ни разу не осведомился о ней. Впрочем, была минута, когда мне показалось, что сердце этого эгоиста забилось наконец от искреннего душевного порыва. Часов около шести мистер Кир позвал несколько матросов с бака и попросил их помочь ему спуститься с фор-марса. Не почувствовал ли он желание побыть возле жены, лежащей на грот-марсе?

Матросы не сразу ответили на зов мистера Кира. Тот окликнул их еще громче, обещая хорошо заплатить тем, кто окажет ему эту услугу.

Два матроса, Берке и Сандон, тотчас же бросились к фальшборту и по вантам поднялись на марс.

Добравшись до мистера Кира, они долго торгуются. Ясно, что матросы заломили большую цену, а мистер Кир не хочет ее дать. Матросы собираются даже спуститься обратно, оставив пассажира на марсе. Но наконец обе стороны приходят к соглашению, мистер Кир достает пачку долларов и вручает ее одному из матросов. Тот

внимательно пересчитывает деньги — на мой взгляд, не меньше ста долларов.

Матросам предстоит доставить мистера Кира на бак. Берке и Сандон обвязывают вокруг его тела веревку, которую затем наматывают на штаг. Они спускают пассажира словно тюк, встряхивая его под шутки и прибаутки матросов.

Но я ошибся. Мистер Кир не имел ни малейшего желания отправиться на грот-марс и побыть возле жены. Он остается на баке вместе с Сайласом Хантли, который поджидал его там. Вскоре становится темно, и я теряю их из вида.

Наступила ночь, ветер стих, но море все еще неспокойно. Луна, взошедшая еще в четыре часа дня, лишь изредка проглядывает в узкие просветы между туч. Длинные слоистые облака, обложившие горизонт, отливают красным, что предвещает на завтра крепкий ветер. Дайто бог, чтобы он опять подул с северо-востока и понес нас к берегу! Если же направление ветра изменится, нас ждет неминуемая гибель. Ведь мы переберемся на плот, который может идти лишь по ветру.

Роберт Кертис поднялся на грот-марс в восемь часов вечера. Он, кажется, не особенно доволен видами на погоду и старается угадать, что сулит нам завтрашний день. С четверть часа капитан наблюдает небо; прежде чем спуститься, он, не говоря ни слова, пожимает мне руку и отправляется на свое обычное место, в рубку.

Я пытаюсь заснуть на марсе, в тесноте, но сон не приходит. Осаждают мрачные предчувствия, тревожит почти полное безветрие, которое кажется мне зловещим. Лишь изредка легкое дуновение проносится по оснастке судна, чуть-чуть дрожат металлические тросы. Впрочем, море не совсем спокойно. Волнение довольно сильное — очевидно, где-то далеко свирепствует буря.

Часам к одиннадцати вечера ярко засияла луна, показавшаяся между тучами, и волны заблестели, точно сами излучали этот свет.

Я встаю, всматриваюсь в даль. Странно, мне мерещится какая-то черная точка, которая то поднимается, то опускается на сверкающей поверхности моря. Это не скала, нет, так как она перемещается вместе с волнами. Что же это такое?

Луна снова заволакивается облаками, тьма становится непроглядной, и я ложусь возле вант левого борта.

XXVII

— *Шестое декабря.* — Мне удалось на несколько часов заснуть. В четыре часа утра меня вдруг разбудил свист ветра. Сквозь рев бури, сотрясающей мачты, слышится голос Роберта Кертиса.

Я поднимаюсь. Крепко уцепившись за канат, пытаюсь рассмотреть, что происходит вокруг.

Во мраке слышен рев моря. Между мачтами, содрогающимися от боковой качки, проносятся пенистые волны, скорее мертвенно-синего, чем белого цвета. На беловатом фоне моря, со стороны кормы, видны две черные тени. Это капитан Кертис и боцман. Их голоса, едва различимые среди грохота моря и свиста ветра, доносятся до меня, словно стоны.

В эту минуту мимо проходит один из матросов, поднявшийся на марс, чтобы закрепить какую-то снасть.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Ветер переменялся...

Матрос говорит еще что-то, но я не разбираю его слов.

Мне слышится нечто вроде «подул в обратную сторону»!

— В обратную сторону! Но значит, это уже не северо-восточный ветер, а юго-западный, и теперь нас несет от берега в открытое море! Итак, предчувствие не обмануло меня!

Медленно занимается день. Оказывается, ветер — северо-западный и дует он хотя не прямо от берега, но это тоже для нас плохо. Он удаляет нас от земли. Но этого мало. Вода на палубе поднялась до пяти футов, так что фальшборт уже не виден. За ночь судно еще глубже погрузилось в воду; бак и рубка едва виднеются над волнами, которые непрестанно на них набегают. Ветер крепчает. Роберт Кертис и его матросы кончают постройку плота, но работа идет медленно из-за сильного волнения; надо принять самые серьезные меры, чтобы плот не разбило волнами еще раньше, чем он будет готов.

Отец и сын Летурнеры как раз стоят возле меня. Качка очень усилилась, и старик поддерживает Андре.

— Марс ломается! — восклицает старик Летурнер, слыша, как трещит небольшая площадка, на которой мы примостились.

При этих словах мисс Херби поднимается и говорит, указывая на миссис Кир, распростертую у ее ног:

— Что же нам делать?

— Остаться здесь, — отвечаю я.

— Мисс Херби, — прибавляет Андре, — марс пока еще самое надежное убежище. Не бойтесь ничего...

— Не за себя я боюсь, — спокойно отвечает молодая девушка, — а за тех, кто дорожит своей жизнью.

В четверть девятого боцман кричит матросам:

— Эй, вы там — на баке!

— В чем дело, боцман? — отвечает один из матросов, кажется О'Реди.

— Вельбот не у вас?

— Нет, боцман.

— Ну, значит, гуляет по морю!

В самом деле, вельбота на бушприте уже нет, и тотчас же все замечают, что вместе с ним исчезли мистер Кир, Сайлас Хантли и три человека из экипажа — один шотландец и два англичанина. Теперь я понял, о чем накануне сошались мистер Кир и Сайлас Хантли. Опасаясь, что «Ченслер» пойдет ко дну до окончания постройки плота, они уговорились бежать и, подкупив трех матросов, завладели вельботом. Так вот что это была за черная точка, которую я видел ночью. Негодяй бросил свою жену на произвол судьбы! Подлец капитан покинул судно! Они украли у нас вельбот, единственное оставшееся у нас суденышко!

— Пять человек спаслись! — говорит боцман.

— Пять человек погибли! — возражает старик ирландец.

И в самом деле, вид бушующего моря как бы подтверждает слова О'Реди.

Теперь нас на борту только двадцать два человека. Насколько еще уменьшится это число?

Узнав о подлом дезертирстве капитана и о краже вельбота, экипаж осыпает беглецов проклятиями. Если бы случай привел их обратно на «Ченслер», они дорого заплатили бы за свое предательство!

Я советую скрыть от миссис Кир бегство мужа. Несчастную женщину снедает лихорадка, с которой мы бесильны бороться, ведь катастрофа произошла так быстро, что мы не успели спасти аптечку. Но, будь у нас лекарства, разве они помогли бы в той обстановке, в какой находится миссис Кир?

XXVIII

— *Шестое декабря. Продолжение.* — «Ченслер» с трудом сохраняет равновесие среди осаждающих его волн. Весьма вероятно, что корпус судна не выдержит и распадется; к тому же оно все глубже погружается в море.

К счастью, плот будет закончен вечером. Мы сможем перебраться на него, если только Роберт Кертис не предпочтет сделать это завтра на рассвете. Основание плота сделано прочно. Бревна связаны крепкими веревками, а так как они кладутся крест-накрест, то все сооружение возвышается примерно на два фута над поверхностью воды. Настил же состоит из досок фальшборта, оторванных волнами и своевременно подобранных.

К вечеру на плот начинают грузить все уцелевшие припасы, паруса, приборы, инструменты. Надо торопиться, так как грот-марс уже находится всего на высоте десяти футов над водой, а от бушприта виден только сильно накренившийся кончик.

Я буду очень удивлен, если завтра «Ченслеру» не придет конец.

Ну, а наше душевное состояние? Я стараюсь разобраться в том, что происходит во мне.

Я испытываю скорее какое-то глубокое безразличие, чем чувство покорности судьбе. Господин Летурнер живет только своим сыном, который в свою очередь думает лишь об отце. Андре выказывает мужественную христианскую покорность, очень напоминающую настроение мисс Херби. Фолстен всегда остается Фолстеном, и помилуй меня бог — он еще заносит какие-то цифры в свою записную книжку. Миссис Кир умирает, несмотря на заботливый уход молодой девушки и все мои старания.

Что касается матросов, двое-трое спокойны, но остальные почти потеряли голову. Иные находятся во власти грубейших инстинктов, которые могут толкнуть их на любую крайность. Этих людей, подпавших под влияние Оуэна и Джинкстропа, трудно будет сдерживать, когда мы очутимся с ними на тесном плоту!

Лейтенант Уолтер очень ослабел; несмотря на все

свое мужество, он не в состоянии выполнять свои обязанности. Роберт Кертис и боцман — люди энергичные, непоколебимые, люди «крепкого закала» — пользуясь выражением, употребляемым в металлургии.

Около пяти часов вечера перестал страдать один из наших товарищей по несчастью: миссис Кир умерла после мучительной агонии, вероятно не сознавая опасности своего положения. Послышался вздох, другой — и все было кончено. Мисс Херби до последней минуты окружала ее заботами, которые всех нас глубоко тронули!

Ночь прошла без всяких происшествий. Утром, едва забрезжил свет, я дотронулся до руки умершей, она уже окоченела. Тело нельзя оставлять на марсе. Мисс Херби и я завернули миссис Кир в ее одежду. Затем мы прочли несколько молитв за упокой души несчастной женщины, и первая жертва постигших нас бедствий исчезла в морской пучине.

Тут один из матросов, находящихся на вантах, произнес ужасные слова:

— Мы скоро пожалеем, что бросили в море труп!

Я оборачиваюсь. Это Оуэн. Мне приходит в голову, что ведь и в самом деле может наступить день, когда мы окажемся без продовольствия.

XXIX

— *Седьмое декабря.* — Судно все больше погружается в воду, которая доходит почти до фор-марса. Ют и бак покрыты водой, нок бушприта исчез. Из волн торчат только три мачты.

Но плот готов, и на него погружено все, что можно спасти. В передней части плота устроено гнездо для мачты, которую будут поддерживать ванты, прикрепленные

к краям площадки. Грот-бом-брамсель привяжут к рее, он поможет нам добраться до берега.

Кто знает, не спасемся ли мы на этом хрупком дощатом плоту, ведь «Ченслер» все равно обречен на гибель? Надежда так глубоко гнездится в человеческом сердце, что я все еще не потерял ее!

Уже семь часов утра. Мы собираемся перебраться на плот. Вдруг «Ченслер» начинает быстро погружаться в воду; плотники и матросы, работающие на плоту, вынуждены обрубить швартовы, чтобы не попасть в водоворот вместе с кораблем.

Мы испытываем мучительную тревогу: как раз в то мгновение, когда бездна готовится поглотить судно, плот, наше единственное спасение, может ускользнуть от нас!

Два матроса и юнга потеряв голову бросаются в море вслед за плотом, но бороться с волнами они не в силах. Вскоре всем нам становится ясно, что они не смогут ни добраться до плота, ни вернуться на судно: волны и ветер слишком сильны. Роберт Кертис привязывает себе к поясу веревку и бросается к ним на помощь. Напрасное самопожертвование! Еще прежде, чем он успевает доплыть до них, трое несчастных, несмотря на свои отчаянные усилия, исчезают в пучине, тщетно протягивая к нам руки!

Матросы вытаскивают из воды Роберта Кертиса, который весь избит валами, — валы уже доходят до верхушек мачт.

Между тем Даулас и матросы пытаются снова приблизиться к судну с помощью шестов, которыми они гребут как веслами. После часа напряженной работы, часа, показавшегося нам веком, так как море за это время поднялось до уровня марсов, плот, отнесенный только на два кабельтовых¹, приблизился к «Ченслеру». Боцман

¹ Около четырехсот метров. (Прим. автора.)

бросает Дауласу швартов, и плот снова привязывают к такелажу грот-мачты.

Нельзя терять ни минуты: возле тонущего судна образуется сильный водоворот, и поверхность воды покрывается огромными пузырями.

— На плот! На плот! — кричит Роберт Кертис.

Мы бросаемся к плоту. Андре Летурнер, уверившись, что мисс Херби спустилась, сам благополучно перебирается на площадку плота, а вслед за ним — и его отец. В течение нескольких минут мы садимся все, кроме капитана Кертиса и старика матроса О’Реди.

Роберт Кертис стоит на грот-марсе. Он покинет свое судно только перед тем, как оно канет в бездну. Это его долг и его право. Какое волнение, по-видимому, охватывает капитана в эти минуты прощания с «Ченслером» — судном, которое он любит, которым он еще командует!

Ирландец остался на фор-марсе.

— Садись на плот, старина! — кричит ему капитан.

— Судно тонет? — с величайшим хладнокровием спрашивает упрямый старик.

— Да. Тонет.

— Значит, надо уходить, — отвечает О’Реди, стоя по пояс в воде.

И, тряхнув головой, прыгает на плот.

Роберт Кертис еще остается на марсе; он бросает вокруг прощальный взгляд и покидает свой корабль последним.

Пора! Швартовы медленно перерезают, и плот медленно отплывает от гибнущего судна.

Все мы смотрим в ту сторону, где идет ко дну корабль. Сначала исчезает верхушка фок-мачты, затем — грот-мачты, и, наконец, от красавца «Ченслера» не остается и следа.

— *Седьмое декабря. Продолжение.* — Уносящий нас плот затонуть не может. Он сделан из бревен, которые при любых обстоятельствах будут держаться на воде. Но не разобьют ли его волны? Не перетрутся ли канаты, которыми он связан? Не поглотит ли море горстку потерпевших кораблекрушение, собравшихся на этой скорлупе?

Из двадцати восьми человек, отплывших на «Ченслере» из Чарлстона, десять уже погибло.

Осталось, значит, восемнадцать — восемнадцать человек на плоту, имеющем футов сорок в длину и двадцать в ширину.

Вот имена тех, кто остался в живых: Летурнеры, инженер Фолстен, мисс Херби и я — пассажиры; капитан Роберт Кертис, лейтенант Уолтер, боцман, буфетчик Хоббарт, повар — негр Джинкстроп, плотник Даулас и семь матросов: Остин, Оуэн, Уилсон, О'Реди, Берке, Сандон и Флейпол.

Не довольно ли бедствий ниспослано нам небом за семьдесят два дня — с тех пор как мы покинули берега Америки? Не достаточно ли уже тяжело бремя страданий, возложенное на нас? Даже самые доверчивые не смеют надеяться.

Но не надо заглядывать в будущее, будем думать только о настоящем и отмечать день за днем все эпизоды разыгрывающейся драмы.

С пассажирами плота читатель уже знаком. Скажем несколько слов о провизии и вещах, оставшихся в их распоряжении.

Роберт Кертис мог погрузить на плот только то, что удалось извлечь из камбуза; большая часть провианта пропала в тот момент, когда опустилась под воду палуба

«Ченслера». Запасы наши скудны, если принять во внимание, что придется кормить восемнадцать человек и что пройдет, быть может, много времени, прежде чем мы увидим корабль или землю. Бочонок с сухарями, бочонок с сушеным мясом, маленькая бочка водки, две бочки воды — вот и все, что нам удалось спасти. Поэтому необходимо с первого же дня установить рацион.

Запасной одежды нет никакой. Несколько парусов будут служить нам одновременно и одеялами и крышей. Инструменты, принадлежащие плотнику Дауласу, секстан и компас, карта, складные ножи, металлический чайник, жестяная кружка, с которой никогда не расстанется старый ирландец О'Реди, — таковы инструменты и утварь, которыми мы располагаем. Все ящики, стоявшие на палубе в ожидании погрузки на первый плот, затонули, когда судно стало погружаться в море, а пробраться в трюм после этого было невозможно.

Положение наше тяжелое, но отчаиваться нет основания. К несчастью, следует опасаться, что с упадком физических сил у многих пропадет и воля к борьбе. К тому же среди нас есть лица с дурными наклонностями. Справиться с ними будет нелегко.

XXXI

— *Седьмое декабря. Продолжение.* — Первый день прошел без приключений.

Сегодня в восемь часов утра капитан Кертис собрал всех нас, пассажиров и матросов.

— Друзья мои, — сказал он, — выслушайте меня. Я командую на этом плоту, как командовал на борту «Ченслера», и рассчитываю на повиновение каждого из вас. Будем же думать только об общем спасении, будем действовать дружно, и да смилуется над нами небо!

Эти слова были встречены всеобщим одобрением.

Ветерок, направление которого капитан определил по компасу, окреп и подул с севера — обстоятельство весьма благоприятное. Надо немедля им воспользоваться, чтобы возможно скорее вернуться к берегам Америки. Плотник Даулас занялся установкой мачты, гнездо которой было прилажено на передней части плота; он сделал две подпорки, чтобы придать мачте устойчивость. Тем временем боцман и матросы прикрепили маленький бом-брамсель к рее, специально для этого предназначенной.

К половине десятого мачта уже поставлена и укреплена при помощи вант. Парус поднят, галс посажен, шкот выбран, и плот, подгоняемый ветром, идет довольно быстро; ветер еще крепчает.

Как только кончили эту работу, плотник принялся за установку руля, который позволит нам придерживаться желаемого направления. Роберт Кертис и инженер Фолстен дают плотнику советы и указания. После двухчасовой работы удастся приладить к заднему краю плота подобие кормового весла, вроде того, что употребляют майяцы.

В это время капитан Кертис производит необходимые наблюдения, чтобы точно вычислить долготу, а с наступлением полудня измеряет высоту солнца. Вот результаты его наблюдений:

Северная широта — $15^{\circ} 7'$.

Западная долгота — $49^{\circ} 35'$, считая от Гринвичского меридиана.

Эта точка, нанесенная на карту, показывает, что мы находимся приблизительно на расстоянии шестисот пятидесяти миль к северо-востоку от Парамарибо, самой близкой к нам части южноамериканского материка, то есть берегов голландской Гвианы.

А между тем мы не можем даже при наличии пассатов рассчитывать на то, что нам удастся делать более десяти-двенадцати миль в день на таком несовершенном сооружении, как плот, неспособном спорить с ветром. Другими словами — при самых благоприятных обстоятельствах нам понадобится два месяца, чтобы достигнуть берега, если только мы не встретим какое-нибудь судно — случай маловероятный. В этой части Атлантического океана корабли ходят гораздо реже, чем дальше к северу или югу. К несчастью, нас отнесло в сторону от путей, по которым следуют английские или французские трансатлантические корабли, направляющиеся к Антильским островам или в Бразилию; лучше не рассчитывать на случайную встречу. А если наступит штиль, если ветер переменится и понесет нас на восток, понадобится, может быть, и не два месяца, а четыре, шесть; а ведь наши съестные припасы кончатся к концу третьего месяца!

Итак, осторожность требует, чтобы мы с первого же дня ограничились своими потребностями. Капитан Кертис совещался с нами по этому поводу, и мы ввели суровый режим, которого намерены придерживаться. Рацион установлен одинаковый для всех и с таким расчетом, чтобы лишь наполовину утолять голод и жажду. Управление плотом не требует большого расхода физических сил. Нам можно поэтому довольствоваться и скудным питанием. Водка, — а в бочонке ее имеется только пять галлонов¹, — будет выдаваться очень скупно. Никто не имеет права прикасаться к ней без разрешения капитана.

Режим «на борту» установлен следующий: пять унций мяса и пять унций сухарей в день на душу. Немного, но тут ничего не поделаешь, ибо восемнадцать человек съедят в день более чем по пяти фунтов каждого из этих

¹ Около двадцати трех литров. (Прим. автора.)

продуктов, то есть в три месяца — шестьсот фунтов. В нашем же распоряжении имеется не больше шестисот фунтов мяса и сухарей. Следовательно, рацион нельзя увеличить. Воды же у нас около ста тридцати двух галлонов¹, и решено, что мы будем получать на человека всего одну пинту² в день; таким образом воды нам тоже хватит на три месяца.

Раздача съестных припасов будет производиться в десять часов утра боцманом. Каждый получит на день свой рацион сухарей и мяса, а съесть его будет, как и когда захочет. За недостатком посуды — ведь у нас нет ничего, кроме чайника и кружки ирландца, — вода будет выдаваться два раза в день, в десять часов утра и в шесть вечера: каждому придется выпить ее тут же.

Надо заметить, что у нас есть надежда увеличить свои запасы: дождь и рыбная ловля могут оказаться для нас немалым подспорьем. На плоту выставлены две пустые бочки в расчете на то, что дождь наполнит их. А рыболовную снасть взялись изготовить матросы; плот потащит ее за собой.

Вот какие меры приняты нами. Они всеми одобрены и будут строго соблюдаться. Лишь при самом суровом режиме можно надеяться, что мы избегнем ужасов голода. Жестокие испытания научили нас предусмотрительности, и если нам придется терпеть еще большие лишения, то лишь потому, что судьба пошлет нам новые удары!

XXXII

— *С восьмого по семнадцатое декабря.* — С наступлением вечера мы забились под паруса. Утомленный дол-

¹ Около шестисот литров. (*Прим. автора.*)

² 0,56 литра. (*Прим. автора.*)

гим пребыванием на рангоуте, я на несколько часов за-
снул. Плот, относительно мало нагруженный, плывет до-
вольно легко. Море спокойно, и волны не беспокоят нас.
К несчастью, волнение стихло лишь потому, что спадает
ветер, и к утру я вынужден отметить в дневнике: штиль.

С наступлением дня я не мог записать ничего нового.
Отец и сын Летурнеры тоже проспали часть ночи. Мы
еще раз пожали друг другу руки. Отдохнула и мисс Херби;
ее лицо уже не кажется таким усталым, оно, как всегда,
дышит спокойствием.

Мы находимся ниже одиннадцатой параллели. Стоит
сильная жара, солнце светит ярко. Воздух насыщен го-
рячими испарениями. Ветер налетает порывами, и в
промежутках, увы, слишком продолжительных, парус
неподвижно висит на мачте. Но Роберт Кертис и боц-
ман по некоторым приметам, в которых разбираются
только моряки, предполагают, что какое-то течение ув-
лекает нас на запад — со скоростью двух-трех миль в
час. Это была бы для нас удача, которая сильно сокра-
тила бы наше плавание. Хочется надеяться, что капитан
и боцман не ошиблись — ведь с первых же дней в такую
жару нам едва хватает нашего рациона воды, чтобы уто-
лить жажду!

И, однако, с тех пор как мы покинули «Ченслер», или,
вернее, марсы корабля, чтобы пересечь на плот, положе-
ние значительно улучшилось. Ведь «Ченслер» мог в лю-
бую минуту затонуть, а деревянная площадка, которую мы
сейчас занимаем, относительно прочна. Да, повторяю, по-
ложение заметно улучшилось, и по сравнению с прежним
все мы чувствуем себя неплохо. У нас есть некоторые
удобства. Мы можем передвигаться по плоту. Днем мы со-
бираемся, разговариваем, спорим, смотрим на море. Но-
чью спим под защитой парусов. Развлекаемся, наблюдая

за горизонтом и следя за рыболовными снастями, опущенными в воду.

— Господин Казаллон, — говорит мне Андре Летурнер через несколько дней после нашего перехода на плот, — мне кажется, что здесь нам живется так же спокойно, как на острове Хэм-Рок.

— Да, дорогой Андре.

— Но прибавлю, что у плота есть перед островом важное преимущество: он движется.

— При попутном ветре, Андре, преимущество явно на стороне плота, но если ветер переменится...

— Полно, господин Казаллон! — отвечает молодой человек. — Не будем смотреть на будущее слишком мрачно. Побольше веры!

Вера воодушевляет всех нас! Да! Нам кажется, что ужасные наши испытания кончились! Обстоятельства переменились к лучшему. Все мы почти успокоились.

Я не знаю, что происходит в душе Роберта Кертиса и не могу сказать, разделяет ли он наши радужные надежды. Держится он большей частью особняком. Это объясняется, конечно, лежащей на нем огромной ответственностью. Он — капитан, он обязан спасти не только свою жизнь, но и наши! Я уверен, что он понимает свой долг именно так. Поэтому он часто сидит погруженный в размышления, и мы стараемся не беспокоить его.

В эти долгие часы большинство матросов спит на переднем конце плота. По приказу капитана другую половину отвели пассажирам; здесь соорудили палатку, которая дает нам немного тени. Чувствуем мы себя удовлетворительно. Только лейтенанту Уолтеру никак не удается поправиться. Заботы, которыми мы окружаем его, не идут ему впрок, и он слабеет с каждым днем.

Только теперь я вполне оценил Андре Летурнера.

Этот славный молодой человек — душа нашего маленького кружка. Он обладает оригинальным умом, его суждения часто поражают своей новизной и неожиданностью. Беседа с ним нас развлекает и подчас бывает очень поучительна. Когда Андре говорит, его несколько болезненное лицо оживает. Отец, можно сказать, упивается его словами. Иногда он берет сына за руку и не выпускает ее целыми часами.

Мисс Херби, как всегда, очень сдержанная, все же порой принимает участие в наших беседах. Каждый из нас старается заботами и вниманием отвлечь ее от мыслей об утрате людей, которые считались ее покровителями. Эта молодая девушка нашла в господине Летурнере надежного друга, почти отца; когда она обращается к нему, в ее словах сквозит непринужденность, объясняемая пожилым возрастом Летурнера. По его настоянию она рассказала ему свою жизнь — жизнь, полную мужества и самоотверженности. На что может рассчитывать бедная сирота? Она прожила два года в доме миссис Кир и теперь осталась без всяких средств, но со спокойной верой в будущее, ибо она готова встретить любые испытания. Мисс Херби внушает нам уважение своим характером, своей нравственной силой, и до сих пор ни один из самых грубых людей, находящихся на борту, не осмелился оскорбить ее ни словом, ни жестом.

Двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого декабря никаких перемен в нашем положении не произошло. Ветер по-прежнему налетал порывами. Плавание наше ничем не нарушалось. Никаких работ на плоту не было надобности выполнять. Не пришлось даже переделывать руль, вернее кормовое весло. Плот идет, подгоняемый ветром, он достаточно устойчив и не дает крена ни в одну, ни в другую сторону. На переднем конце плота всегда

дежурят несколько матросов: им приказано зорко наблюдать за морем.

Уже прошла неделя с тех пор, как мы покинули «Ченслер». Я замечаю, что мы привыкли к нашему рациону — по крайней мере к рациону еды. Правда, нам не приходится истощать свои силы физической работой. Как говорится в просторечии, «мы не изматываем себя» — выражение, хорошо передающее мою мысль; в наших условиях человеку немного надо для поддержания сил. Самое тяжелое для нас — это недостаток воды: в такую жару нам явно не хватает выдаваемой порции.

Пятнадцатого декабря возле плота появилась целая стая рыб из породы спаров. Хотя наши рыболовные снасти состоят всего-навсего из длинных веревок с загнутым гвоздем на конце и кусочками сухого мяса в виде приманки, мы вылавливаем множество спаров, до того они прожорливы.

Да, улов поистине чудесный, и в этот день у нас на плоту праздник. Мы жарим рыбу на вертеле, варим ее в морской воде, разведя костер на переднем конце плота. Какое пиршество! Да и пополнение наших запасов... Рыбы так много, что за два дня мы наловили ее около двухсот фунтов. Если бы еще вдобавок пошел дождь, то лучшего и желать нельзя было бы.

К несчастью, стая спаров недолго оставалась в наших водах. 17 декабря на поверхности моря появилось несколько крупных акул — из чудовищной породы пятнистых морских волков, в четыре-пять метров длиной. Плавники и спина у них черные, с белыми пятнами и поперечными полосами. Близость этих ужасных акул всегда вызывает тревогу. Плот наш не высок, мы находимся почти на одном с ними уровне, и несколько раз их хвосты ударили по нашему борту с невероятной силой.

Однако матросам удалось прогнать их ударами аншпугов. Я был бы очень удивлен, если бы акулы не последовали за нами, считая нас верной добычей. Не нравятся мне эти «предчувствующие» чудовища.

XXXIII

— *С восемнадцатого по двадцатое декабря.* — Сегодня погода переменилась, ветер усилился. Не будем жаловаться, он нам благоприятствует. Капитан приказал из предосторожности получше укрепить мачту, чтобы вздувшийся парус не опрокинул ее. После этого тяжелый плот стал двигаться несколько быстрее, оставляя за собой длинный след.

Днем на небе появились облака, и жара несколько спала. Волны сильнее раскачивают плот, два или три раза они даже залили его. К счастью, плотнику удалось сделать из нескольких досок фальшборт в два фута вышиной, и теперь мы лучше защищены от моря. Бочонки с провизией и водой крепко принайтовлены двойным канатом. Если бы волны унесли их, это обрекло бы нас на ужасные бедствия, нельзя даже и подумать о такой возможности без содрогания!

Восемнадцатого декабря матросы достали из воды морские водоросли, известные под названием «саргассовые», мы уже встречали их между Бермудскими островами и Хэм-Роком. Это не что иное, как сахаристые ламинарии. Я советую моим спутникам пожевать их стебли. Они очень освежают рот и горло.

Сегодня не произошло ничего нового. Я лишь заметил, что некоторые матросы — Оуэн, Берке, Флейпол, Уилсон и негр Джинкстроп — часто совещаются между собой. О чем? Не могу понять. Они умолкают, как только кто-нибудь из офицеров или пассажиров приближает-

ся к ним. Роберт Кертис заметил это еще до меня. Эти тайные совещания ему не нравятся. Он решил внимательно наблюдать за матросами. Негр Джинкстроп и матрос Оуэн — негодяи, которых следует остерегаться, так как они могут увлечь за собой других.

Девятнадцатого декабря зной становится невыносимым. На небе ни облачка. Ветер не надувает паруса, и плот остается неподвижным. Несколько матросов окунулось в море, и купание очень освежило их, на время умирив жажду. Но купаться в море, изобилующем акулами, чрезвычайно опасно, и никто из нас не последовал примеру этих беспечных людей. Кто знает, может быть, позднее мы не устоим и сами будем купаться. Когда видишь, что плот стоит на месте, поверхность океана гладка, парус вяло обвис на мачте, становится страшно: неужели же наше плавание еще затянется?

Нас очень беспокоит здоровье лейтенанта Уолтера. Молодого человека снедает лихорадка, припадки которой наступают через неравные промежутки времени. Быть может, с болезнью удалось бы справиться с помощью хинина. Но, повторяю, рубку затопило так быстро, что ящик с медикаментами в мгновение ока исчез в волнах. Кроме того, бедный малый, по-видимому, страдает туберкулезом — болезнью неизлечимой, и за последнее время его состояние очень ухудшилось. Некоторые симптомы весьма характерны. У Уолтера сухой кашель, короткое дыхание, обильные выпоты, особенно по утрам; он худеет, нос заострился, скулы выдаются, и на бледном лице пятнами выделяется чахоточный румянец, щеки впали, рот светло, глаза неестественно блестят. Если бы даже несчастный лейтенант находился в лучших условиях, медицина оказалась бы бессильной перед этой беспощадной болезнью.

Двадцатого декабря та же жара, плот все так же не-

подвижен. Горячие лучи солнца проникают сквозь полотно нашего тента, и зной так невыносим, что мы просто задыхаемся. С каким нетерпением мы ждем минуты, когда боцман выдаст нам скудную порцию воды! С какою алчностью мы глотаем эти несколько капель теплой жидкости! Кто не испытывал мук жажды, тот меня не поймет.

Лейтенант Уолтер очень осунулся; недостаток воды он переносит хуже, чем все мы. Я заметил, что мисс Херби отдает ему почти всю свою порцию. Эта добрая душа всеми силами старается хоть немного облегчить страдания нашего несчастного товарища.

Сегодня мисс Херби сказала мне:

— Наш больной слабеет с каждым днем, господин Казаллон.

— Да, мисс, — ответил я, — и мы ничего не можем сделать для него, ничего!

— Тише, — сказала мисс Херби, — как бы он нас не услышал!

Она отходит, садится на край плота и, опустив голову на руки, погружается в раздумье.

Сегодня произошел неприятный случай, о котором следует упомянуть. Матросы Оуэн, Флейпол, Берке и негр Джинкстроп оживленно разговаривали о чем-то целый час. Они спорили вполголоса и, судя по их жестам, были сильно возбуждены. После этого разговора Оуэн решительно направился к той части плота, которая отведена пассажирам.

— Ты куда, Оуэн? — спрашивает у него боцман.

— Куда нужно, — нахально отвечает матрос.

Услышав этот грубый ответ, боцман поднимается, но Роберт Кертис, опередив его, уже стоит лицом к лицу с Оуэном.

Матрос, выдержав взгляд капитана, развязно заявляет:

— Капитан, я должен поговорить с вами от имени товарищей.

— Говори, — холодно отвечает Роберт Кертис.

— Это касательно водки, — продолжает Оуэн. — Вы знаете, маленький бочонок... для кого его берегут? Для дельфинов, для офицеров?

— Дальше? — спрашивает Роберт Кертис.

— Мы требуем, чтобы по утрам нам выдавали, как всегда, нашу порцию.

— Нет, — отвечает капитан.

— Что такое?.. — вскрикивает Оуэн.

— Я говорю: нет.

Матрос пристально смотрит на Роберта Кертиса; на его губах змеится недобрая улыбка. Одно мгновение он колеблется, может быть, собирается настаивать, но, сдержавшись, молча возвращается к товарищам. И они начинают шушукаться.

Правильно ли поступил Роберт Кертис, так решительно отвергнув просьбу матросов? Это покажет будущее. Когда я заговорил об этом случае с капитаном, он сказал:

— Дать водку этим людям? Уж лучше выбросить бочонок в море!

XXXIV

— *Двадцать первое декабря.* — Вчерашнее столкновение пока еще не имеет никаких последствий.

Спары опять появились на несколько часов возле нашего плота; улов оказался богатым. Рыбу складывают в пустую бочку; теперь, когда у нас есть лишний запас

провизии, мы надеемся, что по крайней мере не будем страдать от голода.

Наступил вечер, но не принес с собой прохлады, обычной для тропических ночей. Сегодня будет, по-видимому, очень душно. Над волнами носятся тяжелые испарения. Молодой месяц взойдет лишь в половине второго утра. Ни зги не видно, и вдруг горизонт озаряется ослепительным светом зарниц. Электрические вспышки пожаром охватывают часть неба. Но грома нет и в помине. Тишина кругом стоит такая, что становится жутко.

Мисс Херби, Андре Летурнер и я, дожидаясь мгновения прохлады, целых два часа наблюдаем эти предвестники грозы, эту репетицию, устроенную природой; мы забываем об опасностях, восхищаясь великолепным зрелищем: битвой между заряженными электричеством облаками. Они походят на зубчатые стены крепости, гребни которых поминутно вспыхивают огнем. Души самые ожесточенные чувствительны к таким величественным зрелищам; матросы внимательно наблюдают за этим разгорающимся в облаках пожаром. В то же время все настороженно следят за «всполохами», которые так называют в просторечье, потому что они вспыхивают то тут, то там и сеют тревогу, предвещая близкую битву стихий. В самом деле, что станется с нашим плотом среди бешеного разгула моря и неба?

До полуночи мы все сидим на заднем конце плота. При свете молний, особенно ярких в ночной тьме, лица кажутся мертвенно-бледными; такой призрачный оттенок обычно придает предметам пламя спирта, насыщенного солью.

— Вы не боитесь грозы, мисс Херби? — спрашивает Андре Летурнер у молодой девушки.

— Нет, — отвечает мисс Херби, — я сказала бы, что

чувствую не страх, а скорее благоговение. Ведь это одно из самых прекрасных явлений природы, не восхищаться им нельзя.

— Да, это правда, мисс Херби, — отвечает Андре Латурнер, — особенно когда рокочет гром. Нет звуков более величественных... Разве может выдержать с ними сравнение гром артиллерии, этот сухой грохот без раскатов? Гром наполняет душу, это именно звук, а не шум, он то усиливается, то стихает, как голос певца. Правду говоря, мисс Херби, никогда голос артиста не волновал меня так, как этот великий несравненный голос природы.

— Глубокий бас, — сказал я смеясь.

— Да, в самом деле, — ответил Андре, — и хотелось бы наконец услышать его... ведь эти молнии без звука так однообразны!

— Да что вы, дорогой Андре, — ответил я. — Будет гроза, ничего не поделаешь, но только не накликайте ее.

— Гроза — это ветер!

— И вода, конечно, — прибавила мисс Херби, — вода, которой нам так не хватает!

Многое можно было бы возразить этим двум молодым людям, но мне не хочется примешивать свою грустную прозу к их поэзии. Они рассматривают грозу с особой точки зрения и вот уже целый час как занимаются тем, что поэтизируют и призывают ее.

Тем временем звездное небо постепенно скрылось за густой пеленой облаков. Звезды гаснут одна за другой в зените после того, как зодиакальные созвездия исчезли в тумане, заволакивающим горизонт. Над нашими головами повисли, закрыв последние звезды, тяжелые черные тучи. Из них поминутно вырываются белые снопы света, озаряя плывущие ниже маленькие сероватые облака.

Все электричество, накопившееся в верхних слоях ат-

мосферы, до сих пор разряжалось бесшумно, но так как воздух очень сух и служит поэтому плохим проводником, электрические флюиды не замедлят проложить себе путь с сокрушительной силой. Ясно, что вскоре разразится страшная гроза.

Роберт Кертис и боцман вполне со мной согласны. Боцман руководствуется только своим чутьем моряка — чутьем непогрешимым; что касается капитана, то, кроме чутья *weather wise*¹, он обладает познаниями ученого. Он показывает мне густое облако, которое метеорологи называют «*cloud-ring*»²; такой формы облака образуются только в жарком поясе, насыщенном испарениями, которые пассаты несут с различных точек океана.

— Да, господин Казаллон, — говорит мне Роберт Кертис, — мы находимся в зоне гроз, куда ветер занес наш плот. Наблюдатель, одаренный тонким слухом, постоянно слышит здесь раскаты грома. Это замечание было сделано уже давно, и я думаю, что оно верно.

— Мне кажется, — ответил я, напряженно прислушиваясь, — что различаю раскаты, о которых вы говорите.

— В самом деле, — сказал Роберт Кертис. — Это первые предвестники бури, которая через два часа разгуляется на славу. Ну что ж! Мы готовы ее встретить.

Никто из нас не думает о сне, да и не мог бы спать в этой атмосфере. Молнии сверкают все ярче, они вспыхивают на горизонте, охватывая пространство в 100 — 150°, и постепенно распространяются по всему небосводу, а воздух начинает излучать фосфоресцирующий свет.

Наконец раскаты грома приближаются, становятся явственнее, но, если можно так выразиться, это пока еще закругленные звуки, без углов, то есть без сильных взры-

¹ Буквально: угадывающий погоду (*англ.*).

² Кольцеобразное облако (*англ.*).

вов, — рокот, не усиливаемый эхом. Небесный свод как бы окутан облаками, заглушающими грохот электрических разрядов.

Море до сих пор оставалось спокойным, тяжелым, почти недвижимым, но постепенно на нем начинают вздыматься широкие волны — безошибочная примета для моряков. Они говорят, что море «вот-вот разыграется», что где-то вдалеке прошла буря и оно ее чувствует. Вскоре поднимается страшный ветер. Если бы мы были на «Ченслере», капитан приказал бы «привести судно к ветру», но плот не может маневрировать, и ему придется нестись по воле бури.

В час ночи яркая молния, сопровождаемая через несколько секунд ударом грома, показала нам, что гроза уже почти над нами. Горизонт вдруг исчез в плотном сыром тумане, и нам почудилось, что стена тумана вплотную придвинулась к нам.

И тотчас же послышался голос одного из матросов:
— Шквал! Шквал!

XXXV

— *Ночь с двадцать первого на двадцать второе декабря.* — Боцман хватает фал, привязанный к парусу, и одним рывком спускает рею. И как раз вовремя, ибо шквал налетел с необычайной силой. Если бы не предостерегающий крик матроса, шквал опрокинул бы нас и швырнул в море. Палатку, устроенную на заднем конце плота, снесло в один миг.

Но если плот, еле возвышающийся над водой, не боится ветра и не может пострадать от него, ему угрожают чудовищные волны, вздымаемые ураганом. Море на несколько минут как бы оцепенело под напором ветра; но

затем, противодействуя его силе, волны поднимаются еще с большей яростью, еще выше.

Плот отражает эти беспорядочные скачки волн, он не идет вперед, его кидает из стороны в сторону, как щепку.

— Привяжите себя! Привяжите себя! — кричит боцман, бросая нам веревки.

На помощь пассажирам приходит Роберт Кертис. И вот Летурнеры, Фолстен и я уже крепко привязаны к плоту. Море смое нас только в том случае, если плот будет разбит. Мисс Херби привязала себя за талию к одному из шестов унесенной ветром палатки. При свете молнии я вижу, что лицо ее осталось спокойным, ясным.

Теперь молнии сверкают непрерывно и сопровождаются раскатами грома. Этим светом, этими звуками мы ослеплены, оглушены. Удары грома следуют один за другим, одна молния не успевает погаснуть, как уже полыхает другая. От этих ярких вспышек кажется, что весь небосвод объят пламенем. Да и самый океан охвачен пожаром; и мне чудится, что молнии слетают с гребней волн, взвиваются в небо и скрещиваются с такими же молниями в облаках. В воздухе распространяется сильный запах серы, но молнии до сих пор нас щадили и падали только в воду.

К двум часам ночи гроза разбушевалась вовсю. Ветер превратился в ураган, и сильное волнение грозит разбить плот. Плотник Даулас, Роберт Кертис, боцман и другие матросы стараются получше скрепить его веревками. На нас обрушиваются огромные валы, окатывая с ног до головы почти теплой водой. Летурнер подставляет себя этим яростным волнам как бы для того, чтобы защитить сына. Мисс Херби неподвижна, как статуя, олицетворяющая покорность судьбе.

При мимолетном свете молний я замечаю длинные и

густые рыжеватые облака; слышится треск, напоминающий ружейную пальбу; этот особый звук производится бесчисленными электрическими разрядами, встречающимися на своем пути зерна града. И в самом деле, от столкновения грозовой тучи с холодной струей воздуха образовался град, и теперь он идет с неистовой силой. Градины величиной с орех падают на нас как снаряды и ударяют по плоту с металлическим звуком.

Град продолжается с полчаса и понемногу сбивает ветер, который, мечась из стороны в сторону, через некоторое время возобновляется с небывалой силой. Ванты лопнули, и мачта лежит поперек плота, матросы спешат высвободить ее из гнезда, чтобы она не переломилась у основания. Руль унесен валами, а вслед за ним и кормовое весло; удержать его было невозможно. Левый фальшборт сорван, и в образовавшуюся брешь хлынули волны.

Плотник и матросы хотят исправить повреждение, но качка мешает им, они валятся один на другого. Вдруг плот, поднятый на гребень чудовищного вала, наклоняется под углом более чем в 45°. Как этих людей не унесло? Как не разорвались удерживающие нас веревки? Как волны не швырнули всех нас в море? На эти вопросы невозможно ответить. Мне кажется немислимым, чтобы один из валов не опрокинул плот, и тогда мы, привязанные к этим доскам, утонем, задохнемся.

И в самом деле, около трех часов утра, когда ураган разыгрался с еще большей силой, плот, поднятый волной, стал чуть ли не на ребро. Раздались крики ужаса! Мы опрокинемся!.. Нет... Плот удержался на гребне волны, на непостижимой высоте, и при ослепительном свете перекрещивающихся молний мы, ошеломленные, оцепе-

невшие от страха, окидываем взглядом море: оно бурлит, пенится, словно ударяясь о скалы.

Затем плот почти тотчас же снова принимает горизонтальное положение; но при толчке порвались канаты, которыми были привязаны бочки. На моих глазах один из них исчез в море, у другого, наполненного водой, выскочило дно.

Матросы бросаются, чтобы удержать бочонок с сушеным мясом. Но один из них защебил ногу между разошедшимися досками плота и упал, испуская жалобные стоны.

Я хочу бежать к нему на помощь, с трудом развязываю удерживающие меня веревки... Слишком поздно, и при вспышке молнии я вижу, что несчастный матрос, которому удалось высвободить ногу, унесен волной, залившей весь плот. Его товарищ исчез вместе с ним. Мы лишены возможности спасти их.

Волна опрокидывает меня на настил плота; голова моя ударяется о край какого-то бревна, и я теряю сознание.

XXXVI

— *Двадцать второе декабря.* — Наконец наступило утро; из-за облаков, еще оставшихся на небе после бури, показалось солнце. Борьба стихий продолжалась всего несколько часов, но она была ужасна; ветер и вода вступили в чудовищное единоборство.

Я отметил только важнейшие события: ведь обморок, вызванный падением, лишил меня возможности видеть конец катаклизма. Знаю только, что вскоре после сильного ливня ураган утих. Избыток атмосферного электричества наконец получил грозовую разрядку. Гроза не затянулась на всю ночь. Но какой урон, какие невознагра-

димые потери она причинила нам за это короткое время. Какие бедствия нас теперь ожидают! Мы не сумели собрать ни капли из тех потоков воды, которые пролились на нас!

Я пришел в себя благодаря заботам Летурнеров и мисс Херби. Но если я не был унесен, когда на нас вторично хлынули волны, то этим обязан Роберту Кертису.

Один из двух матросов, погибших во время бури, — Остин, двадцати восьми лет, славный парень, энергичный и мужественный. Второй — старик ирландец О'Реди, переживший на своем веку столько кораблекрушений.

Теперь нас на плоту только шестнадцать — значит, около половины тех, кто сел на борт «Ченслера», уже нет в живых.

Что у нас осталось из провизии?

Роберт Кертис решил сделать точный подсчет уцелевшим запасам. На сколько времени их хватит?

Вода у нас пока есть, так как на дне разбившейся бочки осталось около четырнадцати галлонов¹, а второй бочонок уцелел. Но бочонок с сушеным мясом и тот, в который мы складывали наловленную рыбу, унесены; из этого запаса не осталось ничего. Что касается сухарей, то Роберт Кертис полагает, что их уцелело не более шестидесяти фунтов.

Шестьдесят фунтов сухарей на шестнадцать человек — это значит, что пища у нас есть только на восемь дней, если считать по полфунта в день на душу.

Роберт Кертис ничего не скрыл от нас. Его выслушали в полном молчании. В таком же молчании прошел весь день 22 декабря. Все мы ушли в себя, но ясно, что одни и те же мысли преследуют каждого из нас. Мне ка-

¹ Шестьдесят пять литров. (Прим. автора.)

жется, что теперь мы смотрим друг на друга совсем другими глазами и что призрак голода уже стоит над нами. До сих пор мы еще по-настоящему не страдали ни от голода, ни от жажды. А теперь рацион воды придется уменьшить, что же касается рациона сухарей...

Как-то я подошел к группе матросов, растянувшихся на краю плота, в тот момент, когда Флейпол иронически говорил:

— Если кому суждено умереть, так уж пусть лучше поскорей умирает.

— Да, — ответил Оуэн, — по крайней мере его порция достанется другим.

День прошел в подавленном настроении. Каждый получил свои полфунта сухарей. Некоторые набросились на них с жадностью, другие бережно отложили часть про запас. Мне кажется, что инженер Фолстен разделил свою порцию на несколько частей, по числу обычных приемов пищи.

Если кто-нибудь из нас выживет, то это Фолстен.

XXXVII

— *С двадцать третьего по тридцатое декабря.* — После бури ветер, все еще свежий, подул с северо-востока. Надо этим воспользоваться, так как он несет нас к земле. Мачта, исправленная стараниями Дауласа, опять крепко вделана в гнездо, парус поднят, и плот идет, подгоняемый ветром, со скоростью двух — двух с половиной миль в час.

Матросы занялись изготовлением кормового весла из шеста и широкой доски. Оно работает кое-как, но при той скорости, которую ветер сообщает плоту, нет нужды в больших усилиях, чтобы управлять им.

Настил мы тоже исправили, скрепив веревками разо-

шедшиеся доски. Унесенная морем обшивка левого борта заменена новой, и теперь волны не заливают нас. Словом, мы сделали все возможное, чтобы исправить плот — это соединение мачт и рей, — но главная опасность грозит нам с другой стороны.

Небо прояснилось, засияло солнце, а с ним вернулась тропическая жара, от которой мы так страдали за последние дни. Сегодня она, к счастью, умеряется ветром. Палатку вновь соорудили, и мы по очереди ищем там защиты от жгучих солнечных лучей.

Однако недостаток пищи дает себя знать. Мы явно страдаем от голода. У всех ввалились щеки, осунулись лица. У многих из нас явно не в порядке нервная система; пустота в желудке вызывает сильные боли. Будь у нас хоть какой-нибудь наркотик, опиум или табак, нам, быть может, удалось бы обмануть голод, усыпить его! Но нет! Мы лишены всего!

Только один человек на плоту не ощущает этой властной потребности. Это лейтенант Уолтер, скупаемый изнурительной лихорадкой, — она-то и «питает» его; но зато больного мучает сильнейшая жажда. Мисс Херби не только отдает ему часть своей порции, но и выпросила у капитана дополнительный рацион воды; каждые четверть часа она смачивает лейтенанту губы. Уолтер не в силах говорить, но он благодарит добрую девушку взглядом. Бедняга! Он обречен, и самый заботливый уход не спасет его. Ему-то во всяком случае уже недолго осталось страдать!

Сегодня, по-видимому, лейтенант сознает свое положение; он подзывает меня рукой. Я сажусь возле него. Тогда он собирает все свои силы и прерывающимся голосом спрашивает:

— Господин Казаллон, я скоро умру?

Я колеблюсь лишь одно мгновение, но Уолтер замечает это.

— Правду! — говорит он. — Всю правду!

— Я не врач и не могу...

— Это неважно! Отвечайте мне, прошу вас!..

Я долго смотрю на больного, потом прикладываю ухо к его груди. За последние дни чахотка, по-видимому, произвела в этом организме ужасные опустошения. Совершенно ясно, что одно из его легких отказалось работать, а другое с трудом справляется со своей задачей. У Уолтера сильно поднялась температура, а при заболевании туберкулезом это, насколько я знаю, признак близкого конца.

Что мне ответить на вопрос лейтенанта?

Он не спускает с меня вопрошающих глаз, а я не знаю, что сказать, и подыскиваю слова для уклончивого ответа.

— Друг мой, — говорю я, — при таком положении никто из нас не может рассчитывать на долгую жизнь! Кто знает, может быть, не пройдет и недели, как все мы тут на плоту...

— Не пройдет и недели! — шепчет лейтенант, по-прежнему не отрывая от меня горящих глаз.

Затем он отворачивается и, по-видимому, забывается сном.

Двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого декабря никаких перемен в нашем положении. Это может показаться невероятным, но мы привыкаем не умирать с голоду. Потерпевшие крушение часто отмечали в своих рассказах то же, что наблюдаю и я. Читая их, я не верил, находил, что все преувеличено. Но это не так. Теперь я вижу, что голод можно переносить гораздо дольше, чем я думал. Между прочим, капитан счел нужным выдавать нам, кроме сухарей, еще несколько капель

водки, и это поддерживает нас гораздо больше, чем можно было бы думать. Если бы такой рацион был нам обеспечен хотя бы на два, на один месяц! Но запасы истощаются, и недалек тот день, когда у нас не будет далее этого скудного пропитания.

Надо, значит, во что бы то ни стало вырвать пищу у моря, а это теперь очень трудно. Все же боцман и плотник смастерили новые удочки, рассучив с этой целью веревку; они вырвали несколько гвоздей из досок настила и прикрепили их к удочкам вместо крючков.

Боцман, по-видимому, доволен своей работой.

— Это, конечно, не то, что заправские удочки, — говорит он, — но рыба все равно может клюнуть. Да вот, все дело в насадке! У нас есть только сухари, а сухарь на удочке не держится. Если бы поймать хоть одну рыбу! Я бы уж использовал ее для насадки. Но как ее словить, эту первую рыбу, — вот в чем загвоздка!

Боцман прав, и ловля вряд ли что-нибудь даст нам. Все же он решается рискнуть, забрасывает удочки. Но, как и можно было ожидать, рыба не клюет. Да и мало рыбы в этих морях!

Двадцать восьмого и двадцать девятого декабря мы снова силимся поймать рыбу — и так же неудачно. Кусочки сухаря, которые мы насаживаем на удочки, размокают в воде. Приходится отказаться от дальнейших попыток. Мы только без всякого толку тратим сухари, нашу единственную пищу, а ведь пришла пора считать даже крошки.

Боцман в поисках выхода вздумал насадить на гвозди лоскутки материи. Мисс Херби оторвала для него кусок своей красной шали. Может быть, этот яркий лоскут, мелькая под водой, привлечет какую-нибудь прожорливую рыбу?

Эту новую попытку предприняли днем тридцатого.

В течение нескольких часов мы забрасываем удочки, но, когда вынимаем их, оказывается, что красный лоскут остался нетронутым.

Боцман совершенно обескуражен. Опять сорвалось! Чего бы мы не дали, чтобы выудить эту первую рыбу, которая дала бы нам возможность поймать и других!

— Есть еще одно средство заправить наши удочки, — говорит мне боцман на ухо.

— Какое? — спрашиваю я.

— Узнаете потом! — отвечает боцман, как-то странно взглянув на меня.

Что он хотел сказать? Ведь этот человек никогда зря не болтает! Я думал о его словах всю ночь.

XXXVIII

— *С первого по пятое января.* — Прошло более трех месяцев с тех пор, как мы вышли на «Ченслере» из Чарлстона. Уже целых двадцать дней мы носимся по океану на нашем плоту, отдавшись на волю стихий! Подвинулись ли мы на запад, к побережью Америки, или же буря отбросила нас еще дальше от земли? Мы даже не имеем возможности ответить на этот вопрос. Во время урагана, имевшего для нас такие роковые последствия, инструменты капитана сломались, несмотря на все предосторожности. У Роберта Кертиса нет уже ни компаса, который помог бы ему определить страны света, ни секстана для измерения высоты светил. Находимся ли мы поблизости от берега или отделены от него сотнями миль? Этого мы не знаем, но опасаемся, что земля далеко: ведь все ополчилось против нас.

Полная неизвестность порою доводит нас до отчаяния; но так как надежда неразлучна с человеческим сердцем, мы порою верим вопреки разуму, что суша недале-

ко. Каждый вглядывается в горизонт и старается различить очертания берега в беспредельной дали океана. Нас, пассажиров, глаза все время обманывают, и это еще обостряет наши мучения. Думаешь, будто увидел... но нет! Это только облако, это туман или более высокая, чем другие, волна. Земли не видно, ни одно судно не выделяется на сероватом фоне воды. Плот неизменно остается в центре пустынного океана.

Первого января мы съели наш последний сухарь, или, вернее говоря, последние сухарные крошки. Первое января! Какие воспоминания пробуждает у нас этот день, и каким тягостным он кажется нам по сравнению с прошлым. Новый год, поздравления, пожелания, сердечное внимание родных и близких, надежда, от которой полнится сердце, — все это не для нас! Кто из нас посмел бы сказать слова, обычно произносимые с улыбкой: «С Новым годом! С новым счастьем!» Кто из нас смеет надеяться прожить еще один день?

И, однако, боцман подошел ко мне и сказал, как-то странно взглянув на меня:

— Господин Казаллон, поздравляю вас...

— С Новым годом?

— Нет, с наступлением нового дня, — и даже это очень самонадеянно с моей стороны, так как на плоту нет ни крошки еды.

Да, больше нечего есть. Это всем нам известно, и, однако, наутро, в час выдачи пайка, это поражает нас, как неожиданный удар. С трудом верится, что наступил абсолютный голод!

К вечеру я почувствовал сильные рези в желудке. Началась мучительная зевота; через два часа боли несколько утихли.

Третьего января я с удивлением убеждаюсь, что никаких болей нет. Я чувствую внутри какую-то бездонную

пустоту, но это скорее душевное состояние, чем физическое ощущение. Мне кажется, что голова у меня невероятно тяжелая, еле держится на плечах, она кружится, точно я стою над пропастью.

Но не все испытывают одно и то же. Некоторые из моих спутников ужасно страдают. Между прочим, плотник и боцман, обладающие волчьим аппетитом, так мучаются, что у них время от времени невольно вырываются стоны. Они туго стянули себе живот веревкой. А ведь это только второй день!

Ах! полфунта сухарей, этот скудный паек, который казался нам недостаточным, каким завидным он стал в наших глазах! Теперь, когда у нас нет ничего, эта порция кажется нам огромной! Если бы нам еще раз выдали эти полфунта, если бы мы получили хоть половину, хоть четверть, мы просуществовали бы несколько дней! Мы ели бы сухари по крошке.

В осажденном городе, обреченном на голод, можно еще отыскать в развалинах, в канавах, в закоулках какую-нибудь кость, какие-нибудь отбросы, чтобы хоть на минуту обмануть голод! Но на этих досках, не раз омытых волнами, уже не найдешь ничего, — ведь мы обыскали все щели, все уголки, куда ветер мог бы занести хоть крошку...

Очень долгими кажутся нам ночи — более долгими, чем дни! Тщетно ждешь от сна хотя бы минутного забвения! Если смыкаешь глаза, то это лишь лихорадочная дрема, полная кошмаров.

Но сегодня ночью, изнемогая от усталости, я на несколько часов уснул, и вместе со мной уснул мой голод.

На следующее утро в шесть часов меня разбудили крики, раздававшиеся на плоту. Я вскакиваю и вижу на передней части плота негра Джинкстропа, матросов Оуэна, Флейпола, Уилсона, Берке, Сандона. Они собра-

лись в кучку и держат себя вызывающе. Эти негодяи завладели инструментами плотника — топором, пилой, лопатой и угрожают капитану, боцману и Дауласу. Я тотчас же подхожу к Роберту Кертису и тем, кто его окружает. Фолстен следует за мной. У нас нет ничего, кроме перочинных ножей, но тем не менее мы полны решимости защищаться.

Оуэн и его отряд идут на нас. Эти несчастные пьяны. Ночью они разбили бочонок с водкой и напились.

Чего они хотят?

Оуэн и негр, более трезвые, чем остальные, подстрекают своих сторонников убить нас; все охвачены каким-то пьяным бешенством.

— Долой Кертиса! — кричат они. — В море капитана! Командует Оуэн! Командует Оуэн!

Вожак — это Оуэн, а негр — его правая рука. Ненависть этих двух человек к офицерам проявилась в этом бунте, который даже в случае удачи не улучшит их положения. Но их мятежники не способны рассуждать; они вооружены, а мы нет — и в этом их сила.

Роберт Кертис, видя, что они приближаются, идет к ним навстречу и кричит громовым голосом:

— Сложите оружие!

— Смерть капитану! — ревет Оуэн.

Негодяй жестом подбадривает своих сообщников, но Роберт Кертис, отстранив пьяных матросов, направляется прямо к нему.

— Чего ты хочешь? — спрашивает он.

— Чтобы никто не командовал на плоту! — отвечает Оуэн. — Здесь все равны!

Глупец! Как будто бы не все равны перед таким бедствием!

— Оуэн, — вторично говорит капитан, — отдай оружие!

— Смелее! — кричит Оуэн своим.

Начинается схватка. Оуэн и Уилсон бросаются на Роберта Кертиса, который отбивается обломком шеста; Берке и Флейпол нападают на Фолстена и на боцмана. Я сцепился с негром Джинкстропом, он размахивает топором, стараясь меня ударить. Я пытаюсь обхватить его руками, чтобы сковать его движения, но негодяй сильнее меня. После недолгой борьбы я чувствую, что начинаю слабеть. Но тут Джинкстроп падает, увлекая меня за собой. Это Андре Летурнер схватил его за ногу и повалил.

Он-то и спас меня. Негр, падая, выпустил оружие, которым я завладел. Я хочу разmozжить ему голову, но Андре останавливает меня в свою очередь.

Взбунтовавшиеся матросы оттеснены на переднюю часть плота. Роберт Кертис, увернувшись от ударов, которые пытался нанести ему Оуэн, схватил топор и размахнулся.

Но Оуэн отскочил в сторону, и топор угодил прямо в грудь Уилсону. Негодяй падает навзничь, прямо в воду и исчезает в волнах.

— Спасите его! Спасите его! — кричит боцман.

— Но он мертв! — отвечает Даулас.

— Э! Именно поэтому!.. — вырывается у боцмана, но он не кончает фразы.

Смертью Уилсона схватка закончилась. Флейпол и Берке, мертвецки пьяные, лежат без движения, мы бросаемся на Джинкстропа и крепко привязываем его к подножию мачты.

С Оуэном совладали плотник и боцман. Роберт Кертис подходит к нему.

— Молись богу! Ты умрешь! — говорит он.

— Вам, видно, страсть как хочется съесть меня! — отвечает Оуэн невообразимо нахальным тоном.

Этот ужасный ответ спас ему жизнь. Роберт Кертис, побледнев, отбрасывает уже занесенный топор, отходит в сторону и садится на край плота.

XXXIX

— *Пятое и шестое января.* — Это происшествие нас глубоко поразило. Слова Оуэна при сложившихся обстоятельствах не могли не потрясти даже сильных духом.

Немного успокоившись, я горячо поблагодарил молодого Летурнера, который спас мне жизнь.

— Вы меня благодарите, — отвечает он, — а ведь вам бы следовало, пожалуй, меня проклинать!

— Вас, Андре!

— Господин Казаллон, я только продлил ваши мучения!

— Все равно, господин Летурнер, — говорит подошедшая к нам в эту минуту мисс Херби, — вы исполнили ваш долг!

Чувство долга — вот что неизменно поддерживает мисс Херби. Она похудела от перенесенных лишений; полинявшее платье разорвано, свисает ключьями, но ни одна жалоба не срывается у нее с языка; молодая девушка не поддается унынию.

— Господин Казаллон, — спросила она, — мы обречены на голодную смерть?

— Да, мисс Херби, — ответил я почти жестко.

— Сколько времени можно прожить без еды?

— Дольше, чем принято думать! Может быть, долгие, бесконечные дни!

— Люди более крепкие страдают сильнее, не так ли? — спрашивает она.

— Да, но зато они скорее умирают.

Как я мог так ответить молодой девушке? Я не нашел

ни одного слова надежды! Я бросил ей в лицо голую, жестокую правду! Или во мне угасло всякое чувство человечности? Андре Летурнер и его отец, присутствовавшие при этом разговоре, поглядывали на меня удивленными ясными глазами, расширенными от голода. Они, должно быть, спрашивают себя, я ли говорю все это.

Несколько минут спустя, когда мы остались с глазу на глаз с мисс Херби, она сказала мне вполголоса:

— Господин Казаллон, окажете вы мне одну услугу?

— Да, мисс, — отвечаю я взволнованно; я готов сделать для мисс Херби все, что в моих силах.

— Если я умру раньше вас, — продолжает мисс Херби, — а это может случиться, ведь я слабее вас, — обещайте бросить мое тело в море.

— Мисс Херби, я совершенно напрасно...

— Нет, нет, — протестует она с полуулыбкой, — вы были правы, что именно так говорили со мной, но обещайте исполнить мою просьбу. Это — малодушие. Живая, я ничего не боюсь... Но после смерти... дайте же мне слово, что бросите меня в море.

Я обещал. Мисс Херби протянула мне руку, и я почувствовал слабое пожатие ее похудевших пальчиков.

Прошла еще одна ночь. Минутами мои страдания так жестоки, что у меня вырываются стоны; потом боли стихают, и на меня нападает какое-то оцепенение. Очнувшись, я с удивлением вижу, что товарищи мои еще живы.

По-видимому, лучше других переносит лишения наш буфетчик Хоббарт, о котором я почти не упоминал до сих пор. Это низенький человечек с хитрой физиономией и вкрадчивым взглядом; он часто улыбается одними губами, глаза его всегда полузакрыты, как бы для того, чтобы скрыть мысли. Все в нем фальшиво. Я готов присягнуть, что это лицемер. Я уже сказал, что лишения, по-

видимому, мало отразились на нем... Не то чтобы он не жаловался — напротив, он без конца хнычет, но, не знаю почему, это хныканье кажется мне притворным. Посмотрим, что будет дальше. Буду следить за этим человеком, так как у меня возникли на его счет некоторые подозрения; хотелось бы проверить их.

Сегодня, 6 января, Летурнер отозвал меня в сторону и сказал, что хочет «поговорить по секрету». Он не желает, чтобы его при этом видели или слышали.

Я отправляюсь с ним на самый дальний край плота, и, так как уже наступил вечер, темнота скрывает нас от посторонних взоров.

— Сударь, — говорит мне вполголоса Летурнер, — Андре очень слаб! Мой сын умирает с голоду! Сударь, я не могу этого видеть! Нет, я больше не могу!

Летурнер произносит эти слова голосом, в котором слышится сдержанный гнев, глубокое отчаяние. О! Я понимаю, как должен страдать этот отец!

— Нельзя терять надежду, — говорю я, беря его за руку. — Какое-нибудь судно...

— Сударь, — продолжает отец, прерывая меня, — я говорю с вами совсем не для того, чтобы выслушивать банальные утешения. Никакого судна не будет, вам это хорошо известно. Нет. Я имею в виду совсем другое. Сколько времени мой сын, вы сами и все остальные ничего не ели?

— Запас сухарей кончился второго января. Сегодня шестое. Значит, уже четыре дня... — отвечаю я на этот неожиданный вопрос.

— Четыре дня как вы не ели! — заканчивает Летурнер. — Ну, а я не ел восемь дней!

— Восемь дней!

— Да! Я сберегал сухари для моего сына.

У меня выступают слезы на глазах. Я беру за руку Ле-

турнера... Я едва могу говорить. Я смотрю на него!.. Восемь дней!

— Сударь, — произношу я наконец, — что я могу сделать для вас?

— Тсс! Не так громко! Чтобы никто не слышал!

— Говорите же!

— Я хочу, — шепчет он, — я желаю, чтобы вы предложили Андре...

— А вы разве не можете?..

— Нет! Нет!.. Он понял бы, что я лишал себя пищи ради него!.. Он отказался бы... Нет! Надо, чтобы это исходило от вас...

— Господин Летурнер!..

— Умоляю вас! Окажите мне эту услугу... величайшую из всех... Между прочим... за ваш труд...

При этих словах Летурнер берет мою руку и тихонько гладит ее.

— За ваш труд... Вы покушаете сами... немного!..

Бедный отец! Слушая его, я дрожу, как ребенок. Я весь трепещу, и сердце у меня громко стучит! А Летурнер тихонько вкладывает мне в руку маленький кусочек сухаря.

— Берегитесь, чтобы никто вас не видел! — говорит он. — Эти звери вас убьют. Вот тут дневная порция, но завтра я дам вам столько же.

Несчастный отец не верит мне! И, быть может, он прав: почувствовав этот кусочек сухаря в своей руке, я чуть не поднес его ко рту!

Я устоял, и пусть читатели поймут все, что не в силах выразить мое перо! Ночь наступила внезапно, как всегда на низких широтах. Я незаметно подхожу к Андре Летурнеру и отдаю ему кусочек сухаря, будто бы сбереженный мною.

Молодой человек, не раздумывая, хватается его.

— А отец? — спрашивает он, опомнившись.

Я отвечаю, что господин Летурнер получил столько же... И я тоже... Что завтра... и в следующие дни... я смогу давать ему по такой же порции... Пусть берет... Пусть берет, не колеблясь!

Андре не поинтересовался, откуда у меня этот сухарь, он жадно поднес его ко рту.

В этот вечер, несмотря на предложение Летурнера, я не ел ничего!.. Ничего!..

XL

— *Седьмое января.* — Морская вода, почти беспрестанно заливающая плот, как только поднимается волнение, стала разъедать кожу на ногах у некоторых матросов. Оуэн, которого боцман после бунта держит связанным на переднем конце плота, находится в самом плачевном состоянии. По нашей просьбе с него сняли веревки. Сандон и Берке тоже пострадали от едкой соленой воды, а мы пока пощажены: волны почти не доходят до задней части плота.

Сегодня боцман, обезумев от голода, стал грызть куски парусов, деревянные шесты. У меня еще и сейчас отдается в ушах скрип его зубов. Несчастный не в силах дольше выносить такие мучения и старается хоть чем-нибудь наполнить желудок, чтобы обмануть голод. После долгих поисков он наконец находит болтающийся на одной из мачт обрывок кожи. Ведь кожа все же вещество органическое, и он пожирает ее с невыразимой жадностью. По-видимому, боцману становится легче. Все мы следуем его примеру. Кожаная шляпа, козырьки фуражек, все съедобное, что мы сумели отыскать, — все идет в ход. В нас говорит какой-то звериный инстинкт, которого мы не в состоянии подавить. В эту минуту можно

подумать, что в нас не осталось ничего человеческого. **Никогда не забуду этой сцены!**

Если голод и не утолен, то по крайней мере рези в желудке на время утикли. Но некоторые из нас не могли вынести этой отвратительной пищи: их вырвало.

Прошу извинить меня за эти подробности! Я должен передать без утайки все, что перестрадали потерпевшие кораблекрушение на «Ченслере». Пусть читатели узнают из моего рассказа, сколько моральных и физических страданий может вынести человеческое существо! Пусть это послужит уроком, вынесенным из моего дневника! Расскажу решительно обо всем; к сожалению, я предчувствую, что мы не достигли еще предела наших мучений!

Во время этой сцены я сделал наблюдение, подтвердившее мои догадки насчет буфетчика. Хоббарт, хотя и хныкал по-прежнему и даже больше, чем всегда, но к другим не присоединился. Его послушать, так он умирает от истощения, но, глядя на него, невольно думаешь, что он меньше страдает, чем остальные. Не припрятан ли у этого лицемера в каком-нибудь тайнике запасец, которым он до сих пор пользуется? Я слежу за ним, но ничего особенного не открыл.

Зной по-прежнему нестерпим, в особенности если ветер не умеряет его. Рацион воды, конечно, недостаточен, но голод, по-видимому, убивает жажду. И хотя я думал, что от недостатка воды мы будем страдать еще больше, чем от недостатка пищи, я еще не могу этому поверить или по крайней мере представить себе это. Да избавит нас господь от новой муки!

К счастью, в бочонке, который наполовину разбился, осталось несколько пинт воды, а второй еще не тронут. Хотя нас теперь стало меньше, капитан, вопреки требованию некоторых матросов, уменьшил ежедневный рацион до полпинты на душу. Я одобряю эту меру.

Что касается водки, ее осталось лишь четверть галлона, спрятанного в надежном месте, позади плота.

Сегодня, 7 января, около половины восьмого вечера, один из нас скончался. Теперь нас осталось только четырнадцать! Лейтенант Уолтер умер у меня на руках. Ния, ни мисс Херби не могли его спасти... он уже свое отстрадал!

За несколько минут до смерти Уолтер поблагодарил мисс Херби и меня голосом, который мы с трудом могли расслышать. Из его дрожащих рук выпало смятое письмо.

— Сударь, — сказал он. — Это письмо... от моей матери... я не имею сил... последнее, которое я получил! Она пишет: «Я жду тебя, дитя мое, я хочу свидеться с тобой!» Нет, мама, ты уже не увидишь меня! Сударь... это письмо... приложите его к моим губам... я хочу поцеловать его... Мама... боже!..

Я вложил это письмо в холодеющую руку лейтенанта Уолтера и помог ему поднести его к губам. Его взгляд на мгновение оживился, я услышал слабый звук поцелуя...

Лейтенант Уолтер умер! Господи, прими его душу!

ХЛГ

— *Восьмое января.* — Всю ночь я провел возле тела несчастного лейтенанта, а мисс Херби несколько раз приходила молиться за усопшего.

Когда наступило утро, труп уже совершенно остыл. Я спешил... Да! Спешил бросить его в море. Я просил Роберта Кертиса помочь мне в этом печальном деле. Мы завернем покойника в жалкие остатки одежды и предадим погребению в морской пучине; надеюсь, что из-за крайней худобы лейтенанта тело его не всплывет на поверхность.

Роберт Кертис и я, приняв меры, чтобы нас не видели, извлекли из карманов лейтенанта кой-какие предметы, которые будут переданы его матери, если один из нас выживет.

Заворачивая труп в одежду, которая должна послужить ему саваном, я не мог не содрогнуться от ужаса.

Правой ноги не было, вместо нее торчал окровавленный обрубок!

Кто виновник этого кошунства? Должно быть, ночью меня одолела усталость, и кто-то воспользовался моим сном, чтобы изувечить труп Уолтера. Кто же это сделал?

Роберт Кертис бросает вокруг гневные взгляды. Но на плоту мы не заметили ничего необычного; тишина прерывается время от времени лишь стонами. Может быть, за нами следят! Поспешим бросить эти останки в море, чтобы избежать еще больших ужасов!

Прочтя заупокойную молитву, мы бросаем труп в воду. Он тотчас же исчезает в волнах.

— Черт возьми! Хорошо питаются акулы!

Кто это сказал? Я оборачиваюсь. Это негр Джинкстроп.

Боцман стоит возле меня.

— Эта нога... — спрашиваю я у него. — Вы думаете, что они, эти несчастные...

— Нога?.. Ах да! — как-то странно отвечает боцман. — Впрочем, это их право!

— Их право?! — кричу я.

— Сударь, — говорит мне боцман, — лучше съесть мертвого, чем живого.

Я не знаю, что ответить на эти холодно сказанные слова, и ложусь в конце плота.

Часов в одиннадцать случилось, однако, счастливое событие.

Боцман, который еще с утра закинул свои удочки, на

этот раз поймал трех рыб — крупные экземпляры трески, длиною в восемьдесят сантиметров каждая. Эта рыба в сушеном виде известна под названием «stokfish».

Едва боцман вытащил свою добычу, как матросы накинулись на нее. Капитан Кертис, Фолстен и я бросаемся, чтобы их удержать, и вскоре нам удастся установить порядок. Три рыбы на четырнадцать человек — это немного, но, как бы то ни было, каждый получит свою долю. Одни пожирают рыбу сырой, можно даже сказать живой, и их большинство. У других — Роберта Кертиса, Андре Летурнера и мисс Херби — хватает силы воли подождать. Они зажигают на углу плота несколько кусков дерева и обжаривают свою порцию на вертеле. У меня для этого слишком мало выдержки, и я глотаю сырое, окровавленное мясо!

Летурнер-отец проявил такое же нетерпение, как и другие, он набросился на свою порцию рыбы, точно голодный волк. Не могу понять, как еще может жить этот несчастный человек, так долго лишенный пищи.

Я сказал, что боцман очень обрадовался, вытащив рыбу. Его радость была так велика, что походила на бред.

Если такие уловы будут повторяться, то они могут спасти нас от голодной смерти.

Я вступаю в разговор с боцманом и предлагаю ему повторить попытку.

— Да! — говорит он. — Да... Конечно... я попытаюсь... Попытаюсь!..

— Почему же вы не закидываете удочек? — спрашиваю я.

— Не теперь! — отвечает он уклончиво. — Крупную рыбу удобнее ловить ночью, да и насадку надо беречь. Дураки мы, ничего не сохранили, чтобы приманивать рыбу!

Он прав, и возможно, что эта ошибка непоправима.

— Однако, — говорю я, — раз вам удалось без насадки...

— Насадка была.

— И хорошая?

— Отличная, сударь, раз рыба клюнула!

Я смотрю на боцмана, а он на меня.

— И у вас осталось еще что-нибудь для заправки удочек? — спрашиваю я.

— Да, — тихо отвечает боцман и уходит, не прибавив ни слова.

Скудная пища, которую мы проглотили, придала нам силы, а вместе с силами явился и проблеск надежды. Мы говорим об улове боцмана и не можем поверить, чтобы нам не удалось наудить еще рыбы. Может быть, судьба, наконец, устанет преследовать нас?

Мы начинаем вспоминать о прошлом — доказательство того, что на душе стало спокойнее. Мы живем уже не только мучительным настоящим и тем ужасным будущим, которое нас ожидает. Отец и сын Летурнеры, Фолстен, капитан и я вспоминаем обо всем, что случилось с нами после катастрофы. Погибшие товарищи наши, подробности пожара, кораблекрушение, островок Хэм-Рок, погружение «Ченслера» в воду, ужасное плавание на марсах, постройка плота, буря — все эти эпизоды, которые кажутся нам теперь такими далекими, проходят перед нами. Да! — все это было, а мы еще живем!

Живем! Разве это называется жить! Из двадцати восьми человек осталось только четырнадцать, а скоро нас, может быть, будет только тринадцать!

— Несчастливое число, — говорит молодой Летурнер, — но нам будет трудно подыскать четырнадцатого!

Ночью с 8 на 9 января боцман снова закидывает удочки с заднего конца плота и сам остается, чтобы следить за ними, никому не доверяя этого дела.

Утром я подхожу к нему. День едва забрезжил. Боцман старается проникнуть своим горящим взглядом в самую глубину темной пучины. Он не видит меня, даже не слышит моих шагов.

Я слегка дотрагиваюсь до его плеча. Он оборачивается.

— Ну как, боцман?

— А так, что эти проклятые акулы проглотили мою наживку! — отвечает он глухим голосом.

— И у вас больше не осталось ее?

— Нет! И знаете ли вы, что это доказывает, сударь? — прибавил он, сжимая мое плечо. — Что не надо делать ничего наполовину!

Я закрываю ему рот рукой! Я понял!..

Бедный Уолтер!

XLII

— *С девятого по десятое января.* — Сегодня опять наступил штиль. Солнце пылает, ветер спал, и ни малейшей ряби не видно на гладкой поверхности моря, которое едва заметно колыхается. Если здесь нет какого-нибудь течения, которое мы все равно не можем определить, плот, вероятно, находится на одном месте.

Я уже сказал, что жара стоит нестерпимая. Поэтому и жажда причиняет нам еще большие муки, чем голод. У большинства из нас от сухости стянуло рот, горло и гортань; вся слизистая оболочка затвердевает от горячего воздуха, вдыхаемого нами.

По моим настояниям капитан на этот раз изменил порядок выдачи воды. Он удвоил нам рацион, и мы кое-как утоляем жажду четыре раза в день. Я говорю «кое-как», ибо оставшаяся вода слишком тепла, хотя бочку и покрыли куском парусины.

Словом, день выдался тяжелый. Матросы под влиянием голода снова впали в отчаяние.

Вечером взошла почти полная луна, но ветра по-прежнему не было. Все же прохладная тропическая ночь приносит некоторое облегчение. Но днем температура невыносима. Жара все усиливается, и мы из этого заключаем, что плот сильно относит к югу.

Мы уже перестали искать глазами берег, и нам кажется, что на земном шаре нет ничего, кроме соленой воды. Всюду и везде лишь бесконечный океан!

Десятого — тот же штиль, та же температура. С неба падает огненный дождь, и мы дышим раскаленным воздухом. Жажда становится нестерпимой, она так терзает нас, что мы забываем муки голода, алчно ожидая минуты, когда Роберт Кертис выдаст каждому его рацион — несколько жалких капель воды. Ах! Только бы напиться всласть, хотя бы после пришлось умереть, исчерпав весь запас воды!

Сейчас полдень! Один из наших спутников вдруг закричал от боли. Это несчастный Оуэн; лежа на передней части плота, он корчится в ужаснейших судорогах. Я иду, пошатываясь, к Оуэну. Как ни расценивать его поведение, надо из чувства человечности облегчить его страдания.

Вдруг матрос Флейпол тоже испускает крик. Я оборачиваюсь.

Флейпол стоит, прислонившись к мачте, и указывает рукой на какую-то точку, появившуюся на горизонте.

— Судно! — кричит он.

Все вскакивают. На плоту — полное безмолвие. Вслед за другими встает, сдерживая стоны, и Оуэн.

В самом деле, в направлении, указанном Флейполом, виднеется белая точка. Но движется ли она? Парус ли

это? Какого мнения на этот счет моряки, обладающие таким острым зрением?

Я слежу за Робертом Кертисом, который стоит, скрестив руки, и всматривается в белую точку. Все мускулы на его лице напряглись, подбородок поднят, брови насуплены, глаза прищурены, пристальный взгляд прикован к горизонту. Если эта белая точка — парус, капитан не ошибется.

Но Роберт Кертис разочарованно встряхивает головой, руки его бессильно опускаются.

Я смотрю. Белой точки не видно. То был не корабль, нет, а какое-то отражение, гребень мелькнувшей волны.

Если же это судно, то оно уже исчезло!

Какая тоска охватила нас после мгновенно блеснувшей надежды! Все мы снова заняли привычные места. Один Роберт Кертис недвижимо стоит на месте, хоть и не смотрит больше на горизонт.

Тут Оуэн начинает вопить еще громче прежнего. Он весь корчится от нестерпимых болей. На него страшно смотреть. Горло у него спазматически сжимается, язык сух, живот вздулся, пульс нитевидный, частый, с переборами. Сильнейшие судороги сотрясают его тело, временами его даже подбрасывает. По этим симптомам можно безошибочно определить, что Оуэн отравился окисью меди.

У нас нет необходимых противоядий. Можно лишь вызвать рвоту, чтобы очистить желудок Оуэна от его содержимого. Обычно с этой целью применяется теплая вода, и я обращаюсь к капитану с просьбой дать мне ее хоть немного. Кертис соглашается. Так как в первом бочонке вода уже кончилась, я хочу зачерпнуть из другого, еще нетронутого, но Оуэн поднимается на колени и кричит голосом, уже не похожим на человеческий:

— Нет, нет, нет!

Почему он отказывается? Я подхожу к Оуэну и объясняю ему, что намерен сделать. Он еще решительнее заявляет, что этой воды пить не будет.

Тогда я пытаюсь вызвать рвоту тем, что щекочу ему нёбо, и вскоре его начинает рвать синеватой жидкостью. Теперь совершенно ясно: Оуэн отравился сернокислой окисью меди, иначе говоря, купоросом, и, что бы мы ни делали, он погиб!

Но как он отравился? После рвоты Оуэну становится немного лучше. Он, наконец, в состоянии говорить. Капитан и я расспрашиваем его...

Я даже не пытаюсь описать впечатление, которое произвел на нас ответ несчастного матроса!

Оуэн, терзаемый жаждой, украл несколько пинт воды из нетронутого бочонка!.. Вода в этом бочонке отравлена!

XLIII

— *С одиннадцатого по четырнадцатое января.* — Оуэн умер ночью в страшнейших мучениях.

Да, правда! В бочонке был прежде купорос. Это факт. Но по какой роковой случайности этот бочонок использовали для хранения воды и почему — случайность, еще более прискорбная, — он попал к нам на плот?.. Не все ли равно? Одно ясно: воды у нас больше нет.

Тело Оуэна пришлось бросить в море, так как оно тотчас же начало разлагаться. Боцман не мог даже использовать его для заправки удочек; оно превратилось в какую-то рыхлую массу. Смерть этого несчастного даже не принесла нам пользы.

Все мы понимаем, в каком очутились положении, и не можем вымолвить ни слова. Да и что тут скажешь? Нам даже тяжело слышать собственный голос. Мы стали очень раздражительны, и лучше уж нам не разговаривать

друг с другом, так как малейшее слово, взгляд, жест могут вызвать взрыв ярости, которую невозможно сдержать. Я не понимаю, как мы еще не помешались.

Двенадцатого января мы не получили нашего обычного рациона воды: накануне была выпита последняя капля. На небе ни единого облачка. Надежды на дождь нет, и будь у нас термометр, он, вероятно, показал бы 104° в тени¹, если бы на плоту была тень.

Тринадцатого положение не изменилось. Морская вода начинает сильно разъедать мне ноги, но я почти не замечаю боли. У тех же, кто уже раньше страдал от этих язв, состояние ухудшилось.

Ах, подумать только, что если можно было бы превратить в пар морскую воду, а затем ее конденсировать, она стала бы пригодной для питья! Она уже не содержала бы соли, и ее можно было бы пить! Но у нас нет ни нужных приборов, ни возможности их изготовить.

Сегодня боцман и два матроса выкупались, рискуя угодить в пасть акулы. Купание немного освежает. Троих наших спутников и меня, людей, едва умеющих плавать, спустили на веревке в воду, где мы пробыли около получаса. В это время Роберт Кертис наблюдал за морем. К счастью, акулы не появлялись. Несмотря на все уговоры, мисс Херби не захотела последовать нашему примеру, хотя она сильно страдает.

Четырнадцатого, часов в одиннадцать утра, капитан подошел ко мне и сказал шепотом:

— Не волнуйтесь, господин Казаллон, не привлекайте к себе внимания. Возможно, что я ошибаюсь, и мне не хочется причинить нашим спутникам новое разочарование.

¹ 104° по Фаренгейту соответствуют 40° по Цельсию. (Прим. автора.)

Я смотрю на Роберта Кертиса.

— На этот раз, — заявляет он, — я действительно заметил судно!

Капитан хорошо сделал, что предупредил меня, так как я мог бы не совладать с собой.

— Взгляните, — прибавляет он. — Вон там, за левым бортом!

Я встаю, прикидываясь равнодушным, хотя на самом деле очень волнуюсь, и оглядываю дугу горизонта, на которую указал Роберт Кертис. Я не обладаю острым зрением моряка, но все же различаю еле заметные очертания судна, идущего под всеми парусами.

Почти тотчас же боцман, уже несколько минут смотревший в ту же сторону, вскрикивает:

— Судно!

Показавшийся на горизонте корабль сначала не производит ожидаемого впечатления. То ли не верят в его появление, то ли силы уже иссякли. Никто не двигается с места. Но после того как боцман несколько раз повторил: «Судно! судно!» — все взоры обратились, наконец, к горизонту.

На этот раз ошибиться невозможно. Мы его видим, этот корабль, на который уже перестали надеяться. Но увидят ли нас оттуда?

Матросы стараются определить, что это за корабль и, в особенности, куда он держит курс.

Роберт Кертис, долго и пристально смотревший на горизонт, говорит:

— Это бриг, он идет в бейдевинд, правым галсом. Если он пройдет два часа в том же направлении, то непременно перережет нам дорогу.

Два часа! Два века! Но судно может с минуты на минуту переменить курс, тем более что оно, вероятно, лавирует против встречного ветра. Если это так, то, кончив

маневр, оно пойдет левым галсом и исчезнет. Ах, если бы корабль шел по ветру или со спущенными парусами, мы имели бы право надеяться!

Надо, чтобы нас увидели с судна! Надо во что бы то ни стало добиться, чтобы нас заметили оттуда! Роберт Кертис приказывает подавать всевозможные сигналы, ибо бриг находится еще милях в двенадцати к востоку и криков наших там не услышат. Огнестрельного оружия у нас нет, и мы не можем привлечь внимание выстрелами. Поднимем же какой-нибудь флаг на верхушку мачты. Шаль мисс Херби — красная, а этот цвет лучше всего выделяется на фоне моря и неба.

Мы поднимаем вместо флага шаль мисс Херби, и легкий ветер, покрывающий рябью поверхность воды, тихонько треплет его. Когда флаг развевается, в сердце закрадывается надежда. Утопающий, как известно, хватается за соломинку.

Для нас эта соломинка — флаг.

Целый час мы попеременно переходим от надежды к отчаянию. Бриг, по-видимому, приближается к плоту, но иногда он словно останавливается, и мы спрашиваем себя, уж не повернет ли он обратно.

Как медленно плывет судно! А между тем оно идет под всеми парусами, можно различить бом-брамсели, стаксели и чуть ли не корпус корабля над горизонтом. Но ветер слаб, а если он еще спадет!.. Мы отдали бы годы жизни, чтобы стать старше на один час!

В половине первого боцман и капитан определяют, что бриг находится от нас на расстоянии девяти миль. Значит, за полтора часа он сделал всего три мили. Легкий ветерок, проносящийся над нашими головами, вряд ли доходит до него. Теперь мне кажется, что паруса брига уже не надуваются, что они повисли вдоль мачт. Я смотрю, не поднимется ли ветер, но волны кажутся уснувши-

ми, и дуновение, на которое мы возлагали такие надежды, замирает, едва возникнув.

Я стою позади плота вместе с Летурнерами и мисс Херби; мы поминутно переводим взгляд с судна на капитана. Роберт Кертис застыл на месте, опершись о мачту рядом с боцманом. Глаза их ни на минуту не отрываются от брига. Мы читаем на их лицах волнение, которое они не в силах побороть. Никто не проронил ни слова до тех пор, пока плотник Даулас не крикнул с отчаянием, не поддающимся описанию:

— Он поворачивает!

Вся наша жизнь сосредоточилась в это мгновение в глазах. Все мы вскочили, некоторые встали на колени. Вдруг у боцмана вырывается ужасное ругательство. Судно находится в девяти милях от нас, и с этого расстояния там не могли заметить наш сигнал! Плот же — всего только точка, затерявшаяся среди водного простора в ослепительном сиянии солнечных лучей. Его не увидишь. И его не видели! Ведь капитан корабля, кто бы он ни был, не может быть настолько бесчеловечен, чтобы уйти, не подав нам помощи! Нет! Это невероятно. Он нас не видел!

— Огня! Огня! — вдруг вскрикнул Роберт Кертис. — Давайте зажжем костер! Друзья мои! Друзья! Это наш последний шанс — иначе нас не заметят!

На передний конец плота бросили несколько досок, сложили костер. Их зажгли не без труда, так как они отсырели. Тем лучше: дым будет гуще и, значит, заметнее. Огонь вспыхивает, в воздух поднимается почти черный столб дыма. Если бы это было ночью, если бы темнота наступила прежде, чем бриг исчезнет из вида, пламя увидели бы даже на таком далеком расстоянии.

Но часы бегут, огонь гаснет!..

Чтобы смириться после этого, чтобы подчиниться

божьей воле, надо иметь над собой власть, которую я уже потерял. Нет! Я не могу верить в бога, обманувшего нас минутной надеждой, которая лишь усилила наши муки. Я богохульствую, как богохульствовал боцман... Моего плеча коснулась чья-то слабая рука, и я увидел мисс Херби. Она указывает мне на небо!

Но это уже слишком! Я ничего не хочу видеть, я ложусь под парус, я прячусь, и из груди моей вырываются рыдания...

В это время судно поворачивает на другой галс, медленно удаляется на восток; три часа спустя самый зоркий глаз уже не мог бы заметить на горизонте его развернутые паруса.

XLIV

— *Пятнадцатое января.* — После этого последнего удара судьбы нам остается одно: ждать смерти. Раньше или позже, но она придет.

Сегодня на западе появились облака. Потянул ветерок. Жару стало легче переносить, и, вопреки нашей подавленности, мы чувствуем влияние происшедшей перемены. Я с удовольствием вдыхаю менее сухой воздух. Но с тех пор как боцман поймал рыбу, мы ничего не ели, то есть уже целую неделю. На плоту нет ни крошки. Вчера я дал Андре Летурнеру последний кусок сухаря, сбереженного стариком. Господин Летурнер плакал, вручая мне его.

Еще вчера негру Джинкстропу удалось освободиться от своих пут, и Роберт Кертис не отдал приказания снова связать его. Да и к чему! Негодяй и его сообщники изнурены продолжительным постом. Что они могут предпринять?

Сегодня показалось несколько крупных акул; их чер-

ные плавники с необыкновенной быстротой рассекают воду. Я невольно думаю, что это живые гробы, которые вскоре поглотят наши жалкие останки. Акулы уже не пугают меня, а скорее притягивают. Они почти вплотную подплывают к бортам плота, и одно из этих чудовищ чуть не откусило руку Флейполу, опустившему ее в воду.

Боцман, широко раскрыв глаза и стиснув зубы, неподвижным взглядом следит за акулами. Он рассматривает их совсем с другой точки зрения, чем я: как бы съесть их, вместо того чтобы быть съеденным ими. Поймай он хоть одну, уж он не побрезговал бы ее жестким мясом. Да и мы тоже.

Боцман хочет попытаться. И так как у нас нет крюка, к которому можно было бы прикрепить веревку, надо его сделать. Роберт Кертис и Даулас поняли замысел боцмана и стали совещаться, все время бросая в море обломки шестов или куски веревок, чтобы удержать акул вокруг плота.

Даулас взял свой плотничий топорик, которым он собирается заменить крюк. Возможно, что этот инструмент зацепится лезвием или противоположным концом за пасть акулы, если она попытается его проглотить. Деревянную ручку топорика привязали к крепкому канату, другой конец которого прикрепили к одному из столбов плота.

Эти приготовления еще обостряют наш голод. Мы задыхаемся от нетерпения. Мы стараемся удержать акул всеми возможными средствами. Крюк готов, но у нас нет ничего для приманки. Боцман ходит взад и вперед по плоту, разговаривает сам с собой, обшаривает все углы, и порой мне кажется, что он проверяет, не умер ли кто-нибудь из нас.

Приходится прибегнуть к средству, уже однажды ис-

пробованному: боцман обертывает топорик красным лоскутом, оторванным от той же шали мисс Херби.

Но сначала он удостоверяется, все ли в порядке. Крепко ли привязан топорик? Хорошо ли прикреплена снасть к плоту? Достаточно ли прочен канат? Боцман все проверяет и только затем бросает свой снаряд на воду.

Море прозрачно, в нем без труда можно разглядеть любой предмет на глубине ста футов. Я вижу, как топорик, обернутый в красный лоскут, медленно опускается. Алое пятно отчетливо выделяется в синей воде.

Все мы, и пассажиры и моряки, наклонились над фальшбортом в глубоком молчании. Но с тех пор как мы стараемся раздражить акул нашей приманкой, они как будто исчезли. Впрочем, вряд ли эти прожорливые создания уплыли далеко, их так много в этих местах, что любая добыча — даже самая незавидная — будет проглочена в одно мгновение.

Вдруг боцман делает знак рукой. Он указывает на огромную темную массу, она скользит по направлению к плоту, слегка высовываясь из воды. Это акула длиной в двенадцать футов: она поднялась из глубины и плывет прямо к нам.

Как только она оказалась саженях в четырех от плота, боцман подтянул канат, так что крюк очутился на пути акулы; красный лоскут шевелится, что придает ему видимость одушевленного предмета.

Я чувствую, что сердце мое забилося с необычайной силой, как будто на карту поставлена моя жизнь.

Между тем акула все приближается; налившись кровью глаза блестят над водой, а когда она поворачивается, в разверстой пасти видны острые зубы.

Раздается чей-то крик!.. Акула замирает на месте и затем исчезает в морской глубине.

Кто из нас испустил этот крик, разумеется, невольный?

Боцман выпрямляется, бледный от гнева.

— Я убью первого, кто скажет хоть слово, — говорит он.

И снова принимается за работу.

Собственно говоря, боцман прав!

Крюк опять погружен в воду, но прошло полчаса, и ни одна акула не показывается; снаряд пришлось спустить на глубину двадцати саженей. Однако мне кажется, что вода на этой глубине неспокойна, а это указывает на присутствие акул.

И в самом деле, веревку вдруг сильно дернуло, она выскользнула из рук боцмана, но в море не ушла, так как была крепко привязана.

Акула клюнула и сама себя подсекла.

— На помощь, ребята, на помощь! — кричит боцман.

Пассажиры и матросы тотчас же берутся за дело. Надежда окрылила нас, и все же мы недостаточно крепки, а чудовище бьется с необычайной силой. Мы стараемся сообща вытащить акулу. Мало-помалу вода приходит в волнение под мощными ударами ее хвоста и плавников. Наклонившись, я вижу огромное тело, судорожно бьющееся на окровавленных волнах.

— Смелее, смелее! — кричит боцман.

Наконец появляется голова акулы. Через полуоткрытую пасть топорик проник в глотку, вонзился в тело, и чудовище никак не может от него освободиться. Даулас хватает большой топор, чтобы прикончить акулу, как только она будет на уровне плота.

Вдруг раздается сухой треск. Акула с силой сомкнула челюсти, перекусила рукоятку топорика и исчезла в море.

Из груди у нас вырывается вопль отчаяния!

Боцман, Роберт Кертис и Даулас еще раз попытались поймать акулу, хотя теперь у них уже нет ни топорика, ни инструментов, чтобы изготовить снаряд. Они бросают в море веревку с мертвой петлей на конце. Но эти лассо лишь скользят по гладкому телу акул. Боцман дошел даже до того, что пытается привлечь внимание своей голой ногой, которую он опустил за борт, рискуя, что она будет откушена...

Эти бесплодные попытки наконец прекращаются. Каждый возвращается на свое место, чтобы ожидать там смерти, которую уже ничто не может предотвратить.

Но я ушел не сразу и успел услышать, как боцман сказал Роберту Кертису:

— Капитан, когда же мы бросим жребий?

Роберт Кертис ничего не ответил, но вопрос поставлен.

XLV

— *Шестнадцатое января.* — Мы все лежим, подстелив под себя паруса. Если бы мимо нас прошло судно, то его экипаж принял бы плот за обломок кораблекрушения, покрытый трупами.

Я страдаю ужасно. Разве я мог бы есть при таком состоянии губ, языка, гортани? Не думаю, и, однако, мои спутники и я бросаем друг на друга кровожадные взгляды.

Сегодня, несмотря на грозовые облака, жара еще усилилась. Над морем поднимаются густые пары. Однако мне кажется, что дождь пойдет где угодно, только не над нашим плотом.

И все же мы смотрим на тучи жадным взглядом. Наши губы тянутся к ним. Летурнер-отец с мольбой подымает руки к безжалостному небу.

Я прислушиваюсь: не раздастся ли отдаленный рокот, предвещающий грозу. Одиннадцать часов утра. Облака застилают солнце, но теперь уже ясно, что они не заряжены электричеством. Гроза, очевидно, не разразится, так как все облака имеют одинаковую окраску и их контуры, так отчетливо рисовавшиеся ранним утром, теперь слились в сплошную сероватую массу. Это всего лишь туман.

Но разве из этого тумана не может пролиться дождь, хотя бы дождик, всего несколько капель!

— Дождь! — вдруг вскрикивает Даулас.

И в самом деле! В какой-нибудь полумиле от плота с неба спускается завеса дождя, и я вижу капельки, подсакивающие на поверхности океана. Окрепший ветер дует прямо на нас. Лишь бы только туча не иссякла прежде, чем пройдет над нашими головами!

Бог наконец сжалился над нами. Дождь падает крупными каплями из темных облаков. Но ливень не будет продолжительным. Надо собрать все, что он может дать, так как нижний край тучи уже пламенеет над горизонтом.

Роберт Кертис велел поставить сломанную бочку так, чтобы в нее набралось побольше воды; паруса развернули: пусть впитают в себя столько дождя, сколько можно.

Мы легли навзничь, открыв рот. Дождь поливает мне лицо, губы, и я чувствую, как он стекает в горло! Ах! Невыразимое наслаждение! Сама жизнь вливается в меня! Дождевые струйки словно смазывают у меня все внутри. Я глубоко дышу, впивая живительную влагу, проникающую в самую глубину моего существа.

Дождь продолжался около двадцати минут; затем наполовину пролившаяся туча рассеялась.

Мы поднялись обновленными, лучшими. Да! — «луч-

шими». Мы пожимаем друг другу руки, беседуем! Нам кажется, что мы спасены! Бог в своем милосердии пошлет нам другие тучи, и они опять дадут нам воду, которой мы были так долго лишены!

И ведь вода, упавшая на плот, тоже не будет потеряна. Она впиталась в паруса, собралась в бочке, надо только бережно хранить ее и раздавать по капле.

В самом деле, в бочке оказалось две-три пинты воды, а если выжать паруса, то наш запас еще немного увеличится.

Матросы хотят приступить к делу, но Роберт Кертис останавливает их.

— Погодите-ка! — говорит он. — А что, эта вода пригодна для питья?

Я с удивлением смотрю на него. Почему бы ей быть непригодной — ведь это дождевая вода!

Роберт Кертис выжимает в жестяную кружку немного воды, содержащейся в складках паруса. Потом он пробует ее и, к моему величайшему удивлению, тотчас же выплевывает.

Я попробовал ее в свою очередь. Это соленая вода! Совсем как морская!

Дело в том, что паруса просолились от волн и сообщили воде соленый вкус. Непоправимое несчастье! Но все равно! Мы надеемся. Ведь в бочонке осталось несколько пинт воды, и, кроме того, раз дождь был, он еще будет.

XLVI

— Семнадцатое января. — Если мы на некоторое время утолили жажду, то голод мучает нас еще сильнее. Неужели нет никакой возможности поймать одну из акул, которыми кишит море вокруг плота? Нет, разве только

самому броситься в море и напасть на них с ножом в руке в их же собственной стихии, как это делают индийские искатели жемчуга. Роберт Кертис подумывал о том, чтобы попытаться счастья. Но мы его удержали. Акул здесь слишком много, и он только обрек бы себя на верную и бесполезную гибель.

Я замечаю, что можно обмануть жажду, окунувшись в море или жуя какой-нибудь металлический предмет. Но голод ничем не обманешь. Воду легче достать, ее дает, например, дождь. Поэтому никогда не надо терять надежду на воду, но можно потерять всякую надежду на получение пищи.

И вот мы впали в состояние полной безнадежности. Если договаривать все до конца, то надо сказать, что некоторые из моих спутников поглядывают друг на друга алчным взглядом. Так вот, значит, какое направление приняли наши мысли, и до какой дикости голод может довести людей, одержимых одним-единственным желанием!

После получасового дождя грозовые тучи рассеялись, небо снова стало чистым. Ветер на мгновение окреп, но вскоре снова спал, и парус повис вдоль мачты. Да мы и перестали рассматривать ветер как двигатель. Где находится наш плот? В какую сторону Атлантического океана его занесло течением? Никто не может ни ответить на этот вопрос, ни пожелать, чтобы ветер подул, скажем, с востока, а не с севера или с юга! Мы просим у ветра лишь одного, чтобы он освежил нам грудь, напитал влагой сухой воздух, обжигающий нас, чтобы он, наконец, умерил жару, которую шлет нам с неба огненное солнце.

Настал вечер, до полуночи будет темно, затем покажется луна, вступившая в последнюю четверть. Звезды,

подернутые дымкой, не искрятся тем чудесным светом, который льется с неба в холодные ночи.

В полубреду, терзаемый жестоким голодом, особенно острым по вечерам, я ложусь на груды парусов у правого борта и наклоняюсь над водой, чтобы вдохнуть в себя освежающий запах моря.

Неужели кто-нибудь из товарищей, лежащих на своих обычных местах, нашел забвение от своих мук во сне? Думаю, что никто. Что касается меня, мой опустошенный мозг мутится, меня одолевают кошмары.

Все же я погружаюсь в болезненную дрему, нечто среднее между сном и бодрствованием. Не знаю, сколько времени я находился в этом полузабытьи. Помню только, что меня вывело из него какое-то странное ощущение.

Может быть, я грежу, но неожиданно до меня долетает запах, которого я сначала не узнаю. Он еле уловим, и временами его приносит легкий ветерок. Ноздри у меня раздуваются и втягивают этот непонятный запах. «Что же это такое?» — чуть не вскрикиваю я... Но инстинктивно сдерживаю себя и ищу, как ищут в памяти забытое слово или имя.

Проходит несколько мгновений, запах становится осязаемее, и я вдыхаю его все сильнее.

«Но, — говорю я себе вдруг, как человек, вспомнивший позабытое, — это же запах вареного мяса!»

Еще и еще раз вдохнув его, я убеждаюсь, что чувства меня не обманули, и, однако, на этом плоту...

Поднявшись на колени, я еще глубже втягиваю в себя воздух, — извините за выражение, — принохиваюсь к нему!.. Тот же запах вновь щекочет мне ноздри. Я, следовательно, нахожусь под ветром, который доносит его с переднего конца плота.

И вот я покидаю свое место, ползу, как животное,

ищу не глазами, а носом, скольжу под парусами, между шестами, с осторожностью кошки: только бы не привлечь внимание своих спутников.

В течение нескольких минут я рыщу по всем углам, руководствуясь, словно ищейка, обонянием. Иногда я теряю след — то ли удаляюсь от цели, то ли падает ветер, — а иногда запах начинает раздражать меня с особенной силой. Наконец-то я напал на след и чувствую, что иду прямо к цели!

Я нахожусь как раз на переднем конце плота, у правого борта, и ясно ощущаю, что здесь-то и пахнет копченым салом. Нет, я не ошибся. Мне кажется, что сало у меня здесь, на языке, рот наполняется слюной.

Теперь мне остается залезть под широкую складку паруса. Никто меня не видит, не слышит. Я ползу на коленях, на локтях. Протягиваю руку. Пальцы схватывают предмет, завернутый в кусок бумаги. Я быстро придвигаю его к себе и рассматриваю при свете луны, показавшейся в эту минуту над горизонтом.

Нет, это не обман зрения, я держу кусок сала. В нем меньше четверти фунта, но он достаточно велик, чтобы на целый день утишить мои муки! Я подношу его ко рту...

Кто-то хватается меня за руку. Я оборачиваюсь, с трудом удерживаюсь от рычания. Передо мною буфетчик Хоббарт.

Все объясняется: и поведение Хоббарта, и его относительно хорошее здоровье, и лицемерные жалобы. При переходе на плот он сумел припрятать немного провизии и питался, в то время как мы умирали от голода. Ах, негодяй!

Да нет же! Хоббарт действовал умно. Я нахожу, что он человек осторожный, смысленный, и если ему удалось

сохранить немного пищи тайком от всех, тем лучше для него... и для меня.

Хоббарт другого мнения. Он хватает меня за руку и старается отнять кусок сала, не произнося при этом ни слова; он не хочет привлекать к себе внимание товарищей.

Я тоже заинтересован в том, чтобы молчать. Как бы еще другие не вырвали у меня из рук добычу! И я борюсь молча, с тем большей яростью, что слышу бормотанье Хоббарта: «Мой последний кусок! Последний!»

Последний? Надо добыть этот кусок во что бы то ни стало! Я хочу его! И получу! И я хватаю за глотку своего противника. Раздается хрип, но вскоре Хоббарт затихает. Я жадно впиваюсь зубами в кусок сала, крепко держа одной рукой Хоббарта.

Отпустив наконец несчастного буфетчика, я ползком возвращаюсь на свое место. Никто меня не видел. Я поел!

XLVII

— *Восемнадцатое января.* — Дожидаюсь рассвета со странной тревогой! Что скажет Хоббарт? Мне кажется, он имеет право выдать меня. Нет! Это нелепо. Ведь я расскажу обо всем, что произошло. Если станет известно, как жил Хоббарт, когда мы умирали от голода, как он питался тайком от нас, в ущерб нам, товарищи безжалостно убьют его.

Все равно! Хотелось бы скорей дожидаться дня.

Муки голода утихли, хотя сала было так мало — один кусочек, «последний», как сказал этот несчастный. И все же я не страдаю, но, говоря откровенно, меня терзает раскаяние: как же я не разделил эти жалкие крохи с мои-

ми товарищами? Мне следовало подумать о мисс Херби, об Андре, о его отце... а я думал только о себе!

Луна поднимается все выше, и скоро занимается заря: утро наступит быстро, ведь под этими широтами не бывает ни рассвета, ни сумерек.

Я так и не сомкнул глаз. С первыми проблесками света мне показалось, что на мачте виднеется какая-то бесформенная масса.

Что это такое? Я еще ничего не могу рассмотреть и остаюсь лежать на груди парусов.

Наконец по поверхности моря скользнули первые лучи солнца, и я различаю тело, качающееся на веревке в такт движению плота.

Неодолимое предчувствие влечет меня к этому телу, и я бегу к подножию мачты...

Это тело повешенного. Этот повешенный — буфетчик. Я толкнул на самоубийство несчастного Хоббарта — да, я!

У меня вырывается крик ужаса. Мои спутники встают, видят тело, бросаются к нему... Но не для того, чтобы узнать, осталась ли в нем хоть искра жизни!.. Впрочем, Хоббарт мертв, и труп его уже похолодел.

В мгновение ока веревка срезана. Боцман, Даулас, Джинкстроп, Фолстен и другие наклоняются над мертвым телом...

Нет! Я не видел! Я не хотел видеть! Я не участвовал в этой страшной трапезе! Ни мисс Херби, ни Андре Летурнер, ни его отец не пожелали заплатить такой ценой за облегчение своих страданий!

Что касается Роберта Кертиса, я не знаю... Я не смел спросить его.

Но другие: боцман, Даулас, Фолстен, матросы! Люди, превратившиеся в диких зверей... Какой ужас!

Летурнеры, мисс Херби, я — мы спрятались под тен-

том, мы ничего не хотели видеть! Достаточно было и того, что мы слышали!

Андре Летурнер порывался броситься на этих каннибалов, отнять у них остатки ужасной пищи! Я силой удержал его.

И, однако, они имеют на это право, несчастные! Хоббарт был мертв! Не они его убили! И, как сказал однажды боцман, «лучше съесть мертвого, чем живого».

Кто знает, быть может, эта сцена — только пролог гнусной, кровопролитной драмы, которая разыграется у нас на плоту!

Я поделился этими мыслями с Андре Летурнером.

Но не мог рассеять ужас и отвращение, которые доводят его чуть ли не до помешательства.

Однако мы умираем от голода, а наши восемь товарищей, быть может, избегнут этой ужасной смерти.

Хоббарт благодаря припрятанной провизии был среди нас самым здоровым. Ткани его тела не изменены какой-нибудь органической болезнью. Он лишил себя жизни в расцвете сил.

Но что за ужасные мысли приходят мне на ум? Неужели эти каннибалы внушают мне не отвращение, а зависть?

В эту минуту раздается голос одного из них — плотника Дауласа.

Он говорит, что надо выпарить на солнце морскую воду и собрать соль.

— Мы посолим остатки, — говорит он.

— Да, — отвечает боцман.

Вот и все. Без сомнения, совет плотника принят, ибо я не слышу больше ни звука. На плоту царит глубокое молчание, и я заключаю из этого, что мои товарищи спят.

Они сыты!

— *Девятнадцатое января.* — В продолжение всего этого дня то же безоблачное небо, та же жара. Наступает ночь, но не приносит пролады. Я не проспал и нескольких часов.

К утру слышу гневные крики.

Летурнеры и мисс Херби, лежавшие вместе со мной под тентом, встают. Я приподнимаю полотно, чтобы посмотреть, в чем дело.

Боцман, Даулас и другие матросы чем-то разъярены. Роберт Кертис, сидящий на заднем конце плота, встает и пытается их успокоить. Он спрашивает, что привело их в такое бешенство.

— Да! Да! Мы узнаем, кто это сделал! — говорит Даулас, бросая вокруг себя свирепые взгляды.

— Да, — подхватывает боцман, — здесь есть вор! То, что у нас осталось, исчезло!

— Это не я! Не я! — отзываются по очереди матросы.

Несчастные шарят во всех углах, приподнимают паруса, передвигают доски. И так как все поиски напрасны, их гнев возрастает.

Боцман подходит ко мне.

— Вы, должно быть, знаете, кто вор? — спрашивает он.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, — отвечаю я.

Приближается Даулас, а за ним и другие матросы.

— Мы обыскали весь плот, — говорит Даулас. — Остается осмотреть палатку...

— Никто из нас не выходил отсюда, Даулас.

— Надо поглядеть!

— Нет! Оставьте в покое тех, кто умирает с голоду!

— Господин Казаллон, — говорит мне боцман, сдерживаясь, — мы вас не обвиняем. Если кто-нибудь из вас взял свою долю, к которой он не хотел притронуться вче-

ра, что ж, это его право. Но исчезло все, вы понимаете — все!

— Обыскать палатку! — восклицает Сандон.

Матросы подходят ближе. Я не могу противиться этим несчастным, которых ослепляет гнев. Мне становится страшно. Неужели Летурнер дошел до того, что взял — не для себя, конечно, но для сына... Если это так, то безумцы растерзают его на части!

Я смотрю на Роберта Кертиса, как бы прося у него защиты. Капитан становится возле меня. Обе руки его засунуты в карманы, и я угадываю, что он сжимает оружие.

Между тем по настоянию боцмана мисс Херби и Летурнеры вышли из палатки; матросы обшарили все, самые потайные ее уголки, — к счастью, тщетно.

Очевидно, кто-то выбросил в море останки Хоббарта.

Боцман, плотник, матросы впадают в ужасное отчаяние.

Но кто же это сделал? Я смотрю на мисс Херби, на старого Летурнера. Вижу по их глазам, что не они.

Я перевожу взгляд на Андре, который на мгновение отворачивается.

Несчастный молодой человек! Неужели это он? И понимает ли он последствия этого поступка?

XLIX

— С двадцатого по двадцать второе января. — В последующие дни участники ужасной трапезы, происходившей 18 января, почти не страдали: ведь они насытились и утолили жажду.

Но мисс Херби, Андре Летурнер, его отец и я... Наши муки неописуемы! Не дошли ли мы до того, что сожалее-

ем об исчезновении останков? Если кто-нибудь из нас умрет, устоим ли мы?..

Вскоре голод снова начинает терзать боцмана, Даула-са и других, они смотрят на нас безумными глазами. Неужели мы для них — верная добыча?

Но голод — это не самое худшее, жажда еще более мучительна. Да! Если бы нам предложили на выбор несколько капель воды и несколько крошек сухаря, ни один из нас не колебался бы! Это говорят все те, кто потерпел крушение и бедствовал, как мы. И говорят правильно! От жажды страдают сильнее, чем от голода, да и умирают от нее скорее.

А вокруг — вода, вода, которая на вид ничем не отличается от пресной! Ужасная пытка! Я не раз пробовал проглотить несколько капель этой воды, но она вызывала во мне неодолимую тошноту и еще более жгучую жажду, чем прежде.

Мера терпения переполнена! Вот уже сорок два дня, как мы расстались с «Ченслером». Ни у кого из нас не осталось ни проблеска надежды. Разве нам не суждено умереть — и худшей из всех смертей?

Я погружаюсь в какой-то туман, и этот туман все сгущается. Я впадаю в лихорадочный бред. Борюсь, стараясь удержать разбредаящиеся мысли. Этот бред пугает меня! Куда он меня заведет? Буду ли я достаточно силен, чтобы вернуться к сознанию действительности?

Я пришел в себя — не могу сказать после скольких часов. Голова у меня покрыта компрессами, пропитанными морской водой; за мной ходит мисс Херби, но я чувствую, что мне недолго осталось жить!

Сегодня, 22 января, разыгралась ужасная сцена. Негр Джинкстроп, внезапно впавший в буйное помешательство, рыча бегаёт по плоту. Роберт Кертис хочет его успокоить, но напрасно! Он кидается на окружающих,

очевидно, с намерением проглотить их. Приходится защищаться от него, как от хищного зверя. Джинкстроп схватил аншпуг, и увертываться от его ударов очень трудно.

Но вдруг — это можно объяснить только своеобразным течением припадка — ярость Джинкстропа обращается на него самого. Он рвет свое тело зубами, ногтями, кровь брызжет нам в лицо.

— Пейте! Пейте! — кричит он.

Так он беснуется несколько минут, затем бежит к краю плота с теми же воплями:

— Пейте! Пейте!

Он взмахивает руками, и я слышу, как тело его падает в море.

Боцман, Фолстен, Даулас бросаются к фальшборту, чтобы поймать на лету это тело, но на поверхности моря уже не видно ничего, кроме большого красного круга, посредине которого бьются чудовищные акулы!

L

— *Двадцать второе — двадцать третье января.* — Теперь нас на борту только одиннадцать. Для меня ясно, что с каждым днем будут новые жертвы. Развязка драмы приближается. Если на этой неделе мы не достигнем земли или нас не подберет какое-нибудь судно, потерпевшие крушение погибнут все до единого.

Двадцать третьего января вид неба изменился, ветер посвежел. Ночью он потянул с северо-востока. Парус надулся, и отчетливый след, остающийся за плотом, показывает, что мы идем довольно быстро. Со скоростью трех миль в час, как говорит капитан.

Роберт Кертис и инженер Фолстен — самые крепкие из нас. Несмотря на ужаснейшую худобу, они удивитель-

но стойко выносят все лишения. Я не в силах описать, до какого состояния дошла бедная мисс Херби. От нее осталась одна лишь душа, но душа мужественная! Вся жизнь ее как будто сосредоточилась в глазах, необыкновенно блестящих. Кажется, что она не от мира сего!

Зато боцман, человек большой жизненной силы, по-видимому, совершенно изнемогает. Он неузнаваем. Голова падает на грудь, длинные костлявые руки лежат на острых коленях, резко обозначившихся под изношенными панталонами. Он неизменно сидит в углу плота, не поднимая глаз. В отличие от мисс Херби боцман человек вполне земной; он до того неподвижен, что порою я опасаюсь, не умер ли он.

На плоту не слышно ни разговоров, ни даже стонов. Полное безмолвие. За день не услышишь и десяти слов. Впрочем, если бы мы произнесли нашими опухшими и потрескавшимися губами несколько слов, их нельзя было бы разобрать. На плоту остались только привидения, бескровные, безжизненные, — в них уже нет ничего человеческого!

ЛГ

— *Двадцать четвертое января.* — Где мы? В какую часть Атлантического океана занесло наш плот? Два раза я спрашивал об этом Роберта Кертиса, но он не мог сказать ничего определенного. Однако капитан, все время следивший за направлением течений и ветров, полагает, что нас, по-видимому, относит к западу, то есть к земле.

Сегодня ветер совершенно упал. Тем не менее по морю гуляют большие волны, указывающие, что на востоке водная стихия взбунтовалась. Без сомнения, в той части Атлантического океана ее всколыхнула буря. Плот очень

обветшал. Роберт Кертис, Фолстен и плотник — все из последних сил стараются укрепить те части, которые грозят оторваться.

Но к чему стараться! Пусть они, наконец, рассыплются, эти доски, пусть нас поглотит океан! Стоит ли бороться с ним за свою жалкую жизнь!

Ведь мучения наши достигли наивысшего предела. Большого человек не может вынести. Нет, не может! Жара невыносима. Небо поливает нас расплавленным свинцом. Сквозь наши лохмотья проступает пот, и это еще усиливает жажду. Я не могу описать свои ощущения! Нет слов, чтобы изобразить такие сверхчеловеческие страдания!

Единственный способ освежиться, к которому мы прежде иногда прибегали, теперь нам недоступен. Больше нельзя и думать о купании, так как после смерти Джинкстропа акулы приплывают стаями и окружают наш плот.

Я попытался сегодня добыть немного годной для питья влаги, испаряя морскую воду, но, несмотря на все мое упорство, мне с трудом удастся смочить кусочек тряпки. К тому же чайник так стар, что стал протекать, и мне пришлось отказаться от этой затеи.

Инженер Фолстен тоже донельзя изнурен, — если он и переживет нас, то лишь на несколько дней. Поднимая голову, я даже не вижу его. Лежит ли он под парусами, или уже умер? Один только энергичный капитан Кертис стоит на краю плота и смотрит! Подумать только: этот человек... еще надеется!

Я отправляюсь на свое место, чтобы растянуться там и ждать смерти. Чем раньше она придет, тем лучше.

Сколько прошло часов — не знаю...

Вдруг слышу взрыв смеха. Кто-то из нас, очевидно, сошел с ума!

Взрывы смеха становятся громче. Я не поднимаю головы. Мне все равно. Однако до меня долетают какие-то бессвязные слова.

— Лужайка, лужайка! Зеленые деревья! А под деревьями трактир! Живо! Водки, джина, воды! За каждую каплю даю гинею! Я заплачу! У меня есть золото! Золото!

Галлюцинирует... Бедняга... За все золото государственного банка ты не получишь теперь ни капли воды...

Это матрос Флейпол. В бреду он восклицает:

— Земля! Вон земля!

Это слово могло бы воскресить мертвого! Я с трудом поднимаюсь. Ни намек на землю! Флейпол расхаживает по плоту, смеется, поет и подает сигналы в сторону воображаемого берега... У него, конечно, нет непосредственных восприятий слуха, зрения, вкуса, но их заменяют чисто мозговые явления. Он разговаривает с отсутствующими приятелями и зовет их с собой в кардифский кабачок «Под сенью королевского герба». Здесь он предлагает им джину, виски, воды — особенно воды, которой он упивается! Ходит среди распростертых тел и, на каждом шагу спотыкаясь, падая и поднимаясь, распевает хриплым голосом. Можно подумать, что он мертвецки пьян. Отдавшись во власть безумия, он уже не страдает, не испытывает жажды. Ах! хотелось бы и мне так помешаться...

Неужели этот несчастный кончит так же, как негр Джинкстроп, неужели он бросится в море?

По-видимому, у Дауласа, Фолстена и боцмана мелькнула та же мысль. Но если Флейпол захочет покончить с собой, они не допустят, чтобы это было сделано «без пользы для них»! И вот они поднимаются, ходят за ним по пятам, сторожат его! Если Флейпол бросится в море, они на этот раз выхватят его из пасти акул!

Но Флейпол не бросился в море. Он так опьянел от галлюцинаций, словно действительно напился водки. Свалившись, как сноп, он заснул тяжелым сном.

Л I I

— *Двадцать пятое января.* — Ночь с 24 на 25 января была туманной и почему-то одной из самых жарких, какие только можно вообразить. От тумана мы задыхаемся. Одной лишь искры, чудится нам, достаточно, чтобы вспыхнул пожар, как в пороховом погребе. Плот даже не кружится на месте, он совершенно неподвижен. Я спрашиваю себя временами, способен ли он вообще плыть?

Ночью я несколько раз пытался сосчитать, сколько нас осталось на борту. Кажется, что одиннадцать, но мне с трудом удается сосредоточиться, и выходит то десять, то двенадцать. Должно быть, после смерти Джинкстропа на плоту осталось одиннадцать человек. Завтра их будет десять. Я умру.

И в самом деле, я чувствую, что страдания мои скоро кончатся: передо мной проходит вся прошлая жизнь. Родина, друзья, семья — мне дано увидеть их в последний раз в туманной грезе!

К утру я проснулся, если можно назвать сном болезненную дремоту, в которую я впал. Да простит мне бог, но я серьезно подумываю положить конец своим страданиям. Мысль эта засела у меня в голове. Я испытываю облегчение, говоря себе, что могу поставить точку, когда захочу.

С каким-то странным спокойствием сообщаю о своем решении Роберту Кергису. Капитан лишь одобрительно кивает головой.

— Что касается меня, — говорит он, — я не убью се-

бя. Это означало бы покинуть свой пост. Если смерть не придет за мной раньше, чем за остальными, я останусь на этом плоту последним.

Туман все не рассеивается. Мы окружены какой-то сероватой пеленой. Не видно даже воды. Туман поднимается с океана густыми волнами, но чувствуется, что над ним сияет жаркое солнце, которое быстро разгонит эти пары.

Около семи часов мне показалось, что над моей головой кричат птицы. Роберт Кертис — он все еще стоит и смотрит вдаль — жадно прислушивается к этим крикам. Они возобновляются трижды.

В третий раз я подхожу к нему и слышу глухое бормотанье:

— Птицы!.. Но, значит, земля близко!..

Неужели Роберт Кертис все еще верит в появление земли? Я в это не верю! Не существует ни континентов, ни островов. Земной шар всего лишь жидкий сфероид, каким он был во второй период после своего возникновения!

И все же я жду с некоторым нетерпением, чтобы туман рассеялся; не то чтобы я рассчитывал увидеть землю, но эта нелепая мысль, эта несбыточная надежда преследует меня, и я спешу от нее освободиться.

Только часам к одиннадцати туман начинает редеть. Над водой еще выются густые клубы, а выше, в прорывах облаков, я вижу небесную лазурь. Яркие лучи пронзают завесу испарений и впиваются в нас, как раскаленные добела металлические стрелы. Но на горизонте пары сгущаются, и я ничего не могу различить.

Клубы тумана окружают нас еще с полчаса, они расползаются очень медленно из-за полного отсутствия ветра.

Роберт Кертис, опираясь на борт плота, старается разглядеть, что делается за завесой тумана.

Наконец жгучее солнце очищает поверхность океана, туман отступает, свет наполняет пространство, четко выступает горизонт.

Как и все эти полтора месяца, он лежит перед нами пустынной окружностью: вода сливается с небом!

Роберт Кертис, поглядев кругом, не произносит ни слова. О! Мне искренне жаль его, ведь он единственный из нас, кто не имеет права лишиться себя жизни, когда захочет. Я же умру завтра, и если смерть не поразит меня, я сам пойду ей навстречу. Не знаю, живы ли еще мои спутники, но мне кажется, что я уже давно не видел их.

Наступила ночь. Я не мог уснуть ни минуты. Часов около двух жажда стала так нестерпима, что вызвала у меня жалобные стоны. Как! Неужели мне не дано испытать перед смертью высшее наслаждение — загасить огонь, который жжет мне грудь?

Да! Я напьюсь собственной крови за отсутствием крови других! Пользы мне от этого не будет, знаю, но по крайней мере я обману жажду!

Едва эта мысль мелькнула у меня в голове, как я привел ее в исполнение. С трудом раскрываю перочинный нож и обнажаю руку. Быстрым ударом перерезаю себе вену. Кровь выходит капля по капле, и вот я утоляю жажду из источника собственной жизни!

Кровь снова входит в меня и на мгновение утишает мои жестокие муки; потом она останавливается, иссыкает.

Как долго ждать завтрашнего дня!

С наступлением утра густой туман снова собрался на горизонте и сузил круг, центром которого является плот. Этот туман горяч, как пары, вырывающиеся из котла.

Сегодня — последний день моей жизни. Прежде чем умереть, мне хотелось обменяться рукопожатием с

другом. Роберт Кертис стоит неподалеку. Я с трудом подползаю к нему и беру его за руку. Он меня понимает, он знает, что это прощанье, и словно порывается пробудить во мне последний проблеск надежды, но напрасно.

Хотелось бы мне также повидать Летурнеров и мисс Херби... Но я не смею! Молодая девушка все прочтет в моих глазах. Она заговорит о боге, о будущей жизни, которую надо терпеливо ожидать... Ожидать! На это у меня нет мужества... Да простит меня бог!

Я возвращаюсь на задний конец плота, и после долгих усилий мне удастся стать возле мачты. Я в последний раз обвожу взглядом это безжалостное море, этот неизменный горизонт! Если бы даже я увидел землю или парус, поднимающийся над волнами, я решил бы, что это игра воображения... Но море пустынно!

Теперь десять часов утра. Пора кончать. Голодные боли, жгучая жажда начинают терзать меня с новой силой. Инстинкт самосохранения во мне умолк. Через несколько минут я уже не буду страдать!.. Да сжалится надо мною господь!

В это мгновение раздается чей-то голос. Я узнаю голос Дауласа.

Плотник подходит к Роберту Кертису.

— Капитан, — говорит он, — бросим жребий!

Я уже готов был кинуться в море, но вдруг останавливаюсь. Почему? Не знаю. Но я возвращаюсь на свое место.

LIII

— *Двадцать шестое января.* — Предложение сделано. Все его слышали, все его поняли. Вот уже несколько дней как это стало навязчивой идеей, которую никто не смел высказать.

Итак, будет брошен жребий.

Тот, кого изберет судьба... Что ж, каждый получит свою долю.

Пусть так! Если жребий падет на меня, я не стану жаловаться.

Мне кажется, что было предложено сделать исключение в пользу мисс Херби, — этого потребовал Андре Летурнер. Но среди матросов поднялся гневный ропот. Нас на борту одиннадцать человек, следовательно, каждый из нас имеет десять шансов за себя, один против, и если сделать исключение для кого бы то ни было, соотношение изменится. Мисс Херби разделит общую участь.

Половина одиннадцатого утра. Боцман, которого предложение Дауласа подбодрило, настаивает на том, чтобы немедленно приступить к жеребьевке. И он прав. Впрочем, никто из нас не дорожит жизнью. Тот, кого отметит судьба, лишь на несколько дней, может быть, всего на несколько часов, опередит своих спутников. Это нам известно, и мы не страшимся смерти. Но не страдать от голода день или два, не чувствовать жажды — вот чего мы хотим, и мы этого добьемся.

Не знаю, каким образом билетики с нашими именами очутились в чьей-то шляпе. Вероятно, Фолстен написал их на листе, вырванном из своей записной книжки.

Перед нами одиннадцать имен. Мы договорились, что жертвой будет тот, чье имя окажется на последнем оставшемся билетике.

Кому производить жеребьевку? Никто не решается.

— Я! — говорит один из нас.

Обернувшись на этот голос, я узнаю Летурнера. Он стоит, мертвенно-бледный, протянув вперед руку, страшный в своем спокойствии; пряди седых волос упали на запавшие щеки.

Несчастный отец! Я понимаю. Я знаю, почему ты вызвался читать записки... Нет предела твоей отцовской самоотверженности...

— Как хотите! — говорит боцман.

Господин Летурнер опускает руку в шляпу. Он берет билетик, разворачивает его, произносит вслух фамилию и передает тому, кто назван.

Первым выходит Берке, он испускает крик радости.

Вторым — Флейпол.

Третьим — боцман.

Четвертым — Фолстен.

Пятым — Роберт Кертис.

Шестым — Сандон.

Уже названа половина имен плюс одно.

Мое еще не названо. Я пытаюсь вычислить оставшиеся у меня шансы: четыре за, один против.

С тех пор как Берке закричал, не было произнесено ни одного слова.

Летурнер продолжает свое зловещее дело.

Седьмое имя — мисс Херби; молодая девушка даже не дрогнула.

Восьмое имя — мое. Да! Мое!

Девятое: «Летурнер»!

— Который? — спрашивает боцман.

— Андре! — отвечает Летурнер-отец.

Раздается крик, и Андре падает без сознания.

— Ну, скорее же! — рычит плотник Даулас. В шляпе остались два билетика, два имени: его и Летурнера.

Даулас сверлит взглядом соперника, словно собираясь ринуться на него и пожрать. Летурнер спокоен, почти улыбается. Он опускает руку и вынимает из шляпы предпоследний билет, медленно разворачивает его и произносит голосом, в котором не слышится ни малейшей дро-

жи, с твердостью, которой я никогда не ожидал от этого человека: «Даулас!»

Плотник спасен. Из его груди вырывается нечто похожее на рев.

Тогда Летурнер берет последний билет и, не развертывая его, рвет на мелкие части.

Но один оторванный клочок залетел в угол плота. Никто этого не заметил. Я ползу в ту сторону, подбираю кусочек бумаги и читаю: Анд...

Летурнер бросается ко мне, он с силою вырывает у меня из рук бумажку, яростно мнет ее и, пристально глядя на меня, бросает в море.

LIV

— *Двадцать шестое января. Продолжение.* — Я угадал. Отец пожертвовал собою ради сына. Он мог отдать ему только свою жизнь и отдал ее.

Изголодавшиеся люди не хотят больше ждать. Их муки усиливаются при виде жертвы. Летурнер для них уже не человек. Они не говорят ни слова, но губы у них вытягиваются, оскаленные зубы, готовые впиться в добычу и рвать ее со свирепой жадностью, как рвут клыки хищных зверей. Не хватает только, чтобы они бросились на свою жертву и проглотили ее живьем!

Кто поверит, что в это мгновение раздался призыв к человечности, проблески которой еще сохранились, быть может, в этих людях? И кто, в особенности, поверит, что этот призыв будет услышан? Да, одно слово остановило матросов в ту самую минуту, когда они собирались ринуться на Летурнера. Боцман, готовый сыграть роль мясника, Даулас с топором в руке вдруг застыли, словно замороженные.

Мисс Херби подходит к ним, с трудом волоча ноги.

— Друзья мои, — говорит она, — подождите еще один день! Только один день! Если завтра не покажется земля, если ни одно судно не встретится нам, наш бедный товарищ станет вашей жертвой...

При этих словах сердце мое дрогнуло. Они показались мне пророческими. Не свыше ли вдохновлена эта благородная девушка? К сердцу прихлынула мощная волна надежды. Может быть, берег, судно явились мисс Херби в одном из тех видений, которые бог посылает некоторым избранным. Да! Надо подождать еще один день! Разве это много — один день, после всего, что мы пострадали.

Роберт Кертис такого же мнения, как и я. Мы присоединяемся к просьбе мисс Херби. И Фолстен тоже. Мы умоляем наших спутников, боцмана, Дауласа и других...

Матросы останавливаются, ни один из них не ропщет.

Боцман бросает топор; он говорит глухим голосом:

— Завтра, на рассвете!

Все сказано. Если завтра мы не увидим ни земли, ни судна, свершится ужасное жертвоприношение.

Все возвращаются на свои места и остатком воли стараются подавить стоны. Матросы прячутся под парусами. Они даже не смотрят на море. Не все ли равно! Завтра они насытятся.

Между тем Андре Летурнер пришел в себя и прежде всего взглянул на отца. Затем я вижу, что он считает тех, кто остался на плоту... Все налицо. На кого же пал жребий? Когда Андре потерял сознание, не были еще произнесены две фамилии — плотника и его отца! Но Летурнер и Даулас еще живы!

Мисс Херби подходит к нему и говорит, что жеребьевка не была закончена.

Андре удовлетворен ее ответом. Он берет за руку от-

ца. У Летурнера спокойное, слегка улыбающееся лицо. Он видит, он понимает только одно: его сын пощажён. Эти два существа, так тесно связанные друг с другом, усаживаются на заднем конце плота и разговаривают вполголоса.

А я еще не пришел в себя от первого впечатления, произведенного вмешательством молодой девушки. Я верю в помощь провидения. Мне трудно даже выразить, как глубоко эта мысль овладела мной. Я готов утверждать, что близится конец наших бедствий, и так уверен в этом, словно судно или земля уже оказались перед нами, в каких-нибудь двух-трех милях. В этой вере нет ничего удивительного. Мой мозг так опустошен, что химеры принимаются мною за действительность.

Я говорю о своих предчувствиях с Летурнерами. Андре полон веры, как и я. Несчастный юноша! Если бы он знал, что завтра...

Отец серьезно слушает и поддерживает во мне надежду. Он тоже верит, что небо пощадит оставшихся в живых пассажиров и матросов «Ченслера», или по крайней мере делает вид, что верит; он осыпает своего сына ласками — последними...

Позже, когда мы остаемся вдвоем с Летурнером, он наклоняется и шепчет мне на ухо:

— Я поручаю вам моего несчастного сына, — пусть он никогда не узнает, что...

Он не кончает фразы — и крупные слезы катятся из его глаз.

Я всей душой надеюсь. Осматриваю горизонт, ни на минуту не отрывая от него глаз, весь его оббегаю взглядом. Море пустынно, но это не вызывает во мне тревоги. Еще до наступления завтрашнего дня мы увидим парус или землю.

Роберт Кертис, как и я, наблюдает море. Мисс Херби,

Фолстен, даже боцман — все глядят на бескрайний водный простор, сосредоточив всю силу жизни в этом взгляде.

Тем временем спускается ночь, но я уверен, что какое-нибудь судно приближается к нам в этой глубокой тьме и что на заре оттуда заметят наши сигналы.

LV

— *Двадцать седьмое января.* — Я не смыкаю глаз. Прислушиваюсь к малейшему шуму, к плеску воды, к рокоту волн. Вокруг плота теперь нет ни одной акулы. В этом я вижу счастливое предзнаменование.

Луна взошла в сорок шесть минут первого. Но при смутном свете ее нет возможности видеть морскую даль. Сколько раз мне казалось, что я различаю в нескольких кабельтовых контуры вожаденного паруса.

Наступает утро... Солнце встает над пустынным морем!

Страшная минута приближается. И я чувствую, что вчерашние надежды понемногу угасают во мне. Судно не показывается. И земли тоже нет. Медленно возвращается ко мне сознание действительности, и я вспоминаю! Сейчас свершится гнусная казнь!

Я не смею смотреть на жертву. Когда Летурнер останавливает на мне взгляд, выражающий покорность судьбе, я опускаю глаза.

Сердце у меня сжимается от непреодолимого ужаса, а голова так кружится, точно я пьян.

Уже шесть часов утра. Нет, я не верю в помощь провидения. Сердце бьется учащенно, пульс перевалил за сто, и весь я в холодном поту.

Боцман и Роберт Кертис стоят, опершись на мачту, и все еще наблюдают океан. На боцмана страшно смот-

реть. Чувствуется, что он ничего не предпримет раньше назначенного часа, но и опоздания не допустит. Я не могу угадать мыслей капитана. Его лицо мертвенно-бледно, живут только глаза.

Матросы, шатаясь, бродят по плоту и уже пожирают свою добычу горящим взглядом.

Я не могу оставаться на месте и отправляюсь на передний конец плота.

Боцман все еще стоит, все еще смотрит.

— Пора! — восклицает он.

Я вздрагиваю.

Боцман, Даулас, Флейпол, Берке, Сандон идут на задний конец плота. Плотник судорожно сжимает топор.

Мисс Херби не может сдержать стона.

Вдруг Андре выпрямляется.

— Мой отец? — вскрикивает он сдавленным голосом.

— Жребий пал на меня... — отвечает Летурнер.

Андре бросается к отцу и обвивает его руками.

— Ни за что! — кричит он, и крик этот похож на рычание. — Уж лучше убейте меня! Да, убейте меня! Это я бросил в море труп Хоббарта! Это меня, меня надо зарезать!

Несчастный! Эти слова еще подливают масла в огонь. Даулас, подойдя к юноше, отрывает его от Летурнера.

— Хватит нежностей! — говорит он.

Андре падает навзничь, и два матроса держат его так, чтобы он не мог сделать ни одного движения.

В то же время Берке и Флейпол, схватив свою жертву, тащат ее на передний конец плота.

Эта ужасная сцена происходит быстрее, чем можно описать. Ужас пригвождает меня к месту! Я хотел бы броситься между Летурнером и его палачами, но не могу даже пошевелинуться!

Господин Летурнер стоит. Он отталкивает матросов, сорвавших с него часть одежды. Его плечи обнажены.

— Одну минуту, — говорит он тоном, в котором слышится неукротимая энергия, — одну минуту! Я не намерен украсть у вас ваш рацион! Но ведь сегодня вы не проглотите меня целиком, надо думать.

Матросы останавливаются, озадаченные, они смотрят, они слушают.

Летурнер продолжает:

— Вас десятеро! Разве моих двух рук вам недостаточно? Отрежьте их, а завтра получите остальное!..

Летурнер протягивает две обнаженных руки.

— Пусть так! — страшным голосом кричит плотник Даулас.

Быстрым, как молния, движением он поднимает топор...

Роберт Кертис не в состоянии вынести этого. Я тоже. Пока мы живы, убийство не совершится. Капитан подбегает к матросам... Но в гущу свалки кто-то толкает меня, и я падаю в море.

Я закрываю рот, я предпочитаю умереть, задохнувшись! Но не выдерживаю. Губы мои размыкаются! Вода вливается в рот...

Боже милостивый! Вода — пресная!

LVI

— *Двадцать седьмое января. Продолжение.* — Я пью, пью! Я возрождаюсь! Жизнь входит в меня! Я уже не хочу умирать!

Я кричу. Мои крики услышаны. Роберт Кертис наклоняется над бортом, бросает мне веревку, за которую я цепляюсь. Взбираюсь по ней и снова попадаю на плот.

И тут же кричу:

— Вода пресная!

— Пресная?! — повторяет Роберт Кертис. — Земля близко!

Еще не поздно! Убийство не совершилось. Роберт Кертис и Андре боролись против этих каннибалов, и мой голос раздался в то мгновение, когда они уже изнемогали.

Борьба прекратилась. Я повторяю все то же: вода пресная, пресная! И, перегнувшись за борт, пью жадно, большими глотками!

Мисс Херби первая последовала моему примеру. Роберт Кертис, Фолстен и другие бросаются к этому источнику жизни. Все до одного. Хищные звери превращаются в людей и поднимают руки к небу. Некоторые матросы крестятся и кричат, что свершилось чудо. Все ложатся на край плота и с восхищением пьют. Ярость сменяется экстазом!

Андре и его отец последними склоняются к воде.

— Но где же мы находимся? — спрашиваю я.

— Менее чем в двадцати милях от земли, — отвечает Роберт Кертис.

Все смотрят на него. С ума, что ли, сошел наш капитан? Никакого берега не видно, и плот по-прежнему находится в центре водной пустыни.

Но ведь вода-то пресная! Давно ли мы вступили в зону пресной воды? Не все ли равно! Чувства не обманули нас, наша жажда утолена.

— Да, земля невидима, но она здесь! — говорит капитан, указывая рукой на запад.

— Какая земля? — спрашивает боцман.

— Америка, где течет Амазонка, единственная река, течение которой настолько сильно, что оттесняет соленую воду океана на двадцать миль от устья!

— *Двадцать седьмое января. Продолжение.* — Роберт Кертис, очевидно, прав. Устье Амазонки, дебит которой двести сорок тысяч кубических метров в час¹, единственное место в Атлантическом океане, где мы могли найти пресную воду. Земля близка! Мы это чувствуем! Ветер несет нас туда!

В эту минуту мисс Херби начинает громко молиться, и мы присоединяемся к ней.

Андре Летурнер — в объятиях отца. Они стоят назади плота, а мы все собрались на переднем его конце и смотрим на горизонт, на запад...

Проходит час, вдруг Роберт Кертис вскрикивает:
— Земля!

Дневник, в котором я вел ежедневные записи, кончен. Наше спасение — дело нескольких часов, и я вкратце расскажу о нем.

Наш плот был замечен в одиннадцать часов утра рыбаками с острова Маражо, находившимися на мысу Магуари. Нас подобрали, о нас позаботились, затем отвезли в город Белен, где нам был оказан трогательный прием.

Плот пристал к берегу на 0° 12' северной широты. Он, значит, был отброшен по крайней мере на 15° к юго-западу с того дня, когда мы покинули судно. Я говорю «по крайней мере», ибо совершенно ясно, что мы оказались еще южнее. Если мы очутились у устья Амазонки, то лишь потому, что плот был подхвачен Гольфстримом. Иначе мы погибли бы.

Из двадцати восьми человек, севших на борт «Ченслера» в Чарлстоне, то есть из восьми пассажиров и два-

¹ В три тысячи раз больше дебита Сены. (*Прим. автора.*)

дцати моряков, было подобрано только пять пассажиров и шесть моряков — итого одиннадцать человек.

Только они и остались в живых.

Бразильскими властями был составлен протокол нашего спасения.

Его подписали: мисс Херби, Ж.-Р. Казаллон, Летурнер-отец, Андре Летурнер, Фолстен, боцман, Даулас, Берке, Флейпол, Сандон и — последним — капитан Роберт Кертис.

Я должен прибавить, что в городе Белене нам почти тотчас же была предоставлена возможность вернуться на родину. Мы сели на судно, которое отвезло нас в Кайенну; отсюда мы доберемся до Колона и пересядем на французский трансатлантический пароход «Виль-де-Сен-Назер». Этот пароход и отвезет нас в Европу.

Вполне естественно, что теперь, после стольких бедствий, перенесенных вместе, стольких опасностей, которых нам удалось избежать, так сказать, чудом, всех пассажиров «Ченслера» связывает нерушимая дружба! Куда бы ни забросила каждого из нас судьба, как бы ни сложилась наша жизнь, мы никогда не забудем наших спутников! Роберт Кертис навсегда останется другом тех, которые были его товарищами по несчастью.

Мисс Херби намерена была удалиться от мира и посвятить свою жизнь заботам о страждущих.

— Разве мой сын — не больной?.. — сказал ей Летурнер.

У мисс Херби теперь есть отец в лице Летурнера, брат в лице его сына Андре. Я говорю брат, но вскоре эта мужественная девушка обретет в своей новой семье вполне заслуженное счастье, которого мы горячо ей желаем.

ОПЫТ ДОКТОРА ОКСА

ГЛАВА 1,

*повествующая о том,
что бесполезно искать даже
на лучших картах городок Кикандон*

Если вы станете искать на старой или новой карте Фландрии маленький городок Кикандон, то, по всей вероятности, вы его не найдете. Так, значит, Кикандон — исчезнувший город? Ничуть не бывало! Город будущего? Тоже нет. Он существует, вопреки географам, уже добрых восемьсот или девятьсот лет. Он насчитывает две тысячи триста девяносто три души, считая по одной душе на каждого жителя. Он расположен в тринадцати с половиной километрах к северо-западу от Ауденаарде и в пятнадцати с четвертью километров к юго-востоку от Брюгге, в самом сердце Фландрии. Ваар, небольшая речка, впадающая в приток Шельды, протекает под тремя его мостами, на которых, как и в Турнэ, до сих пор сохранилась средневековая кровля. В Кикандоне можно любоваться старым замком, который заложил в 1197 году граф Балдуин, будущий император Константинопольский, ратушей с готическими бойницами и зубчатыми стенами, увенчанной сторожевой башней, высотой в триста пятьдесят семь футов. С этой башни ежечасно разносится мелодичный перезвон часов; это своего рода воздушный рояль, еще более прославленный, чем перезвон в Брюгге. Если бы иностранец ненароком заглянул в Кикандон, он непременно осмотрел бы зал штатгалтеров, украшенный портретом Вильгельма Нассауского, работы Брандона, амвон церкви Св. Маглуара, этот ше-

девр архитектуры XVI века, колодец из кованого железа посреди площади Св. Эрнуфа, восхитительные орнаменты которого исполнены художником-кузнецом Квентином Метсу, гробницу, некогда воздвигнутую для Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, почивающей ныне в церкви Божьей Матери в Брюгге, и т. д. Наконец Кикандон славится производством сбитых сливок и леденцов. Это производство уже несколько столетий составляет привилегию фамилии Ван-Трикасс. И все же Кикандон не значится на карте Фландрии! Следует ли это приписать забывчивости географов или намеренному упущению, не могу сказать, но Кикандон существует вполне реально со своими узкими улицами, с поясом укреплений, со старинными испанскими домами, с рынком и с бургомистром. В этом городке и разыгрались не так давно события, удивительные, необычайные, невероятные, но тем не менее истинные, и о них-то и будет подробно рассказано ниже.

О жителях западной Фландрии положительно не скажешь ничего дурного. Это люди добропорядочные, рассудительные, бережливые, радушные, гостеприимные, хотя и несколько отсталых взглядов и не слишком бойкие на язык, но все это не объясняет, почему один из интереснейших городов на их территории до сих пор не обозначен на географической карте.

О таком упущении можно искренне пожалеть. Если бы только история, или за отсутствием истории хроника, или, наконец, за отсутствием хроники местные предания упоминали о Кикандоне! Но нет, ни атлас, ни путеводители не говорят о нем. Разумеется, такое молчание должно сильно вредить торговле и промышленности этого города. Но поспешим добавить, что в Кикандоне не существует ни торговли, ни промышленности и что городок прекрасно обходится и без них. Сбитые сливки и леден-

цы поедает местное население, и нет надобности их вывозить. Вдобавок кикандонцы вовсе не нуждаются в иностранцах. Круг их интересов весьма ограничен, и они ведут тихое и мирное существование, они отличаются спокойствием, умеренностью, хладнокровием, флегматичностью, — словом, это типичные «фламандцы», каких до сих пор еще можно порою встретить в районе между Шельдой и Северным морем.

ГЛАВА 2,

в которой бургомистр Ван-Трикасс и советник Никлосс беседуют о городских делах

— Вы так думаете? — спросил бургомистр.

— Да, я так думаю, — ответил советник, помолчав несколько минут.

— Но ведь легкомысленные поступки совершенно недопустимы, — продолжал бургомистр.

— Вот уже десять лет, как мы обсуждаем этот важный вопрос, — заметил советник Никлосс, — и должен вам сказать, уважаемый Ван-Трикасс, я никак не могу принять решения.

— Я понимаю ваши колебания, — проговорил бургомистр, поразмыслив с четверть часа, — и не только понимаю, но и разделяю их. Благоразумнее всего будет обстоятельно изучить этот вопрос и только тогда уже принимать то или иное решение.

— Без сомнения, — ответил Никлосс, — должность гражданского комиссара совершенно бесполезна в таком спокойном городе, как Кикандон.

— Ваш предшественник, — многозначительно изрек Ван-Трикасс, — ни при каких обстоятельствах не решил-

ся бы сказать «без сомнения». Всякое утверждение может быть опровергнуто.

Советник покачал головой в знак согласия, потом умолк на добрых полчаса. Все это время и бургомистр и советник пребывали в полной неподвижности. Наконец Никлосс спросил Ван-Трикасса, не приходила ли его предшественнику — лет этак двадцать тому назад — в голову мысль об упразднении должности гражданского комиссара. Эта должность обходилась Кикандону в тысячу триста семьдесят пять франков и несколько сантимов в год.

— Конечно, приходила, — ответил бургомистр, с величавой медлительностью поднося руку к своему ясному челу, — но сей достойный муж так и умер, не дерзнув принять решения по данному вопросу, да и вообще не решился провести ни одного административного мероприятия. Это был мудрец. Почему бы и мне не поступать подобно ему?

Советник Никлосс ничего не нашел возразить бургомистру.

— Человек, который умирает, не приняв никакого решения за всю свою жизнь, — важно прибавил Ван-Трикас, — весьма близок к совершенству, какое только доступно на земле.

Сказав это, бургомистр нажал мизинцем кнопку звонка с приглушенным звуком, и раздался скорее вздох, чем звон. Тотчас же послышались легкие шаги. Казалось, прошелестела мышь, пробежав по толстому ковру. Дверь отворилась, беззвучно поворачиваясь на смазанных петлях. Появилась белокурая девушка с длинными косами. Это была Сюзель Ван-Трикас, единственная дочь бургомистра. Она подала отцу набитую табаком трубку и маленькую медную жаровню и, не вымолвив ни слова, тотчас же исчезла так же бесшумно, как и вошла.

Достопочтенный бургомистр закурил свою внушительную трубку и вскоре скрылся в облаке голубоватого дыма, а советник Никлосс по-прежнему пребывал в глубоком раздумье.

Эти два почтенных лица, облеченных административной властью, беседовали в гостиной бургомистра, стены которой были облицованы темным дубом, покрытым богатой резьбой. Грандиозный камин с огромным очагом, где можно было бы сжечь целый дуб или изжарить быка, занимал всю стену напротив окна с мелким переплетом, расписные стекла которого приятно смягчали дневной свет. Над камином висела картина в старинной раме, приписываемая кисти Гемлинга, портрет пожилого мужчины, одного из предков Ван-Трикасса, родословная которого восходила к XIV веку, к той эпохе, когда фламандцы во главе с Ги де Дампьером боролись против императора Рудольфа Габсбургского.

Дом бургомистра был очень видным зданием в Кикандоне. Построенный во фламандском вкусе и в то же время со всеми ухищрениями, капризами, неожиданностями и причудами готики, он считался одним из интереснейших зданий города. Там царило вечное безмолвие, как в Картезианском монастыре или в приюте для глухонемых. Ничто не нарушало тишины: здесь не ходили, а скользили, не говорили, а шептались. А ведь в доме жили женщины — супруга бургомистра госпожа Бригитта Ван-Трикасс, его дочь Сюзель Ван-Трикасс и служанка Лотхен Янсен. Нужно упомянуть также о сестре бургомистра, тетушке Эрмаяс, старой деде, откликавшейся также на имя Татанеманс, данное ей племянницей Сюзелью, когда та была маленькой девочкой. И как это ни странно, все эти женщины жили в мире — ни

раздоров, ни шума, ни болтовни: в доме бургомистра царила тишина, как в безлюдной пустыне.

Бургомистру было около пятидесяти лет; его нельзя было назвать ни толстым, ни худощавым, ни высоким, ни приземистым, ни молодым, ни старым, ни румяным, ни бледным, ни веселым, ни печальным, ни благодушным, ни желчным, ни энергичным, ни слабохарактерным, ни гордым, ни смиренным, ни добрым, ни злым, ни щедрым, ни скупым, ни храбрым, ни трусливым — никаких крайностей, умеренность во всем. Но физиономист, глядя на его замедленные движения, на слегка отвисшую нижнюю челюсть, неподвижные веки, гладкий, как медная пластинка, лоб и несколько дряблые мускулы, без труда определил бы, что бургомистр Ван-Трикас — олицетворение флегмы. Ни разу в жизни гнев и другие страсти не заставляли бурно биться его сердце, на щеках у него никогда не выступали красные пятна; его зрачки никогда не суживались от гнева, хотя бы мимолетного. Он всегда был хорошо одет, платье на нем было ни слишком узкое, ни чересчур просторное, и ему никогда не удавалось износить своей одежды. Он ходил в тяжелых башмаках с тупыми носками, тройной подошвой и серебряными пряжками, и эта обувь своей прочностью приводила в отчаяние его сапожника. Носил он широкополую шляпу фасона той эпохи, когда Фландрия окончательно отделилась от Голландии, — следовательно, этому почтенному головному убору было около сорока лет. Но это и не удивительно. Известно, что и тело, и душа, и платье быстро изнашиваются, когда человека обуревают страсти, а наш достойный бургомистр, апатичный, невозмутимый, равнодушный, не знал страстей. Он решительно ничего не изнашивал, не изнашивался и сам, и именно потому был вполне под-

ходящим человеком для управления городом Кикандоном и его невозмутимыми обитателями.

Действительно, город был не менее спокоен, чем дом Ван-Трикасса. Именно в этом мирном обиталище бургомистр рассчитывал достигнуть самых преклонных лет и пережить свою добрую супругу Бригитту Ван-Трикасс, которой и в могиле не суждено было вкушать более глубокий покой, чем тот, каким она наслаждалась на земле вот уже шестьдесят лет.

Это требует кое-каких пояснений.

Семейство Ван-Трикасс с полным правом могло бы именоваться «семейством Жанно». И вот почему.

Нож этого господина столь же знаменит, как и его хозяин, и этот предмет можно назвать вечным, так как он постоянно восстанавливается: когда изнашивается ручка, ее заменяют новой, точно так же поступают и с лезвием. Подобная же процедура с незапамятных времен имела место в семействе Ван-Трикассов, и сама природа, казалось, принимала в этом благосклонное участие. Начиная с 1340 года каждый Ван-Трикасс, овдовев, вступал в брак с девицей из рода Ван-Трикасс моложе себя; последняя, овдовев, в свою очередь выходила вторично замуж за одного из Ван-Трикассов моложе себя, который, овдовев... и т. д. без конца. Каждый из них умирал в положенный ему срок с точностью часового механизма. Достоянная госпожа Ван-Трикасс была уже за вторым мужем и, как особа добропорядочная, должна была переселиться в лучший мир раньше своего супруга, который был на десять лет моложе ее, и освободить место новой Ван-Трикасс. На это достопочтенный бургомистр безусловно рассчитывал, ибо вовсе не желал нарушать семейные традиции.

Таков был этот дом, мирный и молчаливый, где двери и полы не скрипели, стекла не дребезжали, замки не

шелкали, мебель не издавала треска, флюгера вращались беззвучно, а обитатели производили не больше шума, чем тени. Бог молчания Гарпократ, наверное, избрал бы эту обитель для храма Безмолвия.

ГЛАВА 3,

*в которой комиссар Пассоф
появляется столь же шумно,
сколь и неожиданно*

Выше приведенный любопытный разговор советника с бургомистром начался без четверти три пополудни. Было три часа сорок пять минут, когда Ван-Трикасс закурил свою внушительную трубку, вмещавшую четверть фунта табаку, а выкурил он ее только без двадцати пяти шесть.

За это время собеседники не обменялись ни единым словом.

Около шести часов советник, всегда изъяснявшийся обиняками или многозначительными намеками, начал снова:

— Итак, мы принимаем решение...

— Ничего не решать, — отвечал бургомистр.

— Я думаю, что вы в конце концов правы, Ван-Трикасс.

— Я тоже так думаю, Никлосс. Мы примем решение относительно гражданского комиссара, когда поосновательнее разберемся в этом вопросе... Ведь над нами не каплет...

— Отнюдь, — ответил Никлосс, развертывая носовой платок, которым он обошелся на редкость благопристойно.

Снова наступило молчание, продолжавшееся добрый час. Ничто не нарушало тишины, даже появление до-

машнего пса, доброго старого Ленто, не менее флегматичного, чем его хозяин, который из вежливости навес­тил гостиную. Достойный пес! Высокий образец для все­го собачьего рода! Он двигался совершенно бесшумно, как если бы был сделан из папье-маше и катился на ко­лесиках.

Около восьми часов вечера, когда Лотхен внесла ста­ринную лампу с матовым стеклом, бургомистр сказал со­ветнику:

— У нас больше нет важных дел, требующих обсужде­ния, Никлосс?

— Нет, Ван-Трикасс, насколько мне известно, тако­вых не имеется.

— Но разве мне не говорили, — сказал бургомистр, — что башня Ауденаардских ворот грозит рухнуть?

— Так оно и есть, — ответил советник, — и я, право, не удивлюсь, если она в один прекрасный день кого-ни­будь раздавит.

— О! — промолвил бургомистр. — Я надеюсь, что мы успеем вовремя принять решение относительно башни, и такого несчастья не произойдет.

— Я тоже надеюсь, Ван-Трикасс.

— Есть и более спешные вопросы.

— Несомненно, — отвечал советник, — например, во­прос о складе кожи.

— А он все еще горит? — спросил бургомистр.

— Горит, вот уже три недели.

— Разве мы не решили на совете, что следует оста­вить его гореть?

— Да, Ван-Трикасс, по вашему предложению.

— Разве это не самый простой и верный способ спра­виться с пожаром?

— Без сомнения.

— Ну, хорошо, подождем. Это все?

— Все, — ответил советник, потирая себе лоб, словно стараясь припомнить какое-то важное дело.

— А вам известно, — продолжал бургомистр, — что прорвана плотина и кварталу Святого Иакова угрожает наводнение?

— Как же, — отвечал советник. — Какая досада, что плотина не была прорвана выше кожевенного склада! Тогда вода, конечно, залила бы пожар, и это избавило бы нас от всяких хлопот.

— Что поделаешь, Никлосс, — отвечал достойный бургомистр. — Несчастные случаи не подчинены законам логики. Между ними нет никакой связи, и мы не можем воспользоваться одним из них, чтобы устранить другой.

Это глубокомысленное замечание Ван-Трикасса лишь через несколько минут дошло до его собеседника и друга и было им оценено.

— Так-с, — заговорил опять советник Никлосс. — Мы с вами сегодня даже не затронули основного вопроса.

— Основного вопроса? Так у нас имеется основной вопрос? — спросил бургомистр.

— Несомненно. Речь идет об освещении города.

— Ах да, — отозвался бургомистр. — Если не ошибаюсь, вы имеете в виду проект доктора Окса?

— Вот именно.

— Дело двигается, Никлосс, — отвечал бургомистр. — Уже начата прокладка труб, а завод совершенно закончен.

— Может быть, мы немного поспешили с этим делом, — заметил советник, покачав головой.

— Может быть, — ответил бургомистр. — Но наше оправдание в том, что доктор Окс берет на себя все рас-

ходы, связанные с этим опытом. Это не будет стоить нам ни гроша.

— Это действительно служит нам извинением. Вдобавок нужно идти в ногу с веком. Если опыт удастся, Кикандон первый из городов Фландрии будет освещен газом окси... Как он называется, этот газ?

— Оксигидрический.

— Ну, пускай себе оксигидрический газ.

В этот момент дверь отворилась, и Лотхен доложила бургомистру, что ужин подан.

Советник Никлосс поднялся, чтобы проститься с Ван-Трикассом, у которого после длительного обсуждения дел и принятия целого ряда важных решений разыгрался аппетит. Затем они договорились, что в недалеком будущем придется созвать совет именитых людей города, чтобы решить, не принять ли какое-нибудь предварительное решение по неотложному вопросу об Ауденаардской башне.

После этого достойные администраторы направились к выходной двери, бургомистр провожал гостя. На нижней площадке советник зажег маленький фонарик, чтобы пробираться по темным улицам Кикандона, которые еще не были освещены газом доктора Окса. Ночь была темная, был октябрь месяц, и легкий туман окутывал город.

Приготовления советника Никлосса к отбытию потребовали не менее четверти часа, так как, засветив фонарик, он должен был обуться в огромные галоши из волчьей кожи и натянуть на руки толстые перчатки из бараньей кожи; потом он поднял меховой воротник сюртука, нахлобучил шляпу на глаза, вооружился тяжелым зонтиком с загнутой рукояткой и приготовился выйти на улицу.

Но когда Лотхен, светившая своему хозяину, собра-

лась отодвинуть дверной засов, снаружи неожиданно слышался шум.

Да! Как это ни казалось невероятным, шум, настоящий шум, какого город не слышал со времени взятия крепости испанцами в 1513 году, ужасающий шум разбудил давным-давно уснувшее эхо в старинном доме Ван-Трикасса. В дверь постучали, — в дверь, которая до сих пор еще не испытала ни одного грубого толчка. Удары следовали один за другим, изо всех сил колотили каким-то тупым орудием, очевидно узловатой дубиной. Вперемежку с ударами раздавались крики, отчаянные призывы. Можно было расслышать слова:

— Господин Ван-Трикасс! Господин бургомистр! Откройте, откройте поскорей!

Бургомистр и советник, вконец ошеломленные, уставились друг на друга, не говоря ни слова. Это превосходило их воображение. Если бы внезапно выпалила старая замковая пушка, не стрелявшая с 1385 года, и ядро попало в гостиную, обитатели дома Ван-Трикасса едва ли были бы так ошарашены. Да простит нам читатель это грубое словечко, но оно здесь как нельзя более уместно.

Между тем удары, крики, призывы раздавались с удвоенной силой. Придя в себя, Лотхен отважилась заговорить.

— Кто там? — спросила она.

— Это я! я! я!

— Кто вы?

— Комиссар Пассоф.

Комиссар Пассоф! Тот самый, об упразднении должности которого толковали уже десять лет! Но что же такое произошло? Уж не вторглись ли в город бургундцы, как в XIV веке? Должно было произойти событие не меньшей важности, чтобы взбудоражить комиссара Пас-

софа, столь же уравновешенного и флегматичного, как и сам бургомистр.

По знаку Ван-Трикасса — сей достойный муж не мог выговорить ни слова — засов был отодвинут, и дверь отворилась.

Комиссар Пассоф ворвался в переднюю как ураган.

— Что случилось, господин комиссар? — спросила Лотхен, мужественная девушка, ни при каких обстоятельствах не терявшая присутствия духа.

— В чем дело! — повторил Пассоф, круглые глаза которого были расширены от возбуждения. — Дело в том, что я прямо от доктора Окса, у него было собрание, и там...

— Там? — повторил советник.

— Там я был свидетелем таких споров, что... Господин бургомистр, там говорили о политике!

— О политике! — повторил Ван-Трикасс, ероша свой парик.

— О политике, — продолжал комиссар Пассоф. — Этого в Кикандоне не случалось, может быть, уже сто лет. Там начался спор. Адвокат Андрэ Шют и врач Доминик Кустос доспорились до того, что дело может окончиться дуэлью.

— Дуэлью? — вскричал советник. — Дуэль! Дуэль в Кикандоне! Но что же наговорили друг другу адвокат Шют и врач Кустос?

— Вот что, слово в слово: «Господин адвокат, — заявил врач своему противнику, — вы себе слишком много позволяете, не взвешиваете своих слов».

Бургомистр Ван-Трикасс всплеснул руками. Советник побледнел и выронил из рук фонарик. Комиссар покачал головой. Такие вызывающие слова в устах столь почтенных людей!

— Этот врач Кустос, — прошептал Ван-Трикасс, —

как видно, опасный человек, горячая голова! Идемте, господа.

И советник Никлосс, комиссар и бургомистр Ван-Трикасс прошествовали в гостиную.

ГЛАВА 4,

**в которой доктор Окс
оказывается первоклассным
физиологом и смелым
экспериментатором**

Кто же такой был человек, носивший столь странное имя? Доктор Окс, без сомнения, был оригиналом, но вместе с тем смелым ученым, физиологом, работы которого известны всем ученым Европы и высоко ими ценятся, — счастливый соперник Дэви, Дальтона, Бостока, Менци, Годвина, Фирордта, этих великих людей, поднявших физиологию на неслыханную высоту.

Доктор Окс был мужчина не слишком полный, среднего роста, лет... но мы не можем указать точно ни его возраста, ни национальности. Впрочем, это и неважно. Достаточно знать, что это был странный субъект, с горячей, мятежной кровью, настоящий чудак, словно соскользнувший со страниц Гофмана и представлявший полный контраст обитателям Кикандона. В себя, в свои теории он верил непоколебимо. Этот вечно улыбающийся человек, с высоко поднятой головой и широкими плечами, с походкой свободной и уверенной, с ясным, твердым взглядом, с раздувающимися ноздрями, с крупным ртом, жадно глотающим воздух, производил приятное впечатление. Он был полон жизни, прекрасно владел своим телом и двигался так быстро, словно в жилах у него была ртуть, а в пятках — иголки. Он не мог ни минуты

оставаться спокойным, бурно жестикулировал и рассыпался в торопливых словах.

Значит, он был богат, этот доктор Окс, задумавший на свои средства осветить целый город?

Вероятно, да, если он мог позволить себе такие расходы, — вот все, что мы можем ответить на столь нескромный вопрос.

Доктор Окс прибыл в Кикандон пять месяцев тому назад в сопровождении своего ассистента, Гедеона Игена, длинного, сухопарого, тощего, долговязого, но столь же подвижного, как и его начальник.

Спросим теперь: почему это доктору Оксу вздумалось организовать, да еще на свой счет, освещение города? Почему он избрал именно мирных кикандонцев, этих истых фламандцев, и захотел облагодетельствовать их город необычайным освещением? Не намеревался ли он под этим предлогом произвести какой-нибудь крупный физиологический опыт, для каких обычно используют животных? И, наконец, что собирался предпринять этот оригинал? Этого мы не знаем, ибо у доктора Окса не было других поверенных, кроме его ассистента Игена, который слепо ему повиновался.

Как бы там ни было, доктор Окс заявил, что берется осветить город, который в этом весьма нуждался, «особенно ночью», по тонкому замечанию комиссара Пассофа. Итак, был построен завод для производства светильного газа. Газометры были уже установлены, трубы проложены под мостовой, и вскоре должны были загореться газовые рожки в общественных зданиях и даже в частных домах, принадлежащих поклонникам прогресса.

Бургомистр Ван-Трикасс, советник Никлосс и другие знатные люди города, чтобы не уронить своего достоинства, сочли нужным провести новое освещение в свои жилища.

Как, вероятно, помнит читатель, бургомистр и советник упомянули в своей столь затянувшейся беседе о том, что город будет освещен не вульгарным светильным газом, получающимся при перегонке каменного угля, но новейшим газом, который ярче в двадцать раз, — оксигидрическим газом, образующимся при смешении кислорода с водородом.

Доктор Окс, замечательный химик и искусный физик, умел получать этот газ в больших количествах и без особых затрат, причем он не пользовался марганцовокислым натрием по методу Тессье дю Мотэ, а попросту разлагал слегка подкисленную воду с помощью изобретенной им батареи. Таким образом, ему не требовалось ни дорогих веществ, ни платины, ни реторт, ни горючего, ни сложных аппаратов для выработки того и другого газа в отдельности. Электрический ток проходил сквозь большие чаны, наполненные водой, которая и разлагалась на составные элементы, кислород и водород. Кислород направлялся в одну сторону, водород, которого было вдвое больше, чем его бывшего союзника, — в другую. Оба газа собирались в отдельные резервуары, — существенная предосторожность, так как их смесь, воспламенившись, непременно вызвала бы страшный взрыв. Затем каждый газ в отдельности должен был направляться по трубкам к рожкам, устроенным так, чтобы предотвратить всякую возможность взрыва. Должно было получиться замечательное пламя, не уступающее яркостью электрическому свету, который, как доказывают опыты Кассельмана, равняется свету тысячи ста семидесяти одной свечи.

Конечно, благодаря этому счастливому изобретению Кикандон должен был получить великолепное освещение. Но, как мы увидим из дальнейшего, меньше всего этим интересовались доктор Окс и его ассистент.

На другой день после шумного вторжения комиссара Пассофа в гостиную бургомистра Геден Иген и доктор Окс беседовали в рабочем кабинете, находившемся в нижнем этаже главного корпуса завода.

— Ну что, Иген, ну что! — восклицал доктор Окс, потирая руки. — Вы видели их вчера у нас на собрании, этих благодушных невозмутимых кикандонцев, которые в отношении страстей представляют собой нечто среднее между губками и кораллами? Вы видели, как они спорили, как бросили друг другу вызов словами и жестами! Они уже преобразились физически и морально! А ведь это только начало! Посмотрите, что будет, когда мы вкачим этой публике настоящую дозу!

— Вы правы, учитель, — ответил Геден Иген, почесывая пальцем свой острый нос, — первый опыт удался на славу, и не закрой я из осторожности выпускной кран, прямо не знаю, чем бы все это кончилось.

— Вы слышали, что говорили друг другу адвокат Шют и врач Кустос? — продолжал доктор Окс. — В их словах, собственно говоря, не было ничего обидного, но в устах кикандонца они стоят всех оскорблений, какими перебрасываются герои Гомера, прежде чем обнажить меч. Ах, эти фламандцы! Вот увидите, что мы из них сделаем в один прекрасный день!

— Неблагодарных скотов, — отвечал Геден Иген тоном мудреца, оценившего род человеческий по достоинству.

— Наплевать! — воскликнул доктор. — Пусть себе проявляют неблагодарность, лишь бы наш опыт удался!

— А мы не рискуем, — вернул с лукавой улыбкой ассистент, — возбуждая таким образом их дыхательный аппарат, повредить легкие этим славным жителям Кикандона?

— Тем хуже для них, — ответил доктор Окс. — Это

делается в интересах науки. Что было бы, если бы собаки или лягушки вдруг отказались подчиняться опытам?

Весьма возможно, что если бы спросить собак и лягушек, то у этих животных нашлись бы возражения против вивисекции, но доктор Окс был уверен в неоспоримости приведенного им аргумента, и у него вырвался глубокий вздох удовлетворения.

— В конце концов вы правы, учитель, — твердо проговорил Гедеон Иген. — Эти кикандонцы — самый подходящий для нас материал.

— Самый подходящий, — многозначительно сказал доктор.

— Вы проверяли пульс у этих созданий?

— Сто раз.

— Каков же он у них в среднем?

— Меньше пятидесяти ударов в минуту. Подумайте только: город, где за целое столетие не было и тени раздоров, где грузчики не бранятся, кучера не переругиваются, лошади не брыкаются, собаки не кусаются, кошки не царапаются! Город, где суд бездействует весь год напролет! Город, где не ведут горячих споров об искусстве, не препираются из-за деловых вопросов! Город, где жандармы стали мифом, где уже сто лет не составлялось ни одного протокола! Город, где вот уже триста лет не закатали ни одного тумака, ни единой пощечины! Вы понимаете, Иген, что так не может продолжаться, и нам необходимо изменить все это.

— Прекрасно! прекрасно! — восторженно твердил ассистент. — Ну, а воздух этого города? Вы его исследовали?

— Разумеется. Семьдесят девять частей азота и двадцать одна часть кислорода, углекислота и водяные пары в переменных количествах. Это нормальные пропорции.

— Отлично, доктор, отлично, — ответил Иген. — Опыт будет произведен в большом масштабе и будет иметь решающее значение.

— А если он окажется решающим, — прибавил доктор Окс с торжествующим видом, — то мы перевернем весь мир!

ГЛАВА 5,

***в которой бургомистр и советник
наносит визит доктору Оксу,
и что из этого проистекает***

Советник Никлосс и бургомистр Ван-Трикасс наконец познали на своем опыте, что такое тревожная ночь. Важное событие, происшедшее в доме доктора Окса, вызвало у них настоящую бессонницу. Какие последствия будет иметь эта история? Следует ли принять какое-нибудь решение? Будут ли вынуждены вмешаться муниципальные власти? Будут ли изданы соответствующие предписания, дабы предотвратить такого рода скандалы.

Жестокие сомнения так и обуревали этих безвольных людей. Расставаясь поздно вечером, они «решили» встретиться на следующий день.

Итак, на другой день перед обедом бургомистр Ван-Трикасс самолично направился к советнику Никлосу. Друг его уже пришел в равновесие, да и сам он уже успел оправиться от пережитого потрясения.

— Ничего нового? — спросил Ван-Трикасс.

— Решительно ничего, со вчерашнего дня, — ответил Никлосс.

— А врач Доминик Кустос?

— Я ничего не слышал о нем, так же как и об адвокате Шюте.

После разговора, длившегося час, но который можно было бы передать в нескольких словах, советник и бургомистр решили навестить доктора Окса, чтобы незаметно выпытать у него кое-какие подробности происшествия.

Вопреки своему обыкновению, приняв это решение, они захотели выполнить его немедленно и направились к заводу доктора Окса, расположенному за городом, близ Ауденаардских ворот, тех самых, башня которых грозила падением.

Бургомистр и советник шествовали медленным, торжественным шагом, проходя не более тринадцати дюймов в секунду. Впрочем, с такой скоростью ходили все горожане. Никто и никогда еще не видел на улицах Кикандона бегущего человека.

Время от времени на тихом, спокойном перекрестке, на углу мирной улицы, нотабли останавливались, чтобы поздороваться со встречными.

— Добрый день, господин бургомистр, — говорил прохожий.

— Добрый день, друг мой, — отвечал Ван-Трикасс.

— Ничего нового, господин советник? — спрашивал другой.

— Ничего нового, — отвечал Никлосс.

Однако по любопытству, звучащему в голосе, по просительным взглядам можно было догадаться, что вчерашнее столкновение известно всему городу. Глядя, куда направляется Ван-Трикасс, самые тупые кикандонцы догадывались, что бургомистр собирается предпринять некий важный шаг. Инцидент, разыгравшийся между Кустосом и Шютом, занимал все умы, но никто еще не становился ни на ту, ни на другую сторону. И адвокат и врач пользовались всеобщим уважением. Адвокат Шют, ни разу не выступавший в городе, где суд и при-

сяжные существовали только в памяти старожиллов, не проиграл ни одного процесса. А врач Кустос был почтенный практик, который, по примеру своих собратьев, излечивал больных от всех болезней, кроме той, от которой они умирали. Досадная привычка, свойственная, впрочем, всем врачам, в какой бы стране они ни практиковали.

Приблизившись к Ауденаардским воротам, советник и бургомистр предусмотрительно сделали небольшой крюк, чтобы не очутиться «в радиусе падения» башни. Зато они внимательно осмотрели ее издали.

— Я думаю, что она упадет, — произнес Ван-Трикасс.

— Я тоже, — ответил Никлосс.

— Если только ее не подопрут, — прибавил Ван-Трикасс. — Но нужно ли ее подпирать? Вот в чем вопрос.

— Да, вот в чем вопрос, — ответил Никлосс.

Через несколько минут они стояли уже у дверей завода.

— Можно видеть доктора Окса? — спросили они.

Доктора Окса всегда можно было видеть отцам города, и их тотчас же ввели в кабинет знаменитого физиолога.

Нотаблям пришлось дожидаться доктора добрый час. Первый раз в жизни бургомистр и советник проявили признаки нетерпения.

Наконец вошел доктор Окс и первым делом извинился, что заставил себя ждать; но ему необходимо было проверить чертеж газометра, установить развилку труб... Впрочем, дело было на полном ходу! Трубопроводы, предназначенные для кислорода, уже проложены. Через несколько месяцев город будет великолепно освещен; уже можно было видеть трубы, введенные в кабинет доктора.

Засим доктор осведомился, чему обязан удовольствием видеть у себя бургомистра и советника.

— Нам просто захотелось навестить вас, доктор, — отвечал Ван-Трикасс. — Мы так давно вас не видели. Ведь мы редко выходим из дому, рассчитываем каждый свой шаг, каждое движение и так счастливы, когда ничто не нарушает однообразия нашей мирной жизни...

Никлосс с удивлением смотрел на своего друга. Бургомистру еще никогда не случалось так много говорить без передышек и длительных пауз. Ван-Трикасс так и посыпал словами, что было ему совершенно несвойственно, да и сам Никлосс испытывал неодолимую потребность говорить.

Между тем доктор Окс внимательно и лукаво поглядывал на бургомистра.

Ван-Трикасс, который привык разговаривать, прочно расположившись в комфортабельном кресле, внезапно вскочил. Им овладело какое-то нервное возбуждение, столь чуждое его темпераменту. Правда, он еще не жестикулировал, но видно было, что он вот-вот начнет размахивать руками. Советник то и дело потирал себе икры и глубоко вздыхал. У него заблестели глаза, и он «решил», если понадобится, поддержать своего закадычного друга.

Ван-Трикасс поднялся, сделал несколько шагов и остановился перед доктором.

— Когда же, — спросил он слегка возбужденным тоном, — будут закончены ваши работы?

— Месяца через три-четыре, господин бургомистр, — ответил доктор.

— Ой, как долго ждать! — воскликнул Ван-Трикасс.

— Ужасно долго! — подхватил Никлосс; он был не в силах усидеть на месте и тоже вскочил.

— Мы не можем закончить работы раньше этого сро-

ка, — возразил доктор. — Ведь кикандонские рабочие не слишком-то проворны.

— Как, вы считаете, что они слишком медленно работают? — вскричал бургомистр, казалось, задетый за живое этими словами.

— Да, господин бургомистр, — твердо ответил доктор. — Один французский рабочий стоит десятерых кикандонцев. Ведь они — истые фламандцы!..

— Фламандцы! — вскричал советник Никлосс, сжимая кулаки. — Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?

— Ничего дурного. То, что говорят о них все на свете, — ответил, улыбаясь, доктор.

— Вот как, доктор! — воскликнул Ван-Трикасс, шагавший из угла в угол. — Я не потерплю таких намеков! Да будет вам известно, что наши кикандонские рабочие ничуть не хуже всяких других, и ни Париж, ни Лондон нам не указка! Я настоятельно прошу вас ускорить работы, которые вы взяли на себя. Все улицы разрыты для прокладки трубопроводов, и это мешает уличному движению. Это наносит ущерб и торговле. Как бургомистр, я несу ответственность за благоустройство города и вовсе не желаю подвергаться нареканиям.

Достойный бургомистр! Он разглагольствовал о торговле, об уличном движении, и эти непривычные слова непринужденно слетали с его уст! Но что же с ним произошло?

— К тому же, — добавил Никлосс, — городу совершенно необходимо освещение!

— Однако, — возразил доктор, — он обходился без освещения добрых девятьсот лет.

— Что из того, сударь! — продолжал бургомистр, отчеканивая слова. — Времена меняются. Человечество идет вперед, и мы не хотим отставать от всех! Если через

месяц улицы не будут освещены, вам придется платить неустойку за каждый просроченный день! А что, если в темноте приключится драка?

— Этого всегда можно опасаться! — воскликнул Никлосс. — Ведь фламандец — настоящий порох! Вспыхивает от любой искры!

— Между прочим, — перебил приятеля бургомистр, — комиссар Пассоф, начальник полиции, сообщил нам, что вчера вечером у вас в доме произошел спор. Правда ли, что спорили о политике?

— Так оно и было, господин бургомистр, — отвечал доктор Окс, с трудом сдерживая улыбку.

— И у врача Доминика Кустоса произошло столкновение с адвокатом Андрэ Шютом?

— Да, господин советник, но, к счастью, дело обошлось без оскорблений.

— Без оскорблений? — вскричал бургомистр. — Разве это не оскорбление, когда один заявляет другому, что тот не взвешивает своих слов! Да у вас рыба кровь, доктор! Разве вы не знаете, что в Кикандоне нельзя безнаказанно произнести такие слова? Попробуйте только сказать это мне...

— Или мне! — вставил советник Никлосс.

С этими словами нотабли, взъерошенные и багровые от гнева, скрестив руки на груди, уставились на доктора Окса; казалось, они вот-вот ринутся на него.

Но доктор и глазом не сморгнул.

— Во всяком случае, сударь, — продолжал бургомистр, — вы отвечаете за то, что творится у вас в доме. Я несу ответственность за этот город и не позволю нарушать общественное спокойствие. Инциденты вроде вчерашнего не должны повторяться, иначе я буду вынужден принять самые крутые меры. Вы слышали? Отвечайте же, сударь!

Бургомистр, охваченный необычайным возбуждением, все больше повышал голос. Достойный Ван-Трикасс был прямо вне себя и говорил так громко, что его было слышно даже на улице. Наконец, видя, что доктор не отвечает на его вызовы, он яростно крикнул:

— Идемте, Никлосс!

И, хлопнув изо всех сил дверью, так, что весь дом затрясся, бургомистр вышел, увлекая за собой советника.

Пройдя шагов двадцать, достойные друзья начали успокаиваться. Теперь они уже двигались медленнее, походка их стала более размеренной. Погас багровый румянец, заливавший их щеки, и лицо их приобрело обычную розовую окраску.

Через четверть часа после того, как они покинули завод, Ван-Трикасс мягко заметил:

— Какой приятный человек этот доктор Окс! Видеть его — истинное удовольствие!

ГЛАВА 6,

где Франц Никлосс и Сюзель Ван-Трикасс строят кое-какие планы на будущее

Читателю известно, что у бургомистра была дочь Сюзель; но даже самый проницательный из читателей не мог бы догадаться, что у советника Никлосса имелся сын Франц. А если бы читатель и догадался об этом, то едва ли ему пришло бы в голову, что Франц обручен с Сюзель. А между тем эти молодые люди, казалось, были созданы один для другого и любили друг друга, как любят в Кикандоне.

Не следует думать, что в этом необычайном городе молодые сердца вовсе не бились: нет, они бились, но достаточно медленно. Там женились и выходили замуж,

как и во всех других городах, но совершали это не торопясь. Будущие супруги, прежде чем связать себя нерушимыми узами, хотели изучить друг друга, и это изучение продолжалось не менее десяти лет, как обучение в коллеже. Редко-редко свадьба совершалась раньше этого срока.

Да, десять лет! Десять лет ухаживания! Но разве это так уж долго, если речь идет о союзе на всю жизнь? Нужно обучаться десять лет, чтобы стать инженером или врачом, адвокатом или советником, и разве можно в меньший срок приобрести познания, необходимые для каждого супруга? Это никому не под силу, и нам думается, что кикандонцы поступают весьма разумно, так долго и обстоятельно занимаясь взаимным изучением. Как увидишь, что в других городах, где царит распущенность, браки заключаются в несколько месяцев, так пожмешь плечами и отправишь своих детей в Кикандон, чтобы сыновья обучались в местном коллеже, а дочери — в пансионе.

За последние пятьдесят лет только один брак был заключен в два года, да и тот едва не оказался несчастным.

Итак, Франц Никлосс любил Сюзель Ван-Трикасс, но любил спокойно, как любят, зная, что любимая станет твоей через десять лет. Раз в неделю, в условленный час, Франц приходил за Сюзель и уводил ее на берег Ваара. Молодой человек брал с собою удочки, а Сюзель никогда не забывала захватить канву, на которой под ее хорошенькими пальчиками возникали фантастические цветы.

Нужно сказать, что Францу было двадцать два года, и на щеках у него пробивался легкий пушок, как на спелом персике, а голос только что перестал ломаться.

У Сюзель были белокурые косы и розовые щеки. Ей минуло семнадцать лет, и она не питала отвращения к

рыбной ловле. Странное это занятие, когда приходится состязаться в хитрости с уклеей! Но Францу оно нравилось, ибо соответствовало его темпераменту. Он отличался невероятным терпением и любил следить мечтательным взглядом за колеблющимся поплавком. Он умел ждать, и когда, после шестичасового ожидания, какая-нибудь скромная уклея, сжалившись над ним, позволяла себя поймать, он был искренне счастлив, но умел сдерживать свою радость.

В этот день будущие супруги сидели рядышком на зеленом берегу. У их ног протекал, журча, прозрачный Варар. Сюзель безмятежно вкалывала иглу в канву. Франц машинально водил удочкой слева направо, потом снова пускал ее по течению, справа налево. Уклеики водили в воде причудливые хороводы, сновали вокруг поплавка, а между тем крючок бесплодно скитался в речной глубине.

— Кажется, клюет, Сюзель, — время от времени говорил Франц, не поднимая глаз на молодую девушку.

— Вы так думаете, Франц? — отвечала Сюзель, отрываясь на миг от рукоделия и следя глазами за удочкой своего жениха.

— Нет, нет, — продолжал Франц. — Мне только показалось, я ошибся.

— Ничего, Франц, клюнет, → утешала его Сюзель своим ясным, нежным голоском. — Но не забывайте вовремя подсечь. Вы всегда запаздываете на несколько секунд, и уклея успевает сорваться.

— Хотите взять удочку, Сюзель?

— С удовольствием, Франц.

— Тогда дайте мне вашу канву. Посмотрим, может быть, я лучше управлюсь с иглой, чем с удочкой.

И девушка брала дрожащей рукой удочку, а молодой человек продевал иглу в клетки канвы. Так сидели они, обмениваясь нежными словами, и сердца у них трепета-

ли, когда поплавок вздрагивал. Восхитительные, незабываемые часы! Как отраднo было, сидя рядышком, слушать журчанье реки!

Солнце уже заходило, но, несмотря на объединенные усилия высокоодаренных Франца и Сюзели, ни одна рыбка так и не клюнула. Уклейки оказались безжалостными и прямо издевались над молодыми людьми, которые ничуть не сердились на них за это.

— В другой раз мы будем удачливее, Франц, — сказала Сюзель, когда молодой рыболов вколол нетронутый крючок в еловую дощечку.

— Будем надеяться, Сюзель, — ответил Франц.

Затем они направились домой, безмолвные, как тени, которые плыли перед ними, постепенно удлиняясь. Сюзель не узнавала себя, такой длинной была ее тень. А силуэт Франца был узким, как тонкая удочка, которую он нес на плече.

Молодые люди подошли к дому бургомистра. Блестящие булыжники были окаймлены пучками зеленой травы, которую никто не выпалывал, так как она устилала улицу ковром и смягчала звук шагов.

В тот момент, когда дверь отворялась, Франц счел нужным сказать своей невесте:

— Вы знаете, Сюзель, великий день приближается.

— В самом деле, приближается, Франц, — ответила девушка, опуская длинные ресницы.

— Да, — продолжал Франц, — через пять или шесть лет...

— До свиданья, Франц, — сказала Сюзель.

— До свиданья, Сюзель, — ответил Франц.

И когда дверь затворилась, молодой человек направился ровным, спокойным шагом к дому советника Никлосса.

ГЛАВА 7,

*в которой andante превращается
в allegro, а allegro в vivace¹*

Волнение, вызванное столкновением адвоката Шюта с врачом Кустосом, постепенно улеглось. Дело так и осталось без последствий. Можно было надеяться, что в Кикандоне, ненадолго взбудораженном странным происшествием, вновь водворится невозмутимый покой.

Тем временем работы по проводке оксигидрического газа в главнейшие здания города шли полным ходом. Под мостовой спешно прокладывались трубы. Но рожков еще не было, ибо изготовить их было не так-то просто, пришлось их заказывать за границей. Казалось, доктор Окс был вездесущим, он и его ассистент Иген не теряли ни минуты, они подгоняли рабочих, устанавливали тонкие механизмы газометров, день и ночь наблюдали за гигантскими батареями, где под действием мощного электрического тока разлагалась на составные элементы вода. Да, доктор уже вырабатывал свой газ, хотя проводка еще не была закончена, — это, между нами говоря, было несколько странным. Но можно было надеяться, что в недалеком будущем доктор Окс продемонстрирует свое великолепное освещение в городском театре.

Да, в Кикандоне имелся театр, прекрасное здание самой причудливой архитектуры, где представлены были все стили — и византийский, и романский, и готический, и ренессанс, там были двери в виде арок, стрельчатые окна, стены украшены причудливыми розетками, крыша увенчана фантастическими шпилями, — словом, невооб-

¹Andante — средний по скорости темп; allegro — быстрый темп; vivace — очень быстрый темп (*umal.*).

разимое смешение, что-то среднее между Парфеноном и Большим Кафе в Париже.. Но в этом нет ничего удивительного, ибо, начатый в 1175 году при бургомистре Людвиге Ван-Трикассе, театр был закончен лишь в 1837 году при бургомистре Наталисе Ван-Трикассе. Строился он добрых семьсот лет и последовательно приспособлялся к архитектурной моде целого рода эпох. Тем не менее это было прекрасное здание, и его романские колонны и византийские своды не должны были особенно противоречить новейшему газовому освещению.

В кикандонском театре исполняли все, что угодно, но чаще всего оперы. Но, по правде сказать, ни один композитор не узнал бы своего произведения, до того все темпы были изменены.

Жизнь медленно текла в Кикандоне, и, естественно, драматические произведения должны были применяться к темпераменту его обитателей. Хотя двери театра обычно открывались в четыре часа, а закрывались в десять, за эти шесть часов успевали сыграть не более двух актов. «Роберт Дьявол», «Гугеноты» или «Вильгельм Телль», как правило, занимали три вечера, до того медленно исполнялись эти шедевры. «Vivace» в кикандонском театре звучали как настоящие «adagio»¹, а «allegro» тянулось до бесконечности. Восьмушка звучала здесь как целая нота. Самые быстрые рулады, пропетые в кикандонском вкусе, смахивали на плавные переливы церковных гимнов. Веселые трели невероятно затягивались в угоду местным любителям. Бурная ария Фигаро в первом акте «Севильского цирюльника» исполнялась в темпе тридцать три метронома и продолжалась пятьдесят восемь минут.

Разумеется, приедем артистам приходилось применяться к этой моде, но так как им хорошо платили, то

¹ Медленно, спокойно (*итал.*).

они не жаловались и послушно следовали дирижерской палочке, отбивавшей в «allegro» не более восьми ударов в минуту.

Но зато сколько аплодисментов выпадало на долю этих артистов, приводивших в восхищение жителей Кикандона! Зрители все до одного аплодировали, хотя и с порядочными промежутками, а газеты на другой день сообщали, что артист заслужил «бурные аплодисменты»; раз или два здание театра сотрясали оглушительные крики «браво», и зал только потому не рухнул, что в XII столетии на постройки не жалели ни цемента, ни камня.

Впрочем, чтобы не слишком возбуждать восторженных фламандцев, представления давались только раз в неделю. Это давало возможность актерам тщательнее разрабатывать свою роль, а зрителям глубже пережить всю их мастерскую игру.

Так велось в Кикандоне с незапамятных времен. Иностранные артисты заключали контракты с директором кикандонского театра, когда им хотелось отдохнуть после выступлений в других театрах, и, казалось, эти обычаи останутся навсегда неизменными. Но вот недели через две после столкновения Шюта с Кустосом город был возбужден новым инцидентом.

Была суббота; в этот день всегда давалась опера. На новое освещение еще нельзя было рассчитывать. Правда, трубы были уже проведены в зал, но газовых рожков по вышеупомянутой причине еще не имелось, и горевшие в люстрах свечи по-прежнему изливали кроткий свет на многочисленных зрителей. Двери для публики были открыты с часу пополудни, и к четырем часам зал уже наполовину полон. У билетной кассы образовалась очередь, тянувшаяся через всю площадь Св. Эрнуфа до самой лавки аптекаря Жосса Лифринка. Такое скопление

публики доказывало, что ожидается недюжинный спектакль.

— Вы идете сегодня в театр? — спросил в это утро бургомистра советник.

— Непременно, — ответил Ван-Трикасс, — и госпожа Ван-Трикасс, и моя дочь Сюзель, и наша милая Татанеманс, — все они обожают серьезную музыку.

— Так мамзель Сюзель будет? — спросил советник.

— Без сомнения, Никлосс.

— Тогда мой сын Франц будет первым в очереди, — ответил Никлосс.

— Ваш сын — пылкий юноша, Никлосс, — важно изрек бургомистр, — горячая голова! Не мешает за ним присматривать.

— Он влюблен, Ван-Трикасс, влюблен в вашу прелестную Сюзель.

— Ну что ж, Никлосс, он на ней женится. Мы решили заключить этот брак, — так чего же ему еще надо?

— Ему больше ничего не надо! Но все же этот пылкий юноша будет одним из первых в очереди у билетной кассы.

— О, счастливая, пылкая юность! — с улыбкой проговорил бургомистр, охваченный воспоминаниями. — И мы были такими, мой дорогой советник! Мы тоже любили! Мы ухаживали! Итак, до вечера. Кстати, вы знаете, этот Фиоравенти — великий артист. Как восторженно его у нас встретили! Он долго не забудет кикандонских оваций!

Речь шла о знаменитом теноре Фиоравенти, вызвавшем восхищение местных меломанов. Этот виртуоз обладал пленительным голосом и прекрасной манерой петь.

Вот уже три недели Фиоравенти пожинал лавры в «Гугенотах». Первый акт, исполненный в кикандонском

вкусе, занял целый вечер. Второй акт, поставленный через неделю, был настоящим триумфом для артиста. Успех еще возрос с третьим актом мейерберовского шедевра. Но самые большие ожидания возлагались на четвертый акт, и его-то и должны были исполнять в этот вечер. О, этот дуэт Рауля и Валентины, этот двухголосый гимн любви, где звучали томные вздохи, где *crescendo* сменялось *stringendo* и переходило в *piu crescendo*¹, этот дуэт, исполнявшийся медленно, бесконечно протяжно. Ах, какое наслаждение!

Итак, в четыре часа зал был полон. Ложи, балкон, партер были битком набиты. В аванложе восседали бургомистр Ван-Трикасс, мамзель Ван-Трикасс, госпожа Ван-Трикасс и добрейшая Татанеманс в салатного цвета чепце. В соседней ложе сидели советник Никлосс и его семейство, в том числе влюбленный Франц. В других ложах можно было увидеть семью врача Кустоса, адвоката Шюта, главного судьи Онорэ Синтакса, директора страхового общества, толстого банкира Коллерта, музыканта-любителя, помешанного на немецкой музыке, сборщика податей Руппа, президента академии Жерома Реша, гражданского комиссара и множество других знатных лиц, перечислять которых мы не будем, дабы не утомлять внимания читателей.

Обычно до поднятия занавеса кикандонцы сидели очень тихо: читали газеты, вполголоса беседовали с соседями, бесшумно разыскивали свои места или бросали равнодушные взгляды на красавиц, занимавших ложи.

Но в этот вечер посторонний наблюдатель заметил бы, что еще до поднятия занавеса в зале царило необычайное оживление. Суетились люди, всегда отличавшие-

¹ *Crescendo* — постепенное увеличение звука; *stringendo* — ускоряя; *piu crescendo* — с нарастающей силой (*итал.*).

ся крайней медлительностью. Веера дам как-то лихорадочно трепетали. Казалось, все дышали полной грудью. Глаза сверкали, соперничая с огнями люстр, горевшими удивительно ярко. Как жаль, что освещение доктора Окса запоздало!

Наконец оркестр собрался в полном составе. Первая скрипка прошла между пюпитрами, собираясь осторожным «ля» дать тон своим коллегам. Струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты настроены. Дирижер, подняв палочку, ожидает звонка.

Звонок прозвенел. Начался четвертый акт. Начальное *allegro appassionato*¹ сыграно, по обыкновению, с величайшей медлительностью, от которой великий Мейербер пришел бы в ужас, но кикандонские любители приходят в восторг.

Но вскоре дирижер почувствовал, что он не владеет оркестром. Ему трудно сдерживать музыкантов, всегда таких послушных, таких спокойных. Духовые инструменты стремятся ускорить темп, и их нужно обуздывать твердой рукой, а не то они обгонят струнные и возникнет форменная какофония. Даже бас, сын аптекаря Жосса Лифринка, такой благовоспитанный молодой человек, вот-вот сорвется с цепи.

Тем временем Валентина начинает свой речитатив:

Я сегодня одна...

Но и она торопится. Дирижер и музыканты следуют за ней, сами того не замечая. В дверях в глубине сцены появляется Рауль, и с момента встречи влюбленных до

¹ *Appassionato* — страстное (итал.).

того момента, когда она прячет его в соседней комнате, не проходит и четверти часа, а между тем до сего времени в кикандонском театре этот речитатив из тридцати семи тактов всегда продолжался ровно тридцать семь минут.

Сен-Бри, Невер, Каван и представители католической знати появляются на сцене слишком поспешно. На партитуре обозначено «allegro romposo»¹, но на сей раз торжественности нет и в помине, сцена заговора и благословения мечей проходит прямо-таки в бурном темпе. Певцы и музыканты уже не знают удержу. Дирижер больше не пытается сдерживать их. Впрочем, публика и не требует этого, напротив: каждый чувствует, что он безумно увлечен, что этот темп отвечает порывам его души.

Готовы ль вы от смут избавить край родной?
На злых еретиков пойдете ль вы за мной?

Обещания, клятвы. Невер едва успевает протестовать и спеть, что «среди предков его есть солдаты, но убийц не бывало вовек», его хватают, он взят под стражу. Вбегают старшины и эшевены и скороговоркой клянутся «ударить разом». Сен-Бри с разгону берет барьер речитатива, призывая католиков к мщению. В двери врываются три монаха, которые несут корзину с белыми шарфами, они совершенно позабыли, что им надлежит двигаться медленно и величаво. Уже все присутствующие выхватили шпаги и кинжалы, и капуцины одним взмахом благословляют их. Сопрано, тенора, басы приходят в полное неистовство и *allegro furioso*² бурно развивается, драматический речитатив звучит в кадрилином темпе. Наконец заговорщики убегают, вопя:

¹ Быстро и торжественно (*итал.*).

² Быстро и бурно (*итал.*).

В полночный час —
Бесшумной толпой!
Господь за нас!
В бой
В полночный час!

Все зрители повскакивали с мест. В ложах, в партере, на галерке волнение. Кажется, вся публика, с бургомистром Ван-Трикассом во главе, готова ринуться на сцену, чтобы присоединиться к заговорщикам и уничтожить гугенотов, чьи религиозные убеждения они, впрочем, разделяют. Аплодисменты, вызовы, крики! Татанеманс, как безумная, размахивает своим чепцом салатного цвета. Лампы разливают жаркий блеск...

Рауль, вместо того чтобы медленно приподнять завесу, срывает ее великолепным жестом и оказывается лицом к лицу с Валентиной.

Наконец-то! Вот он, знаменитый дуэт, но он идет в слишком быстром темпе. Рауль не ждет вопросов Валентины, а Валентина не ждет ответов Рауля. Очаровательная ария: «Близка погибель, уходит время» — превращается в веселенький мотивчик, под который заговорщики произносят клятву в оперетте **Оффенбаха**. «*Andante amoroso*»¹:

О, повтори
Слова любви...

превратилось в *vivace furioso*², и виолончель забывает, что должна вторить голосу певца, как стоит в партитуре. Напрасно Рауль взывает:

О, промолви еще, дорогая,
Сердца сон несказанный продли!

Валентина не может продлить! Чувствуется, что ее пожирает какой-то внутренний огонь. Она берет неверо-

¹ Плавно и нежно (*итал.*).

² Очень быстро и бурно (*итал.*).

ятно высокие ноты, превосходит самое себя. Рауль мечется по сцене, жестикулирует, он пылает страстью.

Раздаются удары колокола. Но какой задыхающийся колокол! Звонарь, очевидно, вышел из себя. Этот ужасающий набат не уступает оркестру.

И наконец ария, завершающая этот замечательный акт: «Этот час роковой я могу ль перенести!..» — развивается в темпе *prestissimo*¹ и своей бешеной скоростью напоминает мчащийся экспресс. Вновь раздается набат, Валентина падает без чувств. Рауль выскакивает в окно!..

И вовремя. Обезумевший оркестр не в состоянии продолжать. Дирижерская палочка разбита в щепки, с такой силой она ударялась о пюпитр. На скрипках порваны струны, скручены грифы. Войдя в раж, литавщик разбил свои литавры. Контрабасист вскарабкался на свой грандиозный инструмент. Первый флейтист подавился флейтой, гобоист с ожесточением грызет клапаны своего инструмента, у тромбона вырвана трубка, а злополучный трубач тщетно силится вытащить руку, которую глубоко запихнул в недра трубы!

А публика! Публика, запыхавшаяся, разгоряченная, жестикулирует, вопит! У всех раскраснелись лица, словно их внутри пожирает пламя! У выхода толкотня, давка, мужчины без шляп, женщины без мантилий. В коридорах толкаются, в дверях теснятся, споры, драки! Нет больше властей! Нет бургомистра! Все равны в этот миг дьявольского возбуждения...

А через несколько минут, выйдя на улицу, кикандонцы понемногу успокаиваются и мирно расходятся по домам, смутно вспоминая пережитое волнение.

Четвертый акт «Гугенотов», прежде продолжавшийся

¹ Самый скорый темп (*итал.*).

целых шесть часов, начался в этот вечер в половине пятого и окончился без двенадцати минут пять.

Он продолжался восемнадцать минут!

ГЛАВА 8,

***в которой старинный,
торжественный вальс
превращается в бешеный вихрь***

Хотя зрители, выйдя из театра, вновь обрели спокойствие и мирно разошлись по домам, все же пережитое волнение давало себя знать, и, усталые, разбитые, как после веселой пирушки, они поспешно улеглись в постели.

На следующий день все смутно вспоминали недавние происшествия. Вскоре обнаружилось, что один потерял в суতোлке шляпу, у другого оборвали в свалке полу сюртука. У одной дамы недоставало изящной прюнелевой туфельки, другая лишилась нарядной накидки. Почтенные горожане окончательно опомнились, и теперь им становилось стыдно своего поведения, как будто они принимали участие в какой-то оргии. Они избегали об этом говорить, им даже не хотелось об этом думать.

Но больше всех был смущен и сбит с толку бургомистр Ван-Трикасс. Проснувшись на другое утро, он не мог найти свой парик. Лотхен искала его повсюду. Напрасно. Парик остался на поле битвы. Послать за городским глашатаем? Нет, лучше уж пожертвовать этим украшением, чем становиться посмешищем всего города, ведь он как-никак первое лицо в Кикандоне.

Достойный Ван-Трикасс размышлял обо всем этом, лежа у себя в постели, все тело у него ныло и голова была непривычно тяжела. Ему не хотелось вставать. В это утро мысль его лихорадочно работала, еще ни разу за по-

следние сорок лет ему не случалось так напряженно думать. Почтенный отец города пытался восстановить в памяти все подробности разыгравшихся накануне событий. Он сопоставлял их с фактами, имевшими место не так давно на вечере у доктора Окса. Он старался разгадать, чем вызвана столь странная возбудимость, уже дважды проявлявшаяся у самых почтенных горожан.

«Что же такое происходит? — спрашивал он себя. — Что за мятежный дух овладел моим мирным городом? Уж не сходим ли мы с ума, и не придется ли превратить город в огромный госпиталь? Ведь вчера вечером мы все были в театре — советники, судьи, адвокаты, врачи, академики, и решительно все, если память мне не изменяет, были охвачены яростным безумием! Что за колдовство было в этой музыке? Непонятно! Ведь я не ел, не пил ничего, что могло бы так меня возбудить. Вчера за обедом кусок вываренной телятины, несколько ложек шпината с сахаром, взбитые белки и два стаканчика разбавленного пива, которые никак не могли ударить в голову! Нет. Тут есть что-то необъяснимое, и так как я отвечаю за поведение наших горожан, то я должен расследовать это дело».

Однако расследование, предпринятое муниципальным советом, осталось без результатов. Факты были твердо установлены. Впрочем, в городе снова водворилось спокойствие, но премудрые чиновники так и не смогли объяснить этих фактов. Вскоре все позабыли о бурном инциденте. Местные газеты глухо молчали, и в отчете о представлении, появившемся в «Кикандонском вестнике», не было и намека на овладевшую зрителями лихорадку.

Но хотя в Кикандоне вновь воцарилось безмятежное спокойствие и он по-прежнему казался типичным фламандским городком, чувствовалось, что характер и темперамент его обитателей как-то странно изменились. По-

истине можно было сказать, вместе с врачом Домиником Кустосом, что «у них появились нервы».

Однако следует оговориться, что эти ярко выраженные изменения происходили только в известных условиях: когда кикандонцы расхаживали по улицам и площадям или гуляли на свежем воздухе вдоль берегов Ваара, это были все те же почтенные люди, спокойные и методичные. Такими же они оставались и у себя дома, когда одни работали руками, другие головой, а большинство ровно ничего не делало и ни о чем не думало. Они были по-прежнему молчаливы, инертны, это была не жизнь, а какое-то прозябание. В доме ни ссор, ни перебранок, сердце бьется ровно, мозг пребывает в состоянии спячки, пульс остается таким же, как в доброе старое время: от пятидесяти до пятидесяти двух ударов в минуту.

Но надо отметить странное, необъяснимое явление, которое озадачило бы самых глубокомысленных физиологов: если в домашнем быту кикандонцев не произошло никаких перемен, то общественная жизнь города резко изменилась.

Стоило кикандонцам собраться в каком-нибудь общественном здании, как «дело портилось», по выражению комиссара Пассофа. На бирже, в ратуше, в академии, на заседаниях совета и на собраниях ученых начиналось какое-то оживление, всеми овладевала странная лихорадка. Через час замечания становились едкими, через два — обсуждение превращалось в спор. Люди начинали горячиться и придирались друг к другу. Даже в церкви верующие не могли хладнокровно слушать проповеди пастора Ван-Стабеля, который метался на кафедре и обличал своих прихожан сурово, как никогда. Кончилось тем, что произошли новые столкновения, более серьезные, чем между врачом Кустосом и адвокатом Шютом, и если не потребовалось вмешательство

властей, то лишь потому, что поссорившиеся, вернувшись домой, быстро успокаивались и совершенно забывали о нанесенных другим и полученных ими самими оскорблениях.

Но все эти странности не заставляли задуматься горожан, неспособных к самонаблюдению. Только гражданский комиссар Мишель Пассоф, тот самый, должность которого совет уже тридцать лет как собирался упразднить, обратил внимание, что в обычное время столь спокойные граждане, попадая в общественные места, приходили в крайнее возбуждение, и с тревогой думал о том, что будет, если эта лихорадка охватит и частные дома, если эпидемия, — так именно он выражался, — вспыхнет на улицах города. Тогда конец невозмутимому покою, никто не будет прощать обид, и, охваченные нервным возбуждением, горожане все передерутся между собой.

«Что же тогда с нами будет? — с ужасом спрашивал себя комиссар Пассоф. — Как предотвратить эти вспышки ярости? Как обуздать этих взбудораженных людей? Похоже на то, что моя должность перестанет быть синекурой и совет должен будет удвоить мне жалованье... если только не арестует меня самого... за нарушение общественной тишины и спокойствия».

Не прошло и двух недель после скандального представления «Гугенотов», как опасения комиссара начали сбываться. С биржи, из церкви, из театра, из академии, с рынка болезнь проникла в частные дома.

Первые симптомы эпидемии проявились в доме местного богача банкира Коллерта.

Незадолго перед тем ему удалась на славу одна весьма выгодная финансовая операция, и он решил ознаменовать ее балом.

Известно, что представляют собой фламандские празднества, мирные и спокойные, с пивом и сиропами

вместо вина. Беседы о погоде, о видах на урожай, о садах, об уходе за цветами, особенно за тюльпанами; время от времени танец, медленный и размеренный, как менуэт; иногда вальс, один из тех немецких вальсов, в которых танцующие не делают и двух оборотов в минуту и держатся друг от друга на почтительном расстоянии, — вот каковы в Кикандоне балы. Там так и не удалось привить польку, переделанную «на четыре такта», ибо танцоры вечно отставали от оркестра, в каком бы медленном темпе он ни играл.

Эти мирные сборища, во время которых молодежь чинно и степенно веселилась, проходили без малейших инцидентов. Почему же в этот вечер у банкира Коллерта безобидные сиропы, казалось, превратились в шипучие вина, в искристое шампанское, в пылающий пунш? Почему в разгар праздника всеми приглашенными овладело какое-то непостижимое опьянение? Почему плавный менуэт превратился в безумную тарантеллу? Почему музыканты вдруг ускорили темп? Почему, как и в театре, свечи стали разливать необычный блеск? Почему по залам банкира пронесся электрический ток? Почему пары сближались, кавалеры крепче обнимали дам, а иные из них отваживались на смелые па во время этой пасторали, всегда такой торжественной, такой величавой, такой благопристойной?

Увы! Какой Эдип смог бы ответить на эти вопросы? Комиссар Пассоф, присутствовавший на празднестве, увидел, что гроза приближается, но не мог ее предотвратить, не мог бежать от нее, и ему ударило в голову, как от крепкого вина. Проснулись инстинкты и дремавшие страсти. Несколько раз он жадно набрасывался на лакомства и опустошал подносы, словно только что перенес длительную голодовку.

А вечер становился все оживленнее. Голоса сливались

в непрерывное глухое жужжание. Танцевали с огоньком: туфли скользили по паркету с небывалой быстротой. У танцоров раздумянились лица, как у пьяных силенов. Глаза сверкали, как угли. Общее возбуждение достигло апогея.

Когда же расходившиеся музыканты заиграли вальс из «Фрейшютца», то танцующие потеряли голову. Этот типичный немецкий вальс, всегда исполнявшийся в медленном темпе, — о! это был безумный вихрь, бешеный хоровод, которым, казалось, руководил сам Мефистофель, отбивая такт пылающей головней. Потом начался галоп, адский галоп, неудержимый, не знающий преград, бешеный ураган проносился по залам, салонам, передним, по лестницам, от подвалов до чердаков обширного дома, увлекая молодых людей, девиц, отцов, матерей, лиц всех возрастов, любого веса, обоего пола, — и толстого банкира Коллерта, и госпожу Коллерт, и советников, и отцов города, и главного судью, и Никлосса, и госпожу Ван-Трикасс, и бургомистра Ван-Трикасса, и самого комиссара Пассофа, который потом никак не мог вспомнить, с кем вальсировал в эту сумасшедшую ночь.

Но «она» не забыла. И с этого дня она то и дело видела во сне пылкого комиссара, страстно ее обнимающего. Это была прелестная Татанеманс!

ГЛАВА 9,

в которой доктор Окс и его ассистент Иген обмениваются несколькими словами

— Ну, Иген, как дела?

— Все готово, учитель. Прокладка труб закончена.

— Наконец-то! Итак, мы приступаем к работе в больших масштабах, отныне будем воздействовать на массы!

ГЛАВА 10,

**где повествуется о том, как
эпидемия охватила весь город и
что из этого последовало**

Прошло два-три месяца. Эпидемия заметно усилилась. Из частных домов она проникла на улицы. Город Кикандон стал неузнаваем.

Удивительнее всего было то, что зараза распространилась не только на мир животных, но и на растительный мир.

Обычно не бывает универсальных эпидемий. Те, что поражают человека, щадят животных, те, что поражают животных, щадят растения. Лошади никогда не болеют оспой, а люди — бычьей чумой, овцам не угрожают заболевания картофеля. Но теперь все законы природы, казалось, были нарушены. Изменились не только характер, темперамент, образ мыслей жителей Кикандона, но эпидемия перекинулась на домашних животных, собак и кошек, быков и лошадей, ослов и коз. Даже растения «эмансипировались», если можно так выразиться.

Действительно, в садах, в огородах, в виноградниках можно было наблюдать весьма любопытные явления. Вьющиеся растения распространялись с удивительной быстротой; кусты буйно разрастались; деревца превращались в деревья. Стоило бросить в землю семечко, как из него поднимался зеленый стебелек, который рос не по дням, а по часам. Спаржа достигала двух футов в высоту; артишоки вырастали величиной с дыню, дыни — величиной с тыкву, тыквы достигали неслыханных размеров, смахивая на колокол сторожевой башни, имевший девять футов в поперечнике. Кочаны капусты превращались в кусты, а грибы становились величиной с зонтик.

Фрукты не отставали от овощей. Ягоду клубники можно было одолеть только вдвоем, а грушу — вчетвером. Гроздья винограда не уступали по величине грандиозной грозди на картине Пуссена «Возвращение из Земли обетованной».

То же происходило и с цветами: огромные фиалки разливали в воздухе опьяняющий аромат; гигантские розы блистали ослепительными красками; сирень в несколько дней образовала непроходимую чашу; герань, маргаритки, далии, камелии, рододендроны наводняли аллеи, душили друг друга! Садовники ничего не могли с ними поделать. А тюльпаны, эти великолепные представители семейства лилейных, радость фламандцев, какие волнения они причиняли любителям! Достойный Ван-Бистром однажды чуть не упал в обморок, увидев у себя в саду чудовищный, гигантский тюльпан, в чашечке которого приютилось семейство малиновок!

Весь город сбежался смотреть на этот необычайный цветок, который был назван учеными «tulipa quiquendonia» (Кикандонский тюльпан).

Но — увы! — если все эти растения, фрукты и цветы росли на глазах, принимали колоссальные размеры, если они радовали глаз чудесной окраской и разливали упоительный аромат, — они быстро блекли и умирали, сожженные, истощенные, обессиленные.

Такова была судьба и знаменитого тюльпана, который увял, покрасовавшись несколько дней.

То же самое стало вскоре происходить и с домашними животными, от дворового пса до свиньи в хлеву, от канарейки в клетке до индюка на птичьем дворе.

В обычное время эти животные были не менее флегматичны, чем их хозяева. Собаки и кошки скорее прозябали, чем жили, не проявляли ни радости, ни гнева. Хвост у них был неподвижен, словно отлит из бронзы.

С незапамятных времен не было слышно ни об укусах, ни о царапинах. Что касается бешеных собак, то их считали чем-то вроде грифов и прочих мифических животных.

Но сколько перемен произошло за эти месяцы! Собаки и кошки начали показывать зубы и когти. Они бросались на людей, и те жестоко их избивали. Впервые на улице Кикандона увидели лошадь, закусившую удила, быка, который ринулся, опустив рога, на своих сородичей, осла, который опрокинулся на спину, задрал ноги и испускал совсем человеческие вопли, и даже баран отважно оборонялся от мясника, задумавшего превратить его в котлеты!

Бургомистру Ван-Трикассу пришлось предписать строгий надзор за обезумевшими домашними животными, которые становились прямо опасными.

Но, увы, если животные сошли с ума, то и с людьми дело обстояло не лучше. Ни один возраст не был пощажён болезнью.

Дети, до сих пор столь покорные, сделались совершенно невыносимыми, и впервые главный судья Онорэ Синтакс был вынужден выпороть своего отпрыска.

В коллеже произошла настоящая смута, и словари летали по классу, чертя в воздухе причудливые траектории. Учеников невозможно было удержать взаперти. Впрочем, и учителя находились в состоянии крайнего возбуждения и задавали им уроки выше человеческих сил!

Еще одно удивительное явление! Все кикандонцы, до сих пор столь умеренные, питавшиеся главным образом сбитыми сливками, стали теперь форменными обжорами. Обычный режим не удовлетворял их. Желудок становился бездонной бочкой, которую никак не удавалось наполнить. В городе стали потреблять в три раза больше продуктов. Вместо двух раз в день ели шесть раз. Появи-

лись желудочные заболевания. Советник Никлосс испытывал ненасытимый голод. Бургомистр Ван-Трикасс, которого мучила неутолимая жажда, все время находился под хмельком и чуть что приходил в гнев.

Наконец появились и совсем уже тревожные симптомы, и с каждым днем их становилось все больше.

На улицах стали встречаться пьяные, и в числе их весьма почтенные лица.

У врача Доминика Кустоса значительно возросла практика, так как его постоянно вызывали к желудочным больным.

Появились невриты и всевозможные неврозы, — нервная система у жителей Кикандона была вконец расшатана.

Ссоры и столкновения стали самым обыденным явлением на улицах Кикандона, которые еще не так давно были пустынно, а теперь кишели народом, так как никто не мог усидеть дома.

Пришлось увеличить число полицейских, дабы обуздывать нарушителей порядка.

В одном из общественных зданий теперь помещался полицейский участок, который был день и ночь битком набит провинившимися. Комиссар Пассоф прямо выбивался из сил.

Состоялась скоропалительная свадьба, — случай совершенно небывалый. Да! Сын учителя Руппа женился на дочери местной красавицы Августины де Ровер всего через пятьдесят семь дней после того, как получил ее согласие.

Были решены и другие браки, которые в обычное время обсуждались бы целыми годами. Бургомистр был вне себя, он чувствовал, что его дочь, прелестная Сюэль, ускользает у него из рук.

Очаровательная Татанеманс мечтала о брачном союзе

с комиссаром Пассофом. Это сулило ей богатство, почет, блаженство.

В довершение всего — о ужас! — произошла дуэль! Да, дуэль на больших пистолетах, расстояние между барьерами в семьдесят пять шагов, число выстрелов не ограничено! И между кем? Читатели мне не поверят! Между Францем Никлоссом, кротким рыболовом, и молодым Симоном Коллертом, сыном богатого банкира.

Дуэль разыгралась из-за дочери бургомистра, — Симон воспылал к ней любовью и не хотел уступать ее наглому сопернику.

ГЛАВА 11,

в которой кикандонцы принимают героическое решение

Вот в каком отчаянном положении оказались жители Кикандона. Появились новые идеи. Люди не узнавали друг друга, да и самих себя. Самые мирные буржуа превратились в забияк. За один косой взгляд могли поколотить. Некоторые мужчины отрастили усы, а самые воинственные победоносно закручивали их кверху.

В таких условиях управлять городом и поддерживать порядок на улицах и в общественных зданиях было крайне трудно, — ведь катастрофа нагрянула так неожиданно. Достойный Ван-Трикасс, этот кроткий, равнодушный человек, не способный принять никакого решения, теперь только и делал, что гневался. Раскаты его голоса так и разносились по дому. Он отдавал по двадцать распоряжений в день, бранил своих подчиненных и готов был сам выполнять свои предписания.

Сколько перемен! Тихий, уютный дом бургомистра, это почтенное фламандское жилище, утратил покой!

Какие семейные сцены разыгрывались теперь в нем! Госпожа Ван-Трикасс стала желчной, взбалмошной, сварливой. Правда, мужу иной раз удавалось перекричать супругу, но заставить ее умолкнуть было невозможно. Эта сердитая дама придиралась решительно ко всему. Все было не по ней! Слуги ничего не делали! Обед вечно запаздывал! Она обвиняла Лотхен и даже Татанеманс, свою золовку, которая теперь на ее придирки довольно энергично огрызалась. Ван-Трикасс обычно заступался за Лотхен. Это выводило из себя его супругу, вызывало попреки, ссоры, нескончаемые сцены.

— Да что же это с нами творится? — восклицал злополучный бургомистр. — Какое пламя нас пожирает? Уж не вселился ли в нас дьявол? Ах, госпожа Ван-Трикасс, госпожа Ван-Трикасс! Вы прямо изводите меня! Кончится тем, что я умру раньше вас, вопреки всем семейным традициям!

Читатель, вероятно, помнит, что Ван-Трикасс должен был овдоветь и вторично жениться, чтобы не нарушить освященного веками порядка.

Между тем всеобщее возбуждение принесло и другие любопытные и примечательные плоды. Необъяснимый нервный подъем стимулировал мозговую деятельность, у многих проявились те или иные способности. Выдвинулись таланты, которые в другое время остались бы незамеченными. Артисты, до сих пор считавшиеся посредственными, явились в новом блеске. В политике и в литературе появились новые имена. В бесконечных горячих спорах выдвинулись ораторы, с жаром обсуждавшие все современные проблемы и зажигавшие аудиторию, которая всегда готова была воспламениться. Общественное движение развивалось, беспрестанно происходили собрания; в Кикандоне возник клуб и целых двадцать газет, — «Кикандонский

страж», «Кикандонский беспартийный», «Кикандонский радикал», «Кикандонский крайний» и другие горячо дебатировали всякие злободневные вопросы.

О чем же они писали? Да обо всем на свете и ни о чем. Об Ауденаардской башне, грозившей упасть: одни хотели ее снести, другие выпрямить; о предписаниях, издаваемых советом, о прочистке русла речушек и сточных труб и о многом другом. И если бы еще эти ярые обличители ограничивались городскими делами! Но нет, увлеченные своим красноречием, они шли дальше и вполне могли накликать на город войну.

В самом деле, уже восемьсот или девятьсот лет кикандонцы лелеяли мечту о мщении, у них был самый что ни на есть настоящий «casus belli»¹, но город хранил его бережно, как некую обветшавшую реликвию.

Вот в чем состоял сей casus belli.

Никому не известно, что Кикандон граничит с городком Виргамен.

В 1135 году, незадолго до отъезда графа Балдуина в Крестовый поход, виргаменская корова, принадлежавшая не горожанину, а общине, забрела на территорию Кикандона. Едва ли это несчастное животное успело «разочка три щипнуть травы зеленой, сочной», — но нарушение, злоупотребление, преступление было совершено и надлежащим образом засвидетельствовано в протоколе, ибо в ту эпоху чиновники уже научились писать.

— Мы отомстим в свое время, — сказал Наталис Ван-Трикасс, тридцать второй предшественник теперешнего бургомистра. — Рано или поздно виргаменцы получат по заслугам.

Виргаменцы были предупреждены. Они ждали, что

¹ Повод к войне (лат.).

будет дальше, рассчитывая не без оснований, что память об оскорблении со временем изгладится. И действительно, несколько веков они поддерживали добрососедские отношения с весьма похожими на них кикандонцами.

Вероятно, так продолжалось бы и дальше, если бы не странная эпидемия, в результате которой характер кикандонцев резко изменился и в их сердцах проснулась жажда мщения.

В клубе по улице Монстреле пылкий адвокат Шют внезапно поднял этот вопрос и, пустив в ход цветы красноречия и соответствующие метафоры, разжег бурные страсти. Он напомнил о преступлении, об ущербе, нанесенном общине, о том, что народ, «для которого священны его права», не должен считаться с юридической давностью. Он доказал, что оскорбление все еще в силе и рана все еще кровоточит; он напомнил своим слушателям, что виргаменцы имеют обыкновение как-то двусмысленно покачивать головой, выражая этим свое презрение к кикандонцам, он умолял своих соотечественников, которые «по недостатку сознательности» столько веков терпели эту смертельную обиду, заклинал «сынов древнего города» оставить все другие дела и добиться реванша! В заключение он воззвал «к их национальной чести и гордости!».

Эти тирады, столь непривычные для слуха кикандонцев, вызвали неопикуемый восторг, который невозможно передать словами. Все слушатели вскочили с мест, отчаянно размахивали руками и громко кричали, требуя объявления войны. Адвокат Шют еще никогда не имел такого успеха, и надо признать, что он был прямо-таки великолепен.

Бургомистр, советники, все нотабли, присутствовавшие на этом памятном собрании, не в силах были

бы сдержать этот всеобщий порыв. Впрочем, они и не пытались этого сделать и вопили, не отставая от остальных:

— На границу! На границу!

А так как граница проходила всего в трех километрах от Кикандона, то виргаменцам грозила серьезная опасность: их могли застигнуть врасплох.

Достопочтенный аптекарь Жосс Лифринк, который лишь один из всей аудитории сохранил рассудок, дерзнул напомнить кикандонцам, что ведь у них нет ни ружей, ни пушек, ни генералов.

Ему ответили, угостив его тумакami, что можно обойтись без генералов, пушек и ружей, что сознание своей правоты и любовь к отечеству обеспечат победу их народу.

Тут взял слово сам бургомистр и произнес великолепную импровизированную речь, в которой с рвением патриота разоблачал людей, под маской осторожности скрывающих свое малодушие.

Казалось, зал вот-вот обрушится от аплодисментов.

Решили проголосовать вопрос о войне.

Все, как один человек, завопили:

— На Виргамен! На Виргамен!

Бургомистр сам взялся вести армию и от имени города обещал устроить генералам, которые вернутся с победой, триумфальный въезд, как это водилось в Древнем Риме.

Однако аптекарь Жосс Лифринк был человек упрямый и, не считая себя разбитым, — хотя фактически и был бит, — попробовал снова выступить с возражением. Он напомнил, что в Риме удаивались триумфа лишь те победители, которые изничтожили не менее пяти тысяч врагов.

— Ну и что же? — возбужденно закричали слушатели.

— ...А между тем в виргаменской общине числится лишь три тысячи пятьсот семьдесят пять человек, и никакому генералу не удастся уकोкошить пять тысяч, если только не убивать одного человека по несколько раз...

Но бедняге не дали кончить. Его избили до полусмерти и вышвырнули за дверь.

— Граждане, — заявил бакалейщик Пульмахер, — что бы там ни болтал этот подлый аптекарь, я самолично берусь убить пять тысяч виргаменцев, если вам угодно принять мои услуги.

— Пять тысяч пятьсот! — крикнул еще более решительный патриот.

— Шесть тысяч шестьсот! — возразил бакалейщик.

— Семь тысяч! — вскричал кондитер с улицы Хемлинг, Жан Орбидек, наживший себе состояние на сбитых сливках.

— Присуждено Орбидеку! — возгласил бургомистр Ван-Трикасс, видя, что больше никто не набавляет.

Таким образом кондитер Жан Орбидек стал главнокомандующим кикандонскими войсками.

ГЛАВА 12,

*в которой ассистент Иген
высказывает разумное мнение,
однако отвергнутое доктором
Оксом*

— Итак, учитель? — спрашивал на другой день ассистент Иген, наливая ведрами раствор серной кислоты в сосуды огромных батарей.

— Итак, — повторил доктор Окс, — разве я не прав?

— Без сомнения, но...

— Но?..

— Не думаете ли вы, что мы зашли слишком далеко и что не следует возбуждать этих бедняг сверх меры?

— Нет! Нет! — вскричал доктор. — Нет! Я доведу дело до конца!

— Как вам угодно, учитель! Во всяком случае, этот опыт кажется мне решающим, и я думаю, уже пора...

— Что пора?

— Закрывать кран.

— Вот еще! — воскликнул доктор Окс. — Попробуйте только, и я задушу вас!

ГЛАВА 13,

*в которой еще раз доказывается,
что с высоты легче
господствовать над
человеческими слабостями*

— Что вы говорите? — обратился бургомистр Ван-Трикасс к советнику Никлосу.

— Я говорю, что война необходима, — твердо ответил советник, — и что пришло время отомстить за нанесенное нам оскорбление.

— Ну а я, — желчно возразил ему бургомистр, — я утверждаю, что, если жители Кикандона не сумеют защитить свои права, они навлекут на себя вечный позор!

— А я вам заявляю, что мы должны немедленно же двинуть армию на врага.

— Прекрасно, сударь, прекрасно! — ответил Ван-Трикасс. — И вы это говорите мне?

— Да, вам, господин бургомистр, и вам придется выслушать правду, хоть она и колет глаза!

— Сперва выслушайте правду вы, господин советник, — отпарировал Ван-Трикасс, теряя терпение, — хотя вы с ней не слишком в ладу! Да, сударь, да, промедле-

ние смерти подобно! Вот уже девятьсот лет, как Кикандон лелеет мечту о реванше, и что бы вы там ни говорили, нравится вам это или нет, мы все равно пойдем на врага!

— Ах, так! — воскликнул в ярости советник Никлосс. — Ну, сударь, мы пойдем и без вас, если вам неохота идти.

— Место бургомистра в первых рядах, сударь!

— Там же и место советника, сударь!

— Вы оскорбляете меня! Вы отказываетесь выполнить мой приказ! — закричал бургомистр, которому казалось, что его кулаки превратились в пушечные снаряды.

— Это вы оскорбляете меня, — ведь вы сомневаетесь в моем патриотизме! — завопил советник Никлосс, занимая оборонительную позицию.

— Я вам говорю, сударь, что кикандонская армия выступит не позже чем через два дня!

— А я вам повторяю, что и сорока восьми часов не пройдет, как мы двинемся на врага!

Нетрудно заметить из этого отрывка разговора, что оба собеседника защищали одно и то же. Оба рвались в бой и спорили только от избытка возбуждения. Никлосс не слушал Ван-Трикасса, Ван-Трикасс не слушал Никлосса. Если бы они отстаивали противоположные мнения, едва ли спор их был бы ожесточеннее. Старые друзья обменивались свирепыми взглядами. Сердце так и прыгало в груди, лицо покраснелось, мускулы судорожно напряглись, крик переходил в рычание, и видно было, что нотабли готовы броситься друг на друга.

К счастью, в эту минуту раздался бой башенных часов.

— Час настал! — воскликнул бургомистр. — Какой час? — спросил советник.

— Пора на сторожевую башню!

— Верно. И, нравится вам это или нет, я пойду, сударь!

— Я тоже! Идем!

— Идем!

Читатель, пожалуй, подумает, что башня — это место, выбранное ими для дуэли, но дело объяснялось проще. Бургомистр и советник, первые нотабли города, собирались пойти в ратушу, подняться на высокую башню и осмотреть окрестные поля, с тем чтобы избрать наиболее выгодные позиции для войск.

Хотя, по правде сказать, бургомистру и советнику было не о чем спорить, по дороге они не переставали ссориться и осыпать друг друга оскорблениями. Раскаты их голосов разносились по улице; но в таком тоне теперь разговаривали решительно все, их возбуждение казалось вполне естественным, и никто не обращал на них внимания. При таких обстоятельствах на спокойного человека посмотрели бы как на какое-то чудище.

Когда бургомистр и советник приблизились к башне, они были уже не красными, а смертельно-бледными. Этот ужасный спор, где оба отстаивали одно и то же, довел их до бешенства; известно, что бледность указывает на крайнюю степень ярости.

У подножия тесной лестницы произошло бурное столкновение. Кто войдет первым? Кто первый поднимется по ступенькам винтовой лестницы? Справедливость требует сказать, что завязалась драка и советник Никлосс, забывая, сколь многим он обязан своему начальнику, с силой отпихнул Ван-Трикасса и первым устремился вверх по темной лестнице.

Оба поднимались, перепрыгивая через четыре ступеньки, и при этом награждая друг друга самыми обидными эпитетами. Страшно было подумать, что может ра-

зыграться на вершине башни, возвышавшейся над мостовой на триста пятьдесят семь футов.

Но противники скоро запыхались и, достигнув восьмидесятой ступеньки, уже еле шли, тяжело дыша.

Может быть, они утомились? Во всяком случае, их гнев уже больше не выражался в бранных словах. Теперь они поднимались молча, и — странное дело, — казалось, что возбуждение их снижается по мере того, как они поднимаются все выше над городом. На душе становилось спокойнее. Мысли перестали бурлить в мозгу, кипение прекратилось, как в кофейнике, снятом с огня. Почему бы это?

На этот вопрос мы не можем ответить; но, достигнув площадки на высоте двухсот шестидесяти шести футов над уровнем города, противники уселись и взглянули друг на друга без тени гнева.

— Как высоко! — промолвил бургомистр, вытирая платком раскрасневшееся лицо.

— Ужасно высоко! — ответил советник. — Знаете, мы сейчас находимся на четырнадцать футов выше колокольни Святого Михаила в Гамбурге?

— Знаю, — не без гордости ответил отец города.

Передохнув, они продолжали восхождение, по временам бросая любопытный взгляд в бойницы, проделанные в стенах. Бургомистр теперь шел впереди, и советник покорно следовал за ним. На триста четвертой ступеньке Ван-Трикасс окончательно выбился из сил, и Никлосс начал тихонько подталкивать его в спину. Бургомистр принимал его услуги и, добравшись наконец доверху, благосклонно промолвил:

— Спасибо вам, Никлосс. Я отблагодарю вас за это.

У подножия башни это были дикие звери, готовые растерзать друг друга, на ее вершине они стали опять друзьями.

Погода была превосходная. Сиял майский день. На небе ни облачка. Воздух был чист и прозрачен. Взгляд улавливал мельчайшие предметы на значительном расстоянии. Всего в нескольких милях ослепительно блестя стены Виргамена, виднелись его красные остроконечные крыши и залитые солнцем колокольни. И этот город был обречен на ужасы войны, на пожар и разгром!

Бургомистр и советник уселись рядышком на каменной скамье как два старых друга. Все еще отдуваясь, они оглядывались по сторонам.

— Какая красота! — воскликнул бургомистр, помолчав несколько минут.

— Чудесный вид! — согласился советник. — Не правда ли, дорогой Ван-Трикасс, человечество призвано парить высоко в эфире? Разве его удел — пресмыкаться во прахе земном?

— Я согласен с вами, мой добрый Никлосс, — ответил бургомистр. — Вы глубоко правы. Здесь как-то глубже чувствуешь природу. Как легко и свободно дышится! Здесь философ должен созерцать гармонию мироздания! Здесь, высоко над житейской суетой, должны обитать мудрецы!

— Хотите, обойдем вокруг площадки? — предложил советник.

— Что ж, обойдем, — ответил бургомистр.

И друзья, взявшись под руку, стали обходить вокруг площадки. Они шли медленно, лениво перебрасываясь фразами, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться широким простором.

— Я уже добрых семнадцать лет не поднимался на сторожевую башню, — заметил Ван-Трикасс.

— А я, кажется, ни разу не поднимался, — ответил советник Никлосс, — и жалею об этом: отсюда такой за-

мечательный вид! Посмотрите, друг мой, как красиво извивается между деревьями Ваар!

— А там вдалеке горы Святой Германдад! Как они живописны! Взгляните на эти рощи, как чудесно они обрамляют равнину. Во всем этом чувствуется рука природы. Ах, природа, природа, Никлосс! Может ли человек соперничать с нею?

— Это прямо восхитительно, мой добрый друг, — отвечал советник. — Посмотрите, там, на зеленых лугах, пасутся быки, коровы, овцы...

— А вот и земледельцы направляются на поля! Со всем как аркадские пастухи! Не хватает только волынки!

— А над этой цветущей равниной чудесное синее небо, без единого облачка! Ах, Никлосс, здесь можно стать поэтом! Знаете, я, право, удивляюсь, как это святой Симеон Столпник не сделался величайшим поэтом в мире.

— Может быть, его столп был недостаточно высок, — заметил советник, кротко улыбаясь.

В этот момент начался кикандонский перезвон. Нежная мелодия колоколов далеко разносилась в прозрачном воздухе.

Друзья пришли в умиление.

— Скажите, друг Никлосс, — задумчиво спросил бургомистр своим невозмутимым голосом, — зачем это мы поднялись на башню?

— В самом деле зачем? — повторил советник. — Мы с вами унеслись в мир мечтаний.

— Зачем мы пришли сюда? — повторил бургомистр.

— Мы пришли, — ответил Никлосс, — подышать чистым воздухом, который не отравлен земными страстями.

— Ну что ж, спустимся вниз, друг Никлосс?

— Спустимся, друг Ван-Трикасс.

Друзья бросили последний взгляд на роскошную панораму, расстилавшуюся перед ними; потом бургомистр, идя впереди, начал спускаться медленным, мерным шагом. Советник следовал за ним на некотором расстоянии. Они дошли до площадки, где отдыхали при восхождении, и стали спускаться дальше.

Через минуту Ван-Трикасс попросил Никлосса умерить шаг; он-де чувствует его у себя за спиной и ему это неприятно.

Очевидно, это было очень неприятно, так как, пройдя еще двадцать ступенек, он приказал советнику остановиться и дать ему пройти немного вперед.

Советник отвечал, что вовсе не намерен стоять на одной ноге ради удовольствия бургомистра, и продолжал продвигаться.

Ван-Трикасс огрызнулся на него.

Советник ядовито намекнул на возраст бургомистра и поздравил его с предстоящим ему в недалеком будущем вторым браком, к которому его обязывают семейные традиции.

Бургомистр буркнул, что это ему даром не пройдет.

Никлосс ответил, что во всяком случае он выйдет первым; и вот на узкой лестнице в глубоком мраке завязалась перебранка.

Они перебрасывались оскорблениями, только и слышалось: «Скотина, неуч!»

— Посмотрим, глупая тварь, — кричал бургомистр, — посмотрим, какую рожу вы скорчите, когда вас погонят на войну!

— Уж конечно, я пойду впереди вас, жалкий дурак! — отвечал Никлосс.

Тут раздались пронзительные крики и шум падающих тел...

Что приключилось? Чем была вызвана такая быстрая

смена настроений? Почему эти люди, кроткие, как овечки, на вершине башни, превратились в тигров, спустившись на двести футов?

Услышав шум, башенный сторож отворил нижнюю дверь и увидел, что противники, все в синяках, выпучив глаза, вырывают друг у друга волосы, — к счастью, из париков!

— Я требую удовлетворения! — кричал бургомистр, поднося кулак к носу противника.

— Когда угодно! — прорычал советник Никлосс, яростно топая ногой.

Сторож, находившийся также в крайнем возбуждении, ничуть не удивился этому вызову. Его так и подмывало ввязаться в ссору, но он сдержался и пошел трубить по всему кварталу, что между бургомистром Ван-Трикассом и советником Никлоссом в скором времени состоится дуэль.

ГЛАВА 14,

в которой дело заходит так далеко, что жители Кикандона, читатели и даже сам автор требуют немедленной развязки

Из этого инцидента мы видим, как велико было возбуждение, охватившее жителей Кикандона. Два старинных друга, самых кротких на свете человека, вдруг впали в такую ярость! А ведь всего несколько минут назад, на площадке башни, они мирно беседовали, как и подобает друзьям, и предавались лирическим излияниям.

Узнав об этом происшествии, доктор Окс не мог сдержать своей радости. Он не соглашался с доводами своего ассистента, уверявшего, что дело принимает дур-

ной оборот. Впрочем, они заразились общим настроением и тоже постоянно ссорились.

Но в данный момент на первом месте было дело государственной важности, и приходилось отложить все дуэли, пока не будет разрешен виргаменский вопрос. Никто не имел права безрассудно проливать свою кровь, когда она до последней капли принадлежала находившемуся в опасности отечеству.

В самом деле, ситуация была весьма напряженная, и было поздно отступать.

Бургомистр Ван-Трикасс, при всем своем воинственном пыле, считал, что нельзя нападать на врага без предупреждения. Поэтому он направил в Виргамен полевого сторожа Хоттеринга, который от лица бургомистра потребовал возмещения за ущерб, нанесенный Кикандону в 1135 году.

Виргаменские власти сперва не поняли, в чем дело, и полевого сторожа, несмотря на его официальный сан, весьма вежливо выпроводили из города.

Тогда Ван-Трикасс послал одного из адъютантов генерала-кондитера, некоего Хильдеверта Шумана, занимавшегося производством леденцов, человека волевого и решительного, который и предъявил виргаменским властям копию протокола, составленного в 1135 году бургомистром Наталисом Ван-Трикассом.

Виргаменские градоправители расхохотались и с адъютантом обошлись точно так же, как и с полевым сторожем.

Тогда бургомистр созвал городских нотаблей. Было написано письмо, красноречивое и внушительное, содержащее ультиматум: провинившимся виргаменцам предоставлялось двадцать четыре часа, чтобы загладить нанесенную кикандонцам обиду.

Письмо отправили, и через несколько часов его при-

несли назад — оно было изорвано на мелкие клочки. Виргаменцы прекрасно знали, насколько медлительны кикандонцы, и потому послание, ультиматум и угрозы вызывали только смех.

Теперь осталось одно: довериться военному счастью, воззвать к богу войны и по примеру пруссаков напасть на виргаменцев, не дав им вооружиться.

Такое решение было принято на торжественном заседании, зал сотрясаясь от яростных криков, упреков, проклятий. Можно было подумать, что и тут происходит сборище одержимых или буйнопомешанных.

Как только война была объявлена, генерал Жан Орбидек созвал свои войска; население Кикандона, состоявшее из двух тысяч девятисот девяноста трех душ, поставило две тысячи девятьсот девяноста три солдата. Женщины, дети и старики присоединились к взрослым мужчинам. Всякое орудие, тупое или острое, превратилось в оружие. Разыскали все имевшиеся в городе ружья. Их оказалось пять, из них два без курка; ружьями вооружили авангард. Артиллерия состояла из старой замковой кулеврины, захваченной кикандонцами в 1339 году при штурме города Кенца; это была едва ли не первая пушка, упоминаемая в летописи, и из нее не стреляли уже пятьсот лет. Снарядов для кулеврины не оказалось, к счастью для ее прислуги; но предполагалось, что пушка одним своим видом устрасит неприятеля. Холодное оружие извлекли из музея древностей, — кремневые топоры, шлемы, палицы, алебарды, копья, бердыши, дротики, рапиры, — а также из частных арсеналов, известных под названием кладовых и кухонь. Отвага, сознание своей правоты, ненависть к иноземцам и жажда мщения должны были заменить (так по крайней мере надеялись полководцы) более со-

вершенное оружие, вроде пулеметов и современных пушек.

Был произведен смотр. Горожане, все как один, явились на зов. Генерал Орбидек плохо держался в седле, а скакун у него был ретивый — полководец трижды падал с коня на глазах у всей армии, но всякий раз поднимался цел и невредим, что сочли благоприятным предзнаменованием. Бургомистр, советник, гражданский комиссар, главный судья, учитель, банкир, ректор — словом, все городские нотабли возглавляли войска. Ни единой слезы не было пролито матерями, женами, дочерьми. Они не вдохновляли на битву мужей, отцов и братьев, а сами следовали за армией, образуя арьергард, которым командовала супруга бургомистра.

Городской глашатай Жан Мистроль оглушительно протрубил — армия всколыхнулась и, покинув площадь, с воинственными криками двинулась к Ауденаардским воротам.

В тот момент, когда голова колонны вступила в городские ворота, какой-то человек бросился навстречу войску.

— Остановитесь! Остановитесь! Сумасшедшие! — кричал он. — Отмените поход! Дайте мне закрыть кран! Ведь вы не кровопийцы! Вы добрые, мирные граждане! Если вы пришли в такую ярость, то виноват в этом мой учитель, доктор Окс! Это только опыт! Он обманул вас: обещал осветить город оксигидрическим газом, а сам напустил...

Ассистент был вне себя; но ему не удалось договорить. В тот миг, когда тайна должна была слететь с его уст, доктор Окс в неопишемом бешенстве ринулся на беднягу Игена и заткнул ему рот кулаком.

Завязалось форменное сражение. Бургомистр, совет-

ник и нотабли, остановившиеся при виде Игена, не помня себя от ярости, накинулись на чужеземцев, не слушая ни того, ни другого. Доктора Окса и его ассистента избили до потери сознания и уже собирались, по приказанию Ван-Трикасса, бросить в тюрьму, как вдруг...

ГЛАВА 15,**в которой внезапно наступает
развязка**

...раздался чудовищный взрыв. Казалось, весь воздух загорелся. Огромное, ослепительное пламя взметнулось, как метеор, под небеса. Случись это ночью, вспышка была бы видна на расстоянии десяти миль.

Кикандонские воины все до одного повалились на землю, как картонные солдатики. К счастью, жертв не оказалось, ничего, кроме синяков и царапин. Генерал-кондитер, по странной случайности не упавший с коня, отделался только испугом, и вдобавок у него обгорел султан на шлеме.

Что же такое произошло?

Как вскоре стало известно, взорвался газовый завод. Очевидно, в отсутствие директора и его помощника была допущена какая-то оплошность. Находившиеся в различных резервуарах кислород и водород внезапно соединились. Получилась взрывчатая смесь, которая тут же и воспламенилась.

Это событие вскоре изменило все. Но когда кикандонские вояки поднялись на ноги, доктора Окса и ассистента Игена уже не было и в помине — они исчезли бесследно.

ГЛАВА 16,

**в которой догадливый читатель
видит, что он не ошибся,
несмотря на все недомолвки
автора**

После взрыва в Кикандоне тотчас же водворились мир и тишина, и город вернулся к своему прежнему существованию.

После взрыва, который, впрочем, не слишком взволновал население, кикандонцы, сами не зная почему, машинально разошлись по домам — бургомистр под руку с советником, адвокат Шют с врачом Кустосом, Франц Никлосс со своим соперником Симоном Коллертом; шагали размеренно, бесшумно, даже не сознавая, что произошло, позабыв про Виргамен и оставив мечты о реванше. Генерал вернулся к своему варенью, а его адъютант — к своим леденцам.

В городе вновь воцарился сонный покой, все зажили прежней жизнью — люди, животные и растения, даже башня Ауденаардских ворот, которая после взрыва — эти взрывы порой дают удивительные результаты! — заметно выпрямилась.

И с тех пор в Кикандоне нельзя было услышать ни единого выкрика и никто ни о чем не спорил. Прощайте, клубы, политика, тяжбы, полицейские! Место комиссара Пассофа опять сделалось совершенно излишним, и если ему не урезали жалованья, то лишь потому, что бургомистр и советник никак не могли принять решения по этому вопросу. Впрочем, время от времени комиссар, сам того не подозревая, являлся в сновидениях безутешной Татанеманс.

Соперник Франца великодушно уступил прелестную Сюзель ее возлюбленному, который и поспешил на ней

жениться — лет через пять или шесть после описанных событий.

Госпожа Ван-Трикасс умерла через десять лет, в надлежащий срок, и бургомистр заключил брак со своей кузиной, девицей Пелажи Ван-Трикасс, на весьма выгодных условиях... для счастливой особы, которая должна была его пережить.

ГЛАВА 17,

***в которой объясняется теория
доктора Окса***

Что же проделал этот таинственный доктор Окс?

Всего лишь фантастический опыт.

Проложив трубы, он наполнил чистейшим кислородом, без единого атома водорода, сперва общественные здания, потом частные жилища и, наконец, выпустил его на улицы Кикандона.

Этот газ, совершенно бесцветный, лишенный запаха, вдыхаемый в большом количестве, вызывает ряд серьезных нарушений в организме. Человек, живущий в атмосфере, перенасыщенной кислородом, приходит в крайнее возбуждение и быстро сгорает.

Но, вернувшись в обычную атмосферу, он снова приходит в норму, как это было с советником и бургомистром, когда они поднялись на башню, где им не приходилось вдыхать кислород, который остался в нижних слоях атмосферы.

Человек, постоянно вдыхающий этот газ, столь губительный для организма, быстро умирает, подобно тем безумцам, которые предаются всякого рода излишествам!

Поэтому остается только порадоваться, что благодетельный взрыв положил конец опасному опыту, уничтожив завод доктора Окса.

В заключение зададим вопрос: неужели же доблесть, мужество, талант, остроумие, воображение — все эти замечательные свойства человеческого духа — обусловлены только кислородом?

Такова теория доктора Окса, но мы вправе не принимать ее, и мы решительно ее отвергаем со всех точек зрения, вопреки фантастическому опыту, которому подвергся почтенный городок Кикандон.

1872 г.

БЛЕФ

Американские нравы

В марте 1863 года я сел на пароход «Кентукки», который курсирует между Нью-Йорком и Олбани.

В это время года особенно оживляются деловые связи между этими двумя городами; впрочем, это самое обычное для Америки явление. Нью-йоркские коммерсанты поддерживают через своих агентов постоянные торговые сношения даже с самыми отдаленными странами и таким образом широко распространяют изделия, доставляемые из стран Старого Света, одновременно вывозя за границу предметы отечественного производства.

Стоя на палубе, я невольно дивился деловому оживлению, царившему на пристани. Со всех сторон сюда стекались путешественники: одни торопили носильщиков, нагруженных всевозможными свертками и чемоданами, другие, как заправские английские туристы, обходились собственными силами, уместив все необходимое в крохотном саквояже. Пассажиры суетились. Каждый спешил занять свое место на борту пакетбота, который был набит до отказа, как это обычно бывает в Америке, где господствует страсть к наживе.

Первые же удары гонга вызвали смятение среди опаздывающих. Пристань накренилась под тяжестью хлынувшей на пакетбот толпы; по большей части это были дельцы, для которых не попасть на пароход значит понести крупные убытки.

Наконец толпа растаяла. Тюки были разложены, и пассажиры разместились. Пламя гудело в топке котла, палуба «Кентукки» содрогалась. Солнце, проглядывая сквозь утренний туман, слегка прогревало мартовский воздух. В такое утро невольно поднимешь воротник, спрячешь руки в карманы, но все же скажешь: «А погода сегодня будет великолепная».

Поездка моя не носила делового характера, в чемодане имелось все, что только можно пожелать, а голова не была занята никакими коммерческими планами и торговыми расчетами; поэтому я беззаботно предался размышлениям, положившись на волю случая, этого лучшего друга путешественников, который нередко доставляет нам в пути разные удовольствия и развлечения. Внезапно в нескольких шагах от себя я увидел миссис Мелвил, которая мило мне улыбалась.

— Как! Это вы, миссис Мелвил! — воскликнул я с радостным удивлением. — Неужели вы отважились пуститься в опасное плавание и вас не испугала эта толпа на гудзонском пароходе?

— Как видите, мой друг, — ответила она, крепко, на английский манер, пожимая мне руку. — Впрочем, я не одна; меня сопровождает моя добрая старая Арсиноя.

И она указала мне на свою верную негритянку, которая, сидя на тюке шерсти, с нежностью смотрела на господа.

— Я не сомневаюсь, что Арсиноя будет вам полезна в пути, миссис Мелвил, — сказал я, — но сочту своим долгом оберегать вас во время этой поездки.

— Если это ваш долг, — ответила она смеясь, — то мне не за что будет вас благодарить. Но вы-то каким образом очутились здесь? Помните, вы говорили мне, что собираетесь выехать из Нью-Йорка только через не-

сколько дней. Почему же вы вчера не сказали нам, что уезжаете?

— Признаться, вчера я еще не думал о поездке, — ответил я. — Мне вздумалось поехать в Олбани только потому, что гудки пакетбота разбудили меня в шесть утра. Вот вам и объяснение. Проснулся я часом позже, возможно, я направился бы в Филадельфию! Но вы-то, вы, миссис Мелвил! Ведь еще вчера мне казалось, что вы домохозяйка, каких мало.

— Так оно и есть. Но перед вами сейчас не миссис Мелвил, а старший приказчик Генри Мелвила, нью-йоркского негодяя и судовладельца, направляющийся в Олбани, чтобы наблюдать за прибытием груза. Вы родились в чересчур цивилизованной стране Старого Света, и вам этого не понять!.. Дела не отпустили сегодня утром моего мужа из Нью-Йорка, и вместо него отправилась я. Уверяю вас, торговые книги от этого не пострадают и подсчеты будут не менее точными.

— Теперь я больше ничему не удивляюсь! — воскликнул я. — Но если бы нечто подобное случилось во Франции, если бы жены вдруг вздумали заниматься делами своих мужей, то и мужья непременно занялись бы делами своих супругов, — стали бы играть на фортепиано, вырезать цветочки для аппликаций и вышивать подтяжки...

— Вы не слишком-то лестно отзываетесь о своих соотечественниках, — засмеявшись, ответила миссис Мелвил.

— Ничуть не бывало! Ведь я готов допустить, что жены вышивают им подтяжки.

В этот момент раздался третий удар гонга. Последние пассажиры ринулись на палубу «Кентукки» под крики матросов, которые, вооружившись длинными баграми, собирались оттолкнуть пароход от пристани.

Я предложил руку миссис Мелвил и отвел ее в сторону, где не было такой толчеи.

— Я дала вам рекомендательное письмо в Олбани... — начала она.

— Ну да. Я готов еще раз поблагодарить вас за него.

— Незачем. Оно вам теперь не понадобится. Ведь я еду к моему отцу, которому и было адресовано это письмо, и, надеюсь, вы разрешите мне не только представить ему вас, но и предложить вам от его имени гостеприимство.

— Выходит, я был прав, — сказал я, — рассчитывая на счастливый случай, который скрасит мне путешествие. А между тем мы с вами могли и не уехать.

— Почему же?

— Какой-то путешественник, один из тех чудачков, которых до открытия Америки можно было встретить только в Англии, пожелал занять «Кентукки» для себя одного.

— Верно, это какой-нибудь знатный индус, путешествующий со свитой слонов и баядерок?

— Вовсе нет. Я присутствовал при споре этого оригинала с капитаном, который так и не пошел ему навстречу, и при этом ни один слон не вмешался в их беседу. Это — жизнерадостный толстяк, и ему попросту не хотелось ехать в давке... Да, впрочем, вот и он! Я узнаю его!.. Видите, к пристани бежит человек, он яростно жестикулирует и надрывается от крика! Он еще может нас задерживать, хотя пароход и отчаливает.

Какой-то пассажир среднего роста, с непомерно большой головой, с огненно-рыжими бакенбардами, в длинном сюртуке со стоячим воротником и в высокой широкополой шляпе, подбежал, запыхавшись, к пристани, с которой уже были убраны сходни. Он жестикулиро-

вал, бесновался, вопил, не обращая внимания на смех толпы, собравшейся вокруг него:

— Эй, вы, там, на «Кентукки»!.. Тысяча чертей! Мое место заказано, отмечено, оплачено, а меня оставляют на берегу! Черт вас побери! Капитан, вы будете отвечать перед судом и присяжными!

— Опоздали, так пеняйте на себя! — ответил капитан, поднимаясь на мостик. — Мы должны прибыть в назначенный час, а прилив кончается.

— Черт вас побери! — снова завопил толстяк. — Я добыюсь того, что с вас взыщут сто тысяч долларов или даже больше в возмещение убытков! Бобби, — крикнул он одному из двух негров, сопровождавших его, — займись-ка ты багажом и беги в гостиницу, а ты, Дакопа, тем временем отвяжи какую-нибудь лодку, чтобы нагнать этот проклятый «Кентукки».

— Бесполезно! — бросил капитан, уже приказавший отдать концы.

— Живей, Дакопа! — заревел толстяк, подгоняя негра.

Чернокожий успел ухватиться за конец каната и быстро прикрутил его к одному из причальных колец как раз в тот момент, когда канат потянулся за отваливающим пароходом. В ту же минуту настойчивый пассажир прыгнул в лодку и под одобрительные возгласы толпы в несколько взмахов весел достиг трапа «Кентукки». Возбравшись на палубу, он подбежал к капитану и стал бурно с ним объясняться, производя при этом столько шума, как будто кричали сразу десять мужчин и тараторили двадцать кумушек. Убедившись, что ему не удастся вставить ни одного словечка, и видя, что пассажир все равно добился своего, капитан решил прекратить разговор и, взяв рупор, направился к машинному отделению. Но в тот момент, когда капитан собирался дать сигнал к отплытию, толстяк снова подбежал к нему и заголосил:

— А мои ящики, черт вас побери?

— Как, еще и ящики! — возмутился капитан. — Уж не их ли там везут?

Пассажиры начали роптать — новая задержка вывела их из терпения.

— В чем дело? — закричал настойчивый пассажир. — Разве я не свободный гражданин Соединенных Штатов Америки? Мое имя Огастес Гопкинс, и если оно вам ничего не говорит...

Не знаю, произвело ли это имя должное впечатление на присутствующих, но, как бы там ни было, капитан «Кентукки» был вынужден снова пристать к берегу, чтобы погрузить багаж Огастеса Гопкинса, свободного гражданина Соединенных Штатов Америки.

— Что за странный субъект! — сказал я миссис Мелвил.

— Не более странный, чем его багаж, — ответила она, указывая на приближавшиеся к пристани подводы с двумя громадными ящиками в двадцать футов высотой, покрытыми клеенкой и опутанными целой сетью веревок и узлов. Верх и низ были обозначены красными литерами, а слова: «Осторожно, стекло!» — выведенные огромными буквами, еще издали приводили в трепет служащих паровой компании, отвечающих за сохранность грузов.

Появление этих чудовищных ящиков вызвало у пассажиров новый прилив негодования, но Гопкинс так энергично орудовал ногами, руками, головой и глоткой, что его багаж был погружен на палубу, хотя это стоило огромных трудов и заняло немало времени. Наконец «Кентукки» отчалил и пошел вверх по Гудзону, пробираясь среди всевозможных судов, сновавших по реке.

Оба негра Огастеса Гопкинса встали на страже у ящиков своего господина, возбуждавших всеобщее любопыт-

ство. Пассажиры все время толпились возле этого поразительного багажа, высказывая самые невероятные предположения, какие способно породить лишь необузданное воображение американцев. Миссис Мелвил, как видно, тоже была сильно заинтригована. Что до меня, то, как и подобает французу, я изо всех сил старался казаться совершенно равнодушным.

— Какой вы странный человек! — сказала миссис Мелвил. — Неужели вам не интересно знать, что в этих громадинах? Я прямо-таки сгораю от любопытства.

— Признаюсь, — ответил я, — все это меня мало интересует. При виде этих поразительных сооружений я сделал самое невероятное предположение: либо там спрятан пятиэтажный дом со всеми его обитателями, либо они вовсе пусты. И хотя то и другое одинаково неправдоподобно, я ничуть бы не удивился, если бы одно из моих предположений оправдалось. Впрочем, если вам угодно, я все же попытаюсь что-нибудь разузнать, а потом расскажу вам.

— Пожалуйста, — ответила миссис Мелвил, — а я тем временем проверю свои счета.

Я предоставил своей удивительной спутнице проверять счета. Она делала это с быстротой нью-йоркских банковских кассиров, о которых говорят, что стоит им взглянуть на колонку цифр, как они тут же подведут итог.

Размышляя о причудливой психической организации прелестных американок, отличающихся такой двойственностью, я направился к человеку, привлекавшему все взгляды и служившему предметом всех разговоров.

Хотя колоссальные ящики мешали рулевому следить за фарватером Гудзона, он уверенной рукой управлял пароходом, не заботясь о препятствиях. А между тем их было немало, ибо ни одна река Европы, даже Темза, до та-

кой степени не забита судами, как любая река в Соединенных Штатах. В ту пору, когда Франция насчитывала не более двенадцати-тринадцати тысяч судов, когда Англия обладала примерно сорока тысячами, у Соединенных Штатов их было уже шестьдесят тысяч, в том числе две тысячи пароходов, которые бороздили все моря земного шара. Эти цифры дают представление о развитии мировой торговли, и, вникая в них, легко понять, чем вызваны многочисленные несчастные случаи, имеющие место на американских реках.

Правда, все эти катастрофы, столкновения, кораблекрушения ничуть не пугают предприимчивых негоциантов. Более того, они даже на руку страховым компаниям, чьи дела не шли бы в гору, если бы страховые премии не были так высоки. В Америке человек представляет меньше ценности и значения, чем равный ему по весу и объему мешок каменного угля или тюк кофе.

Быть может, американцы по-своему и правы, но я, коренной француз, готов был бы отдать все угольные шахты и кофейные плантации в мире за свою ничем не замечательную особу! Признаться, я испытывал некоторую тревогу, видя, что пароход несется на всех парах по реке, загроможденной судами.

Казалось, Огастес Гопкинс не разделял моих опасений. Вероятно, он принадлежал к той породе людей, которые скорее потеряют рассудок, взлетят на воздух, пойдут ко дну, чем упустят выгодную аферу. Во всяком случае, он не обращал ни малейшего внимания на живописные берега Гудзона, быстро пронесившиеся мимо нас. Проплыть от Нью-Йорка, места отправления, до Олбани, места назначения, означало для него только потерять восемнадцать часов драгоценного времени. Ни восхитительные виды, открывавшиеся по берегам реки, ни красиво расположенные городки, ни рощицы, разбро-

санные то здесь, то там по равнине, как букеты у ног примадонны, ни быстрое течение величественной реки, ни свежая весенняя зелень — ничто не могло отвлечь этого человека от его коммерческих забот.

Он шагал взад и вперед по палубе «Кентукки», бормоча себе под нос какие-то бессвязные фразы; по временам он словно впопыхах присаживался на тюк с товаром и, обшарив свои многочисленные карманы, вытащил пухлый бумажник, набитый всевозможными деловыми бумагами. Мне пришло в голову: уж не нарочно ли он выставляет напоказ всю эту деловую переписку? Мне даже показалось, что он с каким-то наигранным рвением перебирает свою огромную корреспонденцию, пробегая глазами убористые строчки писем, помеченных названиями разных городов и стран, проштемпелеванных почтовыми конторами всего мира.

Поэтому я никак не мог решиться приступить к нему с вопросами. Тщетно пытались любопытные пассажиры вовлечь в разговор двух негров, стоявших на посту у таинственных ящиков; хотя это и не свойственно сынам Африки, стражи хранили гробовое молчание.

Я уже собирался вернуться к миссис Мелвил и поделиться с ней своими наблюдениями, как вдруг натолкнулся на группу пассажиров, окружавших капитана «Кентукки», который о чем-то пространно повествовал. Речь шла о Гопкинсе.

— Повторяю, — говорил капитан, — этот чудак всегда выкидывает такие штуки. Вот уже десятый раз он поднимается по Гудзону от Нью-Йорка до Олбани, вот уже десятый раз он ухитряется прибыть с опозданием, вот уже десятый раз он перевозит все тот же груз. Что все это значит? Я и сам не знаю. Ходят слухи, будто мистер Гопкинс основывает какое-то крупное предприятие в окре-

стностях Олбани и что со всех концов света ему шлют какие-то неизвестные товары.

— Должно быть, это один из главных агентов индийской компании, — сказал кто-то из присутствующих, — и, наверное, он прибыл, чтобы основать в Америке филиал.

— А может, это владелец золотых приисков в Калифорнии, — заметил второй. — И у него там, наверно, еще какие-нибудь коммерческие дела.

— Или подвернулись крупные торги, на которые он собирается взять подряд, — ввернул третий. — Не так давно в «Нью-Йорк геральд», кажется, были на этот счет какие-то намеки.

— Вот увидите, — заявил четвертый, — скоро выпустят акции новой компании с капиталом в пятьсот миллионов. Я первый подпишусь на сто акций по тысяче долларов.

— Почему же первый? — раздался чей-то голос. — Разве вам уже обещаны пай? Что до меня, то я готов закупить двести акций, а если понадобится, то и больше.

— Если что-нибудь останется на вашу долю! — крикнул издали какой-то делец, лица которого я не мог разглядеть. — Ясное дело, речь идет о строительстве железной дороги из Олбани в Сан-Франциско, а банкир, который будет финансировать это акционерное общество, — мой лучший друг.

— При чем тут железная дорога! Мистер Гопкинс собирается проложить электрический кабель через озеро Онтарио, и в этих здоровенных ящиках — гуттаперча и целые мили проводов.

— Прокладывает кабель через Онтарио? Да ведь это золотое дно! Где же этот джентльмен? — крикнули в один голос несколько дельцов, которых обуял дух стяжа-

тельства. — Пусть сам мистер Гопкинс изложит нам свой проект. Мне первые акции!

— Мне, мистер Гопкинс, прошу вас!

— Нет, мне! Я даю тысячу долларов премиальных!

Вопросы и ответы сыпались попеременно; волнение охватило весь пароход. Хотя спекуляция меня ничуть не прельщала, я направился вместе с группой дельцов к герою «Кентукки». Вскоре Гопкинс был окружен густой толпой, которую он не достаивал даже взглядом. Его бумаги пестрели цифрами, которые выстраивались длинными рядами, многие из них сопровождала внушительная свита нулей. Карандаш его порхал по бумаге, производя различные вычисления. С губ его срывались астрономические цифры. Казалось, он был охвачен неистой лихорадкой расчетов. Воцарилось молчание, хотя в душах американцев, страдаемых жаждой наживы, бушевала буря.

Но вот мистер Огастес Гопкинс разрешил некую головоломную арифметическую задачу (при этом он трижды обламывал карандаш, выводя величественную единицу, возглавлявшую отряд из восьми великолепных нулей) и произнес два сакраментальных слова:

— Сто миллионов!

Затем он быстро спрятал бумаги в свой чудовищный бумажник и извлек из кармана часы, обрамленные двумя рядами настоящих жемчужин.

— Девять часов! Уже девять! — воскликнул он. — Этот проклятый пароход ползет как черепаха! Капитан!.. Где же капитан?

Тут Гопкинс сорвался с места и, расталкивая обступивших его людей, приблизился к капитану, который, склонившись над люком машинного отделения, отдавал какие-то распоряжения машинисту.

— Известно ли вам, капитан, — многозначительно

изрек Гопкинс, — известно ли вам, что из-за десятиминутного опоздания у меня может сорваться важное дело?

— И вы смеете еще говорить про опоздание! — огрызнулся капитан, возмущенный такой наглостью. — Кто, как не вы, задержал пароход?

— Если бы вы так упорно не оставляли меня на берегу, — завопил Гопкинс, — то не потеряли бы столько драгоценных минут, ведь в эту пору года время — на вес золота!

— А если бы вы со своими ящиками потрудились не опаздывать, — отпарировал капитан, — мы воспользовались бы приливом и теперь были бы уже на добрых три мили дальше.

— Это меня не касается. Я должен еще до полуночи быть в Олбани в гостинице «Вашингтон». Если я попаду туда позже, то мне не имело смысла уезжать из Нью-Йорка. Предупреждаю вас, что если так случится, то я потребую от вашей администрации и лично от вас возмещения убытков.

— Да отвяжетесь ли вы от меня, наконец?! — зарычал раздосадованный капитан.

— И не подумаю. Пока вы тут будете скряжничать и беречь топливо, я могу потерять целое состояние!.. Эй, вы, кочегары, подкиньте-ка в топку четыре или пять добрых лопатин угля, а вы, машинисты, поддайте пару, и мы живо наверстаем потерянное время!

И Гопкинс швырнул в машинное отделение кошелек, в котором зазвенели доллары.

Это вконец разъярило капитана, но взбешенный пассажир кричал куда громче и долго еще продолжал орать после того, как капитан умолк.

Я поспешил удалиться от спорящих: мне было ясно, что брошенное машинисту приказание поддать пару и

увеличить скорость парохода может привести к взрыву котла.

Но, разумеется, наши спутники не нашли в поступке Гопкинса ничего из ряда вон выходящего. Поэтому я решил не рассказывать об этом инциденте миссис Мелвил, которую только рассмешили бы мои нелепые страхи.

Когда я к ней вернулся, она уже закончила свои сложные вычисления, и деловые заботы больше не омрачали ее прелестного чела.

— Итак, мой друг, я уже больше не коммерсантка, — сказала она, — а снова светская женщина, и теперь вы можете беседовать со мной о чем угодно: об искусстве, о любви, о поэзии...

— Говорить об искусстве, о возвышенных мечтах и поэзии после того, что я видел и слышал! — воскликнул я. — Нет, нет! Я насквозь пропитался меркантильным духом, теперь я больше ничего не слышу, кроме звона долларов, я ослеплен их обжигающим блеском. Теперь для меня эта прекрасная река — только удобный торговый путь, ее чудесные берега — только рынок для сбыта товаров, эти живописные прибрежные городишки — лишь многочисленные склады сахара и хлопка, и я уже начинаю всерьез подумывать о том, не построить ли на Гудзоне плотину, чтобы его воды вертели кофейную мельницу!

— Что ж! Если отбросить в сторону кофейную мельницу, то это недурная идея.

— А почему, скажите на милость, меня не может осенить блестящая идея, чем я хуже других?

— Так вы в самом деле заразились деловой лихорадкой? — смеясь, спросила миссис Мелвил.

— Судите сами, — ответил я.

И я рассказал ей о тех сценах, свидетелем которых мне довелось быть. Внимательно выслушав мой рассказ,

как подобает рассудительной американке, она углубилась в размышления. Любая парижанка оборвала бы меня на середине.

— Итак, миссис Мелвил, что же вы скажете об этом Гопкинсе?

— Этот человек, — ответила она, — либо великий коммерсант, затеявший какое-то колоссальное предприятие, либо попросту какой-нибудь шарлатан с захудалой балтиморской ярмарки.

Я засмеялся, и разговор перешел на другие темы.

Наше путешествие завершилось без дальнейших осложнений, если не считать того, что Гопкинс чуть было не свалил в воду один из своих громадных ящиков, решив во что бы то ни стало, невзирая на запрещение капитана, передвинуть его на другое место. Вызванный этим спор дал ему повод еще раз заявить во всеулышание, какие важные у него дела и какой ценный он везет груз.

Он завтракал и обедал, как человек, который стремится не столько утолить голод, сколько вышвырнуть как можно больше денег.

Когда мы наконец достигли цели нашего плавания, на пароходе только и было толков что об этом необыкновенном субъекте — каждый рассказывал о нем всякие небылицы.

«Кентукки» пришвартовался к Олбанийской пристани еще до полуночи — этого рокового для Гопкинса часа. От души радуясь, что схожу на берег цел и невредим, я предложил руку миссис Мелвил. А Огастес Гопкинс, выгрузив с великим шумом свои таинственные ящики, в сопровождении многолюдной толпы торжественно последовал в гостиницу «Вашингтон».

Я был принят мистером Френсисом Уилсоном, отцом миссис Мелвил, весьма радушно и приветливо, — только

такое гостеприимство и приходится ценить. Сколько я ни отговаривался, мне пришлось уступить настояниям почтенного негодяя и занять в его доме прелестную комнатку, оклеенную голубыми обоями. Этот громадный дом не слишком-то походил на особняк; его просторные апартаменты казались совсем скромными по сравнению с колоссальными складскими помещениями, которые были переполнены товарами, привезенными со всех концов света. Целая армия служащих, рабочих, конторщиков, грузчиков сновала, суетилась в этом доме-городе, о котором не могут дать представления даже самые крупные торговые дома Гавра и Бордо. Хотя хозяин дома и был поглощен разнообразными делами, ко мне отнеслись с удивительным вниманием и предупреждали малейшие мои желания. К тому же мне прислуживали негры, а тот, кому приходилось хоть раз иметь с ними дело, прекрасно знает, что нет на свете более заботливых и исполнительных слуг.

На другой день я совершил прогулку по очаровательному Олбани, само название которого меня всегда чем-то пленяло. Но и здесь я обнаружил точно такую же деловую атмосферу, как и в Нью-Йорке. И здесь та же неугомонная предприимчивость, то же многообразие коммерческих интересов, жажда наживы, деловой пыл, стремление извлечь деньги из всего на свете, используя все возможности промышленности и торговли. Но у дельцов Нового Света все это не выглядит столь уродливо, как у их заокеанских коллег. В их образе действий есть даже нечто внушительное. Невольно подумаешь — как же этим дельцам не загребать огромные деньги, когда они идут на такие огромные траты?

И завтрак и обед были роскошно сервированы; за едой, а также вечером сперва шел общий разговор, а потом речь зашла о жизни города, о его увеселениях и теат-

рах. Мистер Уилсон оказался в курсе всех светских развлечений и проявил себя как истый американец, когда речь зашла о странных нравах, царящих в американских городах и вызывающих удивление у нас в Европе.

— Вы намекаете, — спросил мистер Уилсон, — на наше отношение к знаменитой Лоле Монтеc?

— Совершенно верно, — ответил я. — Только американцы могут принимать всерьез эту графиню Лансфельд.

— Мы ее приняли всерьез, — ответил мистер Уилсон, — потому что она показала себя серьезной особой. Имейте в виду, что мы не придаем никакого значения даже самым важным делам, если к ним относятся легкомысленно.

— Вас, конечно, шокирует, — насмешливо сказала миссис Мелвил, — что Лола Монтеc посетила также и наши пансионы для молодых девиц.

— По правде сказать, — ответил я, — это мне показалось странным: вряд ли прелестная танцовщица может служить подходящим примером для молодых девушек.

— Наши молодые девушки, — возразил мистер Уилсон, — приучаются в пансионе к самостоятельности, не в пример вашим. Когда Лола Монтеc появлялась в пансионах, они принимали ее не как парижскую танцовщицу и не как баварскую графиню Лансфельд, а как знаменитую женщину, которой они искренне любовались. Для воспитанниц, смотревших на нее с любопытством, это не могло иметь никаких дурных последствий. Для них это был своего рода праздник, удовольствие, развлечение, вот и все. Что же тут плохого?

— Плохо то, что эти чрезмерные восторги портят крупных артистов. Они зазнаются и станут прямо невыносимы, когда вернутся из турне по Соединенным Штатам.

— Разве эти овации им не нравятся? — с удивлением спросил мистер Уилсон.

— Напротив, — ответил я. — Вот, например, Женни Линд, — разве она сможет оценить европейское гостеприимство, если здесь самые почтенные люди впрягаются в ее карету? И какая реклама может сравниться с той, какую ей создал антрепренер, когда учредил, да еще с таким шумом, на ее средства госпитали?

— В вас говорит ревность, — иронически заметила миссис Мелвил. — Вы сердитесь на эту знаменитую певицу потому, что она не пожелала дать ни одного концерта в Париже.

— И не думаю сердиться, миссис Мелвил. А впрочем, я и не посоветовал бы ей ехать в Париж, потому что она никогда не встретит там такого приема, как у вас.

— Что ж, вы много потеряете, — заметил мистер Уилсон.

— По-моему, больше потеряет она.

— И уж во всяком случае у вас не будет новых госпиталей, — смеясь, сказала миссис Мелвил.

Разговор продолжался в шутовском тоне. Через некоторое время мистер Уилсон снова обратился ко мне:

— Я вижу, что вас интересуют наши зрелища и наша реклама, — так вот вы попали к нам как раз вовремя. Завтра состоится продажа с аукциона первого билета на концерт госпожи Зонтаг.

— Продажа с аукциона! Можно подумать, что речь идет по крайней мере о железной дороге!

— Вот именно, и представьте себе: до сих пор на таких аукционах победителем оказывался не кто иной, как олбанийский торговец шляпами.

— Он, наверное, меломан? — спросил я.

— Он!.. Джон Тернер!.. Да он ненавидит музыку! Он воспринимает ее как весьма неприятный шум.

— Так зачем же он это делает?

— Чтобы расположить к себе публику. Это своего рода реклама. О нем будут говорить не только в нашем городе, но и во всех штатах, не только в Америке, но и в Европе; все будут покупать у него шляпы, и он легко сбудет свой залежавшийся товар и снабдит своими шляпами весь мир!

— Не может быть!

— Завтра вы сами убедитесь, что это именно так, и если вам понадобится шляпа...

— То я ни за что не куплю ее у этого человека! Должно быть, его шляпы отвратительны!

— Вот завзятый парижанин! — воскликнула миссис Мелвил, вставая и протягивая мне руку.

Я простился со своими хозяевами и перед сном размышлял о странностях американцев.

На следующий день я присутствовал на продаже с аукциона пресловутого первого билета на концерт госпожи Зонтаг, и при этом у меня был такой серьезный вид, как у самого флегматичного из граждан Соединенных Штатов. Все взгляды были устремлены на торговца шляпами, героя этой новой причуды. Его окружали друзья, восхвалявшие его так усердно, как будто он, Джон Тернер, — национальный герой, борец за независимость родины. Одни ставили на него, другие — на его многочисленных соперников.

Аукцион начался. Стоимость первого билета быстро поднялась с четырех долларов до двухсот и трехсот. Джон Тернер был уверен, что последняя надбавка останется за ним. К цене, объявленной его соперниками, он все время прибавлял самые ничтожные суммы. Чтобы идти впереди всех, этот добрый малый накидывал каждый раз по одному — по два доллара, но если понадобится, готов

был поступиться и целой тысячей для приобретения драгоценного билета.

Цена быстро поднималась: триста, четыреста, пятьсот, шестьсот долларов. Публика была крайне возбуждена и приветствовала одобрительным гулом каждого, кто делал новую смелую надбавку. Этот первый билет казался всем необычайно ценным, а остальными никто не интересовался. Это был, так сказать, вопрос чести.

— Тысяча долларов! — выкрикнул вдруг Джон Тернер громовым голосом.

Раздались громкие и продолжительные крики «ура».

— Тысяча долларов, — повторил аукционист. — Кто больше? Тысяча долларов за первый билет на концерт!.. Кто накинёт?

Воцарилась напряженная тишина, по залу пронесся какой-то трепет. Признаюсь, я и сам был невольно захвачен всем происходившим. Торговец шляпами, предвкушая триумф, обвел самодовольным взглядом своих почитателей. Он высоко поднял над головой пачку банкнот одного из шестисот американских банков и потряс ею в воздухе. В это время еще раз прозвучали слова:

— Тысяча долларов!..

— Три тысячи долларов! — раздался чей-то голос, и я невольно обернулся.

— Уррраа! — загремел весь зал, охваченный энтузиазмом.

— Три тысячи долларов, — повторил аукционист.

Перед таким покупателем торговцу шляпами пришлось спасовать, и он незаметно ретировался среди всеобщего ликования.

— Продано за три тысячи долларов! — объявил аукционист.

И тут я увидел выступившего вперед Огастеса Гопкинса, свободного гражданина Соединенных Штатов

Америки. Было ясно, что он уже успел приобщиться к сонму великих мира сего, и теперь оставалось только слагать гимны в его честь.

Я с трудом выбрался из зала, и мне стоило также немалых усилий проложить себе дорогу сквозь десятитысячную толпу, которая поджидала торжествующего победителя у дверей. Его появление было встречено овацией. Во второй раз за истекшие сутки восторженная толпа проводила его в гостиницу «Вашингтон». Он отвечал на приветствия с видом скромным и величественным, а вечером, уступив настойчивым требованиям публики, Гопкинс показался на балконе гостиницы и снова был встречен шумными аплодисментами.

— Ну-с, что вы скажете об этом? — спросил меня мистер Уилсон, когда после обеда я рассказал ему о сегодняшнем случае.

— Я думаю, что мне, как французу и парижанину, госпожа Зонтаг сама догадается предложить место, и мне не придется платить за него пятнадцать тысяч франков.

— Пусть так, — ответил мистер Уилсон. — Но если этот Гопкинс действительно ловкий малый, то три тысячи долларов принесут ему сто тысяч. Человеку, который завоевал такую репутацию, стоит только нагнуться, чтобы подобрать миллион.

— Интересно, кто он такой, этот Гопкинс? — спросила миссис Мелвил.

Этот вопрос занимал в те дни всех до одного жителей Олбани.

На него ответили последовавшие затем события. Спустя несколько дней из Нью-Йорка прибыли на пароходе новые ящики, еще более удивительные по форме и по размерам. Случайно или преднамеренно, один из них, величиною с дом, въехал в какой-то узкий переулок олбанийского предместья и там застрял. Его так и

не удалось сдвинуть с места, и он высился поперек дороги, неподвижный, как скала. В течение целых суток население всего города непрерывным потоком устремлялось к месту происшествия. Гопкинс воспользовался этим сборищем, чтобы блеснуть новыми сногшибательными тирадами. Он громил безграмотных олбанийских архитекторов и предлагал ни больше ни меньше как изменить планировку улиц, дабы очистить проход для его ящиков.

Всем стало ясно, что придется выбрать одно из двух: либо разбить ящик, содержимое которого разжигало всеобщее любопытство, либо снести домишко, стоявший на его пути. Любопытные жители Олбани предпочли бы, конечно, первое, но Гопкинс придерживался иного мнения. Так дальше продолжаться не могло. В квартале застопорилось движение, и полиция угрожала, что на законном основании сломает этот проклятый ящик. Тогда Гопкинс нашел выход: он купил мешавший ему дом, а затем приказал его снести.

Легко догадаться, в какой степени это происшествие приумножило славу Гопкинса. Его имя и его история служили темой всех разговоров в городе. Только о нем и спорили в клубе Независимых и в клубе Единства. В олбанийских кафе заключались новые пари относительно проектов этого таинственного человека. Уверяли даже, будто между каким-то коммерсантом и каким-то чиновником произошла дуэль и что победу одержал приверженец Гопкинса. Газеты пустили в ход самые смелые домыслы, которые тотчас же отвлекли внимание публики от конфликта, возникшего между Соединенными Штатами и Кубой.

Поэтому на концерте госпожи Зонтаг, в котором я, разумеется, не принимал столь шумного участия, как наш герой, появление его чуть было не изменило про-

граммы вечера. Во всяком случае, внимание публики было надолго отвлечено от знаменитой певицы.

Наконец тайна была раскрыта, и вскоре сам Огастес Гопкинс перестал ее скрывать. Оказалось, что это предприниматель, задумавший организовать своего рода Универсальную выставку в окрестностях Олбани. Он брал на себя смелость осуществить за собственный страх и риск одно из колоссальных начинаний, которые до сих пор оставались государственной монополией.

С этой целью он купил в нескольких километрах от Олбани огромный участок неводеланной земли. На этой заброшенной территории возвышались лишь развалины форта Уильям, который некогда прикрывал английские фактории на канадской границе. Гопкинс начал уже вербовать рабочих, чтобы приступить к осуществлению своего грандиозного замысла. В его огромных ящиках, должно быть, находились орудия и машины, необходимые для предстоящих сооружений.

Как только об этой затее узнали на олбанйской бирже, сногшибательная новость приковала к себе внимание всех дельцов. Каждый хотел войти в долю с великим предпринимателем и стремился приобрести у него акции. Гопкинс на все предложения отвечал уклончиво, тем не менее на бирже вскоре установился фиктивный курс на несуществующие акции, и дело стало принимать широкий размах.

— Этот малый, — сказал мне однажды мистер Уилсон, — большой ловкач. Не берусь судить, миллионер он или нищий, ибо, чтобы решиться на подобную авантюру, нужно быть таким бедняком, как Иов, или таким богачом, как Ротшильд, но несомненно он наживет огромное состояние.

— По правде сказать, я не знаю, дорогой мистер Уилсон, кто достоин большего удивления: человек, который

отваживается на подобные дела, или страна, которая их поддерживает и рекламирует, не требуя от него никаких гарантий.

— Потому-то у нас и преуспевают, дорогой друг.

— Или, вернее сказать, разоряются, — ответил я.

— Так знайте же, — возразил мистер Уилсон, — что в Америке банкротство обогащает всех, не разоряя никого.

Я мог бы доказать мистеру Уилсону свою правоту только фактами. Поэтому я с нетерпением ожидал, к чему приведут все эти махинации и вся эта шумиха. Я старался как можно больше разузнать о предприятии Огастеса Гопкинса, о котором газеты ежедневно сообщали все новые и новые подробности. Первая партия рабочих была уже отправлена на строительство, и развалины форта Уильям быстро исчезли с лица земли. Всюду только и было речи что об этих работах, цель которых вызывала неподдельный энтузиазм. Предложения поступали со всех сторон — из Нью-Йорка и Олбани, из Бостона и Балтиморы. «Музыкальные инструменты», «Художественные дагерротипы», «Гигиенические набрюшники», «Центробежные насосы», «Мелодичные фортепиано» спешили заблаговременно закрепить за собой на выставке самые выигрышные места. Воображение американцев разыгралось не на шутку. Уверяли, будто вокруг выставки вырастет целый город. Говорили, что Огастес Гопкинс намерен основать новый город, который будет назван его именем и сможет соперничать с Новым Орлеаном. Предсказывали даже, что этот город, который из стратегических соображений (близость границы) будет укреплен, в скором времени станет столицей Соединенных Штатов и т. д. и т. п.

Каждый день приносил все новые сенсационные известия, слухи приобретали все более фантастический характер, а между тем виновник всей этой кутерьмы хра-

нил глубокое молчание. Регулярно посещая олбанийскую биржу, он наводил справки о положении дел, собирал сведения о привозе товаров, но даже не заикался о своих широких замыслах. Всех удивляло, почему человек с таким коммерческим размахом не прибегает к рекламе. Быть может, он пренебрегает этим заурядным способом организации дела, надеясь, что оно будет говорить само за себя?

Таково было положение вещей, когда в одно прекрасное утро газета «Нью-Йорк геральд» поместила на своих страницах следующее сообщение:

«Всем известно, что работы по строительству Универсальной выставки в Олбани идут полным ходом. Уже исчезли руины старого форта Уильям, и закладывают фундаменты величественных зданий, на стройке царит ликование. На днях заступ одного из рабочих натолкнулся на останки гигантского животного, по-видимому, пролежавшего под землей в течение тысячелетий. Спешим добавить, что это открытие отнюдь не задержит работ, которые преподнесут Соединенным Штатам восьмое чудо света».

Я отнесся к этим строчкам с равнодушием, с каким обычно воспринимаешь бесконечные сенсации американских газет. Я и не подозревал, какие выгоды сулило это открытие Огастесу Гопкинсу. Зато в устах самого предпринимателя оно приобрело исключительное значение. Насколько он был сдержан, когда речь заходила о будущем его великого предприятия, настолько же словоохотлив в своих пояснениях, соображениях и выводах относительно находки необыкновенного ископаемого. Можно было подумать, что именно с этой находкой он связывает свои деловые расчеты и виды на обогащение.

Надо полагать, что открытие и в самом деле было из ряда вон выходящим. Для того чтобы найти противопо-

ложный конец скелета допотопного животного, по приказанию Гопкинса были предприняты раскопки. Они продолжались три дня, но не дали никакого результата. Невозможно было предсказать, каковы будут размеры этого поразительного ископаемого. Тогда Гопкинс произвел глубокую разведку в двухстах футах от того места, где было начато рытье, и ему удалось добраться до противоположного конца колоссального скелета. Новость распространилась с молниеносной быстротой, и этот исключительный в летописях геологии факт был воспринят как событие мирового значения.

Со свойственной им впечатлительностью, живостью воображения и склонностью к преувеличениям американцы тотчас же распространили эту сенсацию и истолковали ее на свой лад. Чтобы установить происхождение гигантских останков, обнаруженных в окрестностях города, Олбанийским научным обществом были предприняты специальные изыскания.

Признаюсь, все это занимало меня куда больше, чем блестящее будущее Дворца индустрии и деловая горячка американцев. Я старался не пропустить ни малейших деталей этого события, что было нетрудно, так как газеты обсуждали его со всех сторон. Впрочем, мне посчастливилось узнать все подробности из уст самого Гопкинса.

Как только этот удивительный человек появился в Олбани, он был принят в высшем обществе. Естественно, что в Соединенных Штатах, где господствует финансовая аристократия, предприимчивому дельцу оказывались почести, соответствующие его рангу. Его с подлинным энтузиазмом принимали в клубах и в семейных домах. Однажды вечером я встретил его в салоне мистера Уилсона. Разумеется, разговор вертелся исключительно вокруг нашумевшего события. И надо сказать, мистер

Гопкинс проявил такую словоохотливость, что его не приходилось ни о чем расспрашивать.

Он сделал любопытное, содержательное, научно обоснованное и не лишенное остроумия сообщение о своем открытии, рассказал, при каких обстоятельствах оно произошло и каковы будут его неисчислимы последствия. При этом он довольно прозрачно намекнул, что собирается извлечь из этого немалую выгоду.

— К сожалению, — добавил Гопкинс, — наши работы пришлось временно приостановить, так как на участке, под которым погребены недостающие части скелета, уже возвышаются мои новые сооружения.

— А вы уверены, — спросил его один из присутствующих, — что недостающие части скелета находятся именно под этим еще не исследованным участком земли?

— В этом нет ни малейшего сомнения, — отвечал Гопкинс с апломбом. — Судя по уже извлеченным костям, ископаемое значительно превосходит размерами знаменитого мастодонта, некогда открытого в долине Огайо.

— Да неужели?! — воскликнул мистер Корнат, по профессии натуралист или что-то в этом роде, обделывавший научные дела так же ловко, как его соотечественники — дела торговые.

— Я в этом уверен, — заявил Гопкинс. — Структура костяка доказывает, что чудовище принадлежит к породе многокопытных, оно обладает всеми признаками этих животных, досконально описанных Гумбольдтом.

— Как жаль, — воскликнул я, — что его нельзя раскопать целиком!

— А кто может этому помешать? — живо спросил Корнат.

— Но... эти только что воздвигнутые здания...

Произнеся эти слова, на мой взгляд вполне уместные,

я заметил на лицах гостей презрительные улыбки. По мнению этих бравых коммерсантов, можно было не задумываясь снести любое здание, любой памятник, лишь бы извлечь современника всемирного потопа. Поэтому никого не удивило, когда Гопкинс сообщил, что уже отдал на этот счет соответствующие распоряжения. Все его сердечно поздравляли, считая, что судьба благоприятствует людям предприимчивым и отважным. Я искренно поблагодарил Гопкинса и выразил желание одним из первых увидеть чудесную находку. Я хотел незамедлительно отправиться в Выставочный парк (это название уже вошло в обиход), но он попросил меня повременить, пока раскопки будут доведены до конца, ибо в настоящее время еще нельзя составить точное представление о размерах колоссального скелета.

Спустя четыре дня в «Нью-Йорк геральд» появились новые подробности об огромном ископаемом. Оказывается, остов не принадлежал ни мамонту, ни мастодонту, ни мегатерию, ни птеродактилю, ни плезиозавру. Все эти редкостные палеонтологические названия не подходили к этому животному. Упомянутые ископаемые относятся к третичному или даже ко вторичному геологическому периоду, в то время как раскопки, предпринятые Гопкинсом, велись в глубоких слоях земной коры, относящихся к палеоцену, где, как известно, до сих пор еще не было обнаружено ни одного ископаемого животного. Весь этот ассортимент научных терминов, в которых негоцианты Соединенных Штатов не слишком-то много смыслили, произвел колоссальный эффект. Из сообщения явствовало, что чудовище не было ни моллюском, ни многокопытным, ни грызуном, ни жвачным, ни панцирным, ни земноводным... Так что же? Оставалось лишь допустить, что это был человек, и притом человек-гигант, ростом более сорока метров? Итак, теперь уже

нельзя было отрицать существование расы титанов, предшествовавшей нашей. Если этот факт подтвердится и его признают неоспоримой истиной, то даже самые устойчивые геологические теории полетят кувырком. Ископаемое Гопкинса находилось значительно глубже наносных отложений, следовательно, обитало на земле в эпоху, предшествовавшую всемирному потопу...

Помещенная в «Нью-Йорк геральд» статья вызвала настоящий фурор. Она была перепечатана всеми американскими газетами. Открытие сделалось злобой дня, и самые хорошенькие женщины без запинки повторяли все эти неудобопроизносимые ученые названия. Поднялись бурные дискуссии. Это открытие составляло гордость Америки. Теперь уже не Азия, а Новый Свет становился колыбелью рода человеческого. На ученых конгрессах и в академических кругах было весьма убедительно доказано, что Америка, населенная людьми с самого сотворения мира, была отправным пунктом всех последующих миграций... Новый континент похищал у Старого Света прерогативы старшинства. Этому важнейшему вопросу были посвящены пространные труды, продиктованные чисто американским тщеславием. Наконец одна ученая сессия, протокол которой был опубликован и затем обсуждался всеми органами американской печати, доказала как дважды два, что земной рай находился между Пенсильванией, Виргинией и озером Эри, на территории нынешнего штата Огайо.

Признаюсь, меня очень забавляли все эти фантазии. Я уже представлял себе Адама и Еву, повелевающих дикими зверями, которые, как это теперь было доказано, в седой древности обитали именно в Америке, а вот на берегах Евфрата не обнаружено никаких следов их пребывания! Библейский змей-искуситель в моем воображении превращался в обыкновенного удава или гремучую змею.

Но больше всего меня поражало, что все с удивительной готовностью и охотой приняли на веру это открытие. Никому и в голову не приходило, что пресловутый скелет мог оказаться лишь дутой рекламой, надувательством, блефом, как говорят американцы. И ни один из этих ученых, пришедших в такой неопиcуемый восторг, даже не потрудился посмотреть своими собственными глазами на чудо, так взбудоражившее его воображение.

Я поделился этой мыслью с миссис Мелвил.

— Есть из-за чего беспокоиться! — сказала она. — Придет время, и мы узрим наше прелестное чудовище. Что касается его строения и внешнего вида, то они уже достаточно хорошо знакомы всей Америке, — на каждом шагу можно встретить его изображения.

Вот тут-то и развернулся во всем блеске талант этого дельца. Огастес Гопкинс был весьма сдержан, когда речь заходила о его выставке, но с величайшим пылом и красноречием расписывал достоинства замечательного скелета, стараясь поразить воображение соотечественников. Он сделался любимцем публики и теперь мог позволить себе решительно все.

Вскоре стены городских домов покрылись огромными разноцветными афишами, на которых чудовище было изображено во всех видах. Гопкинс использовал все возможности этого рода рекламы. Он подбирал самые бросающиеся в глаза цвета. Он заклеивал своими афишами стены, парапеты набережных, стволы деревьев на бульварах. На одних афишах строчка шла по диагонали, на других бросались в глаза метровые буквы. По улицам расхаживали живые манекены в блузах и в пальто, на которых был намалеван скелет ископаемого. А по вечерам его контуры четко вырисовывались на огромных светящихся транспарантах.

Но Гопкинс не довольствовался этими обычными для

Америки видами рекламы. Афиши и столбцы объявлений в газетах уже перестали его удовлетворять. Он начал читать настоящий курс «скелетологии», причем ссылаясь на Кювье, Блюменбаха, Букланда, Линка, Штемберга, Броньяра и добрую сотню других ученых, трактовавших проблемы палеонтологии. Эти лекции имели такой успех и проходили при таком колоссальном стечении публики, что однажды двое слушателей были раздавлены при выходе из зала...

Разумеется, мистер Гопкинс устроил им самые пышные похороны и даже траурные знамена были украшены вездесущим изображением модного ископаемого.

Эти виды рекламы давали превосходный результат в Олбани и его окрестностях, но не в состоянии были взбудоражить всю Америку. Во время гастролей в Англии Женни Линд некто Ламле предложил парфюмерам новый вид шаблона для формовки мыла, на котором был выдавлен портрет знаменитой примадонны. Вскоре сказались результаты этой замечательной выдумки: вся Англия мыла руки мылом с изображением прославленной певицы. Гопкинс применил аналогичный прием. Он заключил соглашение с фабрикантами, и покупателям был предложен богатый выбор тканей с изображением доисторического животного. Его можно было увидеть на подкладках шляп. И даже на тарелках был запечатлен этот потрясающий феномен! Где только его не было! От скелета положительно некуда было скрыться. Одевались ли вы, причесывались или обедали — вы неизменно пребывали в его приятном обществе.

Таким путем удалось добиться колоссального эффекта. Когда, наконец, газеты, барабаны, фанфары, ружейные залпы торжественно оповестили, что чудесный скелет будет вскоре выставлен для публичного обозрения, поднялось бурное ликование. Оставалось только обору-

довать огромный зал. По словам рекламы он «не был предназначен для толпы восторженных зрителей, коим несть числа, но должен вмещать скелет одного из тех гигантов, которые, если верить легенде, хотели взобраться на небо...»

Через несколько дней я должен был покинуть Олбани. Я очень сожалел, что не смогу попасть на это единственное в своем роде зрелище. Мне было досадно уезжать, так ничего и не повидав, и я решил тайком пробраться в Выставочный парк.

Рано утром я отправился туда, захватив ружье. Я прошагал добрых три часа в северном направлении, но мне все не удавалось узнать, где находится пресловутая выставка. В конце концов, пройдя пять или шесть миль и все время ориентируясь на старинный форт Уильям, я добрался до цели своего путешествия.

Я очутился на обширной равнине; лишь на небольшом участке виднелись кое-какие следы недавно производившихся здесь земляных работ, впрочем, весьма незначительных. Довольно большое пространство было обнесено глухим забором. Я не был уверен, что именно здесь будет находиться выставка, но это подтвердил повстречавшийся мне охотник на бобров, который направлялся к канадской границе.

— Да, это здесь, — сказал он, — но я не знаю, что тут происходит. Сегодня утром я слышал, как в ограде стреляли из карабина.

Я поблагодарил охотника и продолжал свои поиски.

Перед оградой не было видно ни малейших следов каких бы то ни было земляных работ. Глубокая тишина царила на этой заброшенной территории, которую со временем должны были оживить огромные постройки.

Чтобы удовлетворить свое любопытство, мне оставалось только проникнуть за ограду, и вот я решил обойти

ее кругом и посмотреть, нельзя ли как-нибудь пробраться внутрь. Долго расхаживал я вдоль забора, но так и не обнаружил ничего похожего на вход. Вконец обескураженный, я мечтал лишь об одном — разыскать хоть какую-нибудь щель или дырочку, куда можно было бы заглянуть, как вдруг увидал за поворотом, что в заборе выломано несколько досок и столбов.

Не колеблясь, я пролез в отверстие и долго бродил по пустырю. Там и сям валялись осколки взорванных камней. Кругом виднелось множество бугорков, и земля напоминала здесь поверхность волнующегося моря. Наконец я дошел до глубокой канавы, на дне которой лежала груда костей.

Так вот из-за чего была поднята эта невообразимая шумиха!

Зрелище не представляло решительно ничего интересного — куча всевозможных костей, разломанных на тысячи кусков, причем некоторые из них были, как видно, разломаны совсем недавно. Я не заметил здесь ничего похожего на человеческие кости сверхъестественных размеров, о которых кричала реклама. Нетрудно было догадаться, что это и была та самая фабрика, на которой изготовлялись «чудеса» мистера Гопкинса.

Мне стало как-то не по себе. Я уже начал думать, что произошло какое-то недоразумение, как вдруг на склоне холма, испещренном следами ног, я заметил несколько капель крови. Идя по этим следам, я с удивлением обнаружил в рытвине новые пятна крови, на которые раньше не обратил внимания. Рядом с этими пятнами мне попался на глаза клочок бумаги, почерневший от пороха и, очевидно, служивший пыжом для какого-то огнестрельного оружия. Все это совпадало с тем, что рассказал мне охотник на бобров.

Я поднял клочок бумаги. Не без труда мне удалось

разобрать на нем отдельные слова. Это был счет на какой-то товар, доставленный мистеру Огастесу Гопкинсу неким мистером Баркли. Но что это был за товар? Новые клочки бумаги, валявшиеся кругом, помогли мне понять, о чем шла речь. Как ни велико было мое разочарование, я не мог удержаться от смеха. Да, передо мной в самом деле находился гигантский скелет, но скелет, составленный из самых разнообразных костей, принадлежавших буйволам, телятам, быкам и коровам, которые еще недавно паслись на пастбищах Кентукки. Мистер Баркли, заурядный нью-йоркский мясоторговец, поставлял знаменитому Гопкинсу огромные партии костей. Итак, эти кости отнюдь не принадлежали титану, одному из титанов, которые, взгромоздив Пелион на Оссу, устремлялись на приступ Олимпа. Все эти останки попали сюда благодаря стараниям ловкого мошенника, задумавшего «случайно» открыть их при рытье котлована для Дворца индустрии, которому не суждено было появиться на свет.

Я от души хохотал, размышляя обо всем этом, признаюсь, я смеялся и над самим собой: как ловко меня одурачили!

Вдруг за оградой послышались крики.

Я поспешил к пролому и увидел почтенного Огастеса Гопкинса, который с карабином в руке бежал ко мне навстречу, сияя от радости и возбужденно жестикулируя. Я направился к нему. Застав меня на месте своих подвигов, он не проявил ни малейшего смущения.

— Победа!.. Победа!.. — крикнул он мне.

Оба негра — Бобби и Дакопа — шли позади, на некотором расстоянии. Уже наученный опытом и боясь, как бы наглый обманщик не оставил меня в дураках, я решил держать ухо востро.

— Какое счастье! — воскликнул он. — Вы будете сви-

детелем. Перед вами человек, который возвращается с охоты на тигра.

— С охоты на тигра?! — повторил я, заранее решив не верить ни одному слову.

— Да, на красного тигра, — добавил он. — Другими словами, на кугуара, это на редкость свирепый хищник. Проклятый зверь, как вы сами можете в этом удостовериться, пробежал за ограду. Он сломал забор, который до сих пор ограждал меня от любопытных, и разнес на мелкие куски мой чудесный скелет. Узнав об этом, я без колебаний пустился в погоню за зверем, чтобы его уничтожить. Я настиг его в лесной чаще в трех милях отсюда. Я смерил его взглядом; он впился в меня своими желтыми глазами. Он сделал гигантский прыжок, но перевернулся в воздухе, сраженный моей пулей прямо в сердце. Это был мой первый выстрел из ружья, но — черт побери! — он принесет мне славу, и я не променял бы его на миллиард долларов!

«Да, теперь доллары к тебе потекут», — подумал я.

Тут подошли негры, которые в самом деле тащили огромного мертвого кугуара — зверя, почти неизвестного в этих краях. Он был рыжевато-желтой масти, уши и кончик хвоста были у него черные. Я не собирался выяснять, застрелил ли кугуара сам Гопкинс, или же это было чучело, своевременно доставленное ему каким-нибудь мистером Баркли. Но меня поразило, с какой легкостью и равнодушием этот делец говорил о своем скелете. А ведь было ясно, что это дельце уже влетело ему в сто с лишним тысяч франков!

Не открывая Гопкинсу, что мне удалось раскрыть его мистификацию, я сказал:

— Ну, а как вы думаете выбраться из этого тупика?

— Черт побери! — ответил он. — О каком это тупике вы говорите? За что бы я теперь ни взялся, мне обеспе-

чен успех. Правда, зверь уничтожил чудесное ископаемое, которое вызвало бы восхищение всего человечества, — оно было уникально. Но зверь не уничтожил моего престижа, моего влияния, и я сумею извлечь выгоду из своего положения — положения знаменитого человека.

— Но как же вы отделаетесь от восторженной и нетерпеливой публики? — спросил я не без любопытства.

— Я скажу правду, только правду.

— Правду! — воскликнул я, недоумевая, что он подразумевает под этим словом.

— Ну, конечно, — продолжал он невозмутимо. — Разве не правда, что тигр сломал забор? Разве не правда, что он разнес на куски чудесный костяк, выкопать который мне стоило таких трудов? Разве не правда, что я преследовал и убил этого хищника?

«Я не поручился бы за достоверность этих фактов!» — подумал я.

— Публика, — продолжал он, — не может предъявить мне никаких претензий, потому что ей будут известны все подробности этого события. И вдобавок я приобрету репутацию храбреца, — слава моя прогремит на весь мир!

— Но что даст вам эта слава?

— Богатство, если я сумею им воспользоваться! Человеку известному все дается легко. Он может решиться на что угодно, взяться за любое дело. Если бы Джорджу Вашингтону после победы у Йорктауна вздумалось демонстрировать двухголового теленка, то он мог бы без труда заработать кучу денег.

— Возможно, — ответил я совершенно серьезно.

— Наверняка, — возразил Гопкинс. — Теперь мне остается только одно — отыскать подходящий объект, который можно было бы показывать, выставлять, демонстрировать...

— Да, — ответил я, — но найти такой объект не так-

то легко. Знаменитые тенора уже пропили свои голоса, танцовщицы отплясали свое, а за воспоминания об их ножках ничего не платят; сиамских близнецов уже не существует, а тюлени останутся немыми, сколько их ни дрессируй.

— Меня не прельщают такого рода диковинки. Пусть тенора пропили свои голоса, танцовщицы вышли из моды, сиамских близнецов нет в живых, а тюлени навсегда останутся немыми! И все-таки из всего этого может еще выйти толк, если за дело возьмется такой человек, как я! А потому я не сомневаюсь, сударь, что еще буду иметь удовольствие видеть вас в Париже.

— Так, значит, именно в Париже вы надеетесь разыскать какую-нибудь заваль, из которой вы сделаете знаменитость, пустив в ход свои дарования?

— Возможно, — ответил Гопкинс многозначительно. — Если бы я взялся, например, за дочку какой-нибудь парижской привратницы, которая и мечтать не смеет о консерватории, я превратил бы ее в самую знаменитую певицу обеих Америк.

На этом мы расстались, и я вернулся в Олбани. В тот же день город облетела ужасная новость. Все решили, что Гопкинс разорен. Была объявлена подписка в его пользу, и ему жертвовали большие суммы. Каждому захотелось побывать в Выставочном парке, чтобы удостовериться своими глазами в постигшей Гопкинса катастрофе, и это в свою очередь принесло немало долларов ловкому обманщику. Кроме того, он продал за бешеную цену шкуру кугуара, разорившего его так удачно и упрочившего за ним репутацию самого предприимчивого дельца Нового Света.

Я вернулся в Нью-Йорк, затем во Францию, покинув Соединенные Штаты, которые, сами того не ведая, обогатились еще одним великим авантюристом. Но разве их

сосчитаешь! Я пришел к убеждению, что судьба разного рода бездарностей и шарлатанов — бесталанных артистов, безголосых певцов, танцоров с негнушимися коленями и канатоходцев, умеющих переступить только по земле, — была бы поистине плачевной, если бы Христофор Колумб не открыл Америку.

Опубликовано в 1910 г.

ДРАМА В ВОЗДУХЕ

В сентябре 185... года я прибыл в Франкфурт-на-Майне. Мое турне по главным городам Германии ознаменовалось блистательными полетами на аэростате. Тем не менее до сих пор еще ни один подданный Федерации не выразил желания сопутствовать мне в моих полетах. Даже изумительные эксперименты, проделанные в Париже Грином, Эженом Годаром и Пуатевеном, не увлекли степенных немцев, и никто из них не решался пуститься в воздушные странствования.

И все же, как только по Франкфурту разнесся слух, что я намерен в ближайшее время совершить полет, три именитых горожанина обратились ко мне с просьбой удостоить их чести полететь вместе со мной. Мы должны были подняться через два дня с площади Театра комедии. Я стал немедленно приводить в порядок свой аэростат. Он был сделан из шелка, пропитанного гуттаперчей, веществом, не подверженным действию кислот и абсолютно непроницаемым для газов. Объем моего шара достигал трех тысяч кубических метров, что позволяло взлететь на огромную высоту.

День, назначенный для полета, совпадал с большой франкфуртской ярмаркой, ежегодно привлекающей в город множество народу. Светильный газ превосходного качества и исключительной подъемной силы своевременно мне доставили, и к одиннадцати часам утра шар

был уже наполнен на три четверти всего объема. Эта предосторожность необходима, ибо по мере того как поднимаешься, атмосфера становится все более разреженной, газ, заключенный в оболочке аэростата, начинает с силой на нее давить и легко может прорвать шелк. Сделав надлежащие вычисления, я определил, какое количество газа необходимо, чтобы поднять меня и моих спутников.

Полет был назначен на двенадцать часов дня. Площадь являла великолепное зрелище. Возбужденная толпа теснилась за отведенной для меня оградой, заполняя все пространство вокруг; все окрестные улицы были запружены народом. Дома на площади были унижены людьми от нижних этажей до коньков черепичных крыш. Свирепствовавшие последние дни ветры стихли. Безоблачное небо дышало палящим зноем. В воздухе ни малейшего дуновения. В такую погоду можно опуститься как раз на то место, откуда поднялся.

Я захватил с собой триста фунтов балласта, рассыпанного по мешкам. Круглая гондола, диаметром в четыре фута и глубиной в три, была превосходно оборудована. Пеньковая сетка равномерно облегла всю поверхность верхнего полушария аэростата; компас находился на своем месте, барометр был подвешен к кольцу, стягивавшему канаты гондолы, и якорь был в полной исправности. Мы могли лететь.

В толпе, теснившейся вокруг ограды, мое внимание привлек молодой человек с бледным, взволнованным лицом. Его вид поразил меня. Он был усердным посетителем моих полетов; я уже примечал его в различных немецких городах. С тревогой в глазах он жадно всматривался в диковинный аппарат, неподвижно повисший в воздухе в нескольких футах над землей. Из всей толпы он один наблюдал молча.

Часы пробили двенадцать. Пора было подниматься. Но спутников моих все нет как нет.

Я послал на дом за всеми тремя и узнал, что один уехал в Гамбург, другой отлучился в Вену, а третий направился в Лондон.

В последний момент у них не хватило духу, и они уклонились от предприятия, которое благодаря искусству современных аэронавтов стало совершенно безопасным. Так как они в какой-то мере являлись участниками праздника, то и испугались, как бы их не заставили выполнить программу празднеств до конца! Они удрали из театра в момент, когда должен был взлететь занавес. Их храбрость, очевидно, была обратно пропорциональна квадрату скорости... их бегства.

Толпа, обманутая в своих ожиданиях, проявляла недовольство... Я не колеблясь решил подниматься один. Чтобы восстановить необходимое соотношение между подъемной способностью шара и изменившейся нагрузкой, я возместил необходимый вес добавочными мешками с песком и взобрался в гондолу. Двенадцать рабочих, державших аэростат за тросы, прикрепленные к нему по его наибольшей окружности, слегка потравили их. Шар поднялся на несколько футов над землей. Стоял абсолютный штиль. Тяжелый воздух был точно налит свинцом.

— Готово? — крикнул я.

Рабочие встали по местам. Я еще раз бегло осмотрел аэростат — пора давать сигнал к отлету.

— Внимание!

В толпе произошло какое-то движение: мне показалось, что кто-то проник в ограду.

— Отдать концы!

Шар стал медленно подниматься, но тут я ощутил толчок и упал на дно гондолы.

Когда я поднялся на ноги, то очутился лицом к лицу с непредвиденным спутником. Это был тот бледный молодой человек, которого я заметил в толпе.

— Милостивый государь, я приветствую вас! — проговорил он с величайшим хладнокровием.

— Какое вы имели право?

— Прыгнуть сюда?.. Что там говорить о правах! Попробуйте-ка прогнать меня отсюда!

Я был прямо-таки озадачен его самоуверенностью и не знал, что ответить.

Я устремил гневный взгляд на наглеца, но он никак не реагировал на мое возмущение.

— Я своей тяжестью нарушаю равновесие, не так ли, сударь? — сказал он. — Вы позволите...

И, не дожидаясь моего согласия, он облегчил воздушный шар, выбросив в пространство два мешка балласта.

— Сударь, — обратился я к нему, приняв единственно возможное при таких обстоятельствах решение, — раз уж вы здесь... так и быть! Оставайтесь здесь... Делать нечего!.. Но управление аэростатом принадлежит мне одному...

— Сударь, — ответил он, — вы учтивы, как истинный француз. Я родом из той же страны, что и вы! Мысленно я жму вашу руку, ту самую, которую вы отказываетесь мне протянуть. Делайте все, что вы находите нужным! Я подожду, пока вы закончите...

— Чтобы...

— Чтобы с вами побеседовать.

Барометр упал до двадцати шести дюймов. Мы находились на высоте примерно шестисот метров над городом. Незаметно было, чтобы аэростат двигался в горизонтальном направлении, так как обволакивающая его масса воздуха перемещалась вместе с ним. Земля под на-

ми тонула в смутной дымке. Предметы приобрели расплывчатые очертания.

Я стал вновь разглядывать своего спутника. Это был человек лет под тридцать, скромно одетый. Резкие черты лица изобличали неукротимую энергию. Он казался очень сильным. Теперь он стоял неподвижно, видимо потрясенный этим беззвучным подъемом, и разглядывал предметы на земле, сливавшиеся в неясное пятно.

— Весьма неприятный туман, — произнес он через некоторое время.

Я ничего не ответил.

— Вы на меня сердитесь! — продолжал он. — Есть из-за чего! Я не мог заплатить за свое путешествие, и мне волей-неволей пришлось прибегнуть к хитрости!

— Никто, сударь, и не предлагает вам сейчас отсюда убираться!

— Еще бы! Разве вам неизвестно, что то же самое случилось с графами Лоренсином и Дампиером, когда они поднялись в Лионе пятнадцатого января тысяча семьсот восемьдесят четвертого года. Один молодой купец, некто Фонтен, вскочил в гондолу, рискуя опрокинуть шар! Он пропутешествовал с ними, и... никто от этого не умер!

— Мы объяснимся, когда спустимся на землю, — ответил я, уязвленный его легкомысленным тоном.

— Пустое! Не будем говорить о возвращении!

— Вы, может быть, думаете, что я буду медлить со спуском?

— Со спуском! — удивленно протянул он. — Со спуском! Начнем лучше с подъема!

Я и ахнуть не успел, как он выбросил за борт два мешка балласта, даже не потрудившись высыпать из мешков песок.

— Сударь! — воскликнул я вне себя от гнева.

— Я знаю, как вы опытни в этом деле, — невозмутимо ответил незнакомец. — Ваши прекрасные полеты наделали немало шума. Но если опыт — родной брат практики, то и теория ему несколько сродни. Я же долгое время изучал аэронавтику, и это даже повредило мне мозги, — добавил он с грустью. Тут он замолчал и погрузился в раздумье.

Шар неподвижно висел в воздухе — он больше не поднимался. Взглянув на барометр, незнакомец сказал:

— Ну вот мы и достигли восьмисот метров! Право же, люди похожи на насекомых! Взгляните! Чтобы постигнуть, что такое человек, его следовало бы всегда рассматривать именно с такой высоты! Площадь Театра комедии напоминает огромный муравейник. Посмотрите на толпу, запрудившую набережную и улицу Зейль! Мы находимся как раз над городским собором. Майн превратился в светлую линию, пересекающую город, а вот тот мост, Майн-Брюкке, кажется ниткой, протянутой между берегами.

Между тем стало прохладнее.

— Я готов сделать для вас все, что угодно, дорогой хозяин, — заявил мой спутник. — Если вам холодно, я сниму свой плащ и отдам его вам.

— Благодарю вас, — сухо ответил я.

— Экий вы! Необходимость — мать закона. Протяните мне руку, ведь я ваш соотечественник: вы можете многому от меня научиться, и я уверен, что вы скоро простите мне мою выходку.

Ни слова не говоря, я уселся на противоположном конце гондолы. Молодой человек вынул из кармана своего плаща объемистую тетрадь. Это был трактат по аэронавтике.

— У меня имеется весьма любопытная коллекция рисунков и карикатур на тему о нашем увлечении воздухо-

плаванием. Сколько восторгов и насмешек вызвало это замечательное открытие! К счастью, уже позади те времена, когда братья Монгольфьер пытались создать искусственные облака из водяных паров и получать газ, содержащий электричество, путем сжигания мокрой соломы и мелкорубленной шерсти.

— Вы, что же, хотите преуменьшить заслуги первых воздухоплатателей? — спросил я, невольно вовлеченный в беседу. — Разве не замечательная у них была цель? Доказать на своем опыте, что можно подниматься на воздух!

— Полноте, сударь! Кто отрицает значение первых воздухоплатателей! Требовалось огромное мужество, чтобы подниматься на таких ненадежных шарах, наполненных подогретым воздухом! Но позвольте вас спросить: далеко ли шагнула вперед наука воздухоплавания со времени полетов Бланшара, другими словами — почти за столетие? Взгляните-ка сюда, сударь!

Незнакомец вынул из папки рисунок.

— Вот, — сказал он, — первое путешествие по воздуху, предпринятое Пилатром де Розье и маркизом д'Арландом через четыре месяца после изобретения воздушного шара. Людовик Шестнадцатый не отпускал их в этот полет. Первыми воздухоплатателями должны были стать два приговоренных к смерти преступника. Это возмутило Пилатра де Розье, и он правдами и неправдами добился разрешения на полет. Тогда еще не была изобретена круглая площадка, окруженная бортами, в которой так удобно лежать под шаром. Аэронавтам приходилось неподвижно сидеть на противоположных концах площадки, которая вся была завалена сырой соломой. Под отверстием шара подвешивалась жаровня. Когда воздухоплататели хотели взлететь, они подбрасывали в жаровню солому, рискуя при этом спа-

лить весь аппарат. Подъемная сила шара возрастала, когда он наполнялся нагретым воздухом. Двадцать первого ноября тысяча семьсот восемьдесят третьего года отважные воздухоплаватели поднялись из парка Мюзэтт, предоставленного дофином в их распоряжение. Аэростат величественно взмыл в высоту, некоторое время летел вдоль Лебединого острова, затем пролетел близ заставы Конференции. Потом, проплыв между куполом Дома инвалидов и Военным училищем, он стал приближаться к церкви Св. Сульпиция. Тут аэронавты усилили огонь, пролетели над бульваром и спустились за заставой Анфер. Когда шар коснулся земли, из него вышел воздух, и пустой мешок, распластавшись, накрыл Пилатра де Розье, которого несколько мгновений не было видно.

— Дурное предзнаменование! — воскликнул я, невольно заинтересовавшись подробностями, столь близко меня касавшимися.

— Да, это предвещало катастрофу, в результате которой и погиб этот бедняга! — грустно промолвил незнакомец. — Ну, а вам не случалось терпеть аварию?

— Ни разу.

— Да что там говорить! Несчастья обрушиваются на нас и без всяких предзнаменований, — прибавил мой спутник.

Некоторое время он сидел молча.

Между тем мы направлялись к югу. Франкфурт уже давно исчез из поля нашего зрения.

— Мне кажется, надвигается гроза, — сказал молодой человек.

— Мы успеем спуститься до грозы, — ответил я.

— Зачем? Куда лучше подняться еще выше — тогда уж мы наверняка от нее уйдем.

И еще два мешка с балластом полетели за борт.

Шар стал быстро подниматься и остановился на высоте тысячи двухсот метров. Значительно похолодало. Но все же солнечные лучи, нагревая оболочку шара, вызывали расширение находящегося в ней газа, и его подъемная сила возрастала.

— Не бойтесь, — сказал незнакомец. — Человек может дышать даже на высоте трех тысяч пятисот сажен. Но я просил бы вас предоставить мне управление шаром.

Я хотел было встать, но сильная рука удержала меня, придавив к сиденью.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Вы хотите знать мое имя? На что оно вам?

— Скажите, как вас зовут!

— Можете звать меня Геростратом или Эмпедоклом, — как вам больше нравится.

Такой ответ не обещал ничего хорошего. Да и вообще хладнокровие незнакомца мне казалось странным, и я не без тревоги задавал себе вопрос: с кем я имею дело?

— Сударь, — заговорил он снова, — со времен физика Шарля не изобретено решительно ничего нового. Через четыре месяца после изобретения аэростатов этот талантливый человек изобрел клапан, дающий возможность выпускать газ, когда шар переполнен или когда надо опуститься, гондолу, сидя в которой так легко управлять аппаратом, сетку, которая обтягивает шар, причем тяжесть гондолы распределяется равномерно по всей его поверхности. Он применил также балласт, позволяющий регулировать подъем и выбирать место спуска, стал пропитывать оболочку каучуковым составом, что сделало ее непроницаемой; стал применять барометр, чтобы определить, на какую высоту поднялся аэростат. Наконец, Шарль стал первый надувать шар водородом; этот газ в четырнадцать раз легче воздуха и позволяет подняться в самые высокие слои атмосферы;

вдобавок, пользуясь водородом, можно не бояться, что аппарат загорится в воздухе. Первого декабря тысяча семьсот восемьдесят третьего года трехтысячная толпа собралась возле Тюильри. Шарль удачно поднялся. Солдаты дворцового караула отдали ему честь. Он пролетел девять лье, причем управлял своим шаром с искусством, непревзойденным и современными воздухоплавателями. Король пожаловал ему пенсию в две тысячи ливров, так как в те времена, сударь, открытия еще поощрялись.

Я заметил, что мой собеседник начинает проявлять беспокойство.

— Да, сударь, — продолжал он, — изучая этот вопрос, я убедился, что уже первые аэронавты умели управлять своими шарами. Не будем говорить о Бланшаре, которому я не слишком склонен доверять. Назовем хотя бы Гитона де Морво, который при помощи весел и руля заставлял свой аппарат двигаться в желаемом направлении; затем господина Жюльена, парижского часовщика, который не так давно проделал на Ипподроме весьма убедительные опыты: его воздушный аппарат удлиненной формы благодаря особому механизму двигался против ветра. Наконец, господин Петэн создал конструкцию из четырех соединенных вместе шаров; он надеется с помощью горизонтально установленных парусов изменять направление полета. Правда, в последнее время подняли вопрос о двигателях, преодолевающих сопротивление воздуха, — таких, как гребной винт. Но этот винт, вращаясь в воздухе, не даст нужного эффекта. Да будет вам известно, сударь, что я изобрел единственно возможный способ управления воздушным шаром, но ни одна академия не пришла мне на помощь, мои подписные листы так и остались незаполненными, и ни одно правительство не захотело меня выслушать! Чудовищно!

Незнакомец делал резкие движения, отчаянно жестикулируя, гондола сильно раскачивалась. Мне стоило немалого труда его успокоить.

Тем временем наш аэростат попал в довольно быстрое воздушное течение, и мы продвигались к югу на высоте полутора тысяч метров.

— Под нами Дармштадт, — сказал мой спутник, нагибаясь над бортом гондолы. — Видите вы его цитадель? Ее не так-то легко разглядеть, правда? Иначе и быть не может: надвигается гроза, и в знойном воздухе очертания предметов колеблются и расплываются; только опытный глаз может распознавать местность.

— Вы уверены, что это Дармштадт? — спросил я.

— Не сомневаюсь. Мы в шести лье от Франкфурта.

— В таком случае нужно спускаться.

— Спускаться! Уж не собираетесь ли вы садиться вот на те колокольни? — насмешливо спросил незнакомец.

— Я имею в виду окрестности города.

— Ну, что ж, удалимся от колоколен!

С этими словами мой спутник схватил два мешка с балластом. Я бросился к нему, но он отпихнул меня, и я упал на дно гондолы. Облегченный аэростат взмыл на высоту двух тысяч метров.

— Успокойтесь, — сказал он. — Вспомните, что Бриоски, Био, Гей-Люссак и Барраль поднимались значительно выше, чтобы производить свои наблюдения.

— Сударь, нам нужно спускаться, — сказал я спокойным голосом, надеясь подействовать на него кротостью. — Собирается гроза. Было бы неблагоприятно...

— Вздор! Мы поднимемся выше грозы, и она будет нам не страшна! — воскликнул мой спутник. — Что может быть прекраснее полета над тучами, которые громоздятся над землей? Какую гордость испытываешь, когда плывешь по воздушным волнам! Ведь самые высокопо-

ставленные особы путешествовали так же, как и мы. Маркиза и графиня де Монталамбер, графиня Подена, девица ла Гард и маркиз де Монталамбер отправились из Сент-Антуанского предместья в неведомые просторы. Герцог Шартрский очень искусно управлял шаром и проявил замечательное присутствие духа во время своего полета пятнадцатого июля тысяча семьсот восемьдесят четвертого года. В Лионе граф де Лоренсин и граф де Дампиер, в Нанте господин де Линь, в Бордо д'Арблэ де Гранж, в Италии кавалер Андриани, в наши дни — герцог Брауншвейгский, — все это славные завоеватели воздуха. Чтобы сравняться с этими знатными особами, мы должны вознестись выше их в небесные просторы! Чем ближе мы будем к бесконечности, тем глубже ее постигнем.

Вследствие разреженности воздуха водород в шаре значительно расширился. Я заметил, что нижняя часть шара, намеренно оставленная пустой, стала раздуваться. Необходимо было открыть клапан. Однако мой товарищ, казалось, не хотел, чтобы я управлял аэростатом. Видя, что он увлекся своим красноречием, я решил незаметно дернуть за веревку, привязанную к клапану. Я уже начал догадываться, с кем имею дело, но мне все еще не хотелось верить. Это было бы так ужасно!

Было примерно без четверти час. Прошло уже сорок минут после нашего отлета из Франкфурта. С юга надвигались тяжелые тучи, плывшие против ветра. Мы неминуемо должны были с ними столкнуться.

— Неужели вы уже не надеетесь добиться признания своих идей?.. — спросил я незнакомца с участием... не совсем бескорыстным.

— Потерял всякую надежду! — глухо промолвил он. — Мало того, что меня обидели отказами, они меня осмеяли: меня доконали карикатуры, эти удары ослиных ко-

пыт! Эта пытка уготована всем новаторам! Взгляните-ка на эти карикатуры, относящиеся к различным эпохам, — мой портфель набит ими!

Пока мой спутник перелистывал свои бумаги, я незаметно схватил веревку, привязанную к клапану. Я опался, как бы его внимание не привлек свист выходящего газа, напоминающий шум водяной струи.

— А как потешались над аббатом Миоланом! — продолжал незнакомец. — Он должен был подняться с Жанинэ и Бреденом. Его шар вспыхнул в момент подъема, и невежественная толпа разнесла его в клочья. А потом карикатурист изобразил незадачливых воздухоплателей в виде каких-то диковинных зверей, названия которых напоминают имена аргонавтов.

Я дернул за веревку и увидел, что барометр поднимается. Это было как нельзя более кстати. С юга уже доносились отдаленные раскаты грома.

— Посмотрите на этот рисунок, — продолжал ничего не замечавший незнакомец. — Гигантский воздушный шар поднимает целый корабль, замки, дома, все, что угодно. Карикатуристы не подозревали, что их вздорная выдумка станет со временем правдой! Чего только нет на этом огромном корабле! Слева вы видите руль и будку пилота; на носу — беседку, колоссальный орган и пушку: выстрелы и музыка должны привлекать внимание жителей Земли и Луны. На корме помещается обсерватория и находится небольшой воздушный шар, заменяющий шлюпку. В трюме помещаются солдаты. На носу — фонарь, наверху — галереи для прогулок и паруса. В трюме находятся также кафе и склады продовольствия. Посмотрите, какая широковещательная программа. «Этот шар, изобретенный на благо человечества, направится в ближайшее время в гавани Леванта. По возвращении будут предприняты путешествия к обоим

полюсам, а также на крайний запад. Пассажирам не о чем заботиться: решительно все предусмотрено и все пойдет как по маслу. Проездная плата вычислена по совершенно точному тарифу. Любое из перечисленных путешествий будет стоить тысячу луидоров. Цена одинаковая, куда бы вы ни полетели, хоть в самые отдаленные страны. Принимая во внимание быстроту передвижения, удобства и развлечения, каким будут предаваться путешественники, следует признать эту цену весьма умеренной. Воздушное путешествие сулит пассажирам наслаждения, неведомые на земле: на нашем корабле каждый обретет то, о чем мечтает, — без малейшего преувеличения. Одни будут веселиться на балу, другие стоять на вахте; те будут вкушать самые утонченные яства, а эти поститься; желающий поговорить с умными людьми найдет собеседников; глупцы также обретут сколько угодно себе подобных. Итак, девизом воздушного общества будет: «Наслаждайтесь!» Над этими выдумками смеялись... Но если бы дни мои не были сочтены, все эти фантастические проекты осуществились бы очень скоро!

Мы значительно приблизились к земле. Мой собеседник не замечал этого.

— А вот здесь что-то вроде игры в воздушные шары, — продолжал он, раскладывая передо мной еще несколько рисунков, принадлежавших к его обширной коллекции. — Эта игра охватывает, пожалуй, всю историю воздухоплавания. Предназначается она для умов возвышенных и производится при помощи костей и жетонов; их стоимость устанавливается по соглашению. Проигрыш и выигрыш зависят от того, добрались ли вы до той или иной клетки.

— Мне кажется, — прервал я его, — вы довольно основательно изучили аэронавтику.

— О да, сударь! Вы правы! Я изучил все! Решительно все, всю историю воздухоплавания, начиная с Фатона, с Икара, с Архитаса. Если бы господу было угодно продлить мои дни, аэронавтика принесла бы благодаря мне огромную пользу человечеству. Но, увы, этого не будет.

— Почему же?

— Потому что меня зовут Эмпедоклом или Геростратом!..

Между тем наш шар благополучно приближался к земле; впрочем, падение с высоты ста футов так же опасно, как и с высоты пяти тысяч!

— Слыхали вы про битву при Флерусе? — продолжал мой собеседник. Его лицо все более и более оживлялось. — Именно тогда Кутель, по распоряжению правительства, организовал роту аэростатчиков! При осаде Мобёжа генерал Журдан с большим успехом применял этот новый способ разведки: Кутель дважды в день поднимался на воздух вместе с генералом. Аэронавты сигнализировали людям, державшим шар внизу, при помощи белых, красных и желтых флажков. Когда шар поднимался, по нему нередко стрелял неприятель из ружей и пушек, но ни разу в него не попадал. Собираясь овладеть Шарлеруа, Журдан направил туда Кутеля. Кутель поднялся с Жюмейской равнины. Его сопровождал генерал Морло, производивший наблюдения; они оставались в воздухе около восьми часов. Эти полеты значительно содействовали победе при Флерусе. Впоследствии генерал Журдан заявил об этом во всеуслышание. И что же! Несмотря на услуги, оказанные аэронавтами в этом сражении и во время бельгийской кампании, их военная карьера продолжалась не больше года. Вернувшись из Египта, Бонапарт закрыл школу, основанную правительством в Медоне. А между тем что можно ждать

от новорожденного? — как говорил Франклин. Дитя родилось жизнеспособным, его не следовало душить!

Незнакомец схватился руками за голову и задумался. Потом, не поднимая головы, сказал:

— Несмотря на мое запрещение, сударь, вы все же открыли клапан?

Я выпустил из рук веревку.

— К счастью, — продолжал он, — у нас есть еще триста фунтов балласта!

— Каковы же ваши планы? — спросил я его.

— Вам не случалось перелетать через море? — ответил он мне вопросом.

Я почувствовал, что бледнею.

— Как досадно, — добавил мой спутник, — что ветер гонит нас к Адриатическому морю! Ведь это всего-навсего лужа! Но если мы поднимемся повыше, то, быть может, встретим более благоприятные течения.

Не взглянув на меня, он сбросил еще несколько мешков песка. Затем заговорил угрожающим тоном:

— Я позволил вам открыть клапан, потому что напор газа грозил прорвать оболочку! Но не вздумайте повторять свои проделки! Вы слышали о перелете Бланшара и Джеффериса из Дувра в Кале? — продолжал он. — Это было великолепное путешествие! Седьмого января тысяча семьсот восемьдесят пятого года они наполнили свой шар газом близ побережья Дувра. Дул северо-западный ветер. Как только они поднялись, обнаружилось, что они допустили ошибку в расчете равновесия своего шара. Пришлось выбросить часть балласта, иначе им грозило падение. У них осталось всего тридцать фунтов песка. Этого было недостаточно, так как ветер был слабый, и они очень медленно приближались к берегам Франции. «Что делать?» — сказал Джефферис. «Мы проделали всего четверть пути, — ответил Бланшар, — и

летим очень низко! Необходимо подняться выше — быть может, мы встретим там более благоприятный ветер». — «Надо выбросить остатки балласта!» Шар немного поднялся, однако ненадолго. Вскоре он снова стал опускаться. Примерно на половине пути аэронавты выбросили в море книги и инструменты. Через четверть часа Бланшар спросил Джеффериса: «Ну, как барометр?» — «Поднимается! Мы погибаем, хотя французский берег уже виден!» Тут раздался сильный шум. «Что такое? Лопнул шар?» — воскликнул Джефферис. «Нет! Из-за утечки газа сжалась нижняя часть шара! Мы продолжаем снижаться. Нам грозит гибель! За борт все лишнее!»

Провизия, весла, руль — все полетело в воду. Аэронавты находились на высоте всего ста метров.

«Кажется, мы опять поднимаемся», — заметил доктор. «Нет, это был лишь короткий рывок вверх, он вызван выброшенным грузом. Ни одного корабля в поле зрения, ни одной лодки на горизонте! Надо избавиться и от одежды!»

Несчастные сбросили с себя верхнее платье, но шар продолжал падать!

«Бланшар, — сказал тогда Джефферис, — вы собирались лететь одни, потом согласились захватить меня. Я пожертвую собой и брошусь в море! Тогда облегченный шар поднимется!» — «Нет, нет! Какой ужас!»

Оболочка шара все больше сжималась. Мало-помалу шар принял форму парашюта, и сдавленный газ стал еще больше давить на стенки. Утечка его усилилась.

«Прощайте, мой друг! — сказал доктор. — Да хранит вас бог!»

Он хотел было выпрыгнуть из гондолы, но Бланшар удержал его.

«У нас остается еще одно средство, — сказал он. —

Мы можем перерезать веревки гондолы и уцепиться за сетку. Может быть, шар поднимется! Будем готовы! Но... смотрите! Барометр падает! Мы идем вверх! Ветер свежеет! Мы спасены!»

Путешественники увидели Кале! Ими овладела безумная радость, через несколько минут они опустились в Гинском лесу!

— Я не сомневаюсь, — добавил рассказчик, — что, окажись мы в таких же обстоятельствах, вы последуете примеру доктора Джеффериса!

Под нами клубились огромные зловещие тучи. Шар отбрасывал на них длинную тень, его окружало какое-то сияние, кое-где под гондолой рокотал гром. Меня охватил ужас.

— Давайте спускаться! — воскликнул я.

— Спускаться, когда нас наверху ожидает солнце! Долой мешки!

Груз наш убавился еще на пятьдесят фунтов.

Достигнув высоты трех тысяч пятисот метров, мы перестали подниматься. Незнакомец говорил без умолку. Я терял последние силы, а мой спутник, казалось, находился в своей стихии.

— С хорошим ветром мы могли бы далеко улететь! — воскликнул он. — Над Антильскими островами есть воздушные течения, обладающие скоростью до ста лье в час! Во время коронации Наполеона Гарнерен выпустил в одиннадцать часов вечера освещенный воздушный шар с цветными стеклами. Дул норд-норд-вест. На следующее утро, на рассвете, жители Рима встретили шар криками восторга, когда он пролетал над куполом Святого Петра! Мы полетим дальше и... выше!

Я с трудом его слышал. В ушах шумело! Но вот в тучах открылся просвет.

— Посмотрите на этот город, — сказал незнакомец. — Это Шпейер!

Я высунулся из гондолы и заметил внизу какие-то темные пятна. Это был Шпейер. Рейн, такой широкий в этом месте, походил на развернутую ленту. Небо над нами было темно-синее. Птиц уже давно не было видно: они не могут летать в таком разреженном воздухе. Мы были затеряны в пространстве — я оставался с глазу на глаз с незнакомцем!

— Вам незачем знать, куда я направлю шар, — вдруг сказал мой спутник и швырнул компас в облака. — О, какое великолепное зрелище представляет падение! Вы знаете, что со времен Пилатра де Розье до лейтенанта Галя аэронавтика насчитывает не так уж много жертв. Несчастные случаи всякий раз бывают вызваны неосторожностью. Пилатр де Розье отправился с Ромэном из Булони тринадцатого июня тысяча семьсот восемьдесят пятого года. К своему шару, наполненному газом, он подвесил монгольфьер, наполненный нагретым воздухом. Очевидно, он надеялся таким образом устранить потерю газа, а также избавиться от необходимости выбрасывать балласт. Это было все равно что поднести факел к бочонку с порохом! Безумцы поднялись на четыреста метров и были подхвачены противным ветром, их понесло в открытое море. Чтобы спуститься, Пилатр решил открыть клапан аэростата, но привязанная к нему веревка запуталась в веревочной сетке и прорвала оболочку шара, газ мгновенно из него вышел. Шар упал на монгольфьер и закружился, увлекая его. Несчастные полетели стремглав вниз и разбились. Ужасно, не правда ли?

Я еще мог вымолвить:

— Сжальтесь! Спустимся!

Тучи обступили нас со всех сторон. Раздавались оглушительные раскаты, наш аэростат весь сотрясался.

— Вы положительно меня раздражаете! — воскликнул незнакомец. — Теперь вы больше не будете знать, поднимаемся ли мы или идем вниз!

С этими словами он вышвырнул за борт барометр, а за ним — еще несколько мешков балласта. Мы находились, очевидно, на высоте примерно пяти тысяч метров. На стенках гондолы кое-где образовались льдинки. Что-то вроде снежной пыли оседало на одежду, и я продрог до мозга костей. В это время под нами разразилась страшная гроза. Мы находились выше ее.

— Не бойтесь, — ободрял меня незнакомец. — Погибают только неосторожные. Вот, например, Оливари, он поднялся близ Орлеана на бумажном монгольфьере; над его гондолой была подвешена жаровня; ему пришлось захватить с собою пропасть топлива, и все-таки гондола загорелась. Оливари упал и разбился! Мосман поднялся в Лилле на неустойчивой площадке: она качнулась, и он потерял равновесие; Мосман упал и разбился! У Битторфа в Мангейме бумажный шар загорелся в воздухе: Битторф упал и разбился! Гаррис поднялся на дурно сконструированном шаре: клапан был слишком велик и плохо закрывался. Гаррис упал и разбился! Садлер, пролетев несколько часов, оказался без балласта: его отнесло в сторону Бостона. Шар ударился о трубу. Садлер упал и разбился! Кокинс спустился на очень выпуклом парашюте, конструкцию которого усовершенствовал. Кокинс упал и разбился! Ну, что ж! Мне дороги эти отважные жертвы неосторожности! И я умру, как они! Выше! Выше!

Казалось, надо мной проносились тени злополучных аэронавтов. Разреженный воздух и яркие солнечные лучи способствовали расширению газа, и шар все поднимался!

Я снова попытался открыть клапан. Тогда незнакомец обрезал веревку в нескольких футах над моей головой... Спасения не было!

— Вы не присутствовали при падении госпожи Бланшар? — спросил он. — А вот я его наблюдал, да-с! Собственными глазами! Шестого июля тысяча восемьсот девятнадцатого года я находился в Тиволи. Госпожа Бланшар поднималась на воздушном шаре небольших размеров, к которому пришлось прибегнуть в целях экономии. Она вынуждена была надуть его полностью, и газ вырывался в нижнее отверстие. За шаром тянулось что-то вроде дорожки из водорода. Под гондолой был подвешен проволочный обруч, покрытый горючим составом, — основа для огненного колеса. Она собиралась зажечь его высоко над землей. До этого госпожа Бланшар уже несколько раз проделывала такой фокус. В этот полет она, кроме колеса, захватила с собой еще небольшой парашют, к которому был привязан шар, заключавший в себе «серебряный дождь». Она должна была поджечь этот шар с помощью факела на длинном шесте, а затем метнуть в пространство. В назначенное время она поднялась. Ночь была темная. Поджигая шар, она неосторожно провела факелом под струей водорода, выбивавшейся из шара. Я не отрываясь смотрел на нее. Внезапно яркая вспышка прорезала темноту. Мне пришло в голову, что это какой-то новый трюк искусной воздухоплавательницы. Пламя все разгоралось, потом вдруг погасло, а в следующий миг над парашютом взвился огненный султан — это горела струя газа. Этот зловещий пожар осветил бульвар и весь Монмартрский квартал. Тут я увидел, как несчастная бросилась к отверстию шара и стала судорожно его сжимать, стараясь потушить горевший газ, но это ей не удалось. Тогда она снова уселась и стала управлять спуском шара, — он все еще не

падал. Газ горел несколько минут. Шар все сжимался и постепенно приближался к земле — но это не было падение! Северо-западный ветер относил его в сторону Парижа. В то время находившийся на Прованской улице дом номер шестнадцать был окружен огромным садом. Аэронавт мог опуститься там без риска. Но надо же было так случиться: гондола задела за крышу дома. Толчок был не очень сильный. «Помогите!» — закричала несчастная. Я уже подбежал к месту катастрофы. Гондола скользнула по крыше и задела за железную скобу. Толчок выбросил госпожу Бланшар из гондолы. Она упала на мостовую и разбилась насмерть!

От этих рассказов у меня кровь застывала в жилах. Незнакомец стоял передо мной с непокрытой головой, растрепанный, и в глазах у него пылал огонь безумия.

Сомнений не было! Я наконец понял, в чем дело! Передо мной был сумасшедший.

Он выбросил остатки балласта, и мы устремились ввысь. Шар достиг, вероятно, высоты девяти тысяч метров! У меня носом и горлом шла кровь!

— Как прекрасен подвиг мучеников науки! — воскликнул безумец. — Потомки будут чтить их память.

Но я больше ничего не слышал. Сумасшедший огляделся, потом встал на колени и зашептал мне на ухо:

— Разве вы забыли катастрофу, постигшую Замбекарри? Ну, так слушайте. В начале октября тысяча восемьсот четвертого года стояла ветреная, дождливая погода. Но вот седьмого числа как будто прояснилось. Замбекарри не мог дольше откладывать объявленный им полет. Враги над ним издевались. Лететь было необходимо, чтобы спасти свою честь и честь аэронавтики. Дело было в Болонье. Никто не помогал ему наполнить шар.

Он взлетел в полночь вместе с Андреоли и Гросетти.

Шар поднимался медленно, так как дождь повредил его оболочку и газ просачивался наружу. Трое отважных путешественников следили за барометром при свете потайного фонаря. Замбекарри не ел уже сутки, Гросетти был также голоден.

«Друзья мои, — сказал Замбекарри, — я весь продрог. Я теряю последние силы. Я умираю».

Он упал без чувств на площадке. То же самое случилось и с Гросетти. На ногах оставался один Андреоли. С немалым трудом ему удалось привести в чувство Замбекарри.

«Что нового? Где мы летим? Откуда ветер? Который час?» — «Два часа». — «Где компас?» — «Я его уронил». — «Боже мой! В фонаре потухла свеча!» — «Она не может гореть в таком разреженном воздухе!»

Луна еще не поднялась, кругом — непроглядная мгла.

«Как холодно! Я замерзаю! Андреоли, что нам делать?»

Шар медленно опускался, проходя сквозь завесу каких-то белесых облаков.

«Тише! — сказал Андреоли. — Слышишь?» — «Что?» — спросил Замбекарри. — Какой-то странный шум!» — «Тебе почудилось». — «Нет!»

— Вы представляете себе, с каким ужасом аэронавты в глубокой темноте прислушивались к этому непонятному шуму! Быть может, они разобьются, ударившись о башню? Или упадут на крышу?

«Слышишь? Как будто шум моря!» — «Не может быть!» — «Это ревут волны!» — «Света! Света!»

С грехом пополам Андреоли удалось зажечь фонарь. Было три часа утра. Шум волн раздавался все громче. Аэронавты находились над самой водой.

«Мы погибли!» — воскликнул Замбекарри и выбросил

за борт большой мешок с балластом. «Помогите! Спасите!» — закричал Андреоли.

Гондола погрузилась в воду, их захлестывали волны.

«За борт инструменты, одежду, деньги!»

Аэронавты сбросили с себя часть одежды, обувь и выкинули за борт все предметы. Облегченный аэростат, как птица, взмыл вверх. У Замбекарри поднялась рвота. У Гросетти пошла из носа кровь. Несчастные с трудом дышали и не в силах были говорить. Они продрогли до костей. Одежда покрылась коркой льда. Над морем поднялась кроваво-красная луна.

С полчаса аэростат плавал в высоких слоях атмосферы, затем стал снижаться. Они опять над самым морем! Было четыре часа утра. Гондолу заливала вода. Шар раздувался, как парус, и несколько часов несчастных носило по волнам.

На рассвете они очутились против Пезаро, в каких-нибудь четырех милях от берега. Они чуть было не пристали к берегу, но ветер переменялся, и их унесло в открытое море.

Гибель была неизбежна. Правда, им встречались лодки, но рыбаки в суеверном страхе спешили прочь от них!.. К счастью, один из рыбаков оказался цивилизованнее других. Он взял несчастных на борт и доставил в Ферраду.

Ужасное происшествие, не правда ли? Но Замбекарри был человек мужественный и энергичный. Едва оправившись после этой передряги, он стал снова летать. Во время одного из полетов, спускаясь, он наткнулся на дерево. Спиртовая лампа разбилась, его облило спиртом, и одежда на нем вспыхнула. Начал загораться и шар. Все же Замбекарри удалось спуститься. Он получил серьезные ожоги.

Наконец двадцать первого сентября тысяча восемьсот

двенадцатого года Замбекарри совершил еще один полет близ Болоньи. Его шар снова ударился о дерево, и спирт вновь вспыхнул. На этот раз он упал и разбился на- смерть!

И перед лицом таких фактов мы еще колеблемся! Нет, нет! Чем выше мы поднимемся, тем более славной будет наша гибель!

Все предметы полетели за борт. Облегченный шар поднимался все выше. Аэростат содрогался. Малейший звук вызывал оглушительное эхо в слоях разреженной атмосферы. Наш аэростат, как крохотная планета, затерялся в безбрежном пространстве.

Над нами простиралась только синева, пронизанная звездами.

Внезапно безумец поднялся во весь рост.

— Час настал! — крикнул он. — Умрем со славой! Мы с вами отверженцы! Люди презирают нас! Так раздавим же их!

— Сжальтесь! — вырвалось у меня.

— Перережем канаты! Пусть наша гондола свободно несется в мировом пространстве! Мы попадем в сферу притяжения Солнца, и мы пристанем к Солнцу!

Отчаяние придало мне силу. Я бросился на сумасшедшего. Завязалась отчаянная борьба. Он опрокинул меня навзничь и, придавив мне грудь коленом, принялся обрезать канаты гондолы.

— Один! — произнес он.

— Боже!..

— Второй!.. Третий...

Собрав последние силы, я вскочил на ноги и с силой оттолкнул безумца.

— Четвертый! — крикнул он.

Гондола оторвалась. Я инстинктивно уцепился за сетку и, как паук, повис в ее ячейках.

Безумец ринулся вниз и исчез в тумане...

Шар поднялся еще на некоторую высоту! Послышался страшный треск!.. Чрезмерно расширившись, газ прорвал оболочку!.. Я невольно зажмурился...

Но вот меня охватило какое-то влажное тепло, и я пришел в себя. Кругом теснились облака, освещенные странным сиянием. Шар кружился с невероятной быстротой. Его подхватил ветер, и он мчался со скоростью ста лье в час в горизонтальном направлении. Вокруг меня полыхали молнии.

Однако я падал не слишком быстро. Когда я снова открыл глаза, передо мной была земля. Я находился в каких-нибудь двух милях от моря. Яростный ветер мчал меня прямо к морю. Внезапно резкий толчок заставил меня разжать пальцы. Канат выскользнул у меня из рук, и я стремглав полетел вниз...

Оказывается, волочившийся по земле якорный канат застрял в какой-то расселине. Мой шар, освободившись от груза, умчался в морской простор.

Когда я очнулся, я увидел, что лежу на кровати в домике какой-то крестьянки. Я находился в Хардервиле, это маленький городок в пятнадцати лье от Амстердама на берегу Зюдерзее.

Я спасся чудом. Во время этого полета моим спутником был совершен ряд безумств, которые мне не удалось предотвратить.

Пусть же этот страшный рассказ послужит к назиданию читателей и не расхолаживает исследователей воздушных путей!

1851 г.

ЗИМОВКА ВО ЛЬДАХ

ГЛАВА 1

ЧЕРНЫЙ ФЛАГ

Двенадцатого мая 18... года кюре старой церкви города Дюнкерка проснулся в пять часов утра и собирался, как всегда, служить раннюю обедню, на которую приходило несколько благочестивых рыбаков.

Облачившись, он направился было к алтарю, но тут в ризницу вошел человек, явно чем-то взволнованный и обрадованный. Это был моряк лет шестидесяти, еще крепкий и бодрый, с открытым и честным лицом.

— Господин кюре, — крикнул он, — подождите, пожалуйста!

— Что вас привело сюда в такую рань, Жан Корнбют? — с удивлением спросил кюре.

— Что меня привело? До смерти захотелось обнять вас, господин кюре!

— Что ж, я не возражаю, но лишь после того, как вы прослушаете обедню.

— Обедня! — засмеялся в ответ старый моряк. — Вы думаете, вам теперь удастся отслужить обедню? Так я и позволю вам!

— А почему бы мне не отслужить обедню? — спросил кюре. — Ну-ка, объясните! Уже ударили в третий раз...

— Сколько бы раз там ни звонили, — ответил Жан Корнбют, — сегодня еще придется звонить, господин кюре. Ведь вы обещали сами обвенчать моего сына Луи с моей племянницей Мари!

— Так он вернулся?! — радостно воскликнул кюре.

— Можно сказать, вернулся, — отвечал Корнбют, потирая руки. — Сегодня на рассвете нам сообщили с наблюдательного поста о приближении нашего брига, которому вы сами нарекли прекрасное имя «Юный смельчак».

— Поздравляю вас от всей души, милейший Корнбют, — проговорил кюре, снимая ризу и епитрахиль. — Я не забыл о нашем уговоре. Обедню за меня отслужит викарий, и как только ваш сын прибудет — я к вашим услугам.

— Будьте уверены, что он не заставит вас ждать слишком долго, — отвечал моряк. — Вы уже оглашали предстоящую свадьбу, и теперь вам остается отпустить ему грехи, а много ли может нагрешить человек, обретаясь между небом и водой во время плавания в северных морях! А ведь ловко я придумал отпраздновать свадьбу в самый день прибытия брига! Луи с корабля отправится прямо в церковь!

— Так идите же, Корнбют, и готовьте все, что нужно.

— Бегу, господин кюре. До скорого свидания!

Моряк быстро зашагал к своему дому, стоявшему на набережной торгового порта. Из его окон открывался вид на Северное море, и старый моряк этим очень гордился.

Жану Корнбюту в свое время удалось сколотить кое-какое состояние. Прослужив несколько лет капитаном на кораблях одного богатого гаврского судовладельца, он решил обосноваться в своем родном городе, где на собственные средства построил бриг «Юный смельчак». Он совершил целый ряд рейсов на север, всякий раз выгодно сбывая весь свой груз строевого леса, железа и дегтя. Затем Жан Корнбют передал командование кораблем своему сыну Луи, отважному тридцатилетнему

моряку. По словам всех местных капитанов каботажных судов, Луи был лучшим мореходом в Дюнкерке.

Луи Корнбют отправился в плавание, испытывая самые нежные чувства к племяннице своего отца, Мари. Молодая девушка с нетерпением ожидала его возвращения. Мари едва исполнилось двадцать лет. Это была красивая фламандка с легкой примесью голландской крови. Мать Мари, умирая, поручила ее своему брату, Жану Корнбюту. Добряк любил ее, как родную дочь, и надеялся, что ее брак с Луи будет прочным и счастливым.

Прибытие брига, замеченного в открытом море, означало завершение крупной торговой операции, которая должна была принести Жану Корнбюту значительную прибыль. Быстро закончив свой рейс, «Юный смельчак» возвращался с последней своей стоянки в порту Бодоэ, на западном побережье Норвегии.

Когда Жан Корнбют пришел из церкви, весь дом был на ногах. Сияя от счастья, Мари одевалась к венцу.

— Только бы нам успеть собраться до прихода брига, — твердила она.

— Да, да, поторапливайся, малютка! — отвечал Жан Корнбют. — Ветер с севера, а под полным бакштагом «Юный смельчак» идет хорошо.

— А вы всех наших друзей уведомили, дядя? — спросила Мари.

— Всех известил.

— И нотариуса, и кюре?

— Не беспокойся! Смотри, как бы не пришлось ждать тебя.

В эту минуту вошел кум Клербо.

— Ну, друг Корнбют, — воскликнул он, — вот так удача! Твой корабль приходит как раз вовремя: прави-

тельство только что объявило торги на большие поставки строевого леса.

— А что мне до того? — отвечал Жан Корнбют. — Это дело правительства.

— Так оно и есть, господин Клербо, — добавила Мари. — Сейчас для нас важнее всего возвращение Луи.

— Не спорю... — продолжал кум Клербо. — Но все же эти поставки леса...

— И вы тоже попируете у нас на свадьбе, — прервал торговца Жан Корнбют, до боли стискивая ему руку.

— Эти поставки леса...

— И вместе со всеми нашими друзьями, что придут и с суши и с моря. Я уже предупредил гостей и приглашу всю команду корабля!

— А мы пойдем встречать его на набережную? — спросила Мари.

— А как же! — отвечал Жан Корнбют. — Все пойдем, пара за парой, с музыкой во главе.

Гости явились без опоздания. Несмотря на ранний час, никто не пренебрег приглашением. Все наперебой поздравляли славного моряка, которого искренне любили. Тем временем Мари, стоя на коленях у себя в комнате, горячо благодарила создателя за то, что он услышал ее мольбы. Вскоре, красивая и нарядная, она вошла в зал.

Женщины поцеловали ее в щеку, а мужчины крепко пожали ей руку. Затем Жан Корнбют подал сигнал к выступлению.

Любопытное зрелище представляло собой свадебное шествие, направлявшееся к морю на восходе солнца. Весть о прибытии брига успела облететь весь порт, и множество любопытных в ночных колпаках выглядывало из окон и полуоткрытых дверей. Со всех сторон слышались поздравления и добрые пожелания.

Под этот хор приветствий и благословений процессия приблизилась к пристани. Погода была великолепная. Казалось, солнце радовалось вместе с людьми. Дул свежий северный ветер, нагоняя небольшую волну, и рыбацьи лодки, выходявшие из порта, быстро скользили между причалами, оставляя за собой длинный след.

Две дамбы, начинавшиеся у набережной Дюнкерка, выдавались далеко в море. Свадебная процессия широкими рядами двигалась по северной дамбе и вскоре подошла к стоявшему на ее оконечности маленькому домику, где дежурил начальник порта.

Контуры брига Жана Корнбюта вырисовывались все отчетливее. Ветер крепчал, и «Юный смельчак» шел полным бакштагом под марселями, фоком, контр-бизанью, брамселями и бом-брамселями. По-видимому, на борту царила та же радость, что и на берегу. Жан Корнбют с подзорной трубой в руках весело отвечал на вопросы друзей.

— Вот он, мой красавец бриг! — воскликнул он. — Цел и невредим, словно только что из Дюнкерка. Никаких аварий! Ни малейшего повреждения.

— Вы видите своего сына, Корнбют? — спрашивали его.

— Пока еще нет. Ну, да он занят своим делом.

— Почему же он не поднимает флага? — удивился Клербо.

— Этого я не знаю, дружище, но уж, наверное, у него есть на то свои причины.

— Дядюшка, дайте мне подзорную трубу, — сказала Мари, выхватывая у Корнбюта из рук инструмент. — Я первая хочу его увидеть!

— Но ведь это мой сын, сударыня!

— Вот уже тридцать лет, как он ваш сын, — смеясь,

отвечала девушка, — но моим женихом он стал только два года назад.

Теперь «Юный смельчак» был виден совершенно отчетливо. Команда уже готовилась бросить якорь. Верхние паруса были убраны. Уже можно было узнать кое-кого из матросов, устремившихся к снастям, но напрасно искали глазами Мари и Жан Корнбют капитана, чтобы помахать ему рукой.

— Ей-богу, я вижу помощника капитана Андрэ Васлинга! — вдруг крикнул Клербо.

— А вон плотник Фидель Мизон! — отозвался один из присутствующих.

— И наш друг Пенеллан! — прибавил второй, делая знаки моряку, носившему это имя.

«Юный смельчак» находился уже в каких-нибудь трех кабельтовых от порта, когда на гафеле показался черный флаг... На борту был траур!

Страшная мысль мелькнула у присутствующих; сердце молодой невесты сжалось от недоброго предчувствия.

Бриг печально входил в порт. На борту царило гробовое молчание. Вскоре корабль миновал оконечность эстакады. Мари, Жан Корнбют и гости бросились на набережную, к которой подходил корабль, и через минуту были на борту.

— Мой сын! — только и мог выговорить Жан Корнбют.

Матросы, обнажив головы, молча указали ему на траурный флаг.

Отчаянно вскрикнув, Мари без чувств упала на руки старого Корнбюта.

«Юного смельчака» привел в порт Андрэ Васлинг. Жениха Мари Луи Корнбюта на борту больше не было.

ГЛАВА 2

ПЛАН ЖАНА КОРНБЮТА

Как только сердобольные соседки увели молодую девушку, помощник капитана, Андрэ Васлинг, рассказал Корнбюту о печальном событии, лишившем старика радости свидания с сыном. В корабельном журнале об этом можно было прочесть следующее:

«26 апреля, на широте Мальстрима, когда дул свирепый зюйд-вест, с корабля, вынужденного лечь в дрейф во время шторма, были замечены сигналы бедствия, подаваемые какой-то шхуной. Увлекаемая течением, шхуна без фок-мачты и парусов неслась по направлению к Мальстриму. Капитан Луи Корнбют, видя, что судну грозит неминуемая гибель, решил прийти ему на помощь. Несмотря на возражения команды, он распорядился опустить на воду шлюпку, в которую вошел вместе с матросом Кортруа и рулевым Пьером Нукэ. Команда следила за ними глазами до тех пор, пока они не скрылись в тумане. Наступила ночь. Шторм все усиливался. «Юный смельчак» каждую минуту мог быть подхвачен течениями, проходившими поблизости от этих мест, и затянут в Мальстрим. Корабль был вынужден идти по ветру. Напрасно кружил он несколько дней в районе места происшествия: ни шлюпки, спущенной с брига, ни шхуны, ни капитана Луи и ни одного из его спутников нигде не было видно. Тогда Андрэ Васлинг созвал матросов, взял на себя командование кораблем и повел его на Дюнкерк».

Прочитав эту запись, сухую и лаконичную, как всякий судовой документ, Жан Корнбют долго плакал. Единственным утешением ему служила мысль, что сын

его погиб, стремясь спасти своих ближних. Вскоре несчастный отец ушел с брига, на который ему было больно смотреть, и возвратился в свой осиротевший дом.

Печальная новость мгновенно разнеслась по всему Дюнкерку. Многочисленные друзья старого моряка наперерыв спешили выразить ему свое горячее, искреннее сочувствие. Пришли и матросы с «Юного смельчака» и сообщили подробности печального происшествия. Мари заставила Андрэ Васлинга рассказать все, что ему было известно о самоотверженном поступке ее жениха.

Пролив немало горьких слез, Жан Корнбют погрузился в глубокое раздумье. На следующее утро он спросил заглянувшего к нему Андрэ Васлинга:

— Скажите, Андрэ, вы вполне уверены, что мой сын погиб?

— Увы, это так, господин Жан! — ответил Андрэ Васлинг.

— И вы сделали решительно все, что могли, чтобы разыскать его?

— Абсолютно все, господин Корнбют! К сожалению, не приходится сомневаться, что ваш сын и его спутники погибли в пучине Мальстрима.

— Андрэ, согласились бы вы остаться помощником капитана?

— Это будет зависеть от капитана, господин Корнбют.

— Капитаном буду я, Андрэ, — ответил старый моряк. — Я быстро разгрузу корабль, наберу команду и отправлюсь на поиски сына.

— Но ваш сын погиб, — настойчиво повторил Андрэ Васлинг.

— Возможно, что так оно и есть, Андрэ, — с живостью возразил Жан Корнбют, — но возможно также, что ему удалось спастись. Я хочу обшарить все норвежские

порты, куда его могло забросить. И только, когда для меня станет ясно, что я больше не увижу его, я вернусь домой, чтобы умереть.

Почувствовав, что решение Жана Корнбюта непоколебимо, Андрэ Васлинг перестал возражать и ушел.

Тотчас же после его ухода Жан Корнбют принялся излагать племяннице намеченный им план. Вскоре он увидел в ее глазах сквозь слезы, постоянно их застилавшие, проблеск слабой надежды. До этого момента девушка не сомневалась в гибели жениха. Но как только в ее сердце зародилась надежда — Мари отдалась ей всей душой.

Старый капитан решил, что «Юный смельчак» должен немедленно выйти в море. Прочно построенный бриг не перенес еще ни одной аварии и не нуждался в ремонте.

Жан Корнбют заявил, что если матросы согласны снова пуститься в плавание, то состав команды останется прежним. Единственное изменение состояло в том, что вместо сына командовать кораблем должен был сам Жан Корнбют.

Ни один из спутников Луи Корнбюта не отказался от предложения. А среди них были такие brave моряки, как Алэн Тюркьет, плотник Фидель Мизон, бретонец Пенеллан, заменивший погибшего рулевого Пьера Нукэ, и такие храбрые, испытанные матросы, как Градлен, Опик и Жервик.

Жан Корнбют еще раз предложил Андрэ Васлингу занять прежний пост на борту. Приведя бриг обратно в порт в целости и сохранности, помощник капитана показал себя искусным мореходом. Но по каким-то неизвестным причинам Андрэ Васлинг медлил с ответом и попросил несколько дней на размышление.

— Как вам угодно, Андрэ Васлинг, — отвечал Корн-

бют. — Но знайте, что, если вы согласитесь, мы примем вас с радостью.

На преданность бретонца Пенеллана Жан Корнбют мог вполне рассчитывать, — немало рейсов совершили они вместе на своем веку. В прошлом, когда рулевой почему-либо оставался на берегу, маленькая Мари проводила у него на руках долгие зимние вечера. Понятно, что старик навсегда сохранил к ней отцовскую нежность, и молодая девушка со своей стороны отвечала ему дочерней привязанностью. Пенеллан изо всех сил старался как можно скорее снарядить корабль. По его мнению, Андрэ Васлинг недостаточно усердно разыскивал потерпевших крушение, хотя его образ действий был вполне оправдан: он не мог рисковать кораблем, за который нес ответственность как капитан.

Не прошло и недели, как «Юный смельчак» был готов к новому рейсу. Только на этот раз груз его состоял не из товаров, а из всякого рода провизии: бриг до отказа был загружен солониной, сухарями, мешками с мукой и картофелем, ветчиной, вином, водкой, кофе, чаем, табаком.

Отплытие было назначено на 22 мая. Накануне этого дня к Жану Корнбюту явился Андрэ Васлинг, до сих пор не давший окончательного ответа. Он все еще был в нерешительности, не зная, что предпринять.

Хотя Жана Корнбюта не было дома, дверь была открыта. Когда Андрэ Васлинг вошел в залу, смежную с комнатой молодой девушки, его внимание привлекли доносившиеся оттуда голоса. Он прислушался и узнал голоса Мари и Пенеллана.

По-видимому, они разговаривали уже давно, так как молодая девушка, казалось, была решительно не согласна с какими-то доводами бретонца.

— Сколько лет дяде Корнбюту? — спрашивала Мари.

— Что-нибудь около шестидесяти, — отвечал Пенеллан.

— Вот видите, и, несмотря на это, он не боится никаких опасностей и без колебаний отправляется на розыски сына.

— Но наш капитан еще очень крепкий человек, — возразил моряк. — У него тело точно из дуба, а мускулы что колосники. Уж за него-то я ничуть не боюсь.

— Мой добрый Пенеллан, — продолжала Мари, — когда любишь, найдутся силы. А потом я надеюсь, что господь не оставит нас. Вы меня понимаете, так помогите же мне.

— Нет, Мари, это невозможно, — не сдавался Пенеллан. — Кто знает, куда забросит нас судьба и какие страдания доведется нам испытать. Ты и представить себе не можешь, сколько мужественных людей погибло в северных морях!

— Но поймите, — настаивала молодая девушка, — от этого ничего не изменится, а если вы мне откажете, я полагаю, что вы меня разлюбили.

Андрэ Васлинг догадался, на что решалась молодая девушка. Минута размышления, и его ответ был готов.

— Жан Корнбют, — сказал он, направляясь навстречу старому моряку, входившему в дом, — я принимаю ваше предложение. Обстоятельства изменились, и теперь я вполне могу остаться на корабле. Вы можете на меня рассчитывать.

— Я никогда не сомневался в вас, Андрэ Васлинг, — ответил Жан Корнбют, протягивая ему руку. — Мари, дитя мое! — позвал он.

Мари и Пенеллан тотчас вошли в комнату.

— Мы выходим завтра на рассвете с отливом, — сказал старый моряк. — Моя бедная Мари, мы проводим вместе последний вечер.

— Дядюшка! — воскликнула Мари, бросаясь к Жану Корнбюту.

— Бог даст, я разыщу твоего жениха, Мари.

— Конечно, мы разыщем Луи, — прибавил Андрэ Васлинг.

— Так вы тоже с нами? — с живостью спросил Пенеллан.

— Да, Пенеллан, Андрэ Васлинг будет моим помощником, — отвечал Жан Корнбют.

— О, — протянул бретонец с каким-то странным выражением в глазах.

— Его советы нам очень пригодятся, он ловок и предприимчив.

— Да вы, капитан, всех нас за пояс заткнете, — ответил Андрэ Васлинг. — И опытности и здоровья у вас хоть отбавляй.

— Итак, друзья мои, до завтра. Идите скорее на корабль и заканчивайте приготовления. До свидания, Андрэ! До свидания, Пенеллан!

Помощник капитана и матрос вышли вместе. Жан Корнбют и Мари остались вдвоем. Немало слез было пролито в этот печальный вечер. Чтобы еще больше не расстраивать и без того опечаленную Мари, Жан Корнбют решил уйти на следующий день, не прощаясь. Он в последний раз поцеловал Мари, а в три часа утра незаметно вышел из дому.

По случаю отплытия корабля на эстакаде собрались все друзья старого моряка. Кюре, еще недавно собиравшийся благословить союз Мари и Луи, пришел дать последнее напутствие кораблю. Обменявшись с приятелями крепкими молчаливыми рукопожатиями, Жан Корнбют поднялся на борт.

Команда была в сборе. Андрэ Васлинг отдавал последние распоряжения. Но вот паруса поставлены, и

бриг стал быстро удаляться под крепким северо-западным бризом. Кюре, стоя посреди коленапреклоненной толпы, поручал отплывающих божьей милости.

Куда стремится этот корабль? Он идет по пути, полному лишений, на котором погибло столько мореплавателей! Не имея определенного места назначения, он должен быть готов к любым опасностям и бороться с ними. Его ведет бог! Одному богу известно, где бригу суждено бросить якорь.

ГЛАВА 3

ПРОВЛЕСК НАДЕЖДЫ

Это время года особенно благоприятно для плавания, и можно было надеяться, что бриг без задержек прибудет на место кораблекрушения.

Жан Корнбют наметил следующий маршрут: прежде всего он рассчитывал сделать остановку у Фарерских островов, куда северный ветер мог прибить потерпевших кораблекрушение. Затем он намеревался обойти все окрестные порты и, выйдя за пределы Северного моря, обследовать все западное побережье Норвегии вплоть до порта Бодоз, ближайшего к месту кораблекрушения пункта, а если понадобится — отправиться и дальше.

Андрэ Васлинг, напротив, считал, что прежде всего надо обследовать берега Исландии. Но Пенеллан возразил ему, что во время катастрофы буря надвигалась с запада, поэтому можно надеяться, что несчастные, благополучно миновав Мальстрим, были отброшены к берегам Норвегии.

Таким образом, решено было по возможности придерживаться ранее намеченного маршрута до тех пор, пока не будут обнаружены какие-либо следы.

На другой день Жан Корнбют сидел над картой, погруженный в размышления. Вдруг на плечо его опустилась маленькая рука, и нежный голос прошептал ему на ухо:

— Мужайтесь, дядюшка!

Он быстро обернулся и остолбенел от изумления. Мари обвила его шею руками.

— Мари, девочка моя! — воскликнул он. — Ты здесь!

— Если отец идет в море, чтобы спасти сына, то и жена может отправиться на розыски мужа.

— Несчастливая Мари! Как перенесешь ты все лишения и трудности, какие нам предстоят? Неужели ты не понимаешь, что с тобою нам будет гораздо труднее в пути!

— Нет, дядюшка, ведь я сильная.

— Но кто знает, куда нас занесет, Мари? Взгляни на эту карту! Мы приближаемся к местам, небезопасным даже для нас, моряков, привыкших ко всему на свете. Но что будет с тобою, слабое дитя!..

— Нет, дядюшка, я родилась в семье моряка! С детства я наслушалась рассказов о крушениях и штормах! Я хочу быть вместе с вами и моим старым другом Пенелланом.

— Пенеллан! Так это он спрятал тебя здесь?

— Да, дядюшка, но ведь он знал, что я и без его помощи сумела бы пробраться на корабль.

— Пенеллан! — позвал Жан Корнбют.

Вошел рулевой.

— Что сделано, того не исправишь, Пенеллан. Но помни, за жизнь Мари отвечаешь ты.

— Будьте спокойны, капитан, — ответил Пенеллан. — Малышка достаточно сильна и мужественна. Она будет нашим ангелом-хранителем. А вдобавок, капитан, все, что ни делается, делается к лучшему.

Молодую девушку поместили в каюту, которую матросы постарались уютно обставить.

Восемь дней спустя «Юный смельчак» встал на якорь у Фарерских островов. Однако самые тщательные расследования оказались безуспешными. За все это время на побережье не было обнаружено никаких обломков корабля, никаких следов потерпевших крушение. Вообще о кораблекрушении там ничего не знали.

После десятидневной стоянки 10 июня корабль двинулся дальше. Море было спокойное. Дул благоприятный ветер, и корабль быстро достиг берегов Норвегии, но и здесь поиски не дали никаких результатов.

Жан Корнбют решил направиться в Бодоз. Возможно, там удастся узнать название погибшего корабля, на помощь которому поспешил Луи Корнбют с двумя матросами.

Бриг бросил якорь в Бодоз 30 июня. Здесь местные власти вручили Жану Корнбюту бутылку, найденную на берегу и содержащую следующий документ:

«26 апреля, на борту «Фрейерна». После того как к нам подошла шлюпка с «Юного смельчака», нас стало относить течением в сторону льдов. Да сжалится над нами господь!»

Жан Корнбют возблагодарил небеса. Наконец-то он напал на след! Без сомнения, «Фрейерн» и был той самой пропавшей без вести норвежской шхуной, которая, по видимому, была унесена течением на север.

Нельзя было терять ни одного дня. «Юный смельчак» был спешно подготовлен к борьбе с опасностями, ожидавшими его в северных морях. Плотник Фидель Мизон, тщательно осмотрев корабль, убедился, что он достаточно прочной конструкции и можно не бояться встречи со льдами.

Пенеллан, не раз охотившийся на китов в арктиче-

ских морях, позаботился о том, чтобы сделан был необходимый запас шерстяных одеял, меховой одежды, обуви из тюленьих шкур и досок для изготовления саней, без которых невозможно пробираться по ледяным равнинам. Запасы винного спирта и каменного угля были значительно увеличены на тот случай, если бы пришлось зазимовать где-нибудь в Гренландии. С великим трудом и за большие деньги удалось раздобыть порядочное количество лимонов, необходимых для борьбы с цингой, обычно поражающей мореплавателей в полярных районах. Теперь запасы солонины, сухарей и водки уже не умещались в провизионных кладовых, и пришлось заполнить часть трюма. Не забыли захватить в большом количестве и пеммикан¹, содержащий много питательных веществ. Достаточно съесть небольшое количество этого индейского продукта, чтобы насытиться.

По распоряжению Жана Корнбюта приобрели несколько пил, чтобы распиливать лед. Захватили также ломы и клинья, чтобы раздвигать льдины. В Гренландии собирались купить собак для санной упряжки.

Вся команда корабля была занята этими приготовлениями и энергично работала. Матросы Опик, Жервик и Градлен во всем следовали наставлениям рулевого Пенеллана, который советовал до поры до времени не надевать теплого платья, хотя температура воздуха под этими широтами за Полярным кругом была уже достаточно низкой.

Все это время Пенеллан, не говоря никому ни слова, внимательно наблюдал за поведением Андрэ Васлинга. Человек этот, голландец по происхождению, появился у них в порту неизвестно откуда; он был неплохим моряком и два рейса плавал на борту «Юного смельчака». По-

¹ Смесь мясного порошка с пряностями.

камест Пенеллану не в чем было его упрекнуть, разве только в излишнем внимании к Мари. Тем не менее рулевой решил продолжать свои наблюдения.

Благодаря энергичной работе всего экипажа бриг был снаряжен к 16 июля, то есть через две недели после прибытия в Бодоз. Это время года особенно благоприятно для плавания в арктических морях. Уже два месяца как началась оттепель, и розыски становились менее затруднительными. Итак, «Юный смельчак» снялся с якоря и взял курс на мыс Брустер, находящийся на восточном побережье Гренландии, на 70-м градусе широты.

ГЛАВА 4

ВО ЛЬДАХ

Вечером 23 июля над поверхностью моря был замечен отблеск, возвещающий о приближении первых айсбергов, двигавшихся к Датскому проливу и затем устремлявшихся в океан. С этой минуты от вахтенного на мачте требовалась неусыпная бдительность: нужно было следить за тем, чтобы корабль не столкнулся с какой-нибудь глыбой.

Команда была разделена на две смены. Первая состояла из Фиделя Мизона, Градлена и Жервика, во вторую входили Андрэ Васлинг, Опик и Пенеллан. Вахта должна была длиться не более двух часов, так как в суровом полярном климате силы человека быстро убывают. Хотя «Юный смельчак» находился всего лишь на 63-м градусе северной широты, термометр показывал уже 9° ниже нуля.

Не переставая шел дождь, смешанный со снегом. Когда ветер немного утихал, Мари поднималась на палубу.

Глаза ее постепенно привыкали к безрадостному северному ландшафту.

Первого августа Мари, по своему обыкновению, прогуливалась на кормовой палубе корабля, беседуя с дядей, Андрэ Васлингом и Пенелланом. В это время «Юный смельчак» входил в проход шириной не более трех миль, образовавшийся между двумя ледяными полями; обломки льдин неслись по проходу на юг.

— Когда же мы увидим землю? — спросила молодая девушка.

— Дня через три или четыре, — ответил Жан Корнбют.

— Может быть, мы узнаем там что-нибудь о моем бедном Луи!

— Все возможно, Мари, но боюсь, что нам еще долго придется плавать. Сдается мне, что «Фрейерн» был унесен еще дальше на север.

— Я думаю, вы правы, — заметил Андрэ Васлинг. — Ведь шторм, во время которого мы потеряли из виду норвежское судно, продолжался целых три дня, а за это время корабль могло отнести далеко, ведь он не в состоянии бороться с ветром.

— Позвольте вам заметить, господин Васлинг, — возразил Пенеллан, — что дело было в апреле, когда оттепель еще не начиналась. Поэтому шхуну должны были задержать льды.

— И, без сомнения, она разбита в щепки. Ведь команда не могла управлять кораблем.

— Однако по ледяной равнине, — продолжал Пенеллан, — им было нетрудно добраться до земли, до которой было не так уже далеко.

— Будем надеяться, что так и было, — проговорил Жан Корнбют, прерывая спор, ежедневно возникавший

между помощником капитана и рулевым. — Я думаю, вскоре мы увидим землю.

— Вот она! — воскликнула Мари. — Посмотрите на эти горы!

— Нет, дитя мое, — отвечал Жан Корнбют, — это ледяные горы. Мы встречаем их впервые на своем пути. Если мы окажемся между ними, они раздавят нас, как стеклышко. Пенеллан, Васлинг, внимательно следите за управлением корабля.

На горизонте появилось более пятидесяти айсбергов; они медленно приближались к бригу. Пенеллан взялся за руль. Жан Корнбют поднялся на мачту и стал оттуда указывать путь.

К вечеру бриг был окружен со всех сторон движущимися ледяными горами, против натиска которых было бы бесполезно бороться. Кораблю предстояло пробраться сквозь эту флотилию плавучих гор: благоразумие заставляло двигаться вперед. Тут возникло еще одно затруднение: не было возможности точно определить направление корабля. Этому мешало непрерывное движение окружающих судно ледяных глыб, которые не могли служить сколько-нибудь надежным ориентиром. Туман сгустился, и стало еще темнее, Мари спустилась к себе в каюту. По приказу капитана восемь человек, составлявших экипаж брига, остались на палубе. Они были вооружены баграми с металлическим наконечником и должны были отталкивать попадавшие на пути льдины.

Через некоторое время «Юный смельчак» вошел в такой узкий проход, что плывшие по течению ледяные горы могли задеть ноки нижних рей; из осторожности грота-рей поставили так, чтобы он касался вантов. К счастью, на скорость брига это не повлияло — верхние паруса хорошо наполнялись ветром, и корабль двигался быстро. Благодаря небольшой ширине своего корпуса

корабль, несмотря на туман, без особого труда продвигался по узкому проходу, осторожно лавируя между льдинами, которые то и дело сталкивались со зловещим грохотом.

Жан Корнбют спустился на палубу. Он уже ничего не мог разглядеть с мачты в окружающем мраке. Верхние паруса необходимо было взять на гитовы: корабль каждую минуту мог натолкнуться на льдину, и тогда гибель была бы неминуема.

— Проклятое плавание! — ворчал Андрэ Васлинг, стоявший среди матросов, которые отталкивали баграми льдины.

— Если нам удастся проскочить, мы поставим самую большую свечу Богоматери, спасающей во льдах, — сказал Опик.

— А сколько еще впереди таких плавучих гор! — ввернул помощник капитана.

— И что нас ждет за этими горами! — отозвался матрос.

— Заткнись, болтун! — оборвал его Жервик. — Лучше следи за своим багром! Успеешь поворчать, когда мы выберемся отсюда.

В этот миг они заметили огромную глыбу льда, быстро надвигавшуюся на «Юного смельчака». Казалось, столкновение было неизбежно. Айсберг занимал почти всю ширину канала, и бриг не мог обойти его ни с той, ни с другой стороны.

— Судно слушается руля? — спросил Пенеллана Жан Корнбют.

— Нет, капитан. Судно уже не слушается руля.

— Эй, ребята! — крикнул капитан команде. — Не робейте! Покрепче упритесь баграми в планшир!

Айсберг был высотой в добрых шестьдесят футов. Если он обрушится на бриг, то мигом его раздавит. Насту-

пил момент томительного ожидания. Этому ужасному мгновению, казалось, не будет конца. Не слушая приказаний капитана, матросы покинули свои места и сгрудились на корме.

Но, когда ледяная гора находилась на расстоянии не более полукабельтова от «Юного смельчака», вдруг раздался глухой шум, и огромный каскад воды обрушился на нос корабля, очутившегося на гребне чудовищной волны.

У матросов вырвался крик ужаса, но когда они взглянули вперед, ледяной горы уже не было. Она исчезла, и проход был свободен. Впереди расстилалось необозримое водное пространство, освещенное лучами заходящего солнца. Корабль выходил наконец на свободный путь.

— Все, что ни делается, делается к лучшему! — воскликнул Пенеллан. — Ставьте марсель и фок!

Произошло обычное в этих широтах явление: когда плавучие массы льда раскалываются во время таяния, айсберги плывут, сохраняя равновесие; но, оказавшись в океане, где вода значительно теплее, ледяные горы начинают подтаивать у основания и постепенно оседают. Сталкиваясь с соседними льдинами, они теряют равновесие; наступает момент, когда центр тяжести айсберга перемещается, и он опрокидывается. Если бы ледяная гора перевернулась на две минуты позже, она всей своей тяжестью обрушилась бы на бриг и потопила бы его.

ГЛАВА 5

ОСТРОВ ЛИВЕРПУЛЬ

Теперь бриг плыл по водному пространству, почти свободному ото льда. Только белесый и на этот раз неподвижный отблеск на горизонте говорил о том, что там начинается область сплошных льдов.

Жан Корнбют продолжал вести корабль на мыс Брустер. Они приближались уже к широтам, где температура воздуха чрезвычайно низка, ибо туда доходят лишь наклонные, очень слабые лучи солнца.

Третьего августа бриг подошел к сплошным, неподвижным льдам. Проходы между ними зачастую были не больше кабельтова шириной, и «Юный смельчак» вынужден был делать множество поворотов, заставлявших иной раз лавировать против ветра.

Пенеллан с отеческой нежностью заботился о Мари. Несмотря на мороз, он заставлял ее ежедневно два-три часа прогуливаться по палубе, что было необходимо для сохранения здоровья.

Впрочем, Мари не теряла мужества, напротив — она всячески старалась подбодрить матросов, чем заслужила их искреннее уважение. Андрэ Васлинг вертелся около нее больше, чем когда-либо. Он искал случая заговорить с Мари, но молодая девушка, как бы предчувствуя что-то неладное, довольно холодно принимала его услуги. Разумеется, Андрэ Васлинг предпочитал беседовать с нею о будущем, он не скрывал от Мари, что оставалось мало надежды на спасение Луи и его спутников. По его мнению, в их гибели не было сомнений и молодой девушке рано или поздно придется найти себе другого спутника жизни.

Однако Мари все еще не догадывалась об истинных намерениях Андрэ Васлинга, так как, к великому неудовольствию помощника капитана, им никак не удавалось разговориться. Пенеллан всякий раз под тем или иным предлогом вмешивался в разговор, ловко разбивал хитрые доводы Андрэ Васлинга и возрождал надежду в сердце девушки.

Между тем Мари тоже не теряла времени даром. По совету рулевого она занялась подготовкой зимней одеж-

ды. Необходимо было изменить покрой платья. Обыкновенная женская одежда не подходила для зимовки во льдах, и Мари пришлось смастерить себе нечто вроде меховых шаровар, которые она обшила внизу тюленьим мехом; узкая короткая юбка не должна была касаться снега — надвигалась зима, и вскоре можно было ожидать снегопадов. Верхнюю часть туловища защищал меховой плащ с капюшоном, туго стянутый в талии.

В перерывах между работами матросы также занимались изготовлением теплой одежды. Прежде всего они сшили себе высокие сапоги из тюленьих шкур, в которых им предстояло пробираться по сугробам. Таким образом, во время плавания во льдах у матросов не было ни одной свободной минуты.

Андрэ Васлинг был искусный стрелок, и ему нередко удавалось настрелять морских птиц, бесчисленные стаи которых постоянно носились над кораблем. Вкусное мясо гаг и снежных куропаток позволило путешественникам отдохнуть от солонины.

После множества поворотов бриг стал наконец приближаться к мысу Брустер. На воду была спущена шлюпка. Жан Корнбют и Пенеллан подошли на ней к берегу, но он оказался пустым и безлюдным.

Не теряя времени, бриг направился к острову Ливерпуль, открытому в 1821 году капитаном Скорсби. Когда корабль приблизился к берегу, матросы закричали от радости при виде туземцев, собравшихся на отмели. Пенеллан знал несколько слов на их языке, а им были знакомы кое-какие выражения, бывшие в ходу у китобоев, часто посещавших эти места; это помогло довольно быстро наладить связь.

Гренландцы были приземисты, коренасты; их рост в среднем не превышал четырех футов десяти дюймов, у них были круглые красноватые лица и низкий лоб; пря-

мые пряди черных волос падали на плечи. У всех были испорченные зубы. Казалось, туземцы страдали какой-то болезнью, похожей на проказу, которой подвержены племена, питающиеся преимущественно рыбой.

В обмен на кусочки стали и меди, от которой они пришли в неопикуемый восторг, бедняги приносили шкуры медведей, котиков, тюленей, дельфинов, морских волков и других животных. Таким образом, все эти шкуры, имевшие большую ценность для путешественников, достались почти даром.

Затем капитан кое-как объяснил туземцам, что он разыскивает потерпевший крушение корабль, и спросил, знают ли они что-нибудь об этом судне. Один из туземцев тотчас же нарисовал на снегу предмет, похожий на корабль, и объяснил, что такое судно месяца три тому назад было унесено на север, но оттепель и разрушение полей льда помешали им отправиться на розыски. Действительно, их утлые и чересчур легкие челноки, управляемые лопатообразным веслом, не могли выйти в море при создавшихся условиях.

Полученные ими сведения, хотя и не совсем точные, воскресили в сердцах матросов угасшую надежду, и Жану Корнбюту легко было уговорить их плыть дальше в полярные моря.

Перед тем как покинуть остров Ливерпуль, капитан приобрел упряжку из шести эскимосских собак, которые быстро акклиматизировались на корабле. Бриг снялся с якоря утром 10 августа и под крепким бризом двинулся, лавируя между льдами, дальше на север.

В эту пору под высокими широтами бывают самые длинные дни в году. Незаходящее солнце достигает самой высокой точки спирали, по которой оно движется над горизонтом. Впрочем, отсутствие ночи было не

слишком заметно: нередко туман, дождь и снег заменяли ночную тьму.

Жан Корнбют, решивший идти до последней возможности вперед, позаботился о том, чтобы на корабле соблюдались правила гигиены. Межпалубное пространство было наглухо закрыто, и его открывали только по утрам для проветривания. Установили печи, причем трубы расположили так, чтобы внутри помещения сосредоточивалось как можно больше тепла. Матросам было приказано поверх хлопчатобумажной одежды надевать только одну шерстяную рубашу и наглухо застегивать кожаные плащи. Впрочем, печи еще не топились: запас дров и угля берегли для более сильных морозов.

Утром и вечером матросы обязательно получали какое-нибудь горячее питье, кофе или чай, а так как для поддержания сил нужна была мясная пища, то не упускали случая поохотиться на диких уток и чирков, в изобилии водившихся в этих местах.

Жан Корнбют установил на верхушке грот-мачты так называемое «воронье гнездо», нечто вроде бочки с выбитым днищем, где постоянно находился вахтенный, следивший за состоянием льдов.

Через два дня после того, как остров Ливерпуль скрылся из поля зрения, внезапно подул сухой ветер, и стало значительно холоднее; появились первые признаки приближения зимы.

«Юный смельчак» не мог терять ни минуты, так как вскоре сплошные льды должны были закрыть ему путь. Бриг шел вперед между ледяными полями; толщина льда достигала тридцати футов.

Утром 3 сентября «Юный смельчак» достиг широты бухты Гаэл-Хамкес. Земля должна была находиться примерно в тридцати милях с подветренной стороны. Здесь бриг впервые вынужден был остановиться перед ледя-

ным барьером шириной в милю, в котором не было никакого, хотя бы самого узкого, прохода. Тут-то и пришлось пустить в ход ледовые пилы, чтобы как-нибудь расчистить дорогу. На работу с пилами были назначены Пенеллан, Опик, Градлен и Тюркьет. Колку льда производили с таким расчетом, чтобы куски льда уносились течением.

На эту работу команда потратила в общей сложности около двадцати часов. Было очень трудно стоять на льду; часто приходилось работать по пояс в воде. Одежда из тюленьих шкур быстро промокала.

Вдобавок под этими широтами всякая физическая работа быстро утомляет, и человек начинает задыхаться. Даже самые здоровые вынуждены были постоянно делать передышку.

Наконец путь был расчищен, и бриг смог пробраться сквозь эту долго задерживавшую его ледяную преграду.

ГЛАВА 6

КОЛЕВАНИЯ ЛЬДОВ

Борьба «Юного смельчака» с такими труднопреодолимыми препятствиями продолжалась еще несколько дней. Люди почти не выпускали из рук ледовых пил. Чтобы разбивать ледяные торосы, преграждавшие дорогу кораблю, приходилось даже прибегать к пороуху.

Двенадцатого сентября море представляло собой уже сплошную ледяную равнину без единого промежутка или трещины. Лед так плотно окружал со всех сторон корабль, что он не мог ни продвигаться вперед, ни податься назад. Средняя температура воздуха была 16° ниже нуля. Одним словом, настало время зимовки. Пришла зима со всеми своими лишениями и опасностями.

«Юный смельчак» находился у входа в бухту Гаэл-Хамкес, то есть приблизительно на 21-м градусе западной долготы и 76-м градусе северной широты.

Жан Корнбют занялся приготовлениями к предстоящей зимовке. Прежде всего ему хотелось разыскать небольшую бухту, где корабль мог бы укрыться от ветра и сжатия льдов. Самое надежное убежище можно было найти только у берега, находящегося примерно в десяти милях к западу, и Жан Корнбют решил отправиться на поиски.

Двенадцатого сентября он двинулся в путь в сопровождении Андрэ Васлинга, Пенеллана и двух матросов, Градлена и Тюркьета. Каждый нес с собой груз, состоящий из двухдневного запаса провизии, так как все были уверены, что поход продлится не более двух дней. Кроме того, каждый захватил с собой по буйволоковой шкуре, которая должна была служить постелью.

Снег, в изобилии выпавший за последнее время, еще не покрылся коркой льда и чрезвычайно затруднял передвижение. Путники часто проваливались в снег по пояс, и все время приходилось быть начеку, чтобы не упасть в трещину. Пенеллан, шедший впереди, тщательно исследовал дорогу, прощупывая ее длинной палкой с металлическим наконечником.

К пяти часам вечера туман начал сгущаться, и отряд вынужден был остановиться. Пенеллан принялся разыскивать льдину, за которой можно было бы укрыться от ветра.

Отдохнув несколько минут, путники подкрепились едой и очень пожалели, что у них не было горячего питья; потом они расстелили на снегу шкуры, завернулись в них, тесно прижались друг к другу и крепко заснули.

На следующее утро Жан Корнбют и его товарищи проснулись под снежным покровом толщиной более фу-

та. К счастью, совершенно непромокаемые буйволодые шкуры защитили их от сырости, а слой снега сохранил их собственное тепло.

Жан Корнбют тотчас же подал знак к выступлению. К полудню они наконец увидели едва заметную полоску берега.

Берег был окаймлен высокими ледяными горами; их вершины, различной формы и высоты, имели вид гигантских кристаллов. При приближении моряков стаи морских птиц с шумом разлетелись в разные стороны, а лениво растянувшиеся на льду тюлени поспешно скрылись в воде.

— Честное слово, — заметил Пенеллан, — у нас тут не будет недостатка ни в мехе, ни в дичи.

— Эти животные, — ответил Жан Корнбют, — кажутся, уже знакомы с человеком. Видно, здесь уже побывал кто-то прежде нас, иначе они не были бы так пугливы.

— Сюда заходят только гренландцы, — отозвался Ан-дрэ Васлинг.

— Однако здесь нет никаких следов их пребывания, — возразил Пенеллан, поднимавшийся на холм. — Вокруг не видно ни остатков лагеря, ни покинутой хижины.

— Эй, капитан! — вдруг крикнул он. — Идите-ка сюда, я вижу подходящее местечко, где можно будет укрыться от норд-оста.

— За мной, ребята! — воскликнул Жан Корнбют. Товарищи последовали за ним, и вскоре все присоединились к Пенеллану. Моряк был прав. За довольно высоким скалистым мысом была небольшая закрытая бухта длиной примерно в милю. В бухте плавало несколько льдин. Защищенная от холодных ветров вода еще не успела замерзнуть. Это было как нельзя более подходящее место для зимовки. Оставалось только провести туда ко-

рабль. Однако Жан Корнбют заметил, что слой льда чрезвычайно толст и почти невозможно прорубить в нем канал, чтобы провести бриг к месту зимовки.

Итак, приходилось искать другую бухту. Жан Корнбют прошел дальше к северу, но и там ему ничего не удалось найти. Почти на всем протяжении берег представлял собой непрерывную стену скал. К тому же с этой стороны побережье было открыто восточным ветрам.

Это сильно огорчило капитана, тем более что Андрэ Васлинг, пользуясь случаем, изо всех сил старался преувеличить трудность создавшегося положения. Даже Пенеллан теперь начал сомневаться в справедливости своей любимой поговорки: все, что ни делается, делается к лучшему.

Оставался только один выход: поискать место для зимовки в южном направлении. Для этого нужно было вернуться назад, но раздумывать не приходилось, и маленький отряд тронулся в обратный путь. Старались идти как можно быстрее, потому что запасы провизии кончались.

Все это время Жан Корнбют присматривался к ледяной равнине, надеясь обнаружить какой-нибудь подходящий проход или хотя бы трещину, которую можно было бы расширить и превратить в канал. Но все его старания были напрасны.

К вечеру моряки вернулись на то место, где ночевали накануне. День прошел без снегопада, и они даже разглядели отпечатки своих ног на снегу. Все было готово к ночлегу, и путники улеглись, подстелив под себя буйволовые шкуры. Пенеллан был сильно раздосадован результатами разведки, и ему не спалось.

Внезапно его внимание привлек какой-то глухой ро-

кот. Он стал прислушиваться, этот звук показался ему таким странным, что он толкнул локтем Жана Корнбюта.

— Что такое? — спросил Жан Корнбют, мгновенно проснувшись: как и все моряки, он спал очень чутко.

— Слышите, капитан? — спросил Пенеллан.

Звук повторился еще явственнее.

— Едва ли под этими широтами может быть гром, — заметил Жан Корнбют, поднимаясь на холм. — Скорее всего, это стадо белых медведей.

— Черт возьми, до сих пор нам еще не приходилось с ними встречаться.

— Да, но рано или поздно они нанесут нам визит, — ответил Пенеллан. — Постараемся же оказать им достойный прием.

Пенеллан, захватив ружье, быстро взобрался на холм, у подножия которого они расположились. Небо заволочили тучи, и в темноте было трудно что-либо разглядеть. Но когда звук повторился, Пенеллан понял, что он доносится совсем не издалека. Вскоре к Пенеллану присоединился Жан Корнбют, и они с ужасом убедились, что рокот, разбудивший теперь и всех остальных, раздавался где-то у них под ногами.

Им угрожала новая опасность. Теперь шум, похожий на раскаты грома, сопровождался сильным колебанием льда. Некоторые матросы потеряли равновесие и упали.

— Внимание! — крикнул Пенеллан.

— Слушаем! — раздалось в ответ.

— Тюркьет! Градлен! Где вы?

— Я здесь, — ответил Тюркьет, стряхивая с себя снег.

— Сюда, Васлинг! — крикнул Жан Корнбют помощнику. — Где Градлен?

— Здесь, капитан! Мы пропали! — в ужасе закричал Градлен.

— Ничуть не бывало, — возразил Пенеллан. — Мне думается, мы спасены.

Не успел он это сказать, как раздался ужасающий треск. Ледяное поле раскололось на несколько частей, и матросам пришлось ухватиться за шатающуюся ледяную глыбу. Вопреки словам рулевого они оказались в исключительно опасном положении. Весь лед кругом колебался. Образовавшиеся торосы, как говорят моряки, «снялись с якоря». Колебание льда продолжалось около двух минут. Злосчастные матросы опасались, как бы лед не разъехался у них под ногами. Так, в постоянном страхе и волнении, они дожидались наступления дня. Каждый шаг мог оказаться роковым, и люди старались лежать неподвижно, чтобы не сорваться в пучину.

Когда рассвело, глазам их представилась картина, совершенно отличная от той, какую они наблюдали накануне. Необозримое ледяное поле раскололось на тысячи ледяных обломков. Волны, поднявшиеся в результате подводного землетрясения, взломали сковывающий их толстый слой льда.

Жан Корнбют первый вспомнил о бригае.

— Мой бедный корабль! — вскричал старый моряк. — Он наверняка погиб.

Лица его товарищей выражали беспредельное отчаяние. Гибель корабля должна была вскоре повлечь за собой их собственную гибель.

— Не падайте духом, друзья мои, — тихо проговорил Пенеллан. — Будем надеяться, что разрушение льдов откроет нам путь через льды, по которому мы сможем провести наш корабль в бухту, удобную для зимовки. Э, глядите-ка, если я не ошибаюсь, вот он, наш «Юный смельчак», на целую милю ближе к нам, чем раньше.

Забыв от радости всякую осторожность, все устремились вперед. Тюркьет поскользнулся и провалился в тре-

щину; если бы Жан Корнбют не ухватил его за капюшон, матрос неминуемо бы погиб. К счастью, он отделался только холодной ванной.

На расстоянии каких-нибудь двух миль от путников виднелся бриг, плывший по ветру. Преодолев множество препятствий, маленький отряд добрался, наконец, до корабля. Корабль был в хорошем состоянии, только руль, который забыли вовремя поднять, был разбит льдинами.

ГЛАВА 7

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ЗИМОВКЕ

Итак, Пенеллан и на этот раз оказался прав: все устроилось как нельзя лучше, подводное землетрясение расчистило кораблю путь до самой бухты, намеченной для зимовки. Морякам оставалось только подталкивать баграми льдины с таким расчетом, чтобы они уносились течением и не загораживали им дорогу.

Девятнадцатого сентября бриг вошел в бухту, предназначенную для зимовки, и в двух кабельтовых от берега бросил якорь, который прочно засел в твердом грунте. На следующий день вода вокруг судна начала затягиваться тонким льдом. Вскоре лед стал уже настолько крепок, что легко выдерживал тяжесть человека. Теперь можно было установить непосредственную связь с сушей.

По обычаю северных мореходов такелаж оставили на своих местах. Что касается парусов, то они были тщательно сложены, закреплены на реях и покрыты чехлами. «Воронье гнездо» также оставили на месте, чтобы оттуда производить наблюдения и, заметив какое-нибудь судно, сигнализировать ему.

Солнце уже едва поднималось над горизонтом. Со

времени июньского солнцестояния светило описывало по небосклону все более пологие дуги и вскоре должно было надолго скрыться за горизонтом.

Экипаж спешно готовился к зимовке. Работами руководил Пенеллан.

Лед становился все крепче и толще; сжимая корабль со всех сторон, он угрожал его раздавить. Плавающие льдины находились в непрерывном движении; примыкая друг к другу, они спаивались, образуя ледяное поле. Когда лед достиг футов двадцать в толщину, Пенеллан заставил команду наискось вырубить его вокруг корпуса корабля. Лед сомкнулся под килем и принял форму судна. Теперь оно покоилось на надежном ложе, и можно было не опасаться напора льдов.

Моряки возвели вдоль баркоута снежную стену, поднимавшуюся до высоты фальшборта, толщиной в пять-шесть футов. В скором времени снег стал твердым, как камень. Благодаря этой защитной ограде тепло не излучалось из жилого помещения наружу. Над палубой во всю ее длину был натянут парусиновый тент. Закрытая наглухо со всех сторон палуба служила для команды местом прогулок.

На берегу построили из снега склад, куда сложили все предметы, загромождавшие корабль. Переборки между каютами были разобраны, и теперь внутренность корабля от носа до кормы представляла собой одно большое помещение, которое легче было отопить, чем несколько маленьких кают, не говоря о том, что там было меньше углов, где всегда скапливается сырость и нарастает лед. К тому же это помещение можно было легко проветривать посредством парусиновых рукавов, выведенных наружу.

Вся команда работала не покладая рук, и 25 сентября приготовления к зимовке были закончены. Андрэ Вас-

линг не отставал от других. Он всячески старался угодить молодой девушке. Поглощенная мыслями о своем несчастном женихе, Мари ничего не замечала, зато Жан Корнбют быстро раскусил, в чем тут дело. Он решил поговорить с Пенелланом. Ему припомнились кое-какие факты, и он понял, куда клонит его помощник. Андрэ Васлинг любит Мари и, конечно, будет просить ее руки у Жана Корнбюта, когда тот удостоверится в гибели сына и его спутников. Было ясно, что помощник капитана мечтает поскорее вернуться в Дюнкерк и жениться на красивой и богатой девушке, которая станет единственной наследницей Жана Корнбюта.

Но в своем нетерпенье Андрэ Васлинг порой забывал об осторожности и выдавал себя: уж слишком часто рассуждал он о бесполезности поисков. Пенеллану доставляло удовольствие разбивать шаткие доводы помощника капитана; естественно, Андрэ Васлинг всей душой ненавидел старика рулевого. Впрочем, Пенеллан платил ему той же монетой. Он опасался только, как бы Андрэ Васлинг не посеял раздора среди команды, поэтому он посоветовал Жану Корнбюту до поры до времени воздерживаться от определенного ответа.

Когда приготовления к зимовке были закончены, капитан стал принимать меры для сохранения здоровья экипажа. Каждое утро матросы должны были проветривать помещение и тщательно протирать стены, которые отсыревали за ночь. Утром и вечером матросы получали горячий чай или кофе. Каждый день по несколько человек отправлялись на охоту и должны были доставлять на борт свежую пищу.

Капитан заставлял всех ежедневно делать гимнастику и запретил оставаться слишком долго на холоде без движения, так как при температуре -30° легко отморозить лицо или конечности. В таком случае единственный способ спа-

сти обмороженное место — это энергично растирать его снегом. Пенеллан советовал также каждое утро умываться холодной водой. Поистине нужно было обладать изрядным мужеством, чтобы решиться погрузить лицо и руки в ледяную воду, которую получали, нагревая снег в помещении. Пенеллан храбро проделал это на глазах у всех, и Мари одна из первых последовала его примеру.

Жан Корнбют не забывал также о чтении и молитве: надо было позаботиться о том, чтобы люди не скучали и не впадали в уныние. Зимующим в этих безотрадных краях чрезвычайно опасно терять бодрость духа. Вечно пасмурное небо нагоняло тоску. Постоянно свирепствовавшие снежные бури приводили людей в отчаяние. Солнце вскоре должно было совсем скрыться. Если бы не облака, все время застилавшие небо, лунный свет мог бы в известной мере заменить путешественникам солнце во время долгой полярной ночи.

Однако западный ветер приносил снеговые тучи. Каждое утро приходилось отгрести сугробы, наметенные за ночь вокруг корабля, и заново прорубать во льду ступеньки для спуска на снежную равнину. Для этого пускали в ход ломы. Прорубив ступеньки, их обливали водой, которая тотчас же замерзала.

Пенеллан заставил матросов сделать во льду прорубь близ корабля. Каждое утро приходилось разбивать тонкий лед, образующийся в проруби. Вода, которую черпали на значительной глубине, была далеко не так холодна, как на поверхности.

Все эти приготовления заняли около трех недель. Затем стали думать о дальнейших поисках. Корабль был заперт во льдах на добрых шесть-семь месяцев и мог продолжать свой путь лишь с наступлением оттепели. Необходимо было воспользоваться этой вынужденной остановкой и отправиться на поиски в северном направлении.

ПЛАН ПОИСКОВ

Девятого октября Жан Корнбют созвал совещание, чтобы выработать план дальнейших действий; желая поднять дух участников экспедиции, он пригласил на совещание всю команду. Достав карту, он показал товарищам, где находится корабль.

Восточное побережье Гренландии простирается к северу почти по меридиану. Вся эта область была тщательно исследована целым рядом мореплавателей. На водном пространстве шириной в пятьсот лье, отделяющем Гренландию от Шпицбергена, не удалось обнаружить ни одного острова. Единственный остров, под названием Шаннон, находился на расстоянии ста миль к северу от бухты Гаэл-Хамкес, где предстояло провести зиму «Юному смельчаку».

Таким образом, если предположить, что норвежский корабль был отнесен в этом направлении, то Луи Корнбют и его спутники должны были искать убежища на зиму именно на этом острове.

Все согласились с мнением капитана, и, несмотря на возражения Андрэ Васлинга, решено было направиться на поиски к острову Шаннон.

Тотчас же начали готовиться. На норвежском берегу удалось приобрести сани, типа эскимосских, с полозьями, загнутыми с обоих концов. Благодаря такой конструкции они легко скользили как по льду, так и по снегу. Сани эти были двенадцати футов в длину и четырех футов в ширину, и на них можно было перевозить запасы провизии, рассчитанные на несколько недель. Фидель Мизон быстро их наладил. Он работал на складе, построенном из снежных глыб, куда были перенесены все его инструменты. Чтобы создать необходимую

для работы температуру, на складе поставили печь. Трубу вывели наружу сквозь отверстие, проделанное в снеговой стене. Однако это устройство оказалось мало-пригодным, так как снег начал таять вокруг горячей трубы, и отверстие стало заметно увеличиваться. Тогда Жан Корнбют обернул трубу проволочной сеткой, что устранило таяние.

Пока Мизон работал над санями, Пенеллан с помощью Мари заготавливал одежду в дорогу. К счастью, сапоги из тюленьих шкур имелись в достаточном количестве. Жан Корнбют и Андрэ Васлинг отбирали необходимую провизию. Они решили взять с собой небольшой бочонок спирта для переносной жаровни, нужное количество чая и кофе, небольшой ящик с сухарями, двести фунтов пеммикана и несколько флажков водки. Охотники должны были ежедневно доставлять свежее мясо. Порох рассыпали по мешочкам. Компас, секстант и подозрную трубу тщательно упаковали, оберегая их от толчков.

Одиннадцатого октября солнце впервые не поднялось над горизонтом. В кубрике все время горела лампа. Экспедицию никак нельзя было откладывать по следующим соображениям.

В январе начнутся такие холода, что опасно будет выходить из помещения. В течение добрых двух месяцев команда будет обречена на полное затворничество. Затем начнется оттепель, которая и позволит кораблю выйти из льдов. Разумеется, таяние льдов помешает производить поиски. Вдобавок Луи Корнбют и его товарищи, если они остались в живых, едва ли перенесут полярную зиму. Итак, необходимо было немедленно их выручать.

Андрэ Васлинг прекрасно это понимал. Именно по-

этому он решил всеми средствами препятствовать экспедиции.

Сборы в путь были закончены к 20 октября. Оставалось только подобрать людей. Молодую девушку нельзя было оставлять без опеки Жана Корнбюта или Пенеллана, а между тем они должны были участвовать в экспедиции.

Предстояло решить вопрос, сможет ли Мари выдержать все трудности такого путешествия. До сих пор она довольно легко переносила все лишения; ведь она была дочерью моряка и с детства привыкла к морю. Поэтому Пенеллан и не побоялся взять ее с собой в полярное плавание.

После долгих споров решили наконец, что молодая девушка тоже отправится в экспедицию, но на всякий случай ей оставят место в санях. С этой целью на санях построили небольшой шалаш из досок. Мари так и рвалась в поход и ни за что не хотела разлучаться со своими друзьями.

Итак, в экспедиции приняли участие: Мари, Жан Корнбют, Пенеллан, Андрэ Васлинг, Опик и Фидель Мизон. На корабле оставались Жервик, Градлен и Ален Тюркьет, которому и поручили охрану брига. Пришлось захватить с собой в значительном количестве добавочные припасы, так как Жан Корнбют, стремясь пройти как можно дальше, решил каждые семь-восемь дней делать по пути склады продовольствия.

Как только сани были приведены в готовность, их тотчас же нагрузили и прикрыли поклажу буйволоковой шкурой. Общий вес груза составлял около семисот фунтов; пять собак без труда везли этот груз по льду.

Двадцать второго октября, как и предвидел капитан, температура внезапно изменилась. Небо очистилось, ярко заблистали звезды, над горизонтом поднялась луна и

целых полмесяца не покидала небосклона. Термометр показывал -25° .

Выступление было назначено на следующий день.

ГЛАВА 9

СНЕЖНАЯ ХИЖИНА

Двадцать третьего октября в 11 часов утра, при ярком лунном свете, караван тронулся в путь. На этот раз были приняты все необходимые меры на тот случай, если путешествие затянется. Жан Корнбют направился к северу, придерживаясь побережья. Идти приходилось по голому льду, на котором не оставалось ни малейших следов. Чтобы не сбиться с пути, капитану приходилось намечать впереди те или иные ориентиры: он держал направление то на какой-нибудь холм, врезавшийся в небо острыми зубцами, то на огромный торос, под напором льдов поднявшийся над равниной.

Пройдя около пятнадцати миль, сделали привал, и Пенеллан начал разбивать лагерь. Первым делом установили палатку, прислонив ее к ледяному торосу. Хотя Мари и не слишком страдала от холода, — к счастью, ветер утих, и стало легче переносить мороз, — ей не раз приходилось спускаться с саней, чтобы поразмять онемевшие ноги. Ей было довольно уютно в маленьком шалашике, который Пенеллан обил внутри шкурами.

Когда наступила ночь, или, вернее, подошло время отдыха, шалашик перенесли в палатку, и он служил молодой девушке спальней. Ужин состоял из свежего мяса, мясного порошка и горячего чая. Чтобы предупредить заболевание цингой, Жан Корнбют дал всем участникам экспедиции по нескольку капель лимонного соку. Затем, помолвившись, все крепко уснули.

После восьмичасового сна участники экспедиции, плотно позавтракав и накормив собак, заняли свои места в караване и снова пустились в путь. Собаки без малейшего напряжения везли сани по гладкой ледяной поверхности, и люди иногда с трудом поспевали за ними.

Вскоре у некоторых моряков обнаружилась так называемая офтальмия, то есть воспаление глаз. Первыми заболели Опик и Мизон. При лунном свете ослепительный блеск ледяных и снежных пространств вызывал нестерпимую резь в глазах.

Преломление лунных лучей создавало любопытный обман зрения. Иной раз путникам казалось, что они видят перед собой бугорок, и, поднимая ногу выше, чем следовало, они падали. К счастью, они при этом не ушибались, и Пенеллан всякий раз добродушно подшучивал над товарищами. И все же он советовал не делать ни одного шага, не ошупав предварительно дорогу палкой с железным наконечником, которая была у каждого в руках.

К 1 ноября, через десять дней после выступления из лагеря, отряд прошел уже пятьдесят лье в северном направлении. Все участники экспедиции испытывали крайнюю усталость. Жан Корнбют жестоко страдал от офтальмии и с трудом различал окружающие предметы. Опик и Фидель Мизон могли передвигаться только ощупью, глаза у них воспалились, и ослепительный блеск льдов причинял им невыносимую боль. Мари удалось избежать этой болезни, так как она почти все время находилась в шалаше. Пенеллан преодолевал все невзгоды со свойственным ему мужеством. Лучше всех чувствовал себя Андрэ Васлинг: он был совершенно здоров и казался неутомимым. Его железный организм, казалось, был создан для борьбы со всеми этими трудностями, и он с тайной радостью наблюдал, как самые

сильные из его спутников мало-помалу теряли бодрость духа, и не сомневался, что вскоре они будут вынуждены повернуть назад.

И вот 1 ноября, когда путники окончательно выбились из сил, пришлось сделать остановку, чтобы отдохнуть денек-другой. Выбрав место для лагеря, все немедленно принялись за работу. Решили построить снежную хижину. Одной стеной хижина должна была примыкать к прибрежному утесу. Фидель Мизон быстро начертил на льду план хижины, которая должна была иметь пятнадцать футов в длину и пять футов в ширину. Пенеллан, Опик и Мизон ледовыми пилами нарезали огромные куски льда, перенесли их к намеченному месту и, как заправские каменщики, начали складывать из них стену. Вскоре передняя стена поднялась на высоту пяти футов. Она была почти такой же толщины: материала было хоть отбавляй, а постройку следовало сделать как можно прочнее, чтобы она могла продержаться несколько дней. Часов через восемь были возведены все четыре стены. С южной стороны находился вход. Домик был покрыт парусиновым тентом, который свешивался над входом и полностью его закрывал. Оставалось только наложить сверху большие куски льда, которые должны были служить кровлей этому недолговечному строению.

Еще три часа изнурительного труда, и домик был закончен; путники вошли в него, изнемогая от усталости, в состоянии, близком к отчаянию. Жан Корнбют еле волочил ноги. Воспользовавшись этим, Андрэ Васлинг заставил его дать слово, что он прекратит поиски.

Пенеллан не знал, какого святого молить о помощи. Он считал, что с их стороны будет величайшей подлостью бросить потерпевших аварию на произвол судьбы, пока еще не удостоверились в их гибели. Но, как ни старался он убедить в этом товарищей, все было напрасно.

Хотя и принято было решение возвращаться, все были так утомлены, что в течение трех дней нечего было думать о сборах в обратный путь.

Четвертого ноября Жан Корнбют решил зарыть в намеченном им месте на берегу часть продуктов, без которых они могли обойтись. Над складом был оставлен опознавательный знак на случай, если паче чаяния будут предприняты новые розыски в этих местах. По дороге сюда он оставлял такого рода склады каждые четыре дня, чтобы обеспечить отряду питание на обратном пути и не везти лишний груз в санях.

Выступить должны были 5 ноября в 10 часов утра. Все члены маленького отряда находились в глубочайшем унынии. Мари с трудом сдерживала слезы, видя, какое отчаяние овладело ее дядюшкой. Столько напрасных мучений! Столько потрачено даром сил! Пенеллан выходил из себя. Он посылал всех к черту и не переставая возмущался слабостью и малодушием своих товарищей. Он уверял, что они менее выносливы и куда трусливее, чем Мари, которая без единого слова жалобы готова была пойти на край света.

Андрэ Васлинг с трудом скрывал свою радость. Он все время вертелся возле молодой девушки и успокаивал ее, говоря, что весной можно будет предпринять новые поиски. Он отлично знал, что весной эти розыски будут уже не нужны.

ГЛАВА 10

ЗАЖИВО ПОГРЕВЕННЫЕ

Накануне выступления, пока товарищи ужинали, Пенеллан раскалывал на топливо пустые ящики. Вдруг он почувствовал, что задыхается от густого дыма. В этот миг

домик содрогнулся, словно от подземного толчка. Все вскрикнули от испуга. Пенеллан выбежал из домика.

Кругом царил непроглядный мрак. Оттепели еще не было и в помине. В ледяных просторах свирепствовала пурга. Яростно кружились снежные вихри. Мороз был жестокий, и у рулевого мгновенно заledenели руки. Быстро растерев руки и лицо снегом, он вернулся в помещение.

— Вот так буря! — проговорил он. — Дай бог, чтобы наш домик уцелел. Если ураган снесет его, мы погибли.

Из-подо льда доносился ужасающий гул. Обломки разбившихся о скалистый выступ ледяных глыб сталкивались с оглушительным грохотом, громоздились друг на друга. Ветер налетал бешеными порывами, и порой казалось, что он вот-вот снесет хижину. По временам снежные вихри пронизывались вспышками фосфорического света, — странное явление, которое до сих пор еще не поддается объяснению.

— Мари, Мари! — крикнул Пенеллан, хватая за руки молодую девушку.

— Плохо наше дело, — пробормотал Фидель Мизон.

— Да, едва ли нам удастся выпутаться из беды, — отозвался Опик.

— Уйдем отсюда! — предложил Андрэ Васлинг.

— Это невозможно, — возразил Пенеллан. — Там лютый мороз, и только здесь мы можем спастись от него.

— Дайте-ка мне термометр, — сказал Андрэ Васлинг.

Опик передал ему инструмент. Термометр показывал -10° , несмотря на разведенный огонь. Андрэ Васлинг приподнял парусину над входом и быстро высунул термометр наружу, остерегаясь, как бы ему не поранили руку ледяные осколки, градом сыпавшиеся сверху.

— Ну как, господин Васлинг? — спросил Пенеллан. — Вы все еще собираетесь уходить отсюда? Теперь

вы убедились, что здесь мы в относительной безопасности?

— Да, да, — подхватил Жан Корнбют. — И надо как можно лучше укрепить наш дом.

— Вы забываете, что здесь нам угрожает другая, еще более серьезная опасность, — возразил Андрэ Васлинг.

— Какая же? — удивился Жан Корнбют.

— А вот какая. Буря может взломать лед, на котором мы находимся, ведь она взломала льды возле мыса, и тогда нас отнесет далеко в сторону или же мы попросту утонем.

— Это, по-моему, маловероятно, — возразил Пенеллан. — При таком морозе вода не может не замерзнуть. Посмотрим, какова температура.

Он приподнял парусину, осторожно высунул руку и некоторое время искал термометр в снегу. Наконец ему удалось его нащупать. Поднеся термометр к лампе, он объявил:

— Тридцать два градуса ниже нуля! Такого холода до сих пор еще не было.

— Еще десять градусов, — добавил Андрэ Васлинг, — и ртуть замерзнет.

Наступила зловещая тишина.

Около восьми часов утра Пенеллан решил еще раз выйти из хижины, посмотреть, что делается снаружи. К тому же необходимо было выпустить дым, который ветер несколько раз загонял обратно в хижину. Моряк закутался в плащ, крепче привязал носовым платком капюшон и приподнял парусину.

Вход был плотно забит снегом. Схватив палку с металлическим наконечником, Пенеллан попытался вонзить ее в плотную снежную массу. Каков же был его ужас, когда он почувствовал, что железный наконечник палки упирается в твердый лед.

— Корнбют, — сказал он подошедшему к нему капитану, — мы погребены под снегом.

— Что ты говоришь! — вскричал Жан Корнбют.

— Я говорю, что мы заживо погребены под огромным обледеневшим сугробом.

— Попробуем отодвинуть эту груды снега, — ответил капитан.

Друзья изо всех сил налегли на сугроб, заваливший вход, но сдвинуть его с места не было никакой возможности. Вероятно, домик был покрыт слоем льда толщиной футов в пять.

У Жана Корнбюта вырвалось громкое восклицание. Это разбудило Мизона и Андрэ Васлинга. Помощник капитана выругался, и лицо его исказилось от ужаса. В этот миг густая волна дыма заполнила помещение.

— Проклятье! — крикнул Мизон. — Печная труба забита льдом.

Пенеллан опять схватил палку и стал разламывать печь, предварительно набросав в очаг снега, чтобы затушить пламя. Но тут поднялся такой дым, что свет лампы еле пробивался сквозь его густую завесу. Пенеллан попробовал было прочистить дымоход, но палка по-прежнему наталкивалась на лед.

Люди были обречены на ужасную смерть после долгой и мучительной агонии. Дым, проникая в дыхательные пути несчастных, причинял им невыносимую боль, дышать становилось все труднее.

Проснулась Мари. При виде девушки Жан Корнбют совсем приуныл, зато мужество вернулось к Пенеллану. Разве он мог допустить, чтобы бедное дитя погибло такой ужасной смертью!

— Что это? — удивилась девушка. — Вы развели слишком сильный огонь? Домик полон дыма.

— Да, да, — пробормотал в замешательстве рулевой.

— Как хорошо вы натопили, — продолжала Мари. — Давно у нас не было так тепло.

Никто не решился открыть ей правду.

— Ну, Мари, — сказал Пенеллан нарочито бодрым тоном, — помоги нам приготовить завтрак. Выходить нельзя — слишком холодно. Вот спиртовка, вот спирт, вот кофе. А что, ребята, не закусить ли нам сперва пеммиканом? При такой дьявольской погоде нечего и думать об охоте.

Его слова несколько подбодрили товарищей.

— Сперва подкрепимся, — прибавил Пенеллан, — а потом постараемся выбраться отсюда.

Пенеллан первый проглотил свою порцию. Товарищи последовали его примеру, запив свой скудный завтрак чашкой горячего кофе. Все заметно подбодрились. Жан Корнбют, со свойственной ему энергией, хотел тотчас же взяться за дело, но Андрэ Васлинг заметил:

— Если буря все еще продолжается, — а это вполне вероятно, — то мы, наверное, находимся под слоем льда не менее десяти футов толщиной. Снаружи не доносится ни единого звука.

Пенеллан взглянул на Мари. Девушка поняла, в чем дело, но даже не вздрогнула.

Накалив докрасна над пламенем спиртовки металлический наконечник своей палки, Пенеллан попытался вонзить ее в ледяные стены, но ни в одну из них она так и не вошла. Тогда Жан Корнбют предложил проделать выход через дверное отверстие. Лед оказался до того крепким, что нож с трудом в него вонзился. Вскоре все помещение было завалено обломками льда, которые кое-как удавалось отколоть. После двух часов изнурительного труда был прорыт туннель всего в каких-нибудь три фута длиной.

Необходимо было придумать более быстрый и безо-

пасный способ, ибо чем дальше продвигались по туннелю, тем тверже становился лед, и приходилось бить с такой силой, что от толчков мог обрушиться домик. Пенеллану пришлось в голову попробовать растопить лед с помощью спиртовки. Это была довольно рискованная затея, так как запас спирта у них был невелик, и, если бы их заключение затянулось, могло не хватить спирта для приготовления пищи. Однако предложение Пенеллана приняли и тотчас же привели в исполнение. Первым делом вырыли яму глубиной в три фута и диаметром в один фут, куда должна была собираться вода, образующаяся при таянии льда. Эта предосторожность была далеко не лишней, так как под действием огня снег начал быстро таять.

Туннель постепенно углублялся, но подолгу работать со спиртовкой не приходилось, так как у работающих быстро намокала одежда. Через четверть часа Пенеллан был вынужден прекратить работу, чтобы немного обсохнуть. На его место встал Мизон, который принялся за дело с не меньшей энергией. Через два часа туннель достиг уже пяти футов в длину. Однако палка по-прежнему упиралась в лед.

— Едва ли за одну ночь могло выпасть столько снега, — заметил Жан Корнбют. — Очевидно, этот сугроб намело ветром с одной стороны. Не попробовать ли нам прорыть выход в другом месте?

— Не знаю, право, — сказал Пенеллан. — Но мне думается, нам нужно продолжать начатую работу, а не то наши товарищи совсем падут духом. Мы должны во что бы то ни стало выбраться отсюда.

— А спирта нам хватит? — спросил капитан.

— Думаю, хватит, — ответил Пенеллан. — Только, может быть, придется отказаться от горячего кофе. Но,

по правде сказать, меня сейчас беспокоит не это, а совсем другое.

— Что же такое, Пенеллан? — спросил Жан Корнбют.

— А то, что скоро из-за недостатка масла погаснет наша лампа, да и запасы провизии подходят к концу. Но будь что будет!

И Пенеллан пошел сменить Андрэ Васлинга, который трудился наряду с остальными.

— Господин Васлинг, — сказал он, — я встану вместо вас, но смотрите в оба, как бы не произошло обвала. При малейшей угрозе дайте мне знать, чтобы вовремя предупредить беду.

Наступило время отдыха, и Пенеллан, удлинив туннель еще на один фут, улегся рядом с товарищами.

ГЛАВА 11

ДЫМОК

На следующее утро, когда моряки проснулись, в домике царил непроглядный мрак. Лампа погасла. Жан Корнбют разбудил Пенеллана и попросил у него огниво, которое тот ему и передал. Пенеллан встал, чтобы зажечь спиртовку, но, поднимаясь, ударился головой о ледяной потолок. Это испугало его: еще накануне он мог стоять в помещении во весь рост. При бледном свете спиртовки он увидел, что потолок опустился примерно на один фут.

Пенеллан с ожесточением принялся за работу. Как ни слаб был свет спиртовки, молодая девушка, взглянув на суровое лицо рулевого, поняла, что он уже начинает впадать в отчаяние. Она подошла к нему, взяла его за руку и с нежностью ее пожалала. Тотчас мужество снова вернулось к Пенеллану.

— Она не должна погибнуть! — воскликнул он и, захватив спиртовку, снова пополз в узкий коридор. Потом он с размаху вонзил палку в ледяную толщу и на этот раз уже не почувствовал сопротивления.

Может быть, они уже добрались до слоев рыхлого снега?

Пенеллан выдернул палку, и мгновенно луч света ворвался в ледяную хижину.

— Ко мне, друзья мои! — закричал Пенеллан.

Работая руками и ногами, он быстро разрыл наружный слой снега, который, как он думал, не был покрыт ледяной коркой. Но вместе с потоками света в хижину ворвалась волна морозного воздуха. Пенеллан, орудуя ломом, расширил отверстие и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Выбравшись наружу, он упал на колени и стал горячо благодарить создателя за их спасение. К нему присоединились и остальные.

Кругом все было залито лунным сиянием. Мороз был трескучий, моряки не могли долго оставаться под открытым небом и вернулись в ледяной дом. Но Пенеллан, прежде чем войти в хижину, огляделся по сторонам. Скалистого мыса больше не было. Ледяной дом находился среди беспредельной ледяной равнины. Пенеллан направился было в ту сторону, где стояли сани с провизией. Сани исчезли!

Холод заставил Пенеллана войти в хижину. Он ничего не сказал своим товарищам. Прежде всего следовало просушить над спиртовкой одежду. Термометр, на секунду выставленный наружу, показал -30° .

Через час Андрэ Васлинг и Пенеллан решили снова выйти наружу. Одежда на них еще не просохла. Закутавшись в еще сырые плащи, они выбрались через прорытый ими туннель, стены которого уже стали твердыми, как камень.

— Как видно, нас отнесло к северо-востоку, — заметил Андрэ Васлинг, пытаясь ориентироваться по звездам.

— Это бы еще не беда, если бы у нас были сани.

— Как, сани пропали? — воскликнул Андрэ Васлинг. — Тогда мы погибли!

— Будем искать, — отвечал Пенеллан.

Васлинг и Пенеллан обошли вокруг хижины. Она превратилась в ледяную глыбу высотой более пятнадцати футов. Во время пурги единственное возвышение на равнине было замечено снегом. Ледяная тюрьма, в которой были заживо погребены путники, вместе с обломками льдов была отнесена миль на двадцать пять к северо-востоку. Сани, оказавшиеся на другой льдине, без сомнения были унесены в другую сторону, так как их нигде не было видно. А собаки, скорее всего, погибли во время бури.

Отчаяние овладело Васлингом и Пенелланом. У них не хватало духа вернуться в дом и сообщить ужасную новость товарищам по несчастью. Они решили взобраться на ледяной холм, образовавшийся над хижинной, и еще раз внимательно осмотреть окрестности, но и оттуда не было видно ничего, кроме беспредельной белой равнины. Вскоре у них начали замерзать руки и ноги, а влажная одежда покрылась сосульками. Спускаясь с ледяного холма, Пенеллан случайно взглянул на Андрэ Васлинга и заметил, что тот пристально всматривается в даль; вот он вздрогнул и побледнел.

— Что это с вами, господин Васлинг? — спросил Пенеллан.

— Так, ничего, — ответил помощник капитана. — Спустимся вниз и поскорее уйдем отсюда. Ведь нам здесь все равно ничего не найти.

Но Пенеллан не последовал совету Васлинга; он снова взобрался на холм и стал всматриваться в ту сто-

рону, куда только что глядел помощник капитана. То, что он увидел, произвело на него совсем иное впечатление.

— Слава тебе господи! — радостно воскликнул он.

На северо-востоке он заметил поднимавшийся к небу дымок. Сомнений не было — там находились люди. Услышав радостный возглас Пенеллана, все выбежали из хижины и собственными глазами убедились, что рулевой сказал правду. Не теряя ни минуты, позабыв о голоде, на свирепом морозе, все, нахлобучив капюшоны, быстрыми шагами направились к северо-востоку, где виднелся дымок. Им предстояло пройти по крайней мере миль пять. Было чрезвычайно трудно придерживаться намеченного направления. Внезапно дымок исчез, а впереди не было ни одного возвышения, которое могло бы служить ориентиром среди ледяной пустыни. Как тут не сбиться с пути?

— Вот беда — не на что нам ориентироваться, — сказал Жан Корнбют. — Придется вот что сделать: Пенеллан пойдет впереди, за ним в двадцати шагах — Васлинг, я — в двадцати шагах от Васлинга. Таким образом, я сразу увижу, если Пенеллан отклонится от прямой линии.

Так шагали они добрых полчаса. Вдруг Пенеллан остановился и стал прислушиваться.

— Вы ничего не слышите? — спросил старик, когда товарищи подошли к нему.

— Решительно ничего, — ответил Мизон.

— Как странно! — продолжал Пенеллан. — Мне показалось, что я только что слышал какие-то крики, — они доносились вон с той стороны.

— Крики? — воскликнула молодая девушка. — Так, значит, мы недалеко от цели.

— Это ровно ничего не значит, — ответил Андрэ Вас-

линг. — На Крайнем Севере при сильном морозе звуки слышны на большом расстоянии.

— Что бы там ни было, — сказал Жан Корнбют, — идемте вперед, а не то мы замерзнем.

— Нет, — возразил Пенеллан. — Пойдите минутку и прислушайтесь.

В самом деле, в этот момент издали донеслись слабые, но совершенно отчетливые крики. Казалось, это были вопли страдания и тоски. Они повторялись вновь и вновь. Можно было подумать, что кто-то взывает о помощи. Потом крики затихли, и воцарилась мертвая тишина.

— Я не ошибся, — сказал Пенеллан. — Вперед!

И он бросился бежать в том направлении, откуда доносились крики. Так он пробежал около двух миль. Каково же было его удивление, когда внезапно он увидел перед собой человека, лежащего на снегу. Пенеллан подбежал к лежавшему, приподнял ему голову и в ужасе поднял руки к небу.

В следующий миг подбежали Андрэ Васлинг и матросы.

— Это один из наших! Матрос Кортруа! — крикнул Васлинг.

— Он умер, — проговорил Пенеллан. — Замерз...

Когда подошли Жан Корнбют и Мари, труп уже успел заледенеть. Все лица выражали отчаяние. Погибший был одним из спутников Луи Корнбюта!

— Вперед! — крикнул Пенеллан.

Еще полчаса путники шли в мрачном молчании. Но вот вдалеке показалось какое-то возвышение, очевидно, то была земля.

— Это остров Шаннон, — заявил Жан Корнбют.

Пройдя еще милю, они увидели дымок, поднимающийся над снежной хижинкой. Вскоре можно было раз-

глядеть в стене хижины деревянную дверь. Тут все стали громко кричать. На их крики из хижины выбежали двое мужчин. Пенеллан сразу узнал Пьера Нукэ.

— Пьер! — воскликнул он.

Нукэ стоял в каком-то странном оцепенении, как будто не понимая, что происходит вокруг него.

Андрэ Васлинг с беспокойством всматривался в спутника Пьера Нукэ; в глазах его блеснула радость: это не был Луи Корнбют.

— Пьер! Это я! — кричал Пенеллан. — Посмотри, здесь твои друзья!

Наконец Пьер Нукэ опомнился и в порыве радости бросился в объятия своего старого товарища.

— А мой сын? А Луи? — вскричал Жан Корнбют, и в голосе его прозвучала смертельная тревога.

ГЛАВА 12

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КОРАВЛЬ

В этот момент из хижины вышел человек. Пошатываясь от слабости, он побрел по снегу навстречу путникам, у него был вид умирающего. Это был Луи Корнбют.

— Сын мой!

— Любимый мой!

Эти два восклицания раздались одновременно. Луи Корнбют упал без сознания, но Жан Корнбют и молодая девушка успели его подхватить и, втащив Луи в хижину, привели его в чувство.

— Отец! Мари! — пробормотал Луи Корнбют. — Все-таки я увидел вас перед смертью.

— Ты не умрешь! — сказал Пенеллан. — Ведь с тобой друзья.

Как видно, Андрэ Васлинг крепко ненавидел Луи Корнбюта, он даже не протянул ему руки.

Пьер Нукэ не помнил себя от радости. Он обнимал всех подряд. Затем он подбросил в печку дров, и вскоре в помещении стало значительно теплее.

В хижине находились еще двое незнакомцев. Это были норвежские матросы, Джокки и Херминг, только они и уцелели из экипажа «Фрейерна».

— Друзья мои! Так, значит, мы спасены, — проговорил Луи Корнбют. — Отец! Мари! Сколько лишений вам пришлось перенести, дорогие мои!

— Мы ничуть не жалеем об этом, Луи, — ответил Жан Корнбют. — Ты знаешь, твой бриг «Юный смельчак» прочно засел во льдах милях в шестидесяти отсюда. Мы вернемся туда все вместе.

— То-то обрадуется Кортруа! Он скоро вернется, — сказал Пьер Нукэ.

Слова его были встречены гробовым молчанием. Затем Пенеллан сообщил Пьеру Нукэ и Луи Корнбюту о гибели их товарища, которого они нашли замерзшим на снегу.

— Знаете что, друзья мои, — сказал Пенеллан. — Нам придется обождать, пока спадут морозы. Есть у вас провизия и топливо?

— Пока что есть. Мы топим печку обломками «Фрейерна».

Оказывается, шхуну «Фрейерн» отнесло в сторону острова Шаннон. Затем корабль был раздавлен плавающими льдами, и потерпевшие крушение вместе с обломками шхуны были выброшены на восточное побережье острова; из этих обломков они и построили себе хижину.

В живых остались только пять человек: Луи Корнбют,

Кортруа, Пьер Нукэ, Джокки и Херминг. Остальные матросы, пересевшие с корабля на шлюпку, погибли.

Когда Луи Корнбют увидел, что льды, среди которых он очутился, начинают смыкаться со всех сторон, он стал энергично готовиться к зимовке. Луи отличался незаурядным мужеством и предприимчивостью. И все-таки организм его не выдержал лютого полярного климата, и когда отец наконец разыскал его, молодой человек был на волосок от смерти. Все это время ему приходилось не только бороться с бурями и холодами, но и преодолевать сопротивление норвежских матросов, которые относились к Луи враждебно, хотя и были обязаны ему жизнью. Этим грубым существам были недоступны человеческие чувства.

Отозвав в сторону Пенеллана, Луи Корнбют посоветовал ему остерегаться норвежцев. Пенеллан в свою очередь рассказал ему о поведении Андрэ Васлинга. Луи не верил своим ушам, он не ожидал от Васлинга такого коварства и был потрясен рассказом старого рулевого.

Этот радостный день был посвящен отдыху. Не отходя от дому (удаляться от него было опасно), Фидель Мизон и Пьер Нукэ подстрелили несколько морских птиц. Свежее мясо и тепло очага, куда беспрерывно подбрасывали дрова, быстро вернули силы самым больным и слабым. Даже Луи Корнбют почувствовал себя значительно лучше. То была первая радость, которую довелось испытать этим славным людям за все время путешествия. В жалкой хижине, затерянной среди льдов, в шестистах лье от побережья Северного моря, был настоящий праздник. Позабыли даже о жестоком тридцатиградусном морозе.

Холода стали спадать, когда луна во вторую половину месяца пошла на убыль. Только 17 ноября, то есть через

восемь дней после встречи с Луи, можно было выступить в путь. Правда, луны не было на небе, и приходилось идти при свете звезд, но значительно потеплело и даже выпало немного снега.

Перед тем как покинуть эти места, похоронили беднягу Кортруа. С тяжелым чувством совершили зимовщики этот печальный обряд.

Для перевозки провизии Мизон соорудил сани, вытащив доски из стен хижины. Сани тащили поочередно. Жан Корнбют повел отряд по прежнему пути. Во время остановок поспешно разбивали лагерь. Жан Корнбют надеялся разыскать оставленные им склады провизии, которые теперь были бы как нельзя более кстати — ведь приходилось кормить еще четырех человек.

Благодаря счастливой случайности Жан Корнбют нашел сани: они застряли в сугробе недалеко от мыса, возле которого разыгралась катастрофа. Изголодавшиеся собаки сначала изгрызли ременную упряжь, а затем принялись за уложенные в санях продукты. Благодаря этому они уцелели. В санях еще оставалось порядочное количество провизии.

Собак запрягли в сани, и маленький отряд тронулся дальше. Никаких особых происшествий на протяжении дальнейшего пути не было. Но вскоре заметили, что Опик, Андрэ Васлинг и норвежцы держатся особняком и перешептываются между собой. За ними стали незаметно наблюдать. Поведение их беспокоило Луи Корнбюта и Пенеллана — дело пахло бунтом.

К седьмому декабря, через тридцать дней после встречи, путники достигли бухты, где зимовал «Юный смельчак».

К своему великому удивлению, они увидели бриг на вершине ледяных глыб, на высоте добрых четырех мет-

ров над уровнем моря. В страшной тревоге за товарищей они бросились к судну, но их встретили радостными возгласами Жервик, Тюркьет и Градлен. Все трое были совершенно здоровы, хотя им также пришлось испытать немало напастей.

Страшная буря пронеслась над полярным морем и взломала сковавший его лед. Отколовшиеся льдины взгромозились друг на друга и приподняли корабль.

В первые минуты путешественники не помнили себя от радости. На корабле все было в порядке. Это обещало им хотя и нелегкую, но вполне сносную зимовку. Бриг ничуть не пострадал от давления льдов. С наступлением оттепели зимовщикам предстояло только осторожно спустить его по наклонной плоскости в освобожденную ото льда воду.

Лишь одна печальная новость омрачила радость Жана Корнбюта и его товарищей. Во время ужасной бури склад, построенный из снега на берегу, был разрушен до основания. Ураган разметал все запасы хранившихся на складе продуктов, и не удалось решительно ничего спасти. Услыхав об этом несчастье, Жан и Луи Корнбюты наведались в трюм и в камбуз, чтобы узнать, на что им можно рассчитывать.

Оттепель должна была наступить только в мае, и до этого времени бриг не мог выйти из бухты, где он зимовал. Таким образом предстояло провести среди льдов пять долгих месяцев, в течение которых экипажу, состоявшему теперь из четырнадцати человек, необходимо было чем-то питаться. Произведя подсчет припасов, Жан Корнбют увидел, что, даже если они перейдут на половинный паек, им не хватит продуктов до весны. Все надежды возлагались на охоту.

Из опасения, как бы беда не повторилась, решили больше не складывать продукты на берегу, а оставить их

в трюме. Постели для вновь прибывших устроили в кубрике. Во время отсутствия товарищей Тюркьет, Жервик и Градлен вырубали во льду ступени, по которым без труда можно было взбираться на палубу корабля.

ГЛАВА 13

СОПЕРНИКИ

Андрэ Васлинг быстро сдружился с норвежскими матросами. Вскоре к ним присоединился и Опик. Они держались обособленно и открыто выражали неудовольствие новыми порядками. Но Луи Корнбют, которому отец передал командование бригом, и не думал мириться с таким положением вещей. Несмотря на совет Мари действовать как можно осторожнее, он заявил, что требует беспрекословного повиновения. Однако дня через два норвежцы захватили ящик с солониной. Луи Корнбют приказал возвратить ящик, но Опик выступил в защиту норвежцев, а Андрэ Васлинг заявил, что они больше не намерены голодать.

Невозможно было им доказать, что капитан действует в общих интересах. Впрочем, они это прекрасно понимали и искали только предлога для мятежа. Пенеллан направился было к норвежцам, но те выхватили ножи; только с помощью Мизона и Тюркьета Пенеллану удалось их обезоружить и отобрать у них ящик с солониной. Андрэ Васлинг и Опик сделали вид, что они тут ни при чем. Но все же Луи Корнбют отозвал помощника в сторону и сказал:

— Андрэ Васлинг, вы негодяй. Мне известно ваше поведение, и я знаю, чего вы добиваетесь. Но я отвечаю за жизнь всего экипажа и собственной рукой убью всякого, кто будет нам вредить.

— Луи Корнбют, — ответил помощник капитана. — Вы можете сколько угодно разыгрывать хозяина, — но знайте, что ни начальников, ни подчиненных здесь больше нет. Здесь распоряжается тот, кто сильнее.

Молодая девушка до сих пор не падала духом перед лицом опасностей, но эта ненависть, причиной которой была она сама, привела ее в ужас. Даже мужество Луи Корнбюта не могло ее успокоить. Несмотря на открытую вражду, все обедали и ужинали в определенные часы и по-прежнему вместе. Пока еще удавалось иногда подстрелить снежного тетерева или полярного зайца, но с наступлением сильных холодов они должны были исчезнуть.

Двадцать второго декабря, в день зимнего солнцестояния, начались морозы. В этот день ртуть в термометре упала до -35° . Зимовщики начали испытывать сильную боль в ушах, в носу, в голове, ныли конечности. Все погрузились в какое-то оцепенение. Дышать становилось все труднее. В таком состоянии нечего было и думать об охоте или хотя бы о прогулке. Зимовщики неподвижно сидели вокруг чуть теплой печки; стоило от нее отойти, как человек начинал мерзнуть.

Здоровье Жана Корнбюта окончательно расстроилось, и он уже не выходил из своей каюты. Вскоре у него появились все признаки цинги, ноги его покрылись беловатыми пятнами. Молодая девушка была здорова и самоотверженно ухаживала за больными, как сестра милосердия. Добрые моряки благословляли ее.

Первое января было для зимовщиков одним из самых тяжелых дней. Ветер дул с невероятной силой, стоял лютый мороз. Невозможно было выглянуть наружу. Даже самые храбрые и сильные вынуждены были отказаться от сколько-нибудь продолжительных прогулок на палубе, хотя она и была защищена тентом. Жан Корнбют, Жер-

вик и Градлен не поднимались с коек, Опик, Андрэ Васлинг и его сообщники чувствовали себя значительно лучше остальных и бросали свирепые взгляды на слабеющих товарищей. Однажды Луи Корнбют вызвал Пенеллана на палубу и попросил показать ему запасы топлива.

— Уголь мы сожгли давным-давно, — ответил Пенеллан, — а дрова кончаются на днях.

— Если мы не раздобудем топлива, — сказал Луи Корнбют, — мы погибли.

— Единственное, что нам остается, — ответил Пенеллан, — это пустить на топливо все деревянные части корабля, от фальшбортов до самой ватерлинии. В крайнем случае придется разобрать даже весь корпус корабля, а позже построить новый бриг, поменьше.

— Это крайняя мера, — ответил Луи Корнбют. — Мы всегда успеем это сделать, когда наши люди немного поправятся. Но вот что меня удивляет, — добавил он шепотом, — мы быстро теряем силы, а у наших врагов сила с каждым днем все прибавляется.

— Это верно, — согласился Пенеллан. — И если мы не будем следить за ними день и ночь, то дело может кончиться плохо.

— А теперь, — сказал Луи Корнбют, — возьмем топоры и попробуем раздобыть дров.

Несмотря на трескучий мороз, моряки взобрались на носовой фальшборт и срубили все деревянные части, без которых корабль мог обойтись. Вернувшись с новым запасом дров, они растопили печь, и один из зимовщиков остался следить за огнем.

Вскоре Луи Корнбют и его друзья оказались в довольно затруднительном положении. Они не могли доверить своим врагам ни одного, даже самого незначительного дела и обо всем должны были заботиться сами. Силы их быстро падали. Жан Корнбют слег, он жестоко страдал

от цинги. Вслед за ним заболели Жервик и Градлен. Если бы не благотворное действие лимонного сока, который им давали в изобилии, несчастные наверняка не выдержали бы этих страданий.

Но пятнадцатого января, когда Луи Корнбют спустился в трюм, чтобы взять несколько лимонов, он остолбенел от изумления: бочонки с лимонами исчезли. Отыскав Пенеллана, он сообщил ему о новом несчастье. Была совершена кража, и виновников нетрудно найти. Теперь Луи Корнбют понял, почему здоровье его врагов ничуть не пошатнулось. Но друзья его так ослабели, что не могли помочь ему вернуть лимоны, от которых зависела их жизнь. В первый раз за все это время Луи Корнбют пришел в отчаяние.

ГЛАВА 14

ВЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Двадцатого января почти никто из зимовщиков не мог встать с постели. Шерстяные одеяла и буйволодые шкуры до известной степени защищали их от холода, но стоило высунуть руку из-под одеяла, как начинались такие жестокие боли, что приходилось немедленно прятать ее. Однако, когда Луи Корнбют затопил печь, Пенеллан, Мизон и Андрэ Васлинг встали и подошли к огню. Приготовленный Пенелланом горячий кофе несколько подбодрил моряков. Мари тоже встала и выпила кофе.

Луи Корнбют подошел к постели своего отца. Ноги старого моряка были поражены болезнью, и он лежал почти без движения. С болью в сердце слушал Луи его бессвязное бормотание.

— Луи, — говорил он, — я умираю! О, какая мука! Спаси меня!

Луи Корнбют больше не раздумывал. Он подошел к помощнику капитана и, едва владея собой, спросил:

— Вы знаете, где лимоны, Васлинг?

— Должно быть, в трюме, — ответил тот, ничуть не смущаясь.

— Вы прекрасно знаете, что там их нет, потому что вы их украли.

— Вы здесь хозяин, Луи Корнбют, — насмешливо ответил Андрэ Васлинг. — Вы можете говорить и делать, что вам заблагорассудится.

— Сжальтесь над моим отцом, Васлинг, он умирает. Только вы можете его спасти. Отвечайте же!

— Мне нечего вам сказать, — проговорил Андрэ Васлинг.

— Негодяй! — закричал Пенеллан, бросаясь на помощника капитана с ножом в руке.

— Ко мне, друзья! — крикнул в свою очередь Васлинг, пятась назад.

Опик и норвежские матросы спрыгнули с коек и встали позади него. Мизон, Тюркбет, Пенеллан и Луи Корнбют приготовились к защите. Пьер Нукэ и Градлен, несмотря на болезнь, пришли к ним на помощь.

— Пока еще вы слишком сильны для нас, — проворчал Андрэ Васлинг. — Мы будем бить только наверняка.

Моряки до того ослабли, что не решились сразиться с четырьмя негодьями, так как в случае неудачи их ожидала верная гибель.

— Андрэ Васлинг, — мрачно сказал Луи Корнбют, — если мой отец умрет, в его смерти будешь виновен ты, и я убью тебя как собаку.

Андрэ Васлинг и его сообщники молча отошли на другой конец кубрика.

Тем временем топливо кончилось, и Луи Корнбют, несмотря на холод, снова поднялся на палубу и принялся

рубить фальшборт. Однако через четверть часа холод заставил его спуститься. Перед тем как войти в кубрик, он взглянул на наружный термометр. Ртуть замерзла. Это означало, что температура воздуха была ниже 42°. Воздух был чист и сух. Ветер дул с севера.

Двадцать шестого января направление ветра изменилось. Теперь он дул с северо-востока. Наружный термометр показывал -35°. Жан Корнбют был в агонии. Сын напрасно старался как-нибудь облегчить его страдания. Однако в тот же день Луи Корнбюту удалось вырвать из рук Андрэ Васлинга лимон. Он набросился на негодея в ту минуту, когда тот собирался отправить лимон в рот. Андрэ Васлинг и пальцем не шевельнул, чтобы вернуть лимон. Очевидно, он считал, что еще не пришло время действовать.

Лимонный сок несколько помог Жану Корнбюту, но лечение необходимо было продолжать. Молодая девушка на коленях умоляла Андрэ Васлинга дать несколько лимонов, но тот даже ей ничего не ответил. Вскоре Пенеллан услышал, как негодей говорил своим товарищам:

— Старик протянет недолго. Не лучше обстоит дело с Жервиком, Градленом и Пьером Нукэ. Остальные также слабеют с каждым днем. Скоро все они будут в наших руках.

Луи Корнбют и его друзья решили действовать, пока у них еще оставались какие-то силы. Они понимали, что если не расправятся с негодеями, те непременно их уничтожат.

Между тем температура воздуха немного повысилась, и Луи Корнбют решил выйти наружу. В надежде подстрелить какую-нибудь дичь он захватил ружье. Незаметно он удалился от брига на три с лишним мили, — гораздо дальше, чем предполагал. Это было небезопасно, так как на снегу виднелись следы диких зверей. Однако Луи

Корнбюту не хотелось возвращаться без дичи, и он шел все дальше. Вдруг он начал испытывать какое-то неприятное чувство, похожее на дурноту, это было так называемое «головокружение от близизны».

Действительно, куда бы Луи ни бросил взгляд, повсюду он видел только блестящую ледяную равнину. Эта белизна ослепляла капитана, его начинало мутить, он терял ориентацию. Ему казалось, что он сходит с ума. Не понимая, что с ним творится, Луи Корнбют шел вперед. Вскоре ему посчастливилось поднять белую куропатку, и он с увлечением преследовал ее, пока не подстрелил. Чтобы скорее схватить упавшую на снег птицу, Луи Корнбют спрыгнул с ледяного холмика и упал на снег. Луи думал, что холмик совсем низенький, а он оказался высотой в десять футов. К счастью, Луи не ушибся, хотя головокружение усилилось после падения. Бессознательно он стал звать на помощь; несколько минут он пролежал на снегу. Наконец он почувствовал, что коченеет от холода, и, опасаясь замерзнуть, с трудом поднялся на ноги.

Внезапно Луи Корнбюту почудился запах горелого жира. Ветер дул со стороны корабля, и, по-видимому, запах доносился оттуда. Однако Луи было непонятно, зачем на корабле жгли жир. Во всяком случае, это было чрезвычайно опасно, так как запах горелого жира мог привлечь белых медведей.

Луи Корнбют направился обратно к бригу; его волнение вскоре перешло в страх. Ему стало мерещиться, что огромные массы льда на горизонте пришли в движение, и он спрашивал себя, не начинают ли снова колебаться льды. Некоторые из этих движущихся ледяных глыб очутились между ним и бригом, и ему показалось, что они уже приближаются к кораблю. Луи остановился и стал присматриваться. Им овладел смертельный ужас, когда

он понял, что движущиеся ледяные глыбы не что иное, как стадо громадных белых медведей. Случилось то, чего он опасался: животных привлек запах горелого жира. Спрятавшись за ледяным торосом, Луи Корнбют стал наблюдать за зверями. Вскоре трое медведей начали карабкаться на ледяной холм, служивший ложем «Юному смельчаку».

Как видно, на корабле и не подозревали о грозившей опасности. Мучительная тревога сжала сердце Луи. Что предпринять? Как избавиться от страшного врага? Можно ли рассчитывать на помощь Андрэ Васлинга и его товарищей?.. Пенеллан и все товарищи, полуголодные, полумерзшие, смогут ли дать отпор свирепым хищникам? Не застигнет ли их врасплох нападение? Все это в одно мгновение пронеслось у него в голове. Тем временем медведи взобрались на возвышение и двинулись к кораблю. Луи вышел из-за тороса, за которым укрывался, и пополз к бригу. Приблизившись, он увидел, что огромные животные рвут тент своими страшными когтями и спрыгивают на палубу. Луи Корнбют хотел было выстрелом предупредить товарищей. Но что, если они выйдут на палубу безоружными! Звери мгновенно растерзают их на клочки! Между тем на корабле, по-видимому, и не подозревали о новой опасности.

ГЛАВА 15

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

После ухода Луи Корнбюта Пенеллан затворил за ним люк и возвратился к печке, у которой дежурил. Остальные улеглись на койки, чтобы хоть немного согреться.

Было шесть часов вечера, и Пенеллан решил заняться

приготовлением ужина. Он спустился в трюм за солонной, собираясь бросить ее в кипяток, чтобы она немного оттаяла. Когда он снова поднялся наверх, на его месте сидел Андрэ Васлинг и кипятил в котелке сало.

— Ведь я же сидел здесь раньше вас, — резко сказал Пенеллан. — Почему вы заняли мое место?

— Я готовлю себе ужин, — ответил Андрэ Васлинг.

— Сейчас же уходите, — заявил Пенеллан, — или будет плохо.

— Ничего мне не будет, — ответил Андрэ Васлинг. — Я хочу ужинать, и мне наплевать на вас.

— Вам едва ли придется поужинать, — крикнул Пенеллан, бросаясь на Андрэ Васлинга. Но тот, выхватив нож, закричал:

— Ко мне, норвежцы! Ко мне, Опики!

В один миг его сообщники подоспели к нему. Они были вооружены пистолетами и кинжалами. Как видно, этот маневр был заранее обдуман. Пенеллан бросился на Андрэ Васлинга, который, очевидно, хотел сразиться с ним один на один. Товарищи Васлинга подбежали к койкам, на которых лежали Мизон, Тюркьет и Пьер Нукэ; последний даже не в силах был сопротивляться. Но плотник схватил топор и, спрыгнув с койки, ринулся навстречу Опику. Тюркьет ожесточенно дрался с норвежцем Джокки. Жервик и Градлен были в таком тяжелом состоянии, что даже не вполне понимали, что происходит. Херминг живо справился с Пьером Нукэ, всадив ему в бок кинжал, и поспешил на помощь Васлингу, который схватил Пенеллана поперек тела.

В драке кто-то задел котелок с салом, тот опрокинулся, сало упало на раскаленные угли, и помещение мгновенно наполнилось удушливым смрадом. Проснувшаяся Мари с отчаянными воплями бросилась к постели умирающего Жана Корнбюта.

Андрэ Васлинг был слабее Пенеллана и вскоре почувствовал, что рулевой разжимает ему пальцы, пытаясь выхватить кинжал. Противники с такой силой сжали друг друга, что даже не могли пустить в ход оружие. Васлинг, заметив Херминга, закричал:

— Ко мне, Херминг!

— Ко мне, Мизон! — в свою очередь крикнул Пенеллан.

Но Мизон катался, схватившись с Опиком, который угрожал ему ножом. Топором было не так удобно защищаться, и Мизон с трудом отражал удары противника.

Лилась кровь, слышались стоны и вопли раненых. Тюркьет, сброшенный с койки на пол и раненный ножом в плечо, тщетно пытался выхватить пистолет из-за пояса у Джокки. Противник сдавил его словно железными тисками, и он не мог пошевелиться. На крики Андрэ Васлинга, прижатого к входной двери, подбежал Херминг. Но в тот миг, когда он собирался вонзить нож в спину бретонца, тот пинком ноги свалил его на пол. Андрэ Васлингу удалось высвободить правую руку из рук рулевого, однако дверь, на которую он навалился всей своей тяжестью, внезапно выскочила из проема, и Васлинг упал навзничь.

В то же время послышалось свирепое рычание, и на ступеньках трапа показался огромный медведь. Андрэ Васлинг первый заметил его. Медведь находился от него в каких-нибудь четырех футах, когда грянул выстрел, и раненый или испуганный зверь повернул назад; бросив Пенеллана, Васлинг ринулся вслед за медведем.

Рулевой быстро вставил дверь в проем и осмотрелся. Мизон и Тюркьет, крепко связанные и брошенные в угол, изо всех сил старались освободиться от уз. Пенеллан поспешил было к ним на помощь, но был отброшен норвежцем и Опиком. Силы начали изменять Пенеллану.

Навалившись на рулевого, противники так крепко его связали, что он не мог шевельнуться. Затем, услышав вопли помощника капитана, они бросились на палубу, решив, что вернулся Луи Корнбют и схватился с Васлингом.

Но Андрэ Васлинг боролся с медведем, которому успел нанести два удара ножом. Разъяренное чудовище било по воздуху огромными лапами, угрожая вот-вот схватить Васлинга. Прижатый к фальшборту, помощник капитана считал себя погибшим, как вдруг раздался второй выстрел, и медведь тяжело рухнул на палубу. Подняв голову, Андрэ Васлинг увидел на выбленках фокмачты Луи Корнбюта, в руках у которого было ружье. Пуля пронзила медведю сердце.

Однако ненависть, овладевшая Васлингом, была так велика, что заглушила в нем чувство признательности. Он огляделся по сторонам. Опик с проломленным черепом валялся на палубе. Джокки, вооруженный топором, боролся с медведем, убившим Опика. Раненый зверь яростно отбивался. К носовой части корабля приближался третий медведь.

Но Васлингу было не до него, вместе с Хермингом он бросился на выручку Джокки. Однако медведь уже основательно помял норвежца, и, когда Васлинг и Херминг свалили зверя выстрелами, в лапах у него оказался труп.

— Теперь нас только двое, — сказал Андрэ Васлинг с мрачным и свирепым видом. — Но мы дорого продадим свою жизнь.

Херминг молча зарядил пистолет. Прежде всего нужно было избавиться от третьего медведя. Андрэ Васлинг взглянул на нос корабля, но медведя там уже не было. Подняв глаза, он увидел его на вантах. Медведь карабкался по выбленкам, стараясь добраться до Луи Корнбюта. Андрэ Васлинг тотчас опустил ружье, которое он на-

правил было на животное, и его глаза блеснули жестокой радостью.

— Ага! — закричал он. — Вот кто отомстит за меня!

Однако Луи Корнбют перебрался на фор-марс. Медведь продолжал карабкаться. Он был уже в каких-нибудь шести футах от Луи, когда тот, вскинув ружье, прицелился в зверя. Тогда Андрэ Васлинг в свою очередь поднял ружье и прицелился в Луи, готовясь выстрелить, как только медведь будет убит. Луи Корнбют выстрелил, но, по-видимому, пуля не задела медведя. Сделав огромный прыжок, зверь очутился на фор-марсе. Мачта содрогнулась. Андрэ Васлинг вскрикнул от радости.

— Херминг! — крикнул он норвежцу. — Приведи сюда Мари! Приведи мою невесту!

Херминг спустился в кубрик.

Между тем разъяренное животное бросилось на Луи Корнбюта, которому удалось увернуться, спрятавшись за мачту. Лапа чудовища была уже над головой Луи Корнбюта, но тот, схватившись за фордун, соскользнул по нему на палубу; в этот миг у самого его уха просвистела пуля. Андрэ Васлинг выстрелил в него, но промахнулся.

И вот соперники очутились лицом к лицу, в руках у них сверкнули ножи. Этот поединок должен был решить все. Желая в полной мере насладиться мстостью и заколоть Луи в присутствии его невесты, Андрэ Васлинг лишил себя помощи Херминга и теперь должен был рассчитывать только на себя.

Луи Корнбют и Андрэ Васлинг, вцепившись друг другу в горло, на минуту застыли на месте. Один из них должен был погибнуть. Затем они стали наносить друг другу удары. Брызнула кровь, Андрэ Васлинг попытался свалить противника на палубу, но Луи Корнбют, зная, что,

кто падает, тот погибает, вовремя схватил его за руку, но при этом выронил кинжал.

В ту же минуту до него донеслись пронзительные вопли. Он узнал голос Мари, которую Херминг тащил на палубу. Ярость придала силы Луи Корнбюту, и он снова попытался свалить Васлинга. Вдруг оба они очутились в чьих-то могучих объятиях. Медведь, спустившийся в это время с фор-марса, кинулся на них.

Андрэ Васлинг изо всех сил отталкивал медведя. Луи Корнбют почувствовал, как когти чудовища вонзаются ему в грудь. Медведь сдавил их обоих в своих лапах.

— Ко мне, ко мне, Херминг! — громко крикнул помощник капитана.

— Ко мне, Пенеллан! — в свою очередь закричал Луи Корнбют.

На трапе послышались шаги. Появился Пенеллан. Быстро зарядив пистолет, он выстрелил животному в ухо. Взревев от боли, медведь разжал лапы. Луи Корнбют без сознания упал на палубу. Животное рухнуло на пол, придавив своей тушей злополучного Андрэ Васлинга.

Пенеллан бросился на помощь Луи Корнбюту. К счастью, раны молодого моряка были неопасны, и вскоре его привели в чувство.

— Мари... — прошептал он, открывая глаза.

— Она в безопасности, — ответил рулевой, — а Херминг валяется с распоротым животом.

— А медведи?

— С ними покончено, Луи, — убиты и все наши враги. Но нужно признаться, если б не эти зверюги, нам бы несдобровать. Они спасли нам жизнь! Возблагодарим же судьбу!

Луи Корнбют и Пенеллан спустились вниз, где Мари бросилась им в объятия.

ГЛАВА 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мизон и Тюркьет, которым удалось наконец освободиться от уз, перенесли смертельно раненного Херминга на койку. Несчастный уже хрипел, и моряки занялись Пьером Нукэ, раны которого, к счастью, не представляли серьезной опасности.

Однако Луи Корнбюта ожидало большое горе: отец его не подавал признаков жизни. Умер ли он от волнения, опасаясь за участь сына, или еще до того, как разыгралась эта ужасная сцена, — неизвестно. Бедного старика уже не было в живых!

Луи Корнбют и Мари были потрясены этим ударом. Они опустились на колени возле постели умершего и, рыдая, молили всевышнего принять его душу.

Пенеллан, Мизон и Тюркьет оставили их наедине с покойником и поднялись на палубу. Туши медведей перетасили на нос корабля. Пенеллан решил сохранить шкуры, которые должны были им очень пригодиться на обратном пути, но ему не пришло в голову использовать в пищу мясо медведей. Впрочем, теперь людей стало гораздо меньше. Трупы Андрэ Васлинга, Опики и Джокки были опущены в яму, вырытую на берегу. Вскоре за ними последовало и тело Херминга. Норвежец умер ночью с пеной ярости на губах, не испытывая ни раскаяния, ни угрызений совести.

Затем трое моряков починили тент, разорванный в нескольких местах и пропускавший на палубу снег. Сильные морозы держались до того дня, когда солнце показалось над горизонтом, это было 8 января. Жана Корнбюта похоронили на берегу. Он покинул родину, чтобы разыскать своего сына, и ему пришлось расстаться с жизнью в этой холодной, негостеприимной стране! Его

могила находилась на холме, где моряки поставили простой деревянный крест.

Луи Корнбюту и его товарищам суждено было перенести еще немало испытаний; однако лимоны, которые им удалось разыскать, постепенно восстановили их здоровье.

Недели через две после описанных ужасных событий Жервик, Градлен и Пьер Нукэ могли уже подниматься и выполнять легкую работу. Вскоре, с возвращением водяных птиц, охота стала менее трудной. Нередко удавалось подстрелить дикую утку, мясо которой было превосходно на вкус. Охотники очень сожалели о потере двух собак, погибших во время разведки, которую они предприняли в южном направлении, чтобы узнать, на какое расстояние простираются льды.

Начало февраля ознаменовалось сильнейшими бурями и обильными снегопадами. Средняя температура все еще была -25° ; впрочем, зимовщики хорошо переносили холод. Солнце с каждым днем поднималось все выше и выше, и в сердце их пробуждалась надежда. И небо сжалилось над зимовщиками. Тепло наступило в этом году гораздо раньше, чем обычно. В начале марта зимовщики заметили стаю ворон, круживших над кораблем, а Луи Корнбюту посчастливилось даже поймать несколько журавлей, залетевших слишком далеко на север. На юге нередко виднелись вереницы диких гусей.

Возвращение птиц предвещало скорое потепление. Однако не приходилось этим обольщаться, так как с изменением ветра в периоды новолуния и полнолуния температура внезапно падала, и моряки вынуждены были снова принимать серьезные меры для защиты от холодов. К этому времени был сожжен уже весь фальшборт, несколько внутренних переборок и большая часть верхней палубы. Зимовка подходила к концу. К счастью, в марте

температура редко спускалась ниже -16° . Мари занялась изготовлением летней одежды. В этом году лето пришло раньше обычного. И вот наступило равноденствие, солнце перестало скрываться за горизонтом, и начался восьмимесячный полярный день. Льды стали таять.

Теперь нужно было спустить «Юного смельчака» с ледяного ложа на воду. Корабль крепко сидел во льду, и, казалось, разумнее было бы подождать оттепели. Но нижние слои льда, подмываемые более теплыми течениями, постепенно таяли, и бриг стал незаметно опускаться. К началу апреля он оказался уже на воде.

В апреле начались сильные ливни и грозы. Обрушиваясь на ледяные поля, дождь ускорял таяние. Температура поднялась до -10° . Кое-кто из зимовщиков сбросил одежду из тюленьих шкур. Поддерживать огонь в помещении теперь не было необходимости, и спирт, запасы которого еще не иссякли, употребляли только на готовку пищи.

Вскоре с глухим треском начал ломаться лед; трещины образовывались с такой быстротой, что ходить по льду стало небезопасно. Чтобы не угодить в одну из трещин, извивавшихся по всем направлениям, необходимо было ощупывать дорогу палкой. Однажды несколько моряков провалились в трещину, но, к счастью, они отделались только холодной ванной.

Стали охотиться на тюленей, жир которых весьма пригодился.

Теперь зимовщики чувствовали себя превосходно. Усиленно готовились к отплытию и занимались охотой, время проходило незаметно. Луи Корнбют часто сходил с корабля и совершал небольшие разведки. Изучив очертания южного берега, он решил пройти дальше на юг.

Кое-где уже началось движение льдов. Плавающие льдины направлялись в открытое море. Двадцать пятого

апреля корабль был уже готов к отплытию. Паруса прекрасно сохранились в чехлах и не требовали починки. Легко представить, какая радость охватила моряков, когда они увидели, как паруса наполняются ветром. Погрузившись в воду до ватерлинии, корабль вздрогнул; он еще не мог двигаться, но вновь находился в родной стихии.

В мае месяце таяние льдов усилилось. Снег, покрывавший берега, растаял и превратился в густую грязную массу. Из-под снега робко выглянули маленькие розовато-палевые кустики вереска. Казалось, они радостно улыбались бледным лучам полярного солнца. Температура значительно поднялась, было уже несколько градусов тепла.

В двадцати милях от корабля, в южном направлении, льдины уже окончательно отделились друг от друга и устремились в Атлантический океан. Хотя море вокруг корабля еще не совсем очистилось от льда, уже образовались проходы, которыми и хотел воспользоваться Луи Корнбют.

Двадцать первого мая, посетив последний раз могилу отца, Луи Корнбют наконец покинул бухту, где они зимовали. На душе у моряков было радостно и в то же время грустно. Ведь никто не может без чувства сожаления покинуть места, где он похоронил друга. Северный ветер надувал паруса. Однако путь часто преграждали обширные ледяные поля, и моряки пускали в ход ледовые пилы. Порой приходилось взрывать ледяные глыбы, встававшие на пути. Целый месяц они боролись с опасностями. Иной раз корабль был на волосок от гибели. Но отважные моряки преодолевали все трудности. Пенеллан, Пьер Нукэ, Тюркьет и Фидель Мизон работали за десятерых. Лицо Мари освещала радостная улыбка.

На широте острова Ян-Майен «Юный смельчак» вы-

брался изо льдов и вышел в открытое море. 25 июня бриг повстречался с кораблями, направлявшимися на север для охоты на тюленей и китов. Но еще с месяц пришлось бригу плыть по полярным морям.

Шестнадцатого августа с «Юного смельчака» стал уже виден Дюнкерк. Корабль сигнализировал порту флагом. Все население городка собралось на набережной, встречая бриг. Вскоре отважные моряки уже обнимали своих друзей и близких. Старый кюре прижал к сердцу Луи Корнбюта и Мари. Через два дня он отслужил две обедни: первую — за упокой души Жана Корнбюта и вторую — в честь новобрачных, которые после долгих страданий наконец соединились в счастливом союзе.

1855 г.

Содержание

ДРАМА В ЛИФЛЯНДИИ. Роман. (Перевод с французского Г. Велле)	5
«ЧЕНСЛЕР». Роман. (Перевод с французского М. Мошенко и Р. Розенталь)	219
ОПЫТ ДОКТОРА ОКСА. Повесть. (Перевод с французского З. Бобырь)	400
БЛЕФ. Рассказ. (Перевод с французского Е. Брандиса)	468
ДРАМА В ВОЗДУХЕ. Рассказ. (Перевод с французского О. Волкова)	505
ЗИМОВКА ВО ЛЬДАХ. Повесть. (Перевод с французского З. Архангельской)	531

Литературно-художественное издание

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

Жюль Верн

ОПЫТ ДОКТОРА ОКСА

Ответственный редактор *Д. Байкалов*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *А. Пучкова*
Корректор *Ю. Иванова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 25.06.2010.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 3000 экз. Заказ №5269.

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-43312-4



9 785699 433124 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровский, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

ISBN 978-5-699-43312-4



9 785699 433124 >